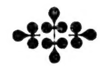
ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ

Без черемухи



ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ

Без черемухи



ПОВЕСТЬ

РАССКАЗЫ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1990

84 Р 7
Р 69

Составление, предисловие и примечания
С. С. Никоненко

Иллюстрации
Н. В. Смирнова

Р $\frac{4702010200-2127}{080(02)-90}$ 2127—90

ISBN 5—253—00001—1

ПРОСТО ЖИЗНЬ

Летом 1926 года в журнале «Молодая гвардия» был напечатан небольшой рассказ под неброским названием «Без черемухи». Этот рассказ принес автору чуть ли не скандальную известность и на долгие годы стал одним из наиболее читаемых произведений советской литературы, причем не только на родине, но и за рубежом, в среде русских эмигрантов. Слова «без черемухи» обрели нарицательный смысл.

Автором рассказа был Пантелеймон Сергеевич Романов, писатель ныне почти совсем забытый, но в двадцатые годы пользовавшийся широкой популярностью.

В 1926 году почти одновременно были опубликованы повести Л. И. Гумилевского «Собачий переулок», С. И. Малашкина «Луна с правой стороны» и рассказ Романова «Без черемухи». Долгое время эти три произведения будоражили общественное мнение.

В «Правде» отмечалось, что эти произведения, «посвященные вопросам половой морали современной молодежи, встретили резко отрицательное отношение в литературной критике и в комсомольской и студенческой среде» [1].

В печати по поводу рассказа выступали не только профессиональные критики, но и читатели, преимущественно из среды студенчества. Во многих учебных заведениях состоялись диспуты. Большинство студентов расценивали рассказ Романова как поклеп на молодежь, искажение, очернение действительности. Но были среди них и защитники рассказа.

Разнобой в оценке рассказа характерен и для критиков. «Рассказ написан плоско, художественно неубедительно, подход к теме мещански-убогий, вульгарный»,— писал А. Цинговатов [2]. А Лежнев подчеркивал, что именно острота затронутых вопросов послужила успеху рассказа: «Без черемухи» П. Романова лишена того налета сенсационности и бульварщины, который свойственен «Собачьему переулку». Идеология в нем не так оторвана от художественного ядра: та же тема, что послужила Гумилевскому основой для большого романа, здесь развернута на каких-нибудь восьми страницах. Лирическая установка рассказа, форма письма-излияния позволила П. Романову удобнее и с большей естественностью, чем Гумилевскому, ввести большие дозы идеологии в «чистом», почти публицистическом виде. Любовь нельзя свести к физиологическому отправ-

[1] Правда, 1927, 20 апреля.

[2] «Учительская газета», 1926, 28 августа.

лению. Известная сложность и поэзия отношений здесь необходимы, как чистота в жилище, опрятность в одежде, стремление как-нибудь украсить комнату, в которой живешь, платье, которое носишь...»[1]

Вяч. Полонский, отмечая некоторые художественные просчеты писателя, писал: «В пользу Романова необходимо сказать, что цели себе он ставит хорошие»[2].

Рассказ вызвал столь большой резонанс, потому что он затрагивал хотя вовсе и не центральную, но актуальную в 20-х годах проблему — так называемую проблему пола. А точнее — проблему новых нравственных отношений.

Процесс социальной и экономической перестройки, который начался в стране после Октября, несомненно, сопровождался возникновением новых отношений в сфере нравственности, выработкой новых норм морали.

Сопротивление исстари установившимся отношениям господства и подчинения распространялось и на семью. Среди молодежи утверждалась «свободная любовь» как противопоставление старым формам освященного религией брака. Мало того, сама любовь провозглашалась пережитком буржуазной эпохи: нет никакой любви, есть только отношение полов. На эту тему было написано много книг. Одна из наиболее нашумевших в то время принадлежала перу А. М. Коллонтай — «Любовь пчел трудовых» (1923). На тему любви и брака вспыхивали ожесточенные дискуссии.

Книга А. М. Коллонтай дышала пафосом свободы и независимости. Помыслы ее героинь устремлены к любви-товариществу, к такой форме отношений мужчины и женщины, где они обладают равными правами, равной свободой. Однако очень не просто сохранить любовь в динамичную, переломную эпоху, и героини Коллонтай склоняются к мысли о замене свободы любви свободой интимных связей. Здесь был возврат к настроениям дореволюционной поры — ведь подобные же взгляды исповедуют и Ирина из «Последних страниц из дневника женщины» Брюсова, и Ольга Орг из одноименного романа Юрия Слезкина (1914)... Да, тогда это был вызов официальной буржуазной морали. Но чем он отличался от аморальной проповеди арцыбашевского Санина? А именно на такой позиции стояли героини многих произведений советской литературы 20-х — начала 30-х годов: и героиня «Луны с правой стороны» С. Малашкина (1926), и Наталья Тарпова из одноименного романа С. Семенова (1927), и героини Ф. Панферова.

Одним из первых Пантелеймон Романов выступил в защиту подлинной любви в условиях нового строя, что свидетельствовало о стремлении укрепить этот строй, преодолеть издержки его развития.

В богатом творческом наследии писателя рассказ «Без черемухи» занимает не столь уж значительное место. И для самого писателя общественный резонанс, вызванный его произведением, был, видимо, полной неожиданностью. Этот небольшой факт еще раз подчеркивает ту истину, что реальную судьбу своих произведений провидеть авторам не дано.

Громкая известность, которую обрел Романов после публикации рассказа «Без черемухи», вовсе не была связана с художественными

---

[1] «Красное студенчество», 1927, № 5. С. 52.

[2] «Известия», 1927, 3 апреля.

достоинствами произведения. Написанный суховато, в достаточной степени схематично и резко тенденциозно, рассказ явился событием прежде всего общественной жизни, а не литературной. Так уже не раз случалось на Руси, что художественные произведения расценивались как социальные манифесты, а их авторы порой несли ответственность перед властями в качестве государственных преступников.

Подобного в данном случае не произошло, чаша сия миновала Романова. Но на протяжении многих лет его имя так и сяк трепалось критиками, услужливо лебезящими перед власть имущими. Критиковать Романова, изобличать его, находить у него идеологические промахи и даже объявлять его классовым врагом было модно и безопасно. Не участвуя ни в каких группировках и ассоциациях, писатель не водил дружбы с функционерами от литературы, заступиться за него было некому, да он и не искал защиты. Свою писательскую задачу он видел в реалистическом воспроизведении действительности, со всеми ее проблемами, ничего не приукрашивая, не выдавая желаемое за действительное.

У нас довольно часто любят говорить о том, что народу надо знать правду, что правда одна для всех. Так говорилось и двести лет назад, и сто, и пятьдесят, и в наши дни. Однако правда хотя и бывает порой синонимом истины, но это происходит очень и очень нечасто. У каждого — правда своя, и чем ближе она к жизни, тем ближе к истине, и, значит, писатель, высказавший такую правду, поведал нам о жизни больше, чем тот, кто приспосабливал свою правду к господствующей в обществе идеологии.

Таким удивительно правдивым и удивительно жизненным писателем был Пантелеймон Романов, и потому из его произведений мы так много узнаем о жизни наших не столь отдаленных предков.

В первое послереволюционное десятилетие мало кто из писателей мог соперничать с Пантелеймоном Романовым в популярности. Его рассказы часто появлялись на страницах толстых и тонких журналов; один за другим выходили сборники его веселых сатирических миниатюр и психологических новелл; с огромным успехом на сцене многих театров страны прошла одна из первых советских комедий «Землетрясение»; первые части его многотомной эпопеи «Русь» за короткий срок выдержали несколько изданий.

И в то же время Пантелеймон Романов был в числе наиболее ругаемых критикой писателей. Его обвиняли в эпигонстве, в рабском подражании Л. Толстому, Гоголю, Тургеневу, Чехову, один критик заявлял, что он по своему таланту не поднимается выше белогвардейцев (!) Бунина и Аверченко, его успех объясняли ловкостью и потаканием обывательским вкусам, его клеймили как пропагандиста пошлости, очернителя действительности, наконец, как выразителя идей классового врага.

Впрочем, на его долю выпадали и другие отзывы. Так, М. Горький, неоднократно упрекавший Романова в небрежности стиля, вместе с тем называл его писателем талантливым, отмечал, что он «показывает хорошее мастерство, изображая характеры». А. В. Луначарский считал, что отдельные главы романа «Русь» поднимаются до «чрезвычайно высокой художественности». «Я люблю этого писателя,— писал Луначарский,— за живость его, за юмор и за прекрасный русский язык».

Вскоре после смерти П. Романова имя его исчезло со страниц газет и журналов, с обложек книг, из разговоров. Казалось, память

о нем канула в Лету. Правда, у людей старшего поколения еще жили смутные воспоминания о нашумевшем романовском рассказе «Без черемухи». И все. Так ведь и немудрено: почти полвека его произведения не переиздавались. В сознании тех, кто еще помнил это имя, укоренилось представление о нем как о писателе чуть ли не запретном. Причем это так прочно засело в сознании, что год смерти писателя — 1938 — сразу же вызывал определенные ассоциации (так, даже в таком солидном издании, как «Известия ЦК КПСС», в справке о Романове сказано: «Незаконно репрессирован» [1], хотя в действительности он умер дома, в своей постели, после тяжелой болезни).

Но, быть может, хулители его правы и Романов принадлежал к разряду тех литераторов (имя им — легион!), кто, улавливая сиюминутный интерес толпы, поставляет ей чтиво, утрачивающее и смысл, и интерес по мере того, как эта читательская толпа рассасывается и тает в исторической дали?

«В поле сверкающая кругом белизна снежной равнины с торчащими из глубокого снега былинками, густо опушенными иглами инея; в ясной дали зимнего утра виднеются деревни, белея засыпанным до крыш снегом, над ними сизые столбы дыма, поднимающиеся в ясном морозном воздухе солнечного утра. Но еще лучше ехать лесом: узкая, вдавленная лесная дорога с изборожденными хворостом краями уходит в глубину леса, который особенно тих и неподвижен. По сторонам дороги сверкает и блестит пухлый снег и звездами осевший на нем иней».

Это фрагмент из повести Романова «Детство». Если он не есть ответ на предыдущий вопрос, то, возможно, читателя убедит рассказ «Голубое платье», или «Русская душа», или «Хорошие люди»...

Описаний, подобных приведенному, мы много встречаем у Пантелеймона Романова и в том же «Детстве», и в эпопее «Русь», и в его лирических новеллах. Эти описания правдивы, обладают удивительной живостью, реальной ощутимостью. Глубокое знание и любовь автора к тому, что описывается, вызывают и у читателя ответное движение души, родственное чувство. С такой же любовью, но порой и неприязнью, и всегда с глубоким пониманием творит Романов образы людей. Он исходит из тонких, высших наблюдений и, опираясь на внешний облик, раскрывает внутренний мир персонажей.

Улавливать вечное, характерное, типичное в быстротечном калейдоскопе жизни — этой способностью сполна обладал Пантелеймон Романов, и потому-то его творчество сохранило и поныне привлекательность и живой интерес. Его книги, возвращаясь сегодня к читателю, помогают восстановлению истинной картины советской литературы первых послеоктябрьских десятилетий.

* * *

Пантелеймон Сергеевич Романов родился в 1884 году в селе Петровском Одоевского уезда Тульской губернии в семье мелкого чиновника; о матери Романов сообщал в автобиографии: «...мать Мария Ивановна — из духовных, была дочерью псаломщика с. Сныхова» [2].

---

[1] Известия ЦК КПСС, 1989, № 3. С. 183.
[2] ЦГАЛИ, ф. 1281, оп. 1, ед. хр. 84, л. 54.

Детство будущего писателя прошло на небольшом хуторе, который отец, Сергей Федорович, купил взамен проданного Петровского. Здесь мальчик вместе с деревенскими ребятами и мужиками косил сено, вязал снопы, занимался молотьбой, стерег скотину, а его любимым увлечением с ранних лет была рыбная ловля. Вместе со взрослыми он принимал участие в обычных деревенских развлечениях — любил петь и плясать, играл на гармонике. В общем, детские годы его ничем не отличались от жизни других деревенских ребят из семьи небольшого достатка, а сам он ничем не выделялся из среды своих сверстников. Обычные ребячьи интересы и увлечения были характерны и для Романова-гимназиста. Учился он неважно и даже оставался на второй год. Зато мог многие часы посвящать химическим опытам и разработке планов кругосветного путешествия, в которое собирался отправиться с приятелем.

Однако подспудно шла внутренняя работа. Попытки сочинять появляются лет в десять. Правда, первый начатый роман из английской жизни был скоро заброшен «из-за недостаточного знакомства с бытом и нравами Англии» [1]. Романов много и жадно читает, пытается понять, каким образом великие писатели добивались столь поразительного эффекта, что их творения воспринимаешь как живую жизнь. «Я стал читать классиков,— вспоминал писатель,— и увидел, что главным их общим свойством является необычайная живость, ясность и яркость изображения.

Несколько лет я употребил на то, что изо дня в день выписывал особенно яркие, живые места, старался постигнуть закономерность творческого изображения и попутно с этим учился сам выражать словом все, что останавливало на себе внимание» [2].

Он присматривается к окружающим людям, вслушивается в их слова, задумывается над их поступками. В последних классах гимназии он начинает работать над повестью о детстве, но заканчивает ее лишь через 17 лет — в 1920 году.

«...Одна глава «Детства»,— вспоминал он,— была написана в 6-м классе в 1903 году. Эта глава частично сохранилась в настоящем тексте «Детства». В 7-м классе была написана еще глава, причем занимала не фабула, а воспроизведение с возможно большей яркостью и живостью самых обыкновенных, будничных черт жизни и притом не исключительно личных, а таких, которые были бы каждому знакомы по себе. Этот мотив остается преобладающим на всем протяжении дальнейшей работы» [3].

В одном из дневников Романова есть запись, относящаяся к работе над повестью. В нескольких словах писатель раскрывает свой замысел, свое желание, свои надежды (запись эта сделана 1 марта 1916 года): «Обдумывал «Детство». 5 лет я работал над ним неумелыми юношескими руками. Потом оставил на целых 5—6 лет. Теперь опять взялся. Если осилю—будет чудесное создание. Мне хочется воспроизвести всю красоту мира и чудесную свежесть жизни, которые доступны только детству» [4].

И с полным правом можно сказать, что писателю это удалось.

О детстве писали многие русские писатели — С. Т. Аксаков, Лев Толстой, Н. Г. Гарин-Михайловский. Но Романов не повторяет их, у него свое «детство», своя манера письма. В повести нет острых кол-

---

[1] Романов П. С. Собр. соч. М.: 1927. Т. 2. С. 24.

[2] Там же. С. 26.

[3] Там же. С. 27.

[4] ЦГАЛИ. Ф. 1281, оп. 1, ед. хр. 93, л. 7.

лизий, резких, выпуклых характеров, она написана в мягких, пастельных тонах. При чтении ее возникает что-то неуловимо знакомое — не по содержанию, а в самой манере, спокойной, неспешной, в обстоятельности, с какой автор сообщает даже о неодушевленных предметах. Он с любовью пишет о старых стульях, о вторых рамах, которые вставляют на зиму, о каком-то древнем сундуке, о злом рыжем коте... И вдруг читателя осеняет: он, как в «Робинзоне Крузо», следует за первооткрывателем. Здесь та же неторопливость, то же изобилие подробностей, тот же свежий, незамутненный взгляд на обыденные вещи. Подобно тому, как герой Дефо осваивал необитаемый остров, юный герой повести осваивает мир, открывающийся перед его взором, его сознанием.

Повесть богата бытовыми картинами, передающими колорит предреволюционной среднепоместной жизни. И все это мы воспринимаем глазами ребенка, вместе с ним открываем для себя неизвестный, таинственный мир с его неожиданными и ожидаемыми очертаниями, красками, звуками, запахами.

Проникая в этот мир, мы постигаем и детскую психологию, которую Романов исследует скрупулезно, уважительно, тонко.

После выхода повести «Детство» многие критики увидели в ней идеализацию патриархально-поместной России. Это обвинение, конечно же, было несправедливо: просто воссоздавалась типичная провинциальная, деревенская жизнь с многочисленными подробностями, которые и делают описываемое выпуклым, сочным, ярким, насыщенным, узнаваемо-новым.

В 1905 году Романов поступает на юридический факультет Московского университета, но вскоре бросает его, чтобы целиком отдаться писательству. Он видит свою задачу в создании «художественной науки о человеке» и понимает, как много еще нужно узнать, сколь многому научиться. Грандиозная цель не пугает, а вдохновляет. «Я нашел себе смысл жизни, нашел счастье жизни, моя жизнь — это непрерывное собирание, труд, творчество...» — записывает он в дневнике 15 сентября 1905 года.

Он полон идеями и образами и за несколько лет делает наброски многих произведений. Не закончив одного произведения, он записывает сцену из другого, диалог — из третьего...

Наконец, в 1909 году Романов решается послать на отзыв В. Г. Короленко свой этюд «Суд» и фрагменты из «Детства». Ответ был не восторженным, и все же он обнадеживал. Короленко нашел «достоинства, местами юмор» в «Суде». О картинках из детских лет сказал, что они «написаны проще и могут выйти недурными». «Общее мое впечатление от Ваших очерков,— заключал Короленко,— присутствие литературной и даже художественной способности несомненно... в прочитанном мною есть черты, возбуждающие интерес к дальнейшей Вашей работе...» [1].

Параллельно с этюдами, зарисовками, которые впоследствии войдут составными частями в романы и рассказы, Романов в 1906—1907 годах пишет философско-этическое сочинение «Заветы новой жизни». Оно так и осталось в рукописи, но многие его положения определили его писательскую позицию: «Животное живет всегда под властью инстинкта. Человек с веками освобождается от власти инстинкта. Но зато он сам по пути своего освобождения создает инстинкты (суеверия, веры, убеждения, мировоззрения), под тяжестью которых живут целые поколения, часто сознавая нелепость, но не будучи в

[1] «Вопросы литературы», 1962, № 4. С. 156—158.

силах (рабство мысли) отрешиться, сбросить то, что ясное чистое сознание признало негодным для вас.

Освобождайтесь скорее от навязанных инстинктов, чтобы твердо делать то свое, чему не могут научить нанятые учителя».

Вера в свое призвание помогала Романову в трудные годы становления, когда родные и близкие попрекали его иждивенчеством... Первые опубликованные произведения — рассказы «Отец Федор» (1911), этюд «Суд» (1913), повесть «Писатель» (1915) — не принесли ему известности. Он был вынужден около полутора лет прослужить конторщиком в банке, правда, деятельность эта позволила писателю изъездить всю Русь.

В первые месяцы после революции Романов заведует внешкольным подотделом в городе Одоеве; тогда же начинает писать небольшие рассказы, которые печатались в газете Горького «Новая жизнь».

* * *

Вскоре Романов осознает, что совмещать писательское творчество со службой не сумеет. В конце 1919 года он переезжает в Москву и приступает к осуществлению замысла, родившегося более десяти лет назад,— пишет первые части эпопеи «Русь». «Русь» Романов считал главным своим делом и работал над нею до последних дней жизни. Коротко Романов так раскрывал содержание эпопеи: «В «Руси» дана предвоенная эпоха с установкой на основные черты национального характера, главное — на непротивленство, пассивность, наследство христианства. Во II части (Война) эти черты начинают трансформироваться под влиянием войны, происходит постепенная раскачка, и прославленное терпение русского народа, не выдержав, выливается в революцию (III-я часть)». В процессе написания план менялся, вслед за третьей частью были написаны четвертая и пятая (вышли в 1936 году). Произведение так и не было завершено.

Выходившие в свет книги «Руси» встречались разноречивыми откликами в печати — не было недостатка ни в похвалах, ни в хуле.

И все же основное внимание со стороны как читателей, так и критиков привлекла не эта область творчества писателя. Самый большой успех принесли Романову мелкие рассказы, многие из которых сам автор считал всего лишь этюдами для эпопеи.

В сатирических и юмористических миниатюрах Романов старался поведать правдивые и занятные истории о людях в самых разнообразных житейских ситуациях и прибегал при этом к самому доступному, разговорному языку. «Когда я пишу, я всегда думаю, чтобы меня понял самый бестолковый человек»,— сказал однажды Романов литературоведу Н. Фатову.

Правдивое и живое повествование обо всем, что связано с человеческой природой, с национальным характером,— вот в чем видел смысл своей работы Романов (в одной из своих автобиографий писатель подчеркивает: «Я увидел, что зарождавшиеся у меня типы являются только чертами *одного общего характера*»).

Многочисленные рассказы Романова 20-х годов обращены к эпохе военного коммунизма и становления нэпа. Неразбериха на транспорте, продовольственный кризис, перетасовка учреждений, ломка старых отношений в деревне и в городе, рождение новых форм быта и экономики — это не просто фон, это — само содержание, живая

ткань произведений. Отсюда и столь органичное проявление типичных черт человеческих характеров, отсюда столь живые коллективные портреты, портреты человеческих масс, толпы («Нераспорядительный народ», «Значок», «Спекулянты», «Дружный народ», «Терпеливый народ»).

Многие рассказы той поры посвящены деревне, которую он хорошо знал и чувствовал: светлые и темные стороны деревенской жизни, заботы и волнения мужиков, нравы и обычаи русской деревни оживают на страницах его произведений. Романов не идеализирует мужика, но и не осуждает: пытается показать таким, каков он есть — жадным собственником и мечтателем («Вредная штука», «Святая женщина», «О душе»), недоверчиво относящимся к распоряжениям новой власти, пытающимся ее обмануть («Рыболовы»), наивно уступающим инстинкту стадности («Дружный народ», «Глас народа»)... (В этой связи небезынтересно отношение М. Горького к деревенским рассказам Романова. 23 июня 1925 года Горький писал Н. И. Бухарину: «...когда я вижу, что о деревне пишут — снова! — дифирамбы гекзаметром, создают во славу ея «поэмы» в стиле Златовратского,— это меня не восхищает. Мне гораздо более по душе и по разуму солененькие рассказы о деревне старого знакомого моего Пантелеймона Романова»[1]).

Эти же черты обнаруживает Романов и в коллективном портрете городской массы («Терпеливый народ», «Значок», «Дом № 3», «В темноте»).

Новая эпоха, казалось бы, требовала новых форм выражения, но Романов оставался писателем традиционным. Революционная эпоха рождала своих героев — цельных, целеустремленных, волевых, решительных. В творчестве Романова ничего подобного мы не найдем. В произведениях Романова послеоктябрьской поры мы не увидим того понимания революции как начала новой эры в мировой истории, которое было характерно, скажем, для Вс. Иванова, Фурманова, Малышкина, Гладкова, Шолохова. Эти писатели стремились показать, как революция проникает во все сферы общественного и личного бытия, переворачивает судьбы людей, сталкивает лицом к лицу представителей враждебных классов, возносит одних и низвергает других, показать, в каких муках и из какой сшибки разных слоев рождались новое общество, новая нравственность, новый человек.

А герои рассказов Романова вовсе не героичны. Это разношерстный люд — крестьянин, торговец, мешочник, мастеровой, совслужащий (как их называли), солдат и т. д., о душе которых часто нам не дано узнать, мы просто этого не успеваем. Романов рисует движущуюся массу — на крышах вагонов, на улице, среди лабиринта учреждений, в коридорах этих учреждений перед множеством дверей и табличек, на площадях и толкучках, на железнодорожных станциях в ожидании поезда и в борьбе за место в вагоне, в очереди в баню или в магазин. У этих персонажей часто нет имени, их можно различить лишь по одежде или какой-либо вещи в руках — мужик в чуйке, солдат с чайником, баба в валенках... Но они говорят, действуют, живут на страницах рассказов Романова, и мы ощущаем, как наполнена жизнью его проза, густо, плотно населена живыми людьми. Мы погружаемся в атмосферу 20-х годов...

И речь персонажей, и авторская речь чрезвычайно просты, и кажется, что это вовсе не рассказ читаешь, а воспринимаешь кусочек жизни.

---

[1] «Известия ЦК КПСС», 1989, № 3. С. 181.

Композиционно большинство рассказов Романова построено одинаково, фабула их проста. Это относится в основном к юмористическим и сатирическим рассказам. События в них разворачиваются в короткий отрезок времени, и, как правило, мы о них узнаем из диалога. Вот, например, пятистраничный рассказ «Нераспорядительный народ». Кроме первых экспозиционных фраз, ввергающих нас прямо в атмосферу действия, здесь всего лишь несколько авторских ремарок по ходу диалога. Но это цельное законченное произведение, лаконичное и емкое по содержанию, чрезвычайно обобщенное и вместе с тем поражающее своей конкретностью, богатством интонаций,— возникает коллективный образ массы, ожидающей открытия магазина. Уже первыми фразами Романов представил и место действия, и действующих лиц, и суть их состояния, и в общем-то, можно сказать, и эпоху. Так, даже не прибегая к выразительному определению, эпитету, Романов достигал замечательных эффектов.

Широкая популярность Романова объяснялась, между прочим, именно тем, что он писал о повседневном, понятном и близком самым широким массам рабочих, служащих, крестьян. Стремясь осуществить принципы своей «художественной науки о человеке», он в своих произведениях показывал обыкновенного, среднего человека в новых обстоятельствах, обусловленных новым строем; и эти новые непривычные обстоятельства, а часто и новое социальное положение позволяли вскрыть глубинные, сущностные черты народного характера, обнажить человеческую душу.

Умение наблюдать, видеть за внешним сущность позволило Романову выработать стиль, для которого характерны лаконизм в передаче жеста, движения, мимики, точная, убедительная, достоверная речь персонажей. Писатель Скиталец верно подметил особенности творческой манеры Романова — свойственные его рассказам черты: «Излюбленной формой коротенького рассказа для него служат непревзойденный чеховский метод выхватывания из текущей обыденной жизни типичных черт, подобно тому, как, по выражению Чехова, светящийся на земле осколок стекла заменяет длинное описание солнечного дня...»

Если бы Романов просто фиксировал увиденное, из этого вряд ли могли получиться те короткие, внешне простоватые, бесхитростные рассказы, зачастую, казалось бы, просто зарисовки анекдотичных случаев, а по сути своей серьезные произведения искусства, запечатлевшие и смятение широких масс народа (которые порой пренебрежительно и неверно называют обывателями), и настороженность, и недоверие крестьян к новой власти, и стремление определенных социальных слоев приспособиться к новым общественным условиям, урвать выгоду для себя, и бескорыстие тех, кто делал революцию. И все это в новых, непривычных ситуациях, созданных войной, революцией, ломкой привычного, хотя в прошлом и нескладного быта, трудностями, в каких создавались новые формы общественного существования.

Именно воспроизведением истинных ликов жизни объясняется то художественное обаяние, какое сохранили рассказы Романова по сей день.

А. К. Воронский, видимо, одним из первых обнаружил эту существенную черту творчества писателя, когда с одобрением выделял «простые, выпуклые рассказы П. Романова, где за анекдотом скрывается обычно серьезное содержание. В нашей советской действительности и по сию пору много нелепо-анекдотического». Это

высказывание критика, сделанное в 1925 году, сохраняет свое значение и сегодня.

Есть два способа художественного преодоления низин жизни, говорил Романов. Один из них — показать вершины, героическое. Другой — дать микроскопическое исследование этих низин. При этом писатель должен оставаться на высоте, и тогда его личный критерий в оценке явлений жизни будет передаваться читателю. Романов пользовался именно этим, вторым способом.

Что такой путь небезопасен и тернист, Романов понимал.

В дневнике писателя есть запись от 5 сентября 1926 года: «Когда я пишу, у меня всегда есть соображение о том, что может не пройти по цензурным условиям или ханжи критики (а теперь их особенно много) обвинят в порнографии. И это уменьшает мои возможности и правду того, что пишешь, на 50%. Вообще все время чувствуешь над собой потолок, дальше которого нельзя расти. Правоверный марксизм, начетчики марксизма тоже связывают по рукам и ногам. Но это было в России всегда. Да и не в одной России, а почти везде. Нельзя требовать, чтобы рост был без утечки, чтобы ничто не мешало. Важно через препятствия эпохи все-таки осуществить себя. И я сделал это все-таки в очень большой степени» [1].

* * *

Стремление как можно полнее воссоздать жизнь, ее проблемы руководит Романовым, когда он пишет не только сатирические произведения, но и серьезные психологические рассказы, в которых сочетаются лиризм и ирония («Русская душа», «Яблоневый цвет»), а иногда трагическое соседствует с сатирой («Право на жизнь, или Проблема беспартийности», «Голубое платье», «Хорошие люди»).

Отмена после революции старых отношений господства и подчинения — с этим было все ясно. А как быть с семьей? С отделением церкви от государства обязательность церковного брака кончилась. Как же будут регламентироваться отношения между полами? Может быть, тогда и любовь — пережиток прошлой, буржуазной эпохи? Дискуссии по этим вопросам вспыхивали ожесточенные.

Проблемы любви, помимо нашумевшего рассказа «Без черемухи», Романов поднимает и в таких произведениях 20-х годов, как «Любовь», «Письма женщины», «Арабская сказка», «Ее условия», «Большая семья», «Печаль», «У парома».

Лишенные внешних драматических вспышек, увлекательной интриги, неожиданных поворотов сюжета, незатейливые, простые, как сама жизнь, рассказы Романова вместе с тем и сложны, как сама жизнь, и полны внутреннего, невыдуманного драматизма. Герои лучших психологических рассказов — это уже не фигуры-символы, как в сатирических миниатюрах, а сложные, противоречивые образы, проявляющие в разных ситуациях свою внутреннюю суть, сокровеннейшие черты.

С внешне бесстрастных страниц многих рассказов Романова встают вечные проблемы, волнующие человека: о смысле жизни, о своем месте в мире и выборе пути, о причинах и истоках зла и несправедливости, о любви, о свободе личности, о нравственных цен-

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 1281, оп. 1, ед. хр. 93, л. 27.

ностях, зыбком и прочном в них... В конечном счете о сущности человека...

Романов, стремившийся скрыть свое лицо, свои эмоции, свои мысли и душу за строками своих произведений, все же создал несколько чисто лирических рассказов, взволнованных, проникнутых мягкой грустью, глубоким чувством. Таковы «Осень», «Зима», «Печаль», таковы многие лирические отступления в первых трех частях «Руси».

Неразрывно связанные своим содержанием с эпохой, когда создавались, рассказы Романова удивительно актуальны, злободневны и поныне.

Как это объяснить? Что это — стабильность характеров, событий, условий существования или особенность нашего восприятия? Видимо, в той или иной пропорции наличествуют все эти обстоятельства.

Последовательный приверженец реалистической традиции, он не стремился ни к словотворчеству, ни к поискам новых форм. Не прибегая к воссозданию в своих произведениях острых коллизий, сенсаций, ярких эпизодов современных ему социальных событий — мировой войны, Октябрьской революции, строительства нового общества, Пантелеймон Романов тем не менее сумел передать в своих многочисленных рассказах дух эпохи, ее динамику, отобразить ее многие, уже исчезнувшие сегодня реалии, подробности быта и главное — особенности широкой массы, толпы. Читая ныне рассказы Романова, мы слышим голоса той далекой эпохи, погружаемся в мир проблем, забот, тревог, хлопот и чаяний людей, отделенных от нас десятилетиями.

* * *

Романов отмечал разные периоды в своем творчестве: до середины 20-х годов — преимущественно юмористические и сатирические миниатюры; начиная с середины десятилетия — переход к большим психологическим рассказам; затем — к крупным произведениям (в конце 20-х — начале 30-х годов им написаны романы «Новая скрижаль», «Товарищ Кисляков», «Собственность»). И все это параллельно с работой над эпопеей «Русь».

Роман «Товарищ Кисляков» — одно из наиболее значительных и глубоких произведений Романова.

Здесь писатель еще раз в русской литературе поставил проблему: личность и общество, интеллигенция и общество. К этой проблеме обращается он неоднократно. Тремя годами раньше он написал рассказ, даже, скорее, маленькую повесть — «Право на жизнь, или Проблема беспартийности», где дал образ беспартийного писателя Останкина, который стремится выжить во что бы то ни стало, приспосабливается к новому строю, служит ему изо всех сил, но внутренний разлад с самим собой, понимание фальшивости собственного существования приводят его к самоубийству. Приспособленец? Да, и все же не такой уж простой, однозначный образ.

Роман «Товарищ Кисляков» развивает мысль, которой пронизано «Право на жизнь». Герой романа Ипполит Кисляков, в прошлом инженер-путеец, а ныне музейный работник, тоже приспособленец. Но это приспособленец уже более стойкий, более зрелый. Если Останкин пришел к физической гибели, к саморазрушению, то Кисляков, видимо, сохранит себя в любой ситуации, и в этом ему помогает моральная деградация, постепенное отметание всех идей-

ных и моральных принципов, если их соблюдение угрожает его существованию. Но только ли Кисляков виноват в этом? Вот в чем вопрос. И, видимо, этот вопрос напрашивался при внимательном чтении романа — а читали его очень внимательно. Обрушившийся на роман шквал критики не заставил себя ждать.

Романова клеймили как классового врага, очернителя, клеветника и т. п.

И дело вовсе не в том, что Романов якобы неверно изобразил интеллигенцию, ее отношение к революции. Дело в том, что сам фон, на котором протекает действие романа, вызывал противоречивое, неуютное, мрачное впечатление. Мы видим кошмарный, неприглядный быт коммунальных квартир с мелкими дрязгами и склоками, бедность и неустроенность многих представителей интеллигенции, обусловленную их социальным происхождением, серость жизни, где духовные потребности постепенно начинают втискиваться в русло единой идеологии, а личность — нивелироваться, терять свою значимость, самоценность, поглощаться коллективом или же отторгаться им.

В уста Кислякова Романов вкладывал следующее рассуждение: «Мне кажется, это оскудение человеческого материала есть результат преобладания тенденции общественности над личностью... Если личность не находит нужной для себя пищи, она гаснет и превращается в ничтожество, не имеющее своих мыслей и своих задач... А раз личность не может осуществить себя, значит, дело идет к остановке, к уничтожению личности, и благодаря этому со временем наступит полная остановка в тех же массах». И с достаточной уверенностью можно полагать, что здесь выражена и авторская точка зрения.

Роман бытовой, построенный на тривиальной, банальной интриге, «Товарищ Кисляков» давал широкий социальный срез эпохи.

Картина действительности, нарисованная в «Товарище Кислякове», была далека от идиллии всеобщего слияния классов, трудящихся масс, устремленных к единой цели.

Содержание романа, его герои явно не соответствовали официально провозглашаемым лозунгам и требованиям, которые предъявляла к литературе рапповская критика.

После обрушившегося на него критического огня, последовавшего вслед за выходом «Товарища Кислякова», Романов начинает терять ориентиры. Внутренне присущая ему цельность и целенаправленность исчезают. Он долго не может оправиться от ударов, начинает искать темы, разработка которых вывела бы его из-под огня критики.

Он еще напишет несколько произведений — роман «Собственность», две части «Руси», несколько рассказов. Но в большинстве своем это произведения компромиссные, в них нет уже открытости, смелости, безоглядности — свойств, присущих его работам 20-х годов. Одно из последних законченных произведений, комедия «Его жена», хотя и не лишено нескольких смешных эпизодов, словесных находок, в целом не поднимается над серым уровнем бесконфликтной жизнерадостной литературы соцреализма, где идет борьба лучшего с хорошим.

В дневнике писателя мы еще находим отзвуки эпохи, живое, острое восприятие действительности, из произведений Романова острота, злободневность исчезают. Но вовсе не по вине писателя. «Наша эпоха,— записывает Романов в дневнике,— несет на себе печать отсутствия в людях собственной мысли, собственного мнения. Лю-

ди все время ждут приказа, ждут, какая будет взята линия в данном вопросе, и боятся выразить свое мнение даже в самых невинных вещах. Скоро слово «мыслить» у нас просто будет непонятно».

И в другом месте дневника тоже летом 1934 года:

«Большинство наших писателей являются подголосками эпохи. И так как это пока является главной доблестью, то все стараются перекричать друг друга в проявлении энтузиазма, оптимизма и бодрости...

Критика негодует на меня, что *я все такой же*, что я не сливаюсь с эпохой и не растворяюсь в ней, как другие.

Глупый критик оказывает плохую услугу той же эпохе, так как его идеалом являются безлицые восхвалители и только.

Только тот писатель своей эпохи останется жить для других эпох, который не потеряет в бурном потоке событий самого себя.

От писателя прочнее всего остается его дух. Если у писателя нет своего духа, от него ничего не останется, кроме «устаревшей» печатной бумаги».

Пантелеймон Сергеевич Романов, один из ярких и оригинальных русских писателей 20-х годов, стал одной из жертв нормативной критики и эстетики, провозгласивших основным направлением литературы воспевание и возвеличивание грандиозных свершений. Его физическая смерть после тяжелой болезни в апреле 1938 года, видимо, стала закономерным итогом смерти моральной. «Я уже не могу писать»,— говорил Романов в последние месяцы жизни писателю Александру Вьюркову. Писать соответственно присущему ему таланту было непозволительно, а подлаживаться под требования критики он не мог.

* * *

Критики, даже из числа тех, кто обвинял Романова в фотографизме или очернительстве, признавали присущую этому писателю остроту зрения, умение подмечать и характерное в жизни, и чуть заметные нюансы, черточки, детали. Однако мало кто замечал, что для Романова описать увиденное, дать зарисовку означало вместе с тем и раскрыть сущность описываемого. Умение видеть Пантелеймон Романов считал важнейшим свойством писателя, да и любого человека. На протяжении тридцати лет он писал книгу, которая не увидела света, она так и называлась — «Наука зрения». В этой своей книге он пытался показать, что видеть — это не просто скользить взглядом по поверхности вещей, а постигать все их связи и отношения с другими вещами, явлениями, событиями, процессами. Такое понимание видения и позволяет нам осознать, что зарисовки, этюды Пантелеймона Романова — это этапы проникновения в суть вещей, прозрения их настоящего, прошлого и будущего.

Пантелеймон Романов в лучших своих произведениях умел поставить прямо перед читателем и ярко осветить характернейшие черты той далекой уже от нас эпохи, задолго до наших дней обнажил фальшь и показуху многих официальных мероприятий типа субботников («Значок»), выборов («Глас народа»), задолго до других писателей (скажем, А. Платонова с его «Усомнившимся Макаром»), и тем более современных писателей и историков, показал трагедию сплошной коллективизации и раскулачивания («Кулаки»), высветил мрачный лик приспособленцев, конформистов, порождаемых новой эпохой («Товарищ Кисляков»), резко обнажил несоответствие истин-

ного хозяйственного положения страны и пропагандистской шумихи («Белая свинья», «Замечательный рассказ»), видимо, одним из первых он увидел и ярко выразил несовместимость политики социального заказа и настоящего искусства («Блестящая победа»)...

При жизни, да и долгие годы после смерти Пантелеймон Романов оставался писателем недооцененным. Снобистской критике он казался слишком прямолинейным и простым. Вульгаризаторской социологической критике он представлялся классовым врагом, чуждым советской литературе.

Возможно, сегодня читатель — а именно он и есть высший судия творчества — сумеет по достоинству оценить созданное Пантелеймоном Сергеевичем Романовым, одним из немногих писателей, кто сумел, не прибегая к эзопову языку в столь сложные и тревожные времена, так ярко, просто, достойно выразить себя и эпоху.

Ст. Никоненко



ДЕТСТВО

Повесть

❖❖❖



Посвящаю жене моей,
Антонине Шаломытовой

I

Глубокая, глубокая осень. Убранные поля опустели, и на межах остались только качающиеся от ветра сухие кустики полыни и полевой рябинки.

В саду медленно опадают листья и сметаются во все канавки и впадины дорожек. А скоро земля застынет, и в морозном воздухе запорхают первые снежинки.

Но пока еще не хочется в дом; бродишь по пустым, засоренным дорожкам в саду, ищешь на дереве забытое, неснятое яблоко, которое кажется вкуснее тех, что лежат в подвале на свежей соломе. Ходишь, к чему-то прислушиваешься и все осматриваешь, как будто в последний раз. В березнике — пустые, покинутые гнезда грачей, в цветнике — поломанные намокшие цветы и не высыхающая весь день роса.

Бывают еще теплые дни, с утра на горизонте, в блеске солнца, в чуть заметной прозрачной синеве, четко белеют сельские церкви, желтеют полосы дальних лесов, блестит паутина на мокрой листве кустов. Но в воздухе нет уже летней ласкающей теплоты, запахов кашки и цветущей медовой гречихи,— в нем холодная прозрачность и печальная тишина.

И леса, тронутые первыми утренними заморозками, убраны пышной желтизной, которая отражается на лице золотым светом, когда идешь по узкой лесной тропинке, отводя руками ветки орешника.

Подходит то время, когда жизнь со двора переходит в дом. Скоро будут вставлять зимние рамы. Иван в фартуке приносит их с чердака и обыкновенно ставит в передней, прислонив к стенке, где Таня с полоскательницей и полотенцем моет и протирает стекла, дыша на них.

Нам предстоит небезынтересная работа — помогать Ивану, подавать ему стамеску, паклю, резать длинны-


Смирновъ Н.

ми полосками бумагу для оклейки окон и, утащив кусочек замазки на свои нужды, раскатывать в длинные сосульки и лепить из нее разные фигурки.

И при вставке каждой рамы Катя непременно насажает в ватку между рам маленьких фарфоровых куколок, чтобы потом смотреть на них через стекло вставленной рамы.

В гостиной, кроме окон, вставляют еще стеклянную дверь, которая выходит в сад на балкон. Приносят большую корзину сухой мякины, насыпают за дверь для тепла, вставляют двойную зимнюю раму и тогда в этой большой комнате становится тепло и по-зимнему уютно.

Дядюшка, посоветовавшись с нами, не пора ли ему переменить свою летнюю резиденцию на зимнюю, передвинет от окна свое кресло к печке, и в гостиной начнутся долгие осенние, а потом зимние вечера.

Вокруг овального преддиванного стола чинно стоят полукругом мягкие кресла в парусиновых чехлах, из-под которых виднеются внизу медные колесики. Когда большие сидят вечером, занявшись разговором, за креслами хорошо бывает затеять игру в прятки.

Направо от дивана, в углу — камин; он уже давно не топится, и туда кладут всякие пустые коробки, веревочки от покупок, если только дядюшка не успел подобрать их себе.

В доме у всех есть свои любимые места, в особенности зимой. Крестная всегда обыкновенно сидит на диване за столом, накинув для тепла на плечи большой платок, и раскладывает пасьянс. Мать сбоку стола в кресле вяжет чулок, с котом на коленях. Дядюшка у печки в своем кресле.

Для нас самое приятное — пристроиться сбоку крестной на уголке диванного стола и на его гладкой поверхности смотреть картинки в старых журналах, которые уже давно знаешь наизусть. А то просто разляжемся на полу и подрисовываем на картинках всем лошадям дуги, мужчинам — усы.

Другие комнаты, когда дома нет молодежи,— не освещаются. В большой зал с его высокими зеркалами и темными по вечерам углами мы боимся даже заглядывать. Только иногда пойдем с Катей к дверям, осторожно раздвинем портьеру и с замиранием сердца смотрим туда. В зеркалах жутко отражается свет из гостиной, как призраки с лампами стоят в полумраке цветы

и высовываются в полосу света, падающего из гостиной.

В углу, за цветами, стоит наше любимое большое кресло, в котором мы свободно усаживаемся вдвоем с Катей. Но сидеть по вечерам одним здесь страшно, так как всегда кажется, что сзади в темном углу стоит кто-то.

В зале бывает хорошо, когда Таня принесет лампу из передней, и мы на просторе затеем беготню или начнем кружиться до тех пор, пока в глазах не завертятся пол и потолок.

В передней, где стоят вешалки с шубами и нянькин сундук, по вечерам тоже страшно. И если нужно пройти через нее в спальню,— пробегаем зажмурившись.

Еще любимое место — в столовой за чайным столом. Бывало, пролезешь туда по расстроенным пружинам, за спиной матери к окну, станешь коленями на край дивана и рассматриваешь свое лицо в самоваре, навалившись животом и локтями на стол, пока не велят сесть как следует.

Впрочем, есть еще одно местечко — в углу за буфетом, куда на шишечку отдушника вешается чайное полотенце. Здесь мы обыкновенно сидим, когда захочется помечтать. Но чаще прибегаем сюда во всех несчастных случаях жизни.

Однако лучше всего все-таки в гостиной.

Здесь все знаешь и любишь до последней мелочи: и знакомый полукруг кресел, и какой-то особенно приятный запах, должно быть, от старинного красного дерева, который всегда держится в гостиной, и даже отдушники на камине с оборванными медными цепочками. Откроешь половинки его железных дверей и роешься, пересматривая все коробочки и ящички.

А когда на праздники приедет молодежь — старшие братья и сестры,— тогда дом, обычно тихий, принимает совсем другой вид: парадные комнаты освещаются по вечерам, из зала слышатся звуки рояля, голоса молодежи. И мы с Катей с нетерпением ждем зимних праздников — Рождества и святок.

II

Зимний Николин день уже прошел. И мы один раз утром, вскочив с постели, увидели в окно снег.

— Зима! Зима! — закричала Катя, захлопала в ладоши и, не удержавшись, села на подушки.

На дворе все побелело — крыши, навесы конюшни, сруб колодца,— все покрылось свежим, пухлым слоем молодого снега. Висячие ветки березы перед окном, все осыпанные блестящим белым инеем, пригнулись еще больше книзу под его тяжестью. В комнатах стало по-зимнему светло, а от рам по-новому пахло зимой.

Я живо надел сапоги. Но Катя не могла сама застегнуть пуговицы на своих башмаках и застряла.

— Что за противные, ну что это!..— закричала она, жестом отчаяния показав на свои ноги с незастегнутыми башмаками.

Как я счастлив, что со дня своего ангела отделался, наконец, от этих проклятых башмаков с пуговицами. Таня и нянька как-то ловко застегивают их шпильками, но мы ломаем себе пальцы, сосем их и, если некому помочь, то кончаем слезами и клятвами — лучше ходить совсем босиком, чем терпеть эту муку.

Покончив с башмаками и наскоро надев свои шубки с красными подпоясками, мы прошмыгнули поскорее в сени. Только бы никто не перехватил по дороге и не отправил умываться и молиться богу,— (самые неприятные процедуры).

В сенях на нас пахнуло запахом мороза. Мы вышли на крыльцо. В свежем морозном воздухе была зимняя мягкость и тишина. На покрытых инеем липах, распушившись, сидели вороны и галки. По двору был проложен первый зимний след на санях. И из трубы кухни, сквозь покрытые инеем ракиты, от топившейся печки поднимался дым, который на свежем морозном воздухе пахнул по-новому.

В воротах сарая стояли выдвинутые наши большие ковровые сани. Они употреблялись только для больших поездок. И мы сейчас же приступили с расспросами к проходившему из кухни Ивану. Он шел к саням и у него была уздечка на руке. От него мы узнали, что сейчас посылают на станцию за большими братьями и сестрами.

И правда, когда мы в столовой пили чай, к парадному подали запряженные гуськом сани.

— Ох, лошадей подали,— сказала, забеспокоившись, крестная и подошла к окну.

— Таня, Танюша! Давай, матушка, Ивану шубу для мальчиков и два больших платка для девочек... да валенки.— Поживее, куда пошла?.. Это что тут такое? — сказала она, наткнувшись ногой на кошачье блюдце в

уголке у буфета.— Это Марья Ивановна все носится с своими кошками, пройти нельзя от этих черепков.

— Не горячитесь, пожалуйста,— сказал дядюшка, подойдя к двери столовой, в своих меховых туфлях и подмигнув нам, как он всегда делал, когда при нас вступал в разговор с крестной и чем-нибудь задевал ее,— а то вы своим криком не только кошек, а и людей всех разгоните.

Крестная, озабоченная отправкой, ничего не ответила. В сани понесли и наложили шуб, больших платков и валенок. Крестная сама, накинув на плечи большой платок, вышла без калош на крыльцо.

Мы, не допив чашек, побежали в угольную, откуда можно было видеть, как сани поедут по березовой аллее к воротам. Подставили стул и, став на него вместе, стали смотреть в незамерзшую верхнюю часть окна.

— Подвинься, мне не видно,— сказала Катя.

— Куда ж я подвинусь? Протри себе дырочку и смотри! — сказал я.

Скоро из-за выступа парадного показались одна за другой лошади и сани, которые мы узнали бы из тысячи других саней и лошадей, и, как будто радуясь молодому снегу, быстро покатили к воротам. Когда они повернули направо и за воротами скрылась задинка саней с разводом, мы слезли со стула.

Теперь нужно было придумать, чем занять себя, чтобы хватило сил и терпения дождаться вечера, когда приедут со станции.

Мы отошли от окна и рассуждали о том, как бы хорошо прокатиться сейчас первый раз в санях по первопутку.

Бывало, когда собираются куда-нибудь ехать, мы с самого утра начинаем надоедать всем и упрашивать взять с собой. И, наконец, добиваемся своего.

Как хороша зимняя дорога в мягкий морозный день!..

К парадному уже поданы сани, нас начинают одевать, суют руки в рукава, которых никак не найдешь, повязывают сверху большим платком, в котором оставляют только маленькую дырочку для дыхания, и ведут на подъезд. Ноги то и дело наступают на полы шубы, платок сползает на самые глаза, так что ничего не видишь под ногами.

Но на дворе так хорошо пахнет морозом и дымом от затопленных печей, сани так удобны и предстоящая до-

рога так заманчива, что крепишься и терпишь всякие неприятности, тем более что дорогой можно прокопать дырку больше и смотреть по сторонам.

Привалишься в санях к высокой спинке, которая изнутри обита сукном, лошади тронут, лихо пронесут мимо мелькающих берез аллеи, деревенских изб, занесенных снегом, мелькнет деревенская околица с посторонившимся пешеходом, и однообразная снежная равнина откроется перед глазами.

Покачиваясь и ныряя в санях по сугробам унылой зимней дороги, следишь за сонно мелькающими по сторонам дороги вешками, одинокими ракитами. В стороне сквозь мглистый, предсумеречный воздух виднеются дубовые вешки, пригнутые снегом, перелески. Подреза саней визжат и свистят по морозному снегу, когда лошади идут шагом, и нагоняют дремоту.

Сидеть, наконец, устанешь и хочется поскорее приехать в тепло натопленные комнаты, где в столовой уже кипит самовар.

До вечера оставалось еще много времени и нужно было чем-нибудь занять его. Мы хотели посидеть на лежанке, но ее еще не топили. Очередные же дела, вроде вырезывания картинок, мы совершенно не могли делать от охватившего нас нетерпения. Выбрав в корзиночке на шкапчике от нечего делать два больших красных яблока и принюхавшись к ним, мы пошли шататься по дому.

— Молодые люди,— сказал дядюшка, опуская газету и взглядывая на нас поверх нее, когда мы проходили через гостиную,— как вы думаете, не пора ли мне устраиваться на зиму?

— Что ж, устраиваться, так устраиваться,— сказали мы и предложили ему свои услуги по перетаскиванию кресла от окна к печке.

— Время-то у вас найдется свободное?

— Найдется,— сказали мы.

— А может быть, я отрываю вас от дела?

— Нет, сегодня у нас никаких особенно дел нет,— сказали мы.

— Ну, хорошо, будь по-вашему,— сказал дядюшка и, встав в своих туфлях с газетой с кресла, отошел от него в сторону, как он отходил, когда Таня выметала из-под него.

Мы положили на ближний стул свои яблоки, направили у кресла колесики, чтобы оно не забирало в сторону, и покатили.

Дядюшка шел с газетой сзади.

— Так хорошо будет? — спросили мы, поставив кресло боком к печке.

Дядюшка сказал, что хорошо. И мы остались очень довольны.

— А в шашки сыграть не хотите?

— На деньги?

— Да уж как водится.

— Нет, мы лучше пойдем погуляем,— сказали мы, соображая, что он все равно обыграет нас и испортит этим настроение на целый вечер.

— Ну, как вам угодно,— сказал дядюшка и принялся за свои дела.

Мы же после обеда пошли в новых валенках гулять и лазить по сугробам. А потом с красными щеками пришли домой, смотреть, как топятся печи и слушать, как шипят и хлопают в них сырые дрова.

Мы втроем — Таня, Катя и я — сидели в передней против печки на полу, смотрели на огонь и говорили тихими голосами о том, когда приедут и не пора ли будить дядюшку.

После обеда, когда большие отдыхают и в доме стоит предсумеречная тишина, хорошо бывает пристроиться где-нибудь в укромном местечке и сидеть.

Поговорив около печки, мы встали и пошли обходить все свои уголки.

— Пойдем посидим за буфетом,— сказала Катя.

Я ничего не имел против этого. Мы прошли в столовую и присели в уголке за буфетом, притворив за собою дверку. Разговор опять зашел о предстоящем приезде братьев.

— Ты теперь с мальчиками будешь все время.

Я сказал, что, конечно, с ними, не вертеться же мне около девочек целую жизнь — и так надоели. И натянул за ушки сапоги, которые мне недавно купили вместо несносных башмаков. Я был постоянно озабочен тем, чтобы голенища не спускались вниз и не делали складок.

— Мне скучно будет,— сказала Катя и занялась дыркой, которую нашла у себя на переднике.

— Отчего же тебе скучно — ты будешь с девочками,— сказал я.— Что ты рвешь, вот крестная задаст тебе.

Катя оставила дырку и, вздохнув, уставилась в одну точку. Она, как никто, была способна по каждому нич-

тожному поводу впадать в меланхолию. Пухлая, румяная, с красной ленточкой сбоку в золотистых волосах, она была очень мила, в особенности когда на ней, как сейчас, был надет белый передничек; он немного жал ей под мышками, и она все поводила плечом. А чулки с резинками натянулись и открывали пухлую, голую коленку.

Я пересидел себе ногу от сиденья на корточках и хотел принести из гостиной ножную скамеечку крестной, но круглые часы над дверью пробили четыре — время, когда просыпался дядюшка и приносили самовар.

— Пора будить,— сказала Катя.

Мы вышли из-за буфета и пошли будить дядюшку.

Он уже проснулся и, лежа на большой дубовой постели, с высокими полукруглыми спинками, рассматривал свои руки.

В этой спальне тоже все нам знакомо и мило, до последней мелочи: большой темный гардероб с выдвижным нижним ящиком, который всегда пищит, как немазаное колесо, когда его выдвигаешь; оборванное кожаное кресло — пара к тому, что в зале,— в которое дядюшка садится, когда надевает сапоги. Висячая этажерка с пыльными книгами и окно в сад, в которое виден угол погреба, куда мы бегаем за яблоками. На стене около гардероба висит на гвоздике охотничье ружье, на которое мы всегда смотрим с интересом и страхом.

Самое большое удовольствие — это забраться к дядюшке на постель, пока он еще не вставал, и поболтать с ним до чаю.

— Ну что, молодцы, приедут наши сегодня? — сказал он, увидев нас и продолжая поглаживать свои волосатые руки.

Мы сказали, что приедут, и полезли на постель.

— Это хорошо,— сказал дядюшка.— Ну, что поделывали нынче?

Мы рассказали, что ходили гулять, топили печку, а сейчас сидели за буфетом.

— Это хорошо,— сказал опять дядюшка.— А баню еще не топили?

— Нет, баню, кажется, завтра будут топить,— сказали мы.

— Пойдете мыться?

— Должно быть, пойдем.

— С кем же вы пойдете?

— Я с мальчиками, Катя — с девочками.



— Так,— сказал дядюшка.— Это хорошо.

— Отчего это у тебя такие волосы на руках? — спросила Катя, сев на пятки.

— А у тебя разве нету?

— Нет,— сказала Катя.

— Покажи-ка.

Катя показала ему обе руки ладонями кверху. Дядюшка посмотрел на ее руки.

— Да, нету,— сказал он.— Ведь я от Адама произошел, оттого у меня и волосы.

— От Адама? — спросила Катя.

— Да.

Мы молчали.

— А что, самовар подан?

— Должно быть, подан.

— Ну, в таком случае надо вставать. Давайте мне сапоги.

Мы подали ему сапоги. Он, сев в кресло, натянул их за ушки на ноги, и, по обыкновению, не подпрятав ушек, встал.

Борода у него была смята на одну сторону, а правая щека и глаз были красны от сна. Потом постояли и посмотрели, как он умывался, широко расставив ноги перед умывальником, фыркая и растирая руками короткую красную шею,— и пошли в столовую.

На диване у валика дремал старый рябый кот — наш враг,— который не понимал никакой игры и на всякое обращение к нему только шипел и царапался лапой наотмашь. Благодаря ему у нас с Катей вечно все руки были изодраны.

Мы накричали на него, натопали ногами и добились того, что он все-таки спрыгнул под стол, а нам очистилась дорога по дивану к окну.

III

Большие, напившись чаю, перешли в гостиную, а мы отправились к Тане. Она принесла с чердака неглаженое белье, захватила из передней жестяную лампу и пошла в зал, чтобы там на просторе развесить белье по стульям и катать его.

Мы пристроились тянуть простыни, взявшись за концы и собрав их сборками в руки.

Одинокая лампа, поставленная под зеркалом, странно освещала большую комнату, оставляя темными углы.

Кончив, Таня уложила белье в корзину, потом сняла башмаки, чтобы не стучать, и мы пошли бегать по залу, а набегавшись, сели втроем в кресло и стали говорить.

— Давайте потушим лампу,— сказала Катя.

Мы погасили лампу и сидели некоторое время молча, глядя на полосу света, под косым углом падавшую на пол из двери гостиной и освещавшую угол подзеркального стола.

Разговор зашел о страшном.

— Отчего это так,— сказала Катя,— днем здесь не страшно, а вечером страшно?

Я сказал, что от темноты.

— На чердаке днем светло, а ты пойдешь туда? — сказала Катя.

Я представил себе чердак, где всегда что-то гудит и из разбитых окон, пугая, с шумом вылетают галки, и не знал, что сказать.

— А вот за буфетом, хоть и темно, а там сколько угодно можно сидеть. Я вчера с полчаса там просидела.

— Это ты сидела, когда рядом в гостиной народ был,— возразила Таня,— а в полночь сядешь?

Теперь Катя не знала, что сказать. Но потом, помолчав немного, по своему обыкновению пустилась в философию.

— А отчего страшно бывает? — спросила она.

— Отчего же так не от них,— сказала Таня. Мы немножко подобрали ноги и промолчали.

— А все-таки, самое страшное — здесь в зале,— сказала Катя,— это после того, как дядюшка нас напугал.

— Я сама видела, как в этом углу стояло что-то серое,— сказала Таня.

— Ничего ты не видела,— сказал я.

— Нет, видела, видела! Хотите?..

Мы ничего не хотели; не стали с ней спорить и поскорее переменили разговор, потому что хорошо знали, что ей только дай волю, как сейчас съедет на мертвецов и разбойников.

Она — хороший человек и товарищ, но у нее какая-то несчастная страсть — пугать нас. Бывало, заведет в темный угол под предлогом желания показать что-то интересное, вставит в рот тлеющую спичку и начнет дышать на нас огненной пастью так, что мы, сломя голову, бросаемся в гостиную. Или начнет в сумерки страшные рожи строить, приговаривая:

— Посмотри-ка на меня!.. А ты знаешь, кто я?

А то иногда приедут гости и нас, маленьких, соберется человек пять; она зазовет всех в спальню слушать сказки. Мы усядемся все по-хорошему, рядком на лежанку, она потушит лампу, сядет сама к стенке и начнет рассказывать такое, что на каждом шагу так и сыплются они, ведьмы да мертвецы; потом вдруг на самом страшном месте упрется ногами в стену, а в нас спиной, ухнет и выпрямит ноги. Мы, не удержавшись на гладких плитах лежанки, с воплем все летим на пол, а потом с ревом, кто на четвереньках, кто как, бросаемся на светлое место в гостиную или в столовую.

Если бы не это, она была бы незаменимым для нас человеком и добрым товарищем. Летом она разыскивает нам в саду удивительно вкусные травы, которые мы набираем себе в подолы, и к отчаянию няньки зеленим все, что не наденут на нас. Выбегает с нами во время первой грозы на дождь и подставляет голову под водосточную трубу.

У Тани румяные губы, русые волосы, стеклянные разноцветные бусы на груди, которая у нее как-то странно увеличилась к этой зиме. Она звонко хохочет и, когда бегает по зале, так проворно увертывается, что ее трудно поймать. А летом всегда вплетет себе венок из васильков и наденет его на свою русую головку.

Мы прислушались к голосам, доносившимся из гостиной, там говорили о том, что долго не едут и что поднимается уже метель. И так было странно слышать эти голоса.

— Как будто неизвестно, кто говорит,— сказала Катя.

Мне были знакомы эти состояния, когда как-то переставишь способность понимания и самые знакомые голоса близких начинают казаться неизвестными и незнакомыми.

Я сделал так, и мне тоже показалось, что голоса какие-то незнакомые, странные.

А было уже семь часов. В березнике все сильнее и сильнее шумел по вершинам деревьев ветер и лепил в окна большими, пристающими к стеклу хлопьями. Начинали уже беспокоиться и при каждом собачьем лае высылали Таню посмотреть, не наши ли едут.

Мы, накинув шубки поверх головы и запахнувшись, так что торчали только одни носы, вместе с нею выбегали ь сени.

Ничего не было слышно. Только равномерно, пустынно, с каждой минутой усиливаясь, шумел ветер в деревь-

ях да изредка, налетая порывами, крутил с угла крыши снег и сыпал им в затишье сеней в лицо, как мелкой сухой пылью.

От ожидания, что вот-вот сейчас зазвенят сквозь шум метели бубенчики и подъедут к крыльцу сани, нам не терпелось, не сиделось.

— Пойдем в гостиную,— сказала Катя.

Мы захватили с собой игрушки: Катя — свою рыжую куклу, я своего плюшевого медведя, проскочили через темную столовую и вошли в гостиную.

Здесь все сидели на своих обычных местах, за своими обычными занятиями. Дядюшка в теплой куртке, сгорбившись и покуривая папироску, сидел у печки. Крестная на диване с большим платком на плечах. Мать сбоку в кресле с вязаньем на коленях.

Крестная раскладывала пасьянс. Новые карты приятно скользили по столу. Мы залезли к ней за спину, под платок.

Балконную дверь всю залепило снегом. А за окном, белея в свете лампы, мотался от ветра выскочивший из-за рамы клок пакли и двигалась по стеклу сухая ветка малины.

— Ой, кто это! — сказала Катя, дотронувшись под платком до моей руки.

— Это моя рука.

— А я так испугалась, мне показалось, что кто-то чужой.

— Тебе всегда кажется,— сказал я.

— Что вы тут возитесь,—сказала крестная, ощупав нас рукой.

Мы притихли и стали прислушиваться к голосам и глухому вою вьюги, налетавшей порывами на окно и на крышу балкона, которая гремела железными листами, как будто кто-то ходил по ней.

При каждом порыве ветра голоса в гостиной смолкали, и наступала тишина, при которой яснее слышалась за окном бушующая метель.

— Как-то наши доедут,— говорил кто-нибудь после молчания.

— Доедут, бог даст,— возражал кто-нибудь другой, и прервавшийся разговор снова начинал равномерно звучать.

Вдруг на дворе, неясно сквозь вой метели, залаяли собаки и понеслись к воротам, что слышно было по уда-

ляющемуся лаю. Потом лай стал быстро приближаться, и в шуме ветра зазвенели бубенчики и остановились у крыльца.

IV

— Наши приехали! — закричала не своим голосом Катя. Я выкатился из-под платка, и мы со всех ног бросились в переднюю.

Кто-то еще проскочил, и мы стукнулись лбами в дверях. Кто-то радостно взволнованный кричал, чтобы давали поскорее огня. Слышно было, как в сенях захлопали дверями, затопали по дощатому полу ноги, обивавшие снег.

— Не лезь к двери,— сказала крестная, поймав меня за плечо, и отодвинула назад, где мне видны были только одни спины. Я бросился в столовую, откуда из окна был виден угол подъезда с его стеклянными рамами и водосточной трубой. Ко мне подбежала Катя, тоже не знавшая, где ей пристроиться, откуда смотреть.

В столовой, покачиваясь на закоптившихся цепочках, уже горела только что зажженная и еще не разгоревшаяся лампа, освещая стол, диван и темный буфет с ключами в дверцах. Я прибежал первым, но Катя все-таки успела занять лучшее местечко.

— Куда ты тут со своими локтями,— сказал я, но она ничего не ответила.

— Лошади! Лошади! — закричала она, прыгая обеими ногами на одном месте около окна.

Мы, наскоро загородившись ладонями, чтобы не отсвечивало, припали к темному холодному стеклу и стали смотреть.

Около угла парадного подъезда, на снегу, освещенном полосой света из нашего окна, темнели силуэты лошадей с дугой и оглоблями. Из саней вылезли белые от снежной пыли фигуры, увязанные платками, и хлопали рукавами себя по полам, с которых спадали пласты снега.

Запоздавшая с огнем Таня, чуть не бегом пронесла через столовую лампу, уже на ходу убавляя огонь, который вытягивался в стекле тонкой струйкой до копоти.

В передней вдруг послышались новые голоса. Мы кинулись туда, но двери из зала и столовой заставились вышедшими встречать. Катя нырнула под локти и все-таки вытеснилась наперед. Я — за ней.

— Это еще что тут,— сказала удивленно крестная, проследив за нашими эволюциями,— что вы тут толчетесь? Станьте к сторонке.

Мы только переглянулись и ничего не сказали, чтобы только не вытолкали отсюда.

В раскрытую дверь из темных сеней входили обвязанные башлыками и платками фигуры. Из-под повязанных платков с набившейся в складки снежной пылью странно и смешно смотрели глаза с белыми от инея ресницами.

И нельзя было разобрать, где Сережа, где Ваня, где Соня, где Маруся.

Все ахали, торопили раздевать.

— Наконец-то, слава богу.

— Заждались, беспокоились.

— Вьюга-то какая, мы думали, что уж вы на станции останетесь,— говорили наперерыв разные голоса.

— Ах, ах, уши побелели. Три, три их скорее! — кричала крестная на Ваню.

— Совсем замерзли... Чаю им скорее.

Катя танцевала около всех, визжала и бросалась то помогать снимать валенки, то тянулась на цыпочках целоваться, пока ее не выставили в зал, чтобы не простудилась.

— А дядюшка по-прежнему в куртке и туфлях, и все по-прежнему — и зал, и цветы, и оборванные цепочки на отдушниках,— говорили с радостными улыбками девочки, целуясь со всеми.

В валенках, с красными щеками, смешные и неповоротливые с дороги, приезжие пошли в гостиную через неосвещенный зал с его высокими цветами, отсвечивающими зеркалами и старинными картинами.

— Нянька, ты еще жива,— сказал Сережа, проходя мимо нее, и поцеловал ее в морщинистую щеку.

— Жива, батюшка, жива, соколик,— сказала Абрамовна, у которой красные, точно с мороза, руки тряслись от радости.

— Ну вот и ладно, живи на здоровье.

Соня забежала взглянуть на рояль.

— Никто, никто без тебя не трогал, не беспокойся, пожалуйста,— сказала крестная, потрепав ее по румяной щеке.

— Молодцы, молодцы! — говорил дядюшка, несколько отходя и осматривая их всех издалека.— Ну, расска-

зывайте, рассказывайте. А я уж тут соскучился без вас, хотел было на войну идти.

— Ну, ну, вояка,— сказала, не выдержав и покосившись на него, крестная.

— Что, думаю, сидеть дома,— говорил дядюшка, как будто не слыша крестной, но смотрел на девочек с таким видом, который говорил, что он прекрасно слышит и доволен тем, что лишний раз зацепил крестную.

В гостиной пошли разговоры, в столовую принесли уже давно кипевший в сенях самовар и загремели посудой.

Мы, переглянувшись с Катей, отправились в зал, несколько времени прогуливались там, прислушиваясь к оживленным голосам, доносившимся из гостиной, и, посматривая на сложенные в передней вещи, наслаждались новизной, внесенной приездом. Потом осторожно вошли в переднюю.

— Не страшно? — сказала Катя, сначала оглянувшись на темневшую вешалку с шубами, потом на меня.

— Пожалуй, ничего,— сказал я,— народ близко. А впрочем, давай перетащим в зал, там к свету ближе.

И мы, упершись руками, повезли чемодан и корзину в зал.

Потом стали обнюхивать углы чемодана, от которого приятно пахло какой-то новизной. Запах был совершенно иной, чем от всех вещей, бывших в доме.

— Интересно, когда они будут открывать,— сказала Катя и опять в двух местах понюхала чемодан.

Наверное, достанут завтра какие-нибудь необыкновенные коньки и отправятся на пруд. А там придут с красными щеками в сумерках и до чая, пока еще в столовой не зажигали огня, соберутся в зал, откроют рояль. Соня что-нибудь играет, и все говорят тихими голосами или перелистывают ноты, отыскивают любимые вещи и подкладывают Соне на пюпитр. Потом зажгут на рояле свечи, Сережа поймает Марусю и понесется с ней в вальсе вдоль стен и рядов стульев. Огонь свечей дрожит и вытягивается, освещая клавиши открытого рояля, тесный кружок молодежи и оставляя в сумраке дальнюю часть зала.

Мы с Катей или сидим под роялем, или начинаем кружиться по комнате под звуки музыки, наблюдая, как перед закружившимися глазами мелькают сплошным кругом зеркала, цветы, свечи на рояле и лица молодежи.

— Да что ты все нюхаешь,— сказал я Кате, когда она еще раз понюхала угол чемодана.

— Помнишь, нам в прошлом году привезли подарки из Москвы: от них точь-в-точь так же пахло.

Это я хорошо помнил, но мне было досадно, что Катя успела завладеть чемоданом и, по-видимому, прочно уселась на нем, тогда как на мою долю досталась корзина. А я тоже хотел сидеть на чемодане. Мне хотелось ее выжить с чемодана, но я не знал, как это сделать, чтобы не было крика. И только сдерживая против нее чувство поднявшейся недоброжелательности, я сказал:

— Не царапай, пожалуйста, ногтем, а лучше всего слезь, если не умеешь обращаться с вещами.

Но Катя уже о чем-то мечтала и не обратила внимания на мои слова.

— Нет, как будет весело. Сколько гостей наедет на святки,— сказала она,— помнишь, в прошлом году даже в зале спали. Помнишь, сколько перин и подушек нанесли из кладовой.

Для нас — это самое веселое время смотреть, как во время наездов гостей из холодной кладовой приносятся запасные постели, подушки. Все это греется на лежанках, и мы залезаем на эти горы подушек, перин и кувыркаемся.

— Ах, как хорошо,— вскрикнула Катя и, поджав одну ножку, поскакала на другой до противоположной стены. Я посмотрел ей вслед и пересел на чемодан.

— Доскакала,— крикнула она, ткнувшись в стену обеими ладонями, переводя дух, оглянулась на меня вся раскрасневшаяся и оживленная.

Все это было очень хорошо. Но когда мы перешли в столовую, где все сидели за чайным столом и внимание всех было сосредоточено на приезжих, а на нас при наших вопросах оглядывались с какой-то досадой, как на помеху, очевидно полагая, что нас видели уже тысячу раз и поэтому с нами можно обращаться небрежно, тут я почувствовал, что, кажется, я немного выиграл от этого приезда. Потом еще я, как на грех, два раза подряд попал под ноги крестной, когда она вставала к буфету за чайницей, и почти сердито крикнула на меня, что я вечно попадаюсь на дороге.

Я обиделся и молча сел на диван около валика,— обычное место рябого кота.

Мы как-то совершенно отошли на задний план, нами не интересовались, на нас не смотрели. Все внимание,

вся ласка были обращены в сторону приезжих. Даже дядюшка и тот как будто совсем забыл о нас.

— Нет, нам это не особенно выгодно,— подумал я.

Катя стала рассеянна и небрежна со мной, как будто отмежевалась от меня, тем более что она у девочек имела больший успех, чем я у мальчиков. Она подсела к девочкам, ее не гнали и даже машинально гладили ее золотистые распущенные почти до плеч волосы.

Она явно важничала передо мной.

Таню я застал подсматривающей в щелку двери. Она смотрела на Сережу и при моем появлении покраснела и, не сказавши мне ни слова, быстро отвернулась. Очевидно, я и ей помешал чем-то.

Я совсем было упал духом, в особенности за ужином, когда нас посадили с матерью, далеко от мальчиков и подвязали несносные салфетки под самые уши.

Но тут стали расходиться по своим комнатам, и тишина успокаивающегося дома вернула хорошее настроение и сознание, что в сущности все идет по-старому: мы дома, с матерью, и ничто нам не мешает чувствовать себя хорошо.

V

Мать в белой ночной кофточке и короткой нижней юбке стояла в спальне на коленях перед образами и читала вслух вечерние молитвы.

Мы, дети, стояли сзади, у раскрытой постели, тоже на коленях, повторяли слова и старались не смотреть друг на друга, чтобы не смеяться. Или же прислушивались к знакомым звукам засыпающего дома и то и дело ошибались в словах.

Слышно было, как в темной уже столовой дядюшка заводил круглые часы над дверью, потом долго чихал. Как защелкивались на ночь дверные крючки, и крестная, уже в ночной кофте и со свечой в руке, обходила дозором все комнаты, заглядывала под диваны и стулья и сама отыскивала и выкидывала попрятавшихся после ужина кошек.

— Ангел мой хранитель, сохрани меня и помилуй,— сказала мать, кончая молитву.

— Ангел мой хранитель...— повторили мы, но взглянули друг на друга и, едва успев зажать ладонями рты, фыркнули.

Мать поднялась от пола, с покрасневшим от наклоненного положения лицом и отделившейся прядью волос, и оглянулась на нас.

Мы сделали серьезные лица, с особенным усердием положили в последний раз по поклону и вскочили на ноги.

Пока мать кончит молиться, можно было успеть раздеться и в одних сорочках посидеть на лежанке. Я наскоро снял сапоги, обшитые вверху полоской лаковой кожи, панталоны, чулки. Катя — тоже. И мы уселись рядом на теплых гладких плитах лежанки.

Было что-то необъяснимо приятное в этом сиденьи на лежанке, в ощущениях, какие испытывались при этом, в прислушивании к тому, как ходят по дому перед сном, как затихает постепенно жизнь в доме. Наши детские постели были открыты и нам следовало бы отправляться туда; но мать позволяла иногда полежать на ее большой постели. На широком просторе этой постели с большими подушками можно было кувыркаться, прятаться и вообразить себя бог знает где. Тогда как наши, окруженные сеткой со всех сторон, были похожи на какие-то клетки, в которых только и оставалось делать, что спать.

— Мы немножечко,— сказала Катя, попросившись у матери.

Мы спустились с лежанки, пробежали босыми ногами до постели и, ухватившись за точеную дубовую шишку спинки, полезли.

Катя с первого же шага застряла, так как постель была высока и она не могла поднять ногу.

— Не толкайся! — сказала она мне.

— А ты лезь скорей.

— Я не могу лезть без скамеечки.

— Тогда незачем соваться вперед.

— Пожалуйста, не учи!

Тут я оттащил ее обеими руками, вскочил на кровать и, держась за спинку, прошел к стене, где было мое обычное место. Катя ложилась в средине. Пока она подставляла скамеечку и влезала на кровать, я примерялся и, не сгибаясь, пластом повалился вниз лицом на подушки с холодными, нынче смененными наволочками. Принюхался к приятному запаху свежего белья, недавно вышедшего из-под утюга, перевернулся на спину и стал наблюдать, как тень матери на стене кланяется и переламывается на потолке, а потом зарылся головой под подушки.

— Подвинься, пожалуйста,—сказала Катя,— вечно займет чужое место.

— Что ты ко мне сегодня лезешь! — сказал я, высунув на минуту голову из-под подушки.— Ступай, пожалуйста, к своим девочкам.— И залез опять под подушки.

— Это ты ступай к мальчикам, а мне незачем идти,— сказала Катя и тоже полезла под подушки. Я встретился с ее рукой и оттолкнул ее.

Дышать было трудно, я высунул голову не со стороны Кати, а со стороны стены и отдышался немного. Вошла Таня, чтобы поставить нам воды на ночь. Я стал выкидывать всякие штуки, чтобы она обратила на меня внимание, но она, рассеянно взглянув на меня, ушла.

Мать кончила молитвы, спустила юбку, развязала завязки и погасила лампу. Потом, ощупав в темноте постель, подняла край одеяла, пропустив на нас холодок, и, кряхтя и обминая перину, села на заскрипевшую под ней кровать.

Я притих и, почти не дыша и редко моргая в темноте, прислушивался к этим знакомым движениям матери перед сном. Она, сидя, ощупала рукой нас, неслышно лежавших под одеялом, потом поправила у себя за спиной подушки и, шепча про себя молитвы, крестила вокруг себя и целовала, перебирая кресты, чуть звеня ими.

— Ну, что же нынче рассказать? — сказала она, натянув на себя одеяло.

— Про немцев,— сказала Катя.

— Вечно немцы,— сказал я,— лучше про волшебника.

Катя согласилась, но ей почему-то потребовалось сначала узнать его наружность,— какая у него борода, какие сапоги.

Меня задела эта мелочность, как что-то направленное против меня. Чтобы не слушать этих описаний, я опять залез под подушки и, лежа там, почему-то вспомнил, как Таня смотрела в щелочку на Сережу. Мне стало досадно, что на меня она так никогда не смотрела; в этом взгляде была какая-то особенная заинтересованность и боязнь. И он на нее смотрел как-то иначе, чем на всех. В особенности вслед ей, когда она проходила в спальню с чистым бельем на руках и со свечой. Как будто он ждал, что она оглянется на него в дверях. И, правда, она оглянулась.

— Чудеса!.. что-то тут есть,— подумал я.

Когда я высунулся из-под подушки, мать уже расска-

зывала самое интересное. Катина нога зачем-то очутилась на мне.

— Что ты тут с своими ногами,— сказал я.

Ответа не было. Она уже спала.

— Катя спит,— сказал я.

Для меня это известная история: только начнут рассказывать, не пройдет и минуты, как она уже свернется и спит. А зачем-то подробности потребовались.

За окном была все такая же бурная зимняя ночь. Ветер все так же завывал. И в шуме его, изредка доносимый ветром, слышался редкий, тревожный звон сторожевого колокола.

VI

С приездом братьев и сестер я в первый раз в этом году почувствовал, что очутился в каком-то скверном, промежуточном положении: я не принадлежал ни к кругу мальчиков, ни к кругу девочек.

Казалось бы, я с полным правом мог водить компанию с мальчиками, но по их взглядам я скоро понял, что они только-только терпят меня, и при всякой попытке с моей стороны войти в более тесные сношения проявляют не совсем приятные для меня чувства.

У них все находятся какие-то разговоры, которых мне, бог знает почему, нельзя слушать. Если даже они затевают самую обыкновенную возню, то и здесь я оказываюсь лишним, так как, помогая кому-нибудь одному, начинаю кусать другого. Против этого неизменно восстает даже тот, ради которого я старался.

Катино положение несравненно лучше моего, потому что девочки оказались гораздо сговорчивее. Она, кажется, уже почувствовала, что у меня дела обстоят неважно, и щеголяет передо мною преимуществом своего положения среди старших. И в то же время наблюдает за мной, не останусь ли я с носом. Чувствую, что на этой почве у нас с ней скоро возникнут серьезные недоразумения. В особенности невыгода моего положения сказалась, когда все за два дня до рождества собрались в баню.

Обыкновенно в баню нас вместе с Катей брали сестры. И я, не подозревая для себя никакой неприятности, пошел в комнату девочек распытать, скоро ли мы пойдем.

Когда я вошел туда, Катя была уже там. Она посмотрела на меня с таким видом, как будто я пришел отнимать какую-то ее собственность. И сейчас же повернулась ко мне спиной.

Остальные на меня сначала не обратили внимания. Но тут Соня стала переодеваться в баню и, оглянувшись на меня, сказала:

— Ты что торчишь. Иди отсюда, ты уже не маленький. Стыдно смотреть, когда сестры переодеваются.

Меня выставили.

Сначала я обиделся, хотел им показать язык. В особенности при виде Кати, которая явно торжествовала. Потом вдруг сообразил, что дела вовсе не так плохи, если меня соблаговолили причислить к большим, и вышел даже с некоторым достоинством.

— Это новость,— сказал я себе почему-то вслух и прошелся по зале. Приподнявшись на цыпочки, посмотрел на себя в зеркало, чтобы узнать, не видно ли признаков, по которым они отнесли меня к большим. Но признаков я никаких не увидел.

— Значит, все-таки что-нибудь есть,— сказал я сам себе шепотом, отходя от зеркала.

Я направился в комнату мальчиков. Хотел было спросить, с ними ли я пойду. Но решив, что при теперешнем положении дел это подразумевается само собою, переменил намерение. Когда я вошел, братья, раскрыв чемоданы, сидели около них на корточках, доставали для бани белье и кстати разбирали вещи.

Я с видом своего человека тоже присел около них на корточки. Сережа перелистывал какую-то книгу, говорил о женщинах и совал Ване под нос какие-то картинки. Ваня, всегда скромный и застенчивый, с досадой отвертывался и просил не показывать ему таких мерзостей. И потом добавил, что вообще не мешает быть осторожнее, так как в комнате есть кое-кто лишний. Я с удивлением оглянулся, чтобы узнать, кто это лишний забрался сюда, но никого не увидел.

Потом я, заметив на дне Сережиного чемодана книжку, похожую на ту, которую он показывал Ване, выудил ее оттуда и хотел тут же пробежать ее от нечего делать. Но Сережа почти испуганно вырвал ее у меня из рук.

— Что ты суешь свой нос, куда не следует? Нечего тебе тут торчать. И вообще ты еще мал, уходи отсюда.

Он встал, повернул меня лицом к двери и слегка толкнул пальцем в плечо.

Меня выставили и отсюда. От неловкости я скорчил рожу и, согнув голову, пошел в коридор. Там я постоял немного, обдумывая свое положение, потом присел у за-

мочной щелки. Хотел назло подсматривать, но изнутри был вложен ключ. И я ничего не увидел.

— Хорошо еще, что Катерина не видела,— сказал я, испуганно оглянувшись по сторонам.— Что же это значит: уходи отсюда, ты уж не маленький... убирайся отсюда, ты еще мал,— говорил я про себя. То маленький, то большой — ничего не понимаю.

Теперь возникал практический вопрос: с кем же я пойду в баню — с мальчиками или с девочками. И не ожидает ли меня здесь какой-нибудь грандиозный скандал на радость Катьке.

Раздумывая над этим, я пошел в спальню к дядюшке, где была крестная, чтобы как-нибудь выяснить этот деликатный вопрос. Но вслед за мной прибежала и Катя. Мне поневоле пришлось отложить свои справки и притвориться беззаботным.

Дядюшка, сидя в спальне в кресле, у постели, кряхтя переменял туфли на сапоги, чтобы идти в баню. Несмотря на то, что самовар был уже подан, он по своему обыкновению отказался пить чай, так как любил это делать после бани. Крестная стояла перед выдвинутыми ящиками комода и доставала белье.

— Только уж, пожалуйста, ничего не забывайте,— сказал дядюшка,— а то будете опять присылать с женским полом то мыло, то мочалку, а дам нам вовсе не нужно.

Крестная ничего на это не ответила и только, немного погодя, сказала:

— А вы вот не извольте поддавать там до сорока градусов.

— Это уж наше дело,— сказал дядюшка, отвечая крестной, но глядя на меня.

— А что Михалыч придет в баню?

— Пришел твой Михалыч.

Захар Михалыч — это наш с Катей большой приятель. Он всегда, когда приходит, приносит нам пряников и конфет. Мы собираем от них бумажки с картинками и оклеиваем ими внутреннюю часть крышки большого сундука в спальне. Ходит он зимой в высокой барашковой шапке и овчинном полушубке, сзади из воротника у него всегда торчит ремешок вешалки.

Мы побежали в столовую поздороваться с Захаром Михалычем. Он пришел с красненьким узелочком, не хотел раздеваться и, держа шапку в руке, а узелок под мышкой, ждал, когда соберутся идти в баню.

— Вы что тут танцуете, отправляйтесь собираться,— сказала крестная, наткнувшись на нас,— кто с кем пойдет?

— Ты что же с мальчиками идешь? — спросила у меня Катя, не глядя на меня и просверливая пол каблуком.

Я так растерялся от этого вопроса, что не знал, как ответить. Промычав что-то неопределенное, я побежал к матери, чтобы поставить, наконец, этот проклятый вопрос на совершенно определенную почву. Там я услышал успокоившее меня известие, что я пойду с мальчиками, Катя — с девочками.

— А кто раньше пойдет? — спросила уже подоспевшая и сюда Катя.

Мать сказала, что мы пойдем раньше.

— А почему не мы, почему? — спрашивала Катя, сев на край сундука и глядя на свои вытянутые ножки в туфельках, которыми она шевелила, капризно держа голову набок.

— Потому что Тихон Тихонович любит жарко,— сказала мать и подала мне белье, свернутое трубочкой.

— Хороши будете и после нас,— сказал я, почувствовав под собою почву.

Я взял белье и побежал в переднюю одеваться. Расскакавшись туда, чтобы с разбегу ткнуться лицом в мех шуб на вешалке, я налетел носом на что-то твердое. Оказалось, что это — Сережа, искавший свою венгерку.

— Что ты летаешь, как сумасшедший? — сказал он.

Я не знал, что ответить, и полез разворачивать и искать на вешалке свою шубу.

— Ты куда это собираешься? — спросил он, подозрительно проследив за мной.

— В баню,— сказал я, не оглядываясь и продолжая рыться.

— С кем?

— С вами...— сказал я, поперхнувшись.

Катя была уже тут и ждала, чем кончится этот разговор.

— С нами? Это еще зачем?

И он в шубе и в шапке пошел выражать протест.

— Началось,— подумал я, стараясь не встречаться взглядом с Катей, и с бьющимся сердцем ждал, чем кончится эта история. Те гонят, эти гонят, прямо деться некуда. Что на них наехало.

— Пусть идет с девочками,— послышался из столовой недовольный голос Сергея.

— Это еще зачем?! — закричали, выскочив из своей комнаты девочки.— Нет уж, пожалуйста, избавьте, мы Катю берем, что вы его вечно нам суете.

Я должен был стоять и выслушивать все это.

— У него уж скоро борода вырастет, а вы его все с нами посылаете.

Я невольно с испугом схватился за подбородок.

— Господи, когда же кончится эта каторга? — подумал я в отчаянии.

— Навяжут вечно малышей и возись с ними,— недовольно проворчал Сергей.

Вышел дядюшка; он был в своей хорьковой шубе, от которой мы отрывали хвостики. Из поднятого воротника торчала его сжатая воротником седая борода.

После переговоров о том, есть ли в бане мочалки, свечка, мы разыскали свои калоши и пошли.

— Спички не забудьте,— крикнула вслед крестная.

— Пожалуйста, не беспокойтесь,— сказал дядюшка, и мы вышли на мороз.

VII

Никогда не бывает так приятно идти в баню, как зимним, предрождественским вечером, когда крепкий морозный снег скрипит под ногами, из запушенных морозом окон столовой падают на снег полосы света и по окнам ходят тени. А в березнике, за деревьями светится подслеповатое, наполовину завешанное окно бревенчатой деревенской бани.

Сережа с усилием открыл прилипшую от мороза дверь и весь пропал в теплых облаках пара. Я проскочил за ним и, не снимая башлыка, повязанного поверх шапки, остановился в предбаннике. Баня была низкая, почерневшая, законопаченная в пазах бревен паклей. На потолке висели блестевшие от лампы капли пара. От дощатой перегородки пахло нагревшейся смолой. На перегородке была прибита старая деревянная вешалка, служившая прежде в доме.

Маленькие, слезящиеся окошечки, широкие мокрые деревянные лавки, полки, тазы и особенный банный дух...

— Не угорим? — сказал дядюшка, держась за борты шубы, и, еще не снимая ее, взглянул на Захара Михалыча.

— Угорим — вытащат,— сказал Захар Михалыч, как всегда быстро раздеваясь.

Я с удивлением заметил, что кальсоны у него не белые, а полосочками. А у дядюшки на груди была седая шерсть.

Занявшись наблюдением, я стоял около двери, закутанный, как кукла, и мешал всем.

— Что же ты стал? — сказал мне Сережа, наткнувшись на меня.

— Я не достану развязать башлык.

— Завязывают зачем-то на спине, изволь развязывать,— проворчал он.

Не успел я снять шубы, сделать кое-какие наблюдения, как Захар Михалыч, тощий, как индеец, стоял у чана и, широко расставив ноги, чтобы не обвариться, лил в глиняный таз кипяток, от которого столбом в потолок шел пар, а потом сидел на полке и, крепко зажмурившись от мыла, намыливал голову.

— Я в одну минутку,— приговаривал он после каждого всплеска,— по-нашему — раз, два и готово.

— Ах, хорошо! — приговаривал дядюшка, тоже сидя на полке.— Вот хорошо-то! Лучше бани ничего нет на свете.

Его борода смокла и повисла сосулькой, а седые остатки волос торчали по краям лба вверх. Он набирал полную мочалку мыла, тер себе ею бедра, грудь и под шеей, задирая вверх бороду.

Мне тоже налили воды в глиняный таз (мне хотелось в медный) и посадили одного внизу, чтобы не было жарко, на широкую деревянную скамью. Обыкновенно прежде нас сажали вместе с Катей над одним тазом и, велев зажмуриться, мылили головы и лили на них из кружки теплую воду, причем мы утирались обеими руками, едва успевая отфыркаться. А потом смотрели друг на друга с мокрыми вихрами, с мелькающими в глазах радугами.

Сидя теперь один, я не знал, что делать, с чего начать и боялся пустить мыло в глаза, а потому, повернувшись спиной, чтобы не видели, пускал мыльные пузыри, дуя в трубочку кулака, окунал лицо в таз с водой и старался смотреть под водой.

— Вы, молодой человек, вымылись? — спросил дядюшка.

— Вымылся,— сказал я.

— А что же вы сухой совсем?

Захар Михалыч уже вымылся и собирал на лавке свое белье с полосочками в узелок.

— Михалыч, чай пить оставайся,— сказал дядюшка.

— Нет, покорнейше благодарю,— сказал Захар Михалыч, почему-то никогда не остававшийся после бани чай пить, и свободной рукой надел свою остроконечную шапку, поблагодарив за баню, скрылся за дверь, напустив полный предбанник седых клубов морозного пара, от которого я невольно подобрал ноги на лавку.

Когда мы все закутанные вышли из бани, свежий морозный воздух как-то особенно хорошо пахнул после горьковатого банного духа. Звезды сияли на небе. А из окна спальни искрился и падал снег на столбик балясника со снегом. Там, должно быть, собирались большие сестры с Катей и Таней.

Придя домой, я долго ходил и принюхивался к странному, приятному после бани запаху дома.

А в спальне было слышно, как дядюшка, кряхтя и разговаривая с сапогами, которые трудно снимались, переменял их опять на туфли.

Все было хорошо, сейчас придут из бани, сядут пить чай, потом большие пойдут сидеть в гостиную, молодежь — в зал, зажгут там стенную лампу и свечи у рояля. И так всем хорошо, что завидно на них смотреть. Только мне одному не находится нигде подходящего места.

«То маленький, то большой,— ничего не разберу!»

VIII

Сережа и Ваня так не похожи друг на друга, что кажется странным, что они родные братья.

В Сереже много такого, что заставляет то ненавидеть его, то восхищаться им. Он красив, строен, со старшими почтительно спокоен. С молодежью весел и остроумен. На нем всегда куртка или мундир от хорошего портного. И всегда от его чистого платка пахнет хорошими духами. Волосы у него всегда чем-то смочены и тщательно причесаны с красиво сделанным сбоку пробором. Он очень следит за своим туалетом. В его чемодане мне удалось рассмотреть много интересных вещей: каких-то флаконов с гранеными пробками, коробочек с помадой.

Одним словом, у него такой вид, что когда он появляется в гостиной, у всех на лицах невольно отражается: «Вот он у нас какой молодец».

В особенности это написано бывает на лицах у сестер, когда к ним приезжают какие-нибудь барышни и

в это время входит Сергей. А мы с Катей очень заметили, что он любит общество молодых женщин и даже, по некоторым лично моим наблюдениям, общество Тани.

С нами, детьми, он грубоват, не любит, когда мы торчим перед носом и гоняет нас прочь без всяких разговоров. Но иногда в добрую минуту поймает меня за пояс и поднимет вверх, как гимнастическую гирю. А там, не угадаешь его настроения, подвернешься не вовремя под руку — и летишь из комнаты.

Ваня, наоборот, всегда замкнут, большей частью сидит с книгой и морщится, когда кто-нибудь приезжает, и всегда старается незаметно уйти наверх, проворчав недовольно:

— Покою никогда не дадут.

Внешностью своей он совершенно не занят: на нем просторная казенная куртка со слабо висящим поясом и широким, не по его шее, воротником. На макушке у него постоянно торчит пучок жестких волос, которые, кажется, ничем нельзя пригладить.

Он всегда серьезен, смотрит больше как-то вниз и предпочитает быть один. И поэтому, как только напьется чаю или пообедает, сейчас же уходит или наверх или в зал, где долго ходит, думая о чем-то. Сережа называет это:

«Пошел Америку открывать».

Большие часто с тревогой смотрят на него, когда он встает из-за стола и уходит в зал. Иногда покачивают головами, а мать вздыхает.

Мы часто ломаем себе голову, что он может делать в зале или наверху. И сколько мы ни сидели за дверью в зале под шубою крестной и ни смотрели на него в щелочку, решительно не могли увидеть ничего интересного, никакой Америки там не было, а просто он ходил, глядя под ноги, вдоль стоящих у стен стульев, изредка останавливался, смотрел в окно, потом опять начиналось хождение.

Но мне нравилось то, что большие относятся к нему с какой-то тревогой и настоящей серьезностью, боятся за него. Последнее мне особенно нравится. Пожалуй, и сам бы не отказался видеть с их стороны к себе такое отношение и не слышать постоянного:

«Куда суешь нос? Не лезь локтями на стол».

Глядя на братьев, я теперь часто с недоумением думаю, кому же мне из них подражать?

В Сереже меня соблазняет его жизненный успех.

В Ване его непонятная для меня жизнь, которая заставляет больших относиться к нему с осторожностью и серьезностью.

На первых порах я попробовал было подражать Сереже. Для этого прежде всего решил справиться с волосами и заставить их стоять так же, как у Сережи. Я долго ерошил их перед зеркалом, стащил палочку фиксатуара и так наваксил их, что крестная, встретившись со мной в передней, отшатнулась от меня.

— На кого ты похож? Что у тебя за перья такие, скажи на милость? — сказала она и потащила меня на свет. Потом, подведя к умывальнику, сама отмыла мне фиксатуар водой с мылом.

Пришлось ограничиться простым приглаживанием щеткой. Кроме того, я каждые пять минут чистил свою курточку и, когда в зале никого не было, вертелся перед зеркалом, приподнимаясь на цыпочки.

Я даже додумался устраивать себе интересный румянец на щеках, разжариваясь перед топившейся печкой. И на Таню пробовал смотреть таким же взглядом, каким, я заметил, смотрит иногда Сергей на нее. Если она входила за чем-нибудь в комнату, потом уходила, я, стоя вполуоборот, смотрел ей вслед затаенным взглядом. И если она в дверях машинально оглядывалась на меня, я поспешно отводил свой взгляд и быстро повертывался к ней спиной.

В первый раз у нее выразилось что-то похожее на удивление: она даже остановилась и еще раз оглянулась на меня. Мне это очень понравилось.

Потом я целыми днями возился в зале со стульями, поднимая их, как Сергей, для гимнастики за ножки, пока не разбил хрустального подсвечника на подзеркальном столе.

Кроме того, мне хотелось производить впечатление на общество, говорить остроумные вещи и смешить всех, как Сергей, но дело с этим совсем не пошло: меня совершенно не слушали, потом часто просто обрывали и замечали, что врываться в разговор старших нехорошо.

Пришлось это оставить.

Подражать Ване было значительно легче: для этого только прежде всего пришлось привести свой вихор в первобытное состояние. Я взлохматил его, насколько это было возможно при короткости волос, садился где-нибудь в уголку, но так, чтобы быть на виду, и уставлялся глазами в одну точку.

Затруднение было только в том, что я, сколько ни бился, решительно не знал, о чем мне думать, и в голову, как нарочно, лезла всякая чепуха: пирожки с вареньем, которые сегодня будут за чаем, подножка, которую мне дала сегодня Катя, когда я проходил по коридору, и мысль о мести. И мне ужасно стоило большого труда направить свою мысль на те несправедливости, какие чинят мне большие братья и сестры.

Если мимо меня долго никто не проходил, я пересаживался на другое место, откуда скорее могли бы заметить мое мрачное состояние.

Один раз прошла крестная и, увидев мою физиономию с запущенной всей пятерней в волосы, она с любопытством посмотрела на меня и сказала:

— Ты чего это губы надул?

Это меня оскорбило. Я посмотрел на нее и ничего не сказал. Только мать сразу же попалась на удочку: увидев меня в таком небывалом, мрачном настроении, она испуганно воскликнула:

— Господи, ты еще о чем задумался?!

— Ах, оставьте меня, пожалуйста, никогда покою не дадут! — сказал я, вставая и уходя. Я был благодарен ей и удовлетворен вполне.

— Слава богу,— подумал я,— наконец-то соблаговолили заметить, что мне не так легко живется, как они думают.

IX

Бывает такое время в праздники,— обыкновенно между плотным завтраком с пирогом и обедом,— когда никак не придумаешь, чем заняться. Старички сидят в гостиной, молодежь собралась где-нибудь в угольной или в спальне на сундуке и лежанке. И завидно смотреть на них: так это они удобно и уютно устроились, разговаривают, дурачатся. И только нам не находится нигде подходящего места.

Слоняешься по дому, то около одних посидишь, то около других и хорошо знаешь, что терпят тебя только до тех пор, пока сидишь и не подаешь голоса.

Был третий день праздника. Приехал кое-кто из молодежи и между прочим подруга Сони — Раиса, красивая девушка с удивительно белой кожей и маленькими, мягкими, белыми руками. Я часто на нее посматривал. У нее были очень густые волосы и около румяных щек

спускались два слегка вьющихся золотистых локона, которые качались всякий раз, когда она, смеясь, повертывала голову.

Молодежь, затворившись, сидела в угловой на диване, и все, тихо разговаривая, смотрели на огонь топившейся печки.

Дядюшка сидел в гостиной, просматривал от нечего делать вчерашнюю газету, и, когда мы проходили мимо него, он опускал ее, смотрел нам вслед, потом опять принимался за чтение.

Крестная с большим теплым платком на плечах, раскладывала пасьянс, потом, оставив карты на столе, пошла в зал, потом в столовую и так как ее тоже, очевидно, томило безделье, скоро нашла там непорядки.

Сейчас же оттуда послышался удар полотенцем по дивану и ее гневный голос:

— Брысь!.. Что за лежни каторжные, разлеглись.— И мимо наших ног, отряхаясь ушами, прошмыгнул в гостиную под диван черный кот и, пригнувшись, испуганно высматривал оттуда.

— Развели эту ораву! — кричала крестная на подвернувшуюся мать, заступницу всех угнетенных.— Чтоб духу их тут не было, этих толстомясых. Куда ни пойдешь, везде кошки.

Дядюшка опустил газету, посмотрел сначала в столовую, потом на нас.

— Наша повелительница сегодня в особенно грозном настроении,— сказал он,— как бы и нам не попало.

Потом взгляд его упал на оставленный на столе пасьянс. Он осторожно встал с кресла в своих туфлях и, подмигнув нам, стащил колоду карт, опустил ее в просторный карман своей куртки и как ни в чем не бывало уселся опять на свое место.

Мы с Катей (у нас с ней было заключено перемирие) решили посмотреть, чем это кончится.

Крестная, наведя порядки, пробрав по дороге Таню за неполитые цветы, пришла опять в гостиную и, взяв платье в руку, пролезла за стол на диван. Она несколько времени оглядывала стол, как будто не могла сразу сообразить, чего ей не хватает.

Дядюшка еще глубже ушел в газету.

Крестная взглянула на него, потом опять на пустой стол и прямо, без дальних разговоров, закричала:

— Давай, давай, вижу, что подцапал. Нечего притворяться.— Дядюшка, как будто не понимая, о чем идет раз-

говор, удивленно выглянул из-за газеты, но крестную нельзя было обмануть, и она самым решительным образом требовала карт.

Дядюшка сначала пробовал было сказать, что мало ли здесь народу ходит, но это не помогло, и он полез в карман за картами.

— А очки где? — сказала крестная.— Изволь сейчас же отдать.— Теперь уж дядюшка возмутился. Он никаких очков не брал, но крестная, раз изобличив его в воровстве, не хотела слушать никаких доводов и сама пошла обыскивать его карманы.

С очками у нее вечная история. Она сама же занесет их куда-нибудь или оставит на цветочном горшке у окна, где в сумерках читала газету, а потом кричит на всех и больше всех на дядюшку, что ее очки забельшили, что у всех пустые головы, никто не помнит, куда кладет.

Очков у дядюшки не оказалось, и она, несмотря на его убедительные просьбы не трогать его вещей, искала на его столе, поднимая газеты и хлопая по ним руками.

— Вот заварили кашу-то на свою голову,— сказал дядюшка, взглянув на нас, и покачал головой.

Мы постояли немного и пошли.

Молодежь в угольной сидела с ногами на большом диване и говорила тихими голосами. В комнате стоял уютный сумрак, какой бывает в пасмурные дни зимой, и кажется, что наступают сумерки, хотя до обеда еще далеко. В печке трещали и шипели дрова, в большое окно, покрытое легким зимним узором, был виден занесенный глубоким снегом сад с белыми от инея деревьями и уголок балкона с колоннами.

Здесь шли разговоры, какие обыкновенно бывают, когда молодежь соберется где-нибудь в уютном уголке и перебирает воспоминания, смешные случаи, которые известны всем участникам разговора.

Или совещаются о том, как проводить время на праздниках.

— А все-таки насколько веселее прежде было на святках,— сказала Соня,— когда мы были маленькие.

— А сейчас разве тебе плохо? — спросил Сергей, взглядывая из-за Сони на Раису.

— Нет, и сейчас хорошо,— сказала Соня,— но тогда было удивительно, сколько народу бывало, катались каждый день.

— А помните, как мы в прошлом году на больших санях с горы катались и у Маруси что-то соскочило,— сказал Сергей.

Все засмеялись, а Маруся по обыкновению вся покраснела, начала оправдываться. Но всем хотелось смеяться и никто не слушал ее объяснений.

Громче всех смеялась Раиса и при этом взглядывала на Сергея. Он замечал эти взгляды и, казалось, для нее говорил смешные вещи. Мне стало завидно. Я залез на диван и стал за спиной Сони около Раисы. Один раз она передвинулась и, прислонившись к спинке дивана, придавила мои ноги, но сейчас же, не оглянувшись на меня, отодвинулась. Мне это понравилось, и я, как будто без всякого умысла, подвинулся поближе к ней.

Катя, очевидно, решив, что я занял удобное местечко, тоже полезла было на диван, но я так посмотрел на нее, что она поспешила отказаться от своего намерения, сообразив, очевидно, что перемирие кончилось и теперь лучше держаться от меня подальше.

— Пойди посмотри, накрывают на стол или нет,— сказала мне Соня и потянула меня за рукав курточки, так как я не слышал.

— Не хочется,— сказал я,— пусть Катя сходит.

— А что Ваня все там сидит один,— сказали девочки,— куда он все прячется; как хорошо, когда все вместе. Надо его найти.

«Я, кажется, влюблен»,— подумал я, когда все встали с дивана и пошли разыскивать Ваню, чтобы втянуть его в свою компанию. Я задержался нарочно на пороге угловой и смотрел вслед Раисе, не оглянется ли она на меня. Она не оглянулась.

В передней я столкнулся с Таней, которая стояла перед зеркалом и, подняв локти, стягивала сзади кончики беленького платочка, которым она, убирая комнаты, повязала волосы, что очень шло к ней.

Я остановился и посмотрел на нее тем особенным скрытым взглядом, какой я усвоил себе по отношению к ней, и, когда она оглянулась на меня, быстро повернулся от нее и был очень доволен.

«Но в кого же я влюблен?» — подумал я, вспомнив, что я только что на Раису смотрел таким же взглядом. Обдумывая это, я все-таки пошел смотреть, что будут делать с Ваней.

Проходя через столовую, я машинально оглянулся и увидел, что отставший куда-то от всех Сережа подошел в передней к Тане и, не видя меня, охватил ее шею рукой и поцеловал в раскрытые губы.

Я был поражен. Это значит, пока я пробавлялся одними загадочными взглядами, они уже вон как дело обернули?..

Не зная, куда себя деть, я опять пошел в гостиную, потом в угольную и опять в гостиную.

— Что ты, милый мой, сегодня шатаешься, точно пристанища себе не найдешь,— сказала крестная, проследив за мной взглядом.

Я ничего ей не ответил и, когда Сергея уже не было в передней, нарочно прошел мимо Тани и хотел уничтожить ее взглядом, но она не обратила на меня никакого внимания.

Тогда я решил, что в теперешнем моем положении самое подходящее для меня — сесть где-нибудь на видном месте и задуматься. Я так и сделал.

Но в это время молодежь, очевидно, уговорила Ваню бросить свои вечные книги. Они всей гурьбой пробежали мимо меня в угловую, со смехом цепляя по дороге стулья, и затеяли там возню с бросаньем друг в друга диванными подушками.

Мимо меня, как нарочно, никто не проходил, и я только напрасно сидел в своей мрачной позе, в то время, как смертельно хотелось пойти и принять участие в возне.

«Что за каторжная жизнь,— подумал я,— ничего не придумаешь!»

X

После обеда в комнатах наступила обычная праздничная послеобеденная тишина. Кто ушел прогуляться после обильного обеда, кто пристроился поудобнее с книгой на диване, подложив под локоть с одной стороны валик, с другой — подушку.

В коридоре затопляются печи, в передней заправляются лампы; Таня, держа в полотенце ламповое стекло, дышит в него и чистит щеткой, которую снимает с гвоздика у черного шкафа, где стоят лампы.

Вся молодежь решила нагрянуть к Захару Михалычу в его маленький домик с крылечком и теплыми низкими комнатками, а кстати прогуляться по морозцу.

Девочки надели в зале перед зеркалом свои шапочки и вуалетки с мушками, которые придавали их лицам какую-то странную прелесть, напоминавшую о зиме, о морозе. Потом всей гурьбой пошли через парадную переднюю в сени.

Было заманчиво пойти к Захару Михалычу в его маленькие комнатки с дощатыми перегородками, ситцевыми занавесками, теплой лежанкой и котом на ней, который всегда дремлет, поджав под себя, как муфту, лапы. Заманчиво рыться и пересматривать давно знакомые вещицы на его рабочем столе, рассматривать разные коробочки, открывая и закрывая их. И чувствовать себя при этом полным хозяином.

В то время, как сам Захар Михалыч ходит в соседней комнате, открывает то один, то другой шкафчик, шуршит там кульками и уж, наверное, вытащит к чаю множество самых вкусных вещей: разных пряников — темных с белой сладкой обливкой, белых мятных,— орехов обсахаренных, халвы, которая отделяется слоями и всегда так пристает к ложечке, что ее никак не отскоблишь зубами.

Все это расставит сам на раздвинутом по случаю гостей столе, покрытом чистой скатертью, нальет в соседней комнате стаканы чаю, поставит их на разложенные по столу маленькие салфеточки и только тогда уже зовет нас.

И у него в этом маленьком зальце с пучками сухих трав за образами и с маленькими запушенными морозом окошечками, все кажется гораздо вкуснее, чем дома: и эти черные сладкие пряники медовые, которых у нас дома никогда не подают, большие плоские конфеты в бумажках с картинками, и халва,— все кажется необыкновенно вкусно.

Главное же, что здесь чувствуешь себя желанным полноправным гостем. И пряники-то эти покупаются потому, что мы с Катей любим их, и Захар Михалыч знает это.

Сам он всегда садится сбоку стола у окна, поставив свой стакан на подоконник, поглаживает седые усы, посматривает в окошечко и кивает головой на разговор. А когда заметит у кого-нибудь пустой стакан, молча забирает его, несмотря на сопротивление, и идет за перегородку наливать. И только придя оттуда, скажет:

— Пей, все равно помирать-то.

А потом на стол подаются принесенные из погреба яблоки, ставятся на подносе, покрытом салфеточкой, орехи всевозможных сортов — мелкие, крупные, пастила сухая белыми и розовыми столбиками и специально для нас оставляется после чаю тарелка с пряниками, ку-

да из принесенного кулька подсыпаются какие-то еще мелкие с буквами и с начинкой в середине.

Мы среди ореховой скорлупы и конфетных бумажек затеем игру в дурачки и незаметно просидим до самого вечера. Тогда Захар Михалыч ни за что не отпустит без закуски и на столе, вместо сластей, появляются тарелки с нарезанной колбасой, коробочки сардин, с отвернутыми жестяными крышечками, сыр с маслянистыми дырочками и две бутылки сладкого вина, которого нам наливают так же, как и всем, по целой рюмке.

Когда уходим домой и, одеваясь в маленькой тесной передней, зовем его с собой, он всегда говорит, что придет после, и остается, проводив нас в сени, где сам откроет щеколду с большим железным кольцом. И стоит несколько времени без шапки на крыльце. Мы кричим ему, чтобы он уходил в дом, не простудился бы, и просим скорее приходить к нам. А когда Захар Михалыч придет и скромно сядет где-нибудь в уголке, к нему ни разу не подойдешь, а если и подойдешь, то не знаешь, о чем с ним поговорить, и чувствуешь себя немножко виноватым.

Но сегодня я был в припадке такой черной меланхолии, которая неизвестно откуда накатила на меня, что не соблазнился всеми приятными перспективами прогулки к Захару Михалычу и остался дома.

Раздумывая, что предпринять, я пошел в зал, посмотрел на себя в зеркало, подставив к нему стул, чтобы не приподниматься на цыпочках и ближе себя рассмотреть, немножко пригладил ладонью вихор и потер щеки. Неприятно было то, что у меня оттопыривались уши, как у крысенка, и, наверное, сзади это было не особенно красиво, я хотел было посмотреть, но никак не мог увидеть себя сзади, сколько ни повертывался то тем, то другим боком.

В передней кто-то стукнул, и я, едва не загремев со стула, поспешно спрыгнул на пол.

У меня было такое чувство, как будто я ждал чего-то, оно не приходило, и я ощущал странное беспокойство.

Не зная, что больше делать, я сел в уголок за дверью под шубой крестной и стал обдумывать свое положение.

Теперь я здесь сижу один, а там, наверное, Захар Михалыч уж полез доставать свое добро из шкафчиков. Хорошо, если он вспомнит обо мне и пришлет с Катей своих черных пряников. Раиса, наверное, украдкой изредка взглядывает на Сережу. «А где же Таня?» — подумал я и посмотрел в щелочку.

Таня сидела в передней на сундуке и что-то шила, неумело, как все горничные, держа иголку двумя пальцами. При мысли, что мы одни с ней дома, так как большие все отдыхают, меня охватило какое-то странное волнение. У меня так забилось вдруг сердце и застучало в ушах, что я не мог больше усидеть на месте и хотел было выйти, но вдруг остановился.

Куда же я пойду? И что мне сделать? Сесть и задуматься так, чтобы она видела? Но для этого я чувствовал себя слишком возбужденным. Посмотреть так, как я на нее смотрю? Но я проделываю это уже целую неделю и начинаю чувствовать, что она перестает обращать внимание на эти мои взгляды.

В передней кто-то хлопнул парадной дверью. Я приложился опять к щелке и увидел Сережу, его высокую шапку и меховые выпушки венгерки на груди. Он почему-то вернулся с дороги. Разделся и прошел в зал, по дороге умышленно зацепив Таню рукой. Таня не подняла головы и еще ниже опустила ее над шитьем, щеки у нее покраснели.

Наскоро закрывшись шубой, я слышал, как Сережа из зала прошел в гостиную, потом в столовую, как будто он хотел убедиться, нет ли кого поблизости. Потом я вдруг услышал скрип его шагов в передней и стал смотреть в щелку.

Мне было видно, как он подошел к Тане. Сел около нее,— она не отодвинулась от него,— подвинулся совсем вплотную к ней и хотел с ней что-то сделать, отчего она, вспыхнув, вскочила, хотела убежать, но почему-то не убежала, а Сергей зачем-то стал ломать ей руки.

Сначала я подумал, что он показывает свою силу, и возмутился.

«Нашел с кем связаться»,— подумал я. У меня замерло сердце и захватило дыхание: подать помощи ей я не мог, а смотреть, как калечат человека, было ужасно.

Скоро я заметил, что она свободно могла вырваться и убежать, но, к досаде моей, не успевала воспользоваться столько раз представлявшимся случаем и оставалась сидеть. Очевидно, ей это нравилось. «Не думаю, чтобы мне могло понравиться, если бы у меня стали так вывертывать руки»,— подумал я, в волнении глядя в щелку.

— Ну вот и дура, вот и мучайся,— говорил я шепотом сам с собою.

Потом увидел, что дело здесь не в ломании рук и решил ждать, чем кончится эта история. Но тут я, вздумав

поудобнее сесть, передвинул пересиженную ногу, потерял равновесие и, не удержавшись на корточках, ткнулся носом в дверь.

Сергей при неожиданном стуке быстро отскочил и убежал в спальню. А Таня схватила шитье, но у нее дрожали руки и щеки горели пожаром.

Я поспешил переменить место и, проскользнув в гостиную, сделал вид, что смотрю в окно в сад.

«Вот что делается на белом свете,— подумал я.— Вот, если бы Раиса увидела».— Но сейчас же почему-то представил себе, что она подумала бы обо мне, если бы увидела меня подсматривающим в щелочку за Сережей с Таней. Мне вдруг стало так почему-то стыдно, что уши загорелись.

Мне стало как-то нехорошо. Не зная куда себя деть, я пошел и сел за буфетом.

«Пошел бы лучше к Захару Михалычу,— думал я, сидя на корточках и расковыривая ногтем дырочку в стенке буфета,— пряники бы черные ел, халву и в дураки бы сыграли». И главное, что ясно чувствовал, у меня было бы на душе светло и чисто, а теперь у меня было ощущение вины перед кем-то.

Уже принесли самовар. Встал и ходил по комнатам дядюшка, а я все сидел в углу и машинально прислушивался, как гремели посудой и ложечками. Скоро придут сюда за чайным полотенцем и откроют мое убежище.

— Ой, напугал меня! — сказала крестная, открыв дверку.— Что ты сюда забрался?

— Я ничего...— сказал я и пошел слоняться по дому.

XI

На четвертый день праздника был назначен вечер и ожидалось много гостей.

Святки — хорошее время. Много оживления, шума, всяких игр с завязыванием глаз и беготней по всему дому, в которой даже мы можем принять участие.

По вечерам молодежь устраивает гаданье, девочки топят воск, смотрят в зеркало и кричат на Сережу, который строит им рожи из-за спины в зеркало.

Все комнаты имеют неуловимо праздничный вид. Все, начиная от свежевымытых полов, кончая запахом пирогов, которые приносят из кухни на железных листах и временно ставят на маленький шкафчик в столо-

вой, на котором нянька пьет чай в стороне от большого стола,— все это напоминает о праздниках.

Обедают уже не в столовой, а в зале на двух сдвинутых вместе столах, которые покрываются длиннейшей скатертью. Ставятся длинные ряды приборов, которые мы с Катей считаем, обходя стол, в то время как на нем расставляют рюмки, бутылки на подносе и складывают треугольничком салфетки.

В гостиной на большом столе все время ставят всевозможные закуски в откупоренных с отогнутыми крышечками жестянках, на круглых и на узеньких длинных тарелках нарезанная кружочками копченая и вареная колбаса, огромный кусок сочного маслянистого сыра, красные, красиво наложенные краешками один на другой, ломтики семги, окорок ветчины и стопочка маленьких тарелочек. А на подносе с нарисованным на нем замком помещаются горкой вина в темных и светлых бутылках с разноцветными головками из свинцовой бумаги, которые можно будет,— когда опорожнятся бутылки,— снять и употребить на свои дела.

Мы время от времени подходим к матери и, потихоньку попросив разрешения, долго осматриваем все расставленные блюда, тарелки и коробочки, выбирая, что бы такое повкуснее съесть.

Никогда не бывает так хорошо, как когда приходят зимние праздники.

Еще накануне Рождества, когда уже стемнеет, из города приезжает Иван, весь забеленный снегом, с поднятым воротником тулупа, который у него подвязан под шеей платком. Вносит какие-то интересные ящики, кульки, ставит их на пол в передней и уходит за другими.

Мы в нетерпении топчемся около и суем носы во все покупки, пока нас не прогонит крестная, сказав нам, чтобы мы не танцевали перед холодной дверью.

А в четверг в столовой раздвинули стол, вставив все запасные доски, которые всегда стоят за шкафом, из кухни принесли самый большой самовар и поставили вдвоем с трудом на поднос. В холодной кладовой из побелевших от мороза стеклянных банок накладывались всевозможные варенья и наше любимое: обсахаренные груши с палочками, из деревянной кадочки застывший, как сливочное масло, мед, из маленького шкафчика доставались принесенные утром из печи белые рассыпчатые пышки, крендельки, перевитый хворост и все это

ставилось на середину чайного стола в сухарницах с подстеленными салфеточками.

А около самовара на белой скатерти стояли расставленные стаканы, чашки с ложечками, блестевшими серебром от света большой лампы над столом.

Ходишь кругом этой благодати и не знаешь, на что смотреть.

— Попроси у мамы кружочек копченой колбасы,— сказала мне Катя, взяв палец в рот и глядя из гостиной на стол с закусками.

Я сказал на ухо матери. Получив, что требовалось, мы сначала выковырнули и съели белые кусочки сальца и, упрятав остальное за щеку без хлеба, отправились в зал, стараясь подольше не есть, чтобы удержать во рту приятный соленый вкус.

Кое-кто из гостей уже приехал. В передней висело много чужих шуб, некоторые просто были свалены на сундук. В них можно было очень удобно прятаться. Иногда можно было отыскать на меху чьей-нибудь шубы хвостик, как на дядюшкиной хорьковой, и оторвать без опасения, что это обнаружится.

Приезд гостей святочным вечером — это самая приятная вещь. После каждого нового гостя думаешь, кто еще приедет. Приятнее всего наблюдать, как дом изменяет свой обычный вид, как одна за другой зажигаются лампы — в черной передней, в парадной, в коридоре.

— Зажгите в зале стенные лампы,— сказал голос крестной в гостиной.

И мы побежали смотреть, как их будут зажигать. Эти лампы на двух противоположных стенах зала зажигались только в редких торжественных случаях. Парадная передняя тоже осветилась, там зажгли обе стенные лампы по бокам большого зеркала. Матовые шары абажуров отражались в зеркале, и их казалось четыре, а не два.

Сначала мы расхаживали по широкому простору празднично освещенного зала, осматривали закусочный стол и подъедали кусочки, когда в маленькой комнате резали колбасы и семгу. Там же стояли на полу под окном темные нераспечатанные бутылки, около которых мы присели на полу и осмотрели их свинцовые головки.

Потом катались, повиснув на дверях, обходили вешалки и нюхали шубы, пахнувшие морозом и мехом.

Каждые десять минут на дворе раздавался лай со-

бак и подъезжали к парадному все новые и новые сани. Мы выбегали смотреть, кто приехал, а чтобы нас не прогнали оттуда, прятались за вешалки, становясь ногами в большие галоши.

Таня была в новеньком платье с беленьким фартучком и с бантиком в волосах, как барышня.

Один раз я тихонько пробрался в переднюю и зарылся в шубы, незаметно от Тани, чтобы посмотреть, не зайдет ли сюда Сережа. И когда я мысленно представил себе, как я могу подсмотреть, что они будут делать в передней, у меня так же, как прошлый раз, забилось сердце и застучало в ушах.

В зале начинались танцы. Уже мелькали, кружась в вальсе, отдельные пары. В гостиной, раздвинув зеленые столы и расставив по углам новые необожженные свечи, блестя нагнувшимися лысинами, сидели старички. Раскинув веером по сукну только что распечатанные карты, размечали и приготовляли листы для записи. А после партии, чтобы поразмять ноги, подходили к дверям зала и смотрели на танцующую молодежь.

— Вы что же не танцуете? — сказал дядюшка, взяв меня за голову и повернув ее к себе, как повертывают арбуз.

Я ничего не ответил. С кем же бы я стал танцевать. И потом, наверное, меня сейчас же выпроводили бы, чтобы не *мешался* под ногами.

О нас теперь совсем забыли и не обращали никакого внимания. Это еще спасибо дядюшке, что он мимоходом все-таки хоть скажет слова два.

Старшие все были заняты гостями,— озабочены, суетились,— и мы то и дело попадались кому-нибудь на дороге.

— Отойди к сторонке... сядь, видишь, здесь танцуют,— сказала крестная Кате и вывела ее за руку из зала в гостиную.

Я хотел было позлорадствовать, зазевался на них и сам попал матери под ноги.

— Что вы вечно толчетесь на дороге! — крикнула мать, наскочив на меня. Я наконец возмутился этим, хотел было расплеваться со всеми и уйти наверх, но так как все были заняты своим и не заметили бы ни моей мрачности, ни моего отсутствия, то я передумал, решил остаться и все-таки поискать развлечений.

Как раз в это время от Отрады приехали в гости мальчики и девочки. Нас свели и познакомили. Я стал

их занимать, водил их под рояль, где был такой гром и звон, что старшая из девочек, особенно нравившаяся мне, зажимала пальчиками уши и, выбежав оттуда, прыгала на одной ноге, встряхивая своими кудряшками с красненькими бантиками у висков.

Она была в белом платьице, слабо и низко перехваченном поясом, в беленьких чулочках и белых туфельках с бантиками. Ее каштановые волосы до плеч встряхивались при каждом ее движении. Когда она, забывшись, кого-нибудь слушала, правый глаз ее немного косил, и это очень шло к ней.

Выбрав момент, когда детей повели к закусочному столу, я убежал в угловую, чтобы свериться с зеркалом, какое я могу произвести впечатление.

Впечатление по моим соображениям должно было получиться хорошее: на мне были сапожки, новенькая матроска с отглаженными воротничками, короткие волосы были приглажены и причесаны с боковым пробором. На щеках румянец, который я тут же усилил, потерев наскоро щеки руками. В общем я был похож на картинку из модного журнала, где изображены мальчуганы с обручами.

Но что заставило меня серьезно задуматься, так это уши. Сколько я ни придавливал их пальцами, они все оттопыривались слишком в стороны.

— Э, да ничего, сойдет,— сказал я сам себе.

Раза два я уходил от детей и, как будто без особого умысла, проходил через переднюю, где была Таня. Я ждал, какое я впечатление произведу на нее. Впечатления, очевидно, никакого не было. Тогда я спрятался в темной спальне, бывшей рядом с передней — оттуда можно было видеть все, что делается в передней — и с замиранием сердца ждал, не придет ли Сережа. Таня изредка подходила к дверям зала и смотрела на танцующих, потом подходила к зеркалу и смотрела на себя.

Но я заметил, что Катя как-то подозрительно относится к моим исчезновениям. Один раз я, долго смотревши на Таню из спальни, подошел к ней, у меня забилось сердце и я не знал, что мне делать. Не зная, с чего начать, и решив положиться в этом всецело на пример Сережи, я схватил ее за руки и начал вывертывать и ломать пальцы, стараясь сделать это как можно больнее.

— Что ты, взбесился, что ли? — вскрикнула Таня,

испуганно стараясь вырвать у меня свои руки.— Он ошалел, мои матушки,— сказала она, вырвав руки и сильно толкнув меня в грудь. Я отлетел к вешалке.

В это время Катя выглянула в переднюю в своем беленьком платьице и сказала громко, как будто нарочно, чтобы ее кто-нибудь услышал:

— Что ты здесь делаешь? А?

Таня ничего не сказала и только потирала руку, с раздражением глядя на меня.

— Ничего. Тебе что нужно?

— А я маме скажу.

— Убирайся вон,— сказал я, став к ней боком и плечом.

— Хочешь, скажу? — продолжала Катя.

— Ничего я не хочу,— сказал я,— ты мне поклялась портить жизнь. Можешь проваливать отсюда.

Я повернул ее за плечо и слегка толкнул по направлению к двери.

«Как я раньше не видел, что это за человек»,— подумал я, проследив за ней из передней, пойдет она говорить матери или нет. У нее появилось какое-то необыкновенное чутье, как будто она каждую минуту знала, куда я пойду.

Главное, досадно было, что она совсем добродетельная и у нее нет ничего, к чему можно было бы придраться и осадить ее. А меня она еще недавно застала за не совсем хорошим делом: раскуриванием попавшегося под руку окурка, потом были еще кое-какие дела.

Обо всем этом она молчала, но тем смирнее приходилось мне с ней быть. И правда, стоило только мне зацепить ее чем-нибудь, как она сейчас же громко говорила:

— Ты что ко мне пристаешь? Хочешь, я маме скажу, как ты...— И я принужден был отступать, даже не всегда зная, на что она намекает.

Когда я после всей этой истории вышел в зал и увидел отрадненскую Наташу, с ее бантиком в волосах, мне стало стыдно того, что я сидел где-то в темной спальне и подсматривал, а потом так позорно оскандалился с Таней, которая меня толкнула в грудь.

И я больше уже не показывался в переднюю целый вечер и все время был около Наташи. Мне было так легко и хорошо и в то же время так неприятно вспоминать о том, что было в передней, что когда мимо меня прошла Таня с вазой яблок, мне и на нее было неприятно смотреть, и я сделал вид, что не заметил ее.

Окна в зале вспотели. Молодежь, отдыхая после танцев и обмахивая веерами и платками разгоряченные лица, прогуливалась по широкому простору зала.

— Граждане! — сказал Сережа, похлопав в ладоши, чтобы обратить на себя внимание.— Граждане, пойдемте гулять.

— Идем, идем, ночь чудесная,— послышались голоса.

Услышав, что собираются идти гулять, мы с Катей бросили своих гостей и выскочили в переднюю отыскать свои шубы. Но, оказалось, что их перенесли в спальню.

Нужно было одеться, выскочить раньше всех на крыльцо, а потом незаметно замешаться в толпу, иначе Сережа сейчас же скажет:

— Вы куда это собрались? Возьмите-ка их, рабов божиих.

Молодежь со смехом высыпала в переднюю и стала разбирать шубы. Я, чуть не прихватив себе дверью пяток, выскочил в сени. Катя за мной. Она не успела завязать платка, и я принужден был на дворе завязать ей концы сзади.

Ночь была месячная, крепко морозная, с бездной высыпавших звезд на небе, с переливами неясных лунных теней. От угла парадного подъезда падала под косым углом тень на снег. Накатанная полозьями дорога перед крыльцом блестела на месяце.

Через минуту на освещенный месяцем снег выбежали одна за другой черные фигуры и с морозным скрипом каблуков по крепкому снегу веселой, шумной толпой пошли к воротам. Ворота были в тени, и только видная в них деревенская улица с избами была ярко освещена полным месяцем, высоко стоявшим на небе.

Мы, наблюдая за своими тенями, побежали за всеми.

— Как хороша ночь,— сказал кто-то. И все на минуту затихли.

Все строения — амбары, конюшни, занесенный сруб колодезя — были неподвижно закованы в снегу, как заколдованные. И только в тени их чудилось, будто шевелятся какие-то призраки. Избы на деревне стояли все засыпанные глубокими сугробами, белея в свете месяца пухлым слоем снега на крышах.

Деревья неподвижно спали, избы спали, и только звезды над ними жили и горели в высоком небе.

На выгоне около церкви разъезженные в разных направлениях дороги ясно белели взвороченными краями,

и ровная, пухлая пелена снега искрилась миллионами огоньков.

Когда все вернулись, в зале был уже накрыт длинный стол для ужина. Нам разрешили остаться на ужин. И мы в ожидании, когда сядут ужинать, ходили вокруг стола, потрагивая спинки стульев.

Потом побежали посмотреть, как гостям будут готовить постели. На лежанке в спальне уже лежали груды подушек, принесенных из холодной кладовой; мы помогали их носить в дальние комнаты и складывали на место, не упускали случая перекувыркнуться на них через голову.

— Ты о чем говорил с Наташей? — спросила у меня Катя, когда мы возвращались по коридору в зал.

— Ни о чем, тебе что за дело? — сказал я.

После ужина некоторые гости разъехались, некоторые остались ночевать. Наши гости из Отрады уехали первыми.

Мы стояли в передней и смотрели, как их одевали. Наташу поставили на стул, надели сначала капор с мотающимися над глазами шариками, потом всунули руки в рукава бархатной вишневого цвета шубки, застегнули и покрыли большим платком, который завязали сзади, повернув ее на стуле, как куклу.

Из платка мы увидели только одни глаза, которые, я заметил, смотрели на меня. В дверях, когда ее повели садиться в сани, она еще раз оглянулась на меня.

— Нет, это удивительно хорошо! — сказал я сам себе, когда мы возвращались в зал.

— Что хорошо? — спросила Катя.

Я едва не проболтался о том, что я сейчас чувствовал, когда Наташа оглянулась на меня в дверях, но вовремя сообразил, что с этим человеком лучше быть поосторожнее и не давать ему против себя лишнего козыря в руку.

— Так, ничего...

Мужской молодежи отвели комнату наверху, старички поместились в угловой и гостиной. Поговорив и посмеявшись еще несколько времени после ужина, в то время как со стола убиралась посуда, недопитые рюмки и стаканы, встряхивались и складывались салфетки, все разошлись по комнатам, и скоро дом стал затихать.

Но еще долго из-за приотворенных дверей слышался молодой, веселый смех и виднелся в щелях дверей свет.

XII

Прежде, бывало, как только праздники кончались и молодежь уезжала, наша жизнь опять входила в свою колею. И опять мало-помалу мы начинали чувствовать все прелести нашей детской жизни и всего того, что было вокруг нас.

В первый день после праздников, бывало, бродим из комнаты в комнату и смотрим, как все стало пусто. Еще вчера в зале танцевали, стоял смех, веселый говор. Теперь тихо, как будто ничего не было, только на столах везде ореховая скорлупа и конфетные бумажки.

Таня убирает комнаты, стирает тряпкой пыль со столов. А мы, подставив стул к буфету, а на стул скамеечку крестной, выдвигаем крайний ящик и смотрим, что осталось от всех тех бумажных кульков и коробок, которые привозились к празднику.

На всех лицах уже не было праздничной добродушной беспечности, все были по-будничному заняты и озабочены. И мы ходили и не знали, что бы такое начать, за что взяться. На всем был такой вид, точно сорвали какой-то волшебный красочный покров.

Но зато мы опять в это время начинаем пользоваться прежним вниманием. Дядюшка, сидя у окна и делая что-нибудь ножиком, разговаривает с нами. По-прежнему мы ходим его будить, набиваем ему папиросы, показываем свои книжки с картинками и вместе с ним отмечаем в гостиной на стене, насколько передвинулось на весну солнце.

Нам приятно было наблюдать незаметный перелом в зиме после праздников, когда вся заманчивость морозов, метелей прошла и когда по вечерам в заходящем солнце, и в дольше негаснувшей заре, и ее отблесках на стене дома и на стволах берез видишь неуловимое дыхание весны. И хотя в воздухе та же зимняя стужа и так же крепок мороз в солнечные дни,— когда шляпки гвоздей на воротах белеют от морозного инея,— все-таки небо и вечерние зори уже не те.

И вот живешь, бывало, этим возвращением к нашей тихой, обыденной детской жизни после шума праздничной суеты, после наездов гостей; и так милы и полны прелести кажутся нам наши тихие будни, наши вечера в гостиной, беготня босиком по залу и даже война с котом.

Теперь же, после этих праздников,— все изменилось. Меня уже не привлекают наблюдения за послепраздннч-

ной переменой, за переломом в зиме, за оттенками зари вечерней на стене.

Первые дни я все старался думать о белом платьице, о глазах, смотревших на меня из-под капора, точно в противовес чему-то, но потом сдался и по целым дням стал торчать в передней или сидеть за дверью и смотреть на Таню, когда она после обеда спит на сундуке, закрывшись рукавом.

Но у Кати появилось положительно какое-то необыкновенное чутье. Она каждую минуту замечает, что меня нет, и сейчас же отправляется на поиски.

При ее приближении бросишься, сломя голову, за вешалки и, затаив дыхание, ждешь. Она, не решаясь войти одна в темную переднюю, позовет меня, постоит у двери несколько времени и уйдет.

Выгода моего положения та, что Катя смертельно боится темноты, а я еще нарочно перед вечером каждый раз наскажу ей таких вещей, что и самого дрожь пробирает.

Но зато как только я появляюсь в гостиной и щурю глаза, отвыкшие от света, она сейчас же обращается ко мне с вопросом, где я был, отчего у меня щеки такие красные...

Я еще не могу установить, видела ли она что-нибудь или только догадывается о моем времяпрепровождении по вечерам, но ее обычное теперь: «а я маме скажу» — звучит для меня так внушительно, что я предпочитаю отступать во всех наших столкновениях.

Это теперь мой злейший враг. Мы почти не разговариваем с ней и все время на ножах.

— Что ты за мной таскаешься,— сказал я один раз, остановившись и посмотрев на нее вполуоборот.— Никуда от тебя пойти нельзя.

— А ты куда?

— Я в угольную,— тебе что?

— И я в угольную.

— Ну и иди, пожалуйста. Привязывается как жеребенок, противная девчонка.— И я повернул назад.

— Сам ты противный,— сказала она мне.

— Отстань!

— А я знаю...

— Ну и радуйся.

Она точно поклялась мне мешать. И я мщу ей, как могу. Иногда затащу ее в темный угол и рычу на нее

страшным голосом, как это делала прежде с нами обоими Таня. Когда ей нужно бывает вечером пройти через переднюю, я, забежав вперед, залезу под шубы и начинаю там ворочаться, так что она с порога бросается опрометью назад.

Целыми часами я просиживал в кресле, откуда было видно, что делается в передней, принимал интересные, на мой взгляд, задумчивые позы, чего-то ждал, прохаживался перед зеркалом и с удовольствием устроил бы, как Сережа, себе куртку сзади петушком, если бы она у меня была, но пока куртки у меня не было и я таскал ненавистную теперь для меня матроску с отложным воротником и белыми каемочками.

Я знаю, что весь я ушел в грех, и Катя с своей невинностью стоит передо мной постоянно, как живой упрек, а главное — как помеха.

Теперь я только и мечтаю о том, что вдруг выпадет такой счастливый вечер, когда все уедут куда-нибудь или уйдут в гости.

Вечно подозрительный взгляд Кати сделал, наконец, то, что я, по ее милости, не мог теперь прямо, как прежде, смотреть всем в глаза и держал их больше вниз.

Один раз я услышал, что, вероятно, в нынешний великий пост мы будем говеть и в первый раз исповедоваться. Меня бросило в жар. Что же я буду на исповеди говорить?.. Этого я совершенно не предусмотрел. Не сказать — невозможно, тогда неизвестно, что будет, может быть, тут же на месте... А если сказать про такие вещи... да еще в церкви, да еще батюшке с его седыми нависшими бровями... «Так вот ты,— скажет, какой! Вот какими делами занимаешься... За дверями сидишь да подсматриваешь!»... О, господи. Нет, лучше — смерть.

Но бесы делали свое дело. Приходили соображения о том, что до исповеди дело еще далеко, десять раз можно еще успеть раскаяться и исправиться, так что и на исповеди говорить будет не нужно. Что старое вспоминать. И я, махнув рукой,— будь, что будет,— отдавался во власть дьяволу и его приспешникам.

Все равно теперь уж ничего не сделаешь. Лучше я у матери стащу двугривенный и поставлю свечей побольше. Но, думая так, я все-таки избегал смотреть в образной угол, где висел Николай-угодник, с почерневшим ликом в серебряной ризе, с зеленым камнем в мирте.

Нет, все бы ничего, если бы не эта противная девчонка... Катька. Она отравляет мне все. То ли дело было бы, если бы были одни большие, им и в голову не приходит справляться, почему я из гостиной куда-то пропадаю каждый вечер, почему чаще, чем прежде, сижу за дверью и почему у меня щеки бывают красные.

А дядюшка,— тот и вовсе всегда сидит в своем кресле и ничего, кроме своих газет, не знает.

Не представляю себе человека удобнее и лучше его в этом отношении.

XIII

Как сейчас вижу его маленькую зябкую фигурку. Сидит в меховой куртке у своего стола, на котором в строгом порядке лежат его вещи, и, углубившись, тщательно вырезывает что-нибудь ножичком или чертит карандашиком на бумажке.

Так как дядюшка страдает одышкой и никуда не ходит, то большую часть времени проводит, сидя в кресле у стола, и поневоле принужден изобретать себе занятия, чтобы не скучать.

Но в этом отношении он, благодаря своему мирному характеру, устроился очень хорошо и строго оберегает раз установившийся порядок своей жизни. Даже это оберегание является для него своего рода деятельностью.

Его занятия заключаются в чтении газет, в вырезывании каких-нибудь кружочков, в склеивании всевозможных коробочек и в разговорах с нами.

Кроме того, у него есть пристрастие подбирать всякие веревочки от покупок, всякие коробочки,— и складывать все это к себе в особый ящик стола.

К своим вещам дядюшка относится с величайшей аккуратностью: у него, например, есть особенные щипчики для сахара, которые он купил лет десять назад, и никому их не дает. Они совершенно новенькие, блестящие, так что завидно смотреть. Каждый раз перед чаем он вынимает их из стола и после чаю, обтерев, снова запирает.

И ножницы у него такие же блестящие, острые, тогда как мы вырезываем свои картинки какими-то черными размоловшимися на винте. Никто с такой аккуратностью не следит, чтобы стол к обеду и ужину был накрыт в назначенный час, чтобы хорошо были натоплены печи, так как он зимой больше всего любит тепло.

И всегда сам подойдет и в нескольких местах потрогает печку рукой.

— Что-то, как будто, не совсем горяча печка,— скажет он.

— Она еще нагреется,— скажет Таня.

— Отчего же она нагреется? — скажет дядюшка.— Нет, матушка, ты уж, пожалуйста, как следует натопи, а то ты, я вижу, хочешь меня заморозить. Ты, должно быть, сердита на меня за что-нибудь?

Он никогда не упустит случая посердить чем-нибудь крестную или напугать ее каким-нибудь подложным письмом, которое сам сочинит, сидя у стола и накрывая листок бумаги газетой, когда кто-нибудь проходит мимо. А потом, аккуратно запечатав, велит Ивану передать его вместе с почтой крестной.

И не жив, чтобы не поссорить старушек между собою.

Если же он сидит с нами, то не переставая сочиняет нам всякие истории, обманывает нас, ворует у нас наши краски и карандаши и сидит с невинным видом, покуривая папироску, в то время, как мы теряемся в догадках и предположениях о пропаже.

— Это ваша крестная, должно быть, сцапала,— скажет дядюшка,— то-то я видел, она все вертелась тут.

Встает он всегда рано, сам убирает за собою постель, умывается холодной ключевой водой и долго молится богу в зале, а потом пьет чай, наливая себе непременно сам, так как никому не доверяет этого дела, и приносит на свой стол в гостиную.

Не спеша пьет, покуривая папироску, и всегда стакан ставит не прямо на стол, и не на салфеточку, а почему-то на клочок бумажки.

После обеда он около часу отдыхает в спальне на постели крестной и перед сном любит поболтать с нами. На нас же возлагается обязанность будить его к вечернему чаю, и мы всегда с нетерпением ждем, когда часы в столовой будут показывать четыре,— время вечернего чая.

Ночью дядюшка спит не в спальне, а в гостиной на диване и всегда сам приносит и стелет себе постель. Сначала раскинет и постелет простыню, подоткнет получше края под спинку дивана, потом положит подушку, кулаками вомнет углы внутрь и хлопнет по ней ладонью в знак окончания дела.

После этого приготовит себе папирос на ночь. А после ужина, подставив стул, заведет ключом часы в столовой, почихает в углу и долго молится уже без огня, при свете

лампады. Только слышен шепот молитв, усердный стук пальцев о лоб и скрип половиц, когда он становится на колени, и опираясь руками о пол, поднимается с колен.

На третий день после праздников дядюшка сидел в своем кресле и клеил какую-то особенную коробочку для папирос.

Мы с Катей возились в зале на полу над устройством ветряной мельницы, и нам потребовался острый нож.

— Надо попросить у дядюшки, иначе мы до вечера не кончим эту историю,— сказала Катя, вставая с пола и отряхая с платьица стружки.

Я выразил сомнение в том, что он даст. Но все-таки мы, оставив разбросанные на полу палки, отправились просить дядюшку одолжить нам нож.

Мы хорошо знали, что дядюшка своих вещей никому не дает. Чего же лучше: этот его ножичек уже сточился весь, и кость на ручке пожелтела от времени, но нам в руки он ни за что его не даст. Можно было надеяться только на какое-нибудь чудо.

Мы подошли к его креслу и изложили свою просьбу, сказав, что нам нужно очинить карандаш. И даже показали ему карандаш со следами зубов на обратном конце.

Дядюшка прежде всего при нашем приближении спрятал за спину коробочку, которую он клеил, потом молча взял у нас из рук карандаш, остро и тонко очинил его на уголке стола, отдал его нам, потом, не торопясь, смел стружки в руку и отнес их к печке.

Его молчание при этом красноречиво показало, что он мало нам верил. И надо признаться, почти не было случая, когда бы он не отгадал наших истинных намерений.

— А что, на почту послали? — спросил дядюшка, когда мы, переглянувшись по поводу прогоревшего дела, повернулись уходить.

— Иван поехал,— сказали мы.

— Это хорошо,— сказал дядюшка.— А не видели ли вы, между прочим, куда ваша крестная припрятала ящичек с папиросами. А то я из-за своей одышки под опеку попал.

Мы сказали, что сидели в спальне в углу за гардеробом и случайно в трещинку увидели, как она поставила его на комод за зеркалом.

— Да ведь, насколько я знаю, ваша зимняя резиденция за буфетом?

— Да, но сегодня в столовой протирали пол и нас прогнали оттуда.

— А, это другое дело. Во всяком случае очень вам благодарен за сообщение,— сказал дядюшка,— только не проболтайтесь, а то нам всем влетит.

Он встал и в спадающих с пяток меховых туфлях на цыпочках прошел в спальню, но сейчас же так же на цыпочках вернулся оттуда, грозясь нам и себе пальцем.

— Вот было попали-то,— сказал он шепотом.

Оказалось, что крестная была в спальне. Когда она вышла оттуда в спущенных низко на нос очках и с тетрадочкой, в которой, мы знали, она записывает белье, отдаваемое в стирку, дядюшка слегка привстал в кресле, держась руками за ручки и вежливо спросил:

— Куда вы изволили деть ящик с папиросами?

— Ну, это мое дело,— сказала крестная, снимая одной рукой с уха проволочку очков и мотая головой, чтобы отцепить волосы. Не глядя на дядюшку, она положила очки и тетрадочку на камин около аптечки, потом добавила недовольно:

— И так куришь целыми днями.

— Тогда я попросил бы вас выдавать мне, сколько нужно по вашему усмотрению,— сказал дядюшка.

Крестная пошла в спальню и молча принесла ему три папиросы.

Дядюшка галантно поблагодарил ее за такую любезность и, опуская изящным жестом папиросы в боковой кармашек своей теплой ваточной жилетки, посмотрел на нас и незаметно подмигнул в сторону спальни, показывая этим, что источник найден, и он бедствовать не будет.

— А кто это буфет открыл? — послышался голос крестной из столовой.

— Ваша сестрица, Мария Ивановна, кого-то кормила,— сейчас же отозвался дядюшка и даже подошел к двери столовой с газетой в руках.

— Вот испытание-то господь послал,— сказала крестная и набросилась на вошедшую мать.

— Все кошек своих не накормите.

— И не думал никто кормить,— сказала мать, обиженная вечными напраслинами.

— Ну да, разговаривай,— сказала крестная.— И когда они только лопнут, эти кошки!

А дядюшка, как ни в чем не бывало, удалился и остался очень доволен, что ему удалось стравить старушек. Он даже выглядывал несколько раз из-за газеты по направлению к столовой.

— Ну как, молодые люди, вы ничего не будете иметь

против, если я отправлюсь немножко отдохнуть? — спросил у нас дядюшка после обеда.

Мы сказали, что, конечно, ничего не можем иметь.

Он молча слегка поклонился нам, как он кланялся крестной, как бы благодаря нас за разрешение и, захватив газету, папиросы и спички, отправился.

Мы пошли следом за ним поболтать немножко, пока он будет укладываться и лежа курить папироску.

После чая мы долго сидели с ним в сумерках, он в кресле у печки, мы, стеснившись вдвоем на скамеечке крестной, около него. Огня пока еще не зажигали, и мы разговаривали на ближайшие темы дня, обсуждали, в каком настроении крестная и не опасно ли будет выкинуть над ней какую-нибудь шутку.

— А не сыграть ли нам сегодня в шашки, молодые люди,— сказал дядюшка, когда в гостиную принесли зажженную большую лампу и поставили к крестной на диванный стол, на вышитый бисером кружочек.— Время у нас есть свободное?

— Мы хотели было достроить мельницу,— сказала Катя, нерешительно оглянувшись на меня.

— Дело, конечно, прежде всего,— сказал дядюшка,— но я думаю, мельница потерпит. Как ваше мнение на этот счет?

Мы подумали немного и согласились постройку отложить на завтра.

— На деньги, конечно?

Мы было замялись и переглянулись. Но в конце концов согласились и на это.

— Только не мошенничать,— сказали мы.

— Будьте покойны, с честным человеком дело имеете,— сказал дядюшка.

В шашки с нами дядюшка играет только на деньги и требует всегда расплаты наличными; а так как наличных у нас нет, то он соглашается вместо денег брать наши игрушки, даже шубы и галоши.

И всегда обыграет нас в пух, а потом у нас на глазах забирает все проигранное ему имущество и несет его к себе в спальню, не обращая на наши молчаливые фигуры никакого внимания. А нам гулять не в чем идти. Да еще неизвестно, получим мы когда-нибудь свои вещи обратно или нет.

Отобранные же за долги игрушки он прячет в ящик стола. Этот ящик у него всегда заперт, а отполиров-

шийся и нагладившийся ключ от него лежит в маленьком жилетном кармане.

Даже когда там нет наших проигранных игрушек, дядюшка никогда ни за что не даст нам посмотреть, что лежит у него в столе. И поэтому у нас относительно содержимого этого стола любопытство особенно взвинчено.

Когда он открывает ящик, мы, издали приподнявшись на цыпочки, видим какие-то шитые бисером коробочки, ствол револьвера и еще много всяких интересных вещей.

Подойдешь поближе, а он сейчас же задвинет ящик и, повернувшись к нам, скажет:

— Вам что угодно?

А нам и сказать нечего.

Если не считать всего этого, то у нас отношения с ним всегда великолепные. Мы знаем, что он особенно любит, и всегда стараемся сделать ему приятное: набиваем ему папиросы, рассказываем все происшествия дня, первые сообщаем ему, что Иван с почты едет.

А летом он очень любит, когда к чаю есть малина. И мы, каждый раз после обеда, когда в воздухе висит неподвижный зной, гудят мухи и все спит, отправляемся с Катей в малинник и набираем в зеленый лопух, сложенный фунтиком, красных, самых крупных ягод малины.

Иногда Катя задумается и скажет:

— Дядюшка хоть и обыгрывает нас, а все-таки он самый хороший человек.

Я вполне того же мнения.

XIV

Дни стали заметно длиннее. Отрывной календарь, с которого мы каждый день отрываем листочки, показывает уже февраль...

Еще бывают крепко морозные солнечные утра, когда наглаженные полозьями дороги блестят, иней молодо серебрится на висящих перед окном ветках березы, а расчищенный лед на пруде искрится звездами и белеет морозным седым налетом.

Поля покрыты ровной, ослепительно сверкающей пеленой, и хорошо бывает в ясное морозное утро выехать из дома, среди прозрачных мелькающих теней и седого в тени инея, низко нависшего над дорогой.

В поле сверкающая кругом белизна снежной равнины

с торчащими из глубокого снега былинками, густо опушенными иглами инея; в ясной дали зимнего утра виднеются деревни, белея засыпанным до крыш снегом, над ними сизые столбы дыма, поднимающиеся в ясном морозном воздухе солнечного утра. Но еще лучше ехать лесом: узкая вдавленная лесная дорога с изборожденными хворостом краями уходит в глубину леса, который теперь особенно тих и неподвижен. По сторонам сверкает и блестит пухлый снег и звездами осевший на него иней. А по дуге и лошади мелькают прозрачные зимние тени деревьев и пестрят в глубине мелькающие стволы берез, от которых рябит в глазах.

Но уже в полдень, когда разогреет солнце, чаще и чаще падают с крыш капели, чернеет и отмокает порог, около которого даже нельзя бывает стать, чтобы не промочить валенок.

Даже злые февральские вьюги, когда снег огромными хлопьями налипает на окна и к утру почти до ручки заносит косицей парадную дверь, даже и они говорят о том, что зима проходит.

Мы беспокоимся только об одном, чтобы на масленицу не было оттепели и мокрой погоды.

Но, проснувшись в масленичный понедельник, мы увидели в окно сверкающую белизну инея на верхушках берез, видных в верхнее незамерзшее стекло, меж ними ясное сияющее небо и в дверь столовой — яркое солнце на стене.

На дворе уже пахло блинным чадом. И в кухню по натоптанной почерневшей дорожке, раздевшись, часто пробегала Таня из кладовой с яйцами в миске и с мукой.

Бывало, с нетерпением ждем этого времени, когда из города привозятся уже иные, чем к рождеству, покупки и закуски. В плетеных коробках, мы уже знаем, лежит белая мороженая навага, в маленьких коробочках — копчушки, самая любимая нами вещь. А там и пойдут в рогожных кульках мерзлые с обломанными хвостами судаки, караси, пересыпанные снегом, и припасенная уже к великому посту халва с орехами, которые даже видны сквозь промаслившуюся бумажку.

В кухне с вечера возятся с большими горшками, у которых внизу дырочка, заложенная деревянной палочкой, льют в них молоко, сыплют муку и мешают с засученными рукавами веселкой.

На лавке лежат и оттаиваются принесенные из чулана судаки, налимы. Когда их будут чистить, из дома за-

явятся все кошки, будут сходить с ума и попадаться всем под ноги, пока им не бросят под стол выпотрошенные внутренности, из которых мы предварительно вынем продолговатые, перехваченные точно ниточкой пузыри и похлопаем их, наступая на них ногами.

А когда начинают печь блины, около печи на табурете ставится самый большой горшок с пузыристым сероватым тестом и положенным на него половником для наливания на сковороды, а на загнетку печи — стаканчик с растопленным маслом и помазком на палочке из лучинки, обмотанной ниточками, чтобы мазать им раскаленные шипящие сковороды.

Мы только и знаем, что бегаем смотреть, сколько напекли блинов, и осторожно приподнимаем за уголок салфетку на тарелке, куда их складывают со сковородок и накрывают, чтобы не остыли.

— Опять вы тут суете носы,— кричат на нас. И мы, сломя голову, вылетаем в столовую.

Там уж накрыт стол, на середине стоит полный сметаны сметанник, в соуснике — растопленное, прозрачно-желтое масло. На длинной тарелочке селедка с зеленым луком, который вырос в кухне в ящике на окне. Потом плетеные коробочки с копчушками, баночка черной икры с воткнутой в нее ложечкой. Бутылки с разными водками и запеканками на подносе, а кругом стола ряд приборов без глубоких тарелок с одними мелкими. На них треугольничками лежат чистые салфетки.

И даже в этом чувствуется что-то особенное,— блинное, масленичное.

Едва успеют сесть за стол и рассовать за борты и на колени салфетки, как из кухни торопливо, почти бегом уже несут покрытую салфеткой тарелку с горой блинов.

Нам подвяжут, как полагается, под шеи салфетки, на маленькие тарелочки положат немного черной икры, копчушек и сразу по два горячих блина, на которых шипит и лопается пузыриками в дырочках горячее масло. Мы свертываем четвертинки блинов трубочкой и отправляем их со сметаной в рот. При этом следим друг за другом, кто сколько съест.

И целую неделю, чтобы перещеголять друг друга, мы объедаемся блинами, после чего отправляемся кататься на салазках с горы, испещренной следами ног и полозьев. И катаемся до тех пор, пока по деревне не замелькают огоньки, и мы явимся все в снегу с красными от мороза и оживления щеками.

А когда проснешься в понедельник, то сразу по всему чувствуется, что наступил великий пост: в комнатах стоит какая-то особенная унылая тишина, столы, только вчера заставленные пирогами и разными вкусными масленичными вещами, отодвинуты, сложены и пусты... К чаю подают уже не сдобный хлеб и сливки, а вазу варенья и сухие баранки. Только и утешает одна халва.

И эта пустота и скудность на чайном столе больше всего указывает на перемену.

Дядюшка тоже как-то присмирел, редко говорит с нами и чаще отпирает свой стол, чтобы достать денег в церковь.

А со стороны церкви доносится редкий унылый звон колокола, призывающий говельщиков к молитве. Мы будем говеть на страстной и поэтому остаемся дома и бродим по тихим унылым комнатам.

Но в то время, как жизнь в доме замирает и гаснет в унылой великопостной тишине, в природе начинают зарождаться первые признаки весны.

На земле еще лежит сплошной снежный покров, деревья мертвы и голы, но небеса уже не те: вечерние зори долго не гаснут и их красноватые отблески медленно замирают на стволах берез, на окнах дома сквозь узор переплетенных голых ветвей сада.

Небо как-то обновленно и особенно по-весеннему прозрачно и глубоко. На нем с особенной четкостью вырисовываются по вечерам неподвижные вершины тополей.

Снег около корней деревьев уже обтаял и осел кружочками, и нога в нем не отпечатывается мягко, отчетливо, как зимой, а он рыхло осыпается вокруг нее — крупный и зернистый.

В полях снег затвердел и, когда заходит солнце и его схватывает мороз, по нем можно идти смело, не проваливаясь. И весь он покрылся маленькими затвердевшими ложбинками, похожими на морскую зыбь. И если идешь в валенках и везешь за собою салазки, то они клюют носом и постукивают, как по твердому неровному току.

Вечерний воздух стал особенно тонок и прозрачен. И все звуки затихающей жизни далеко слышны по заре.

Мы из сада подолгу смотрим с дороги на заходящее солнце и вечернюю зарю, на далеко вытянувшиеся красноватые отблески на снегу, на неподвижные в прозрачном чистом воздухе деревья, точно застывшие в небе

своими вершинами, и все оглядываемся, точно чего-то ждем.

Неуловимая перемена, совершающаяся в оживающих небесах, проникает в душу, и она начинает жить предчувствием какого-то обновления и нетерпеливо ждать его.

XV

И вот под самое благовещение после трехдневного тумана, серой сплошной пеленой висевшего под рыхлым снегом, выглянуло солнце.

Туман поднялся кверху, открыв почерневшие бугры, и легкими белыми облаками сбегал с синеющих небес, на которые больно было смотреть.

Затопленные пашни открылись даже на ровных местах. И черная, как мак, сырая земля млела, пригреваемая солнышком, которое отражалась и блестело в каждой лужице на жирной пашне.

С крыш веселым сплошным дождем лились капели, и натаявшая вода подбиралась под порог.

Мы с самого утра чистили скребками около дома лед, пропускали по канавкам ручьи и устраивали на них мельницы. А по вечерам сидели с дядюшкой в гостиной и смотрели, как постепенно гасло солнце на стене и на камине.

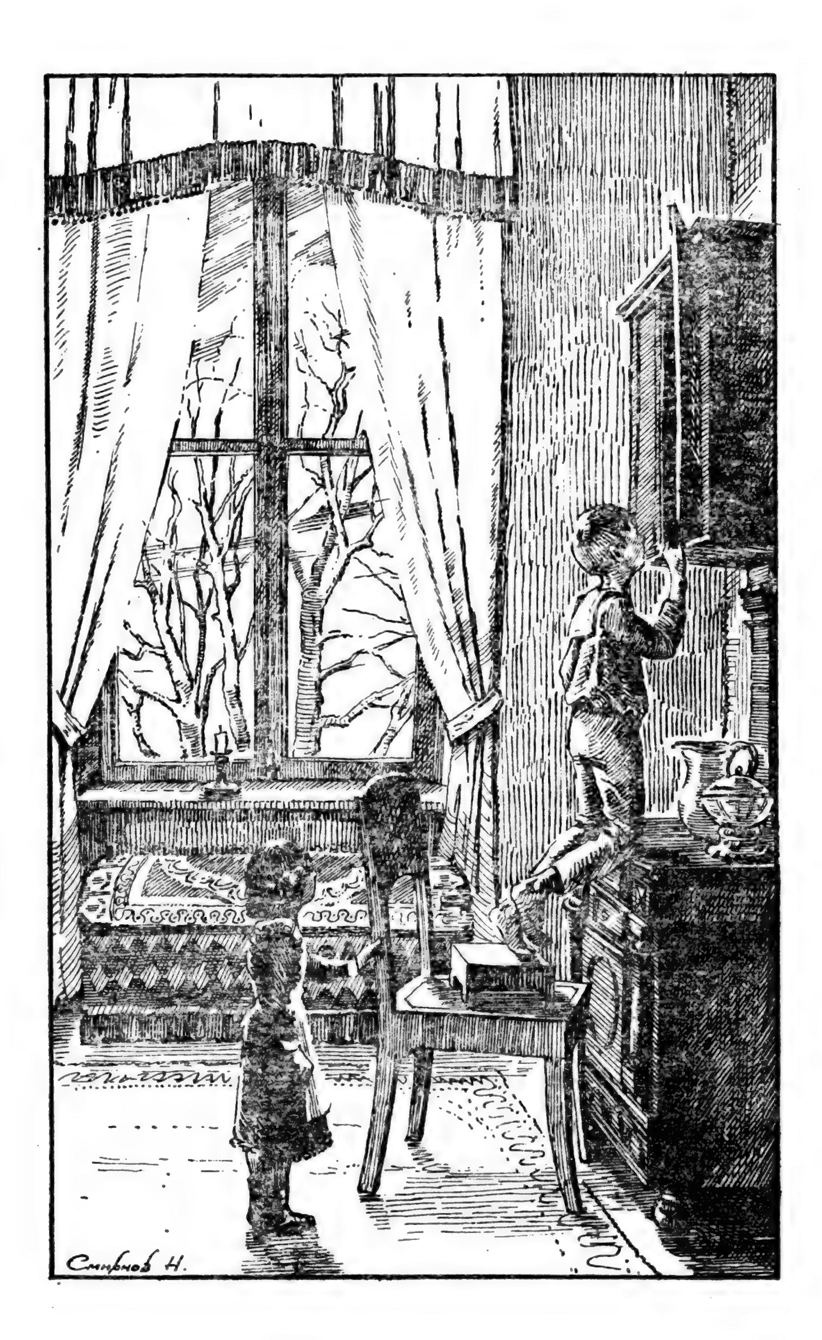
Большие говели на первой неделе, теперь говели мы. Есть не дают и гонят в церковь. Мы иногда откроем буфет и, присев перед ним на корточках, роемся там, не попадется ли какой-нибудь сухарик. Но мучиться надо, потому что тем лучше, тем торжественнее будет на пасху.

Старшие братья совсем не заботятся об этом. Мы видели, как они ели испеченные для пробы куличи, пили молоко. Большие сестры тоже ухитряются отвиливать, но зато с нами не церемонятся и отправляют без всяких разговоров в церковь к часам, к вечерне.

В церкви народу мало. Изредка стукнет щеколда у церковных дверей. Входит какая-нибудь согнутая старушка в белом платочке, с костылем, крестится и, поклонившись на все стороны, отходит к сторонке.

По каменным плитам наполовину пустой церкви ходит старик Клим с огарком между пальцев и зажигает в ставниках перед иконами немногие свечи.

Мы становимся сзади левого клироса на деревянном помосте. Мать сзади нас шепчет молитвы, стано-


Смирновъ Н.

вится на колени и велит нам не оборачиваться. Мы тоже кланяемся в землю и не упускаем случая посмотреть из-под руки назад.

Как все до последней мелочи знакомо в этой церкви... И стертые неровные каменные плиты пола, и закоптившаяся печурка в стене, где Клим раздувает кадило, и завешенные пыльной занавесью царские врата, и цветные стекла в среднем, запрестольном огне алтаря.

Как хорошо бывает летом у ранней обедни, когда встающее солнце, проходя через цветные стекла, окрашивает разноцветными пятнами престол и пол алтаря... И самый алтарь, где в столбах утреннего света и в синеющих облаках кадильного дыма стоит священник в золотой ризе,— кажется недосягаемой святыней.

Оглядываешься кругом на лица молящихся, на высокие, синеющие окна купола — и так становится радостно, что встал рано. На душе светло, ясно и торжественно, как в этих лучах утреннего солнца в алтаре.

Задумаешься и забудешь, что нужно креститься и становиться на колени, пока сзади не дернут за курточку.

Батюшка в старенькой епитрахили и теплых галошах — сам старенький, седой — выходит из боковой узкой двери к царским вратам, видимо, утомленный предшествующими службами. Перекрестившись перед завешенными пыльными вратами, по сторонам которых висят маленькие образки, и с усилием достав рукой до земли, он начинает тихим, усталым голосом читать молитву:

— Господи и владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми...

И в каждом отделе молитвы он, а за ним все в церкви опускаются на колени. Только слышно двиганье и перестановка ног по каменным плитам пола, сокрушенный шепот молитв, вздохи. А потом все, встав, долго молча крестятся.

Ребятишки с шапками в руках стоят тесной кучкой впереди, перед самыми ступеньками полукруглого амвона и, повернувшись, зевают на нас.

«Уставились»,— думаешь, с ненавистью глядя на них. Внутри что-то закипает и пропадает все молитвенное настроение. Только и утешает мысль, что они стоят на полу, а мы на помосте.

Но это — дурные чувства, их надо подавлять и быть добрым, по крайней мере, хоть до причастия.

В доме идет предпраздничная уборка. Моют полы, снимаются шторы с окон. На кресле видны пыльные следы становившихся ног. Выдвигаются ящики из буфета и перемывается к празднику весь хрусталь, который не употребляется никогда и ставится туда до следующего праздника.

Мы сначала пристроились чистить лампадные цепочки, продергивая их через тряпочку с мелом, но Катя так вымазалась, что у нас обоих все отняли и прогнали.

Тогда мы подставили к буфету стул, а на стул обычную в этих случаях ножную скамеечку крестной и полезли рыться в ящиках, отыскивая, не попадется ли чего-нибудь интересного. И в то же время принюхивались к знакомому запаху буфета. В буфетных ящиках всегда держится какой-то особенный, приятный запах. Когда приезжаешь после долгого отсутствия и входишь в дом, то прежде всего с радостью чувствуешь этот буфетный запах. Пахнет чем-то старинным — давно лежащей там ванилью в пожелтевшей бумажке, чаем и еще чем-то удивительно приятным, но что именно так пахнет, найти никак не удается, несмотря на то, что мы иногда перенюхаем все пакеты и кульки.

Покончив с буфетом, мы пошли ходить по разоренным комнатам: заходили на место отодвинутого от стены шкапа и наслаждались сознанием, что мы стоим там, где никогда еще не стояли. Или забивались в середину сдвинутых кресел и воображали, что мы не дома, а бог знает где.

— Слушай, говорят! — сказала Катя, сидя на корточках за креслами и подняв палец. И хотя мы знали, что это говорят бабы, моющие полы, мы, сделав большие глаза, оба прислушивались. Это говорят о н и. Если наше убежище откроют, мы погибли.

— Куда вы тут залезли, бесстыдники! — ворчит нянька, отодвигая кресла.— Завтра причащаться, а они вишь, что делают.

XVI

Была великая суббота, в тихом ясном небе вечерело и слегка, по-весеннему, морозило.

Вечернее солнце уже зашло на другую сторону дома и краснеющими лучами светило со стороны сада в окна

дома и балконную дверь гостиной, отливая на них вечерним золотом.

В кухне все пеклось, жарилось и красились последние яйца. Мы с самого утра бегали и не знали, где найти себе какой-нибудь уголок, чтобы ничего не пропустить из тех ощущений, какими полны все эти приготовления и эта особенная ночь.

Раз десять мы уже побывали в кухне и в доме, и опять бежали через двор в кухню. Кошки, задрав хвосты, терлись около ножек стола. Наш враг, старый кот, был тут же и сидел на лавке. Иногда он приподнимал лапу, чтобы стянуть со стола мясо, и тогда мы в два голоса кричали на него, чтобы выжить его отсюда.

Пеклись и румянились в печке куличи. Нянька Абрамовна, обжигаясь и дуя на пальцы, вынимала из дымящегося горшка окрасившиеся яйца, давала им отечь и складывала по одному на перевернутое решето.

Несмотря на просьбы — ради Христа не вертеться под ногами,— нам все-таки удалось примоститься на уголке стола толочь сахар в медной ступке. Я толок, Катя сидела по другую сторону ступки, а в промежутках отдыха мы отковыривали с пестика кусочки спрессовавшегося растолченного сахара, похожего на помадки, и ели.

— А мы будем чистить миндаль? — спросила Катя, облизывая свои прозрачные пальчики.

— А дадут нам его? — спросил я в свою очередь.

Катя оглянулась, пососала пальцы, спустившись с лавки, отправилась просить миндаля для чистки.

Чистить миндаль — лучше всего. Во-первых, он почти единственная не скоромная вещь и поэтому его можно есть. А во-вторых, просто приятны его гладкие белые зерна. Его сначала обольют кипятком, чтобы отстала кожица, потом надавишь двумя пальцами, и миндалина выскакивает из отставшей шкурки. Через пять минут кончики пальцев, промывшиеся в теплой воде, стали у нас чистые и сморщенные, как из бани.

— Ну, довольно с вас, уходите,— сказали нам, и мы, отряхнувшись и взяв по одной очищенной миндалине из чашки, побежали в дом.

На теневой стороне дома уже совсем захолодало. Легкий весенний морозец к вечеру затягивал звездами лужицы около парадного крыльца. Капели стали застывать и реже падать. И шершавый ноздреватый ледок слышнее захрустел под ногами в тихом вечернем воздухе.

Мы нарочно прошлись около дома, продавливая лед на лужицах и прислушиваясь к его стеклянному хрустенью.

— Я не буду спать всю ночь,— сказала Катя.

— А если заставят?

— Ну, не заставят...

Мы забежали заглянуть в дом. В старом большом доме было пустыннее и тише. В гостиной на камине догорали последние красноватые лучи солнца. Здесь было убрано все. И Таня, становясь на табуретку, вешала последние кружевные шторы на окна.

Солнце уже село совсем, только сквозь черные ветки сада виднелся красноватый отблеск догоравшей зари. Капли застыли и перестали падать. А на свежем, темнеющем небе, над неподвижно висящей вниз веточкой березы трепетно затеплилась одна яркая, точно умытая звезда.

Свежеющий воздух был чист, темнеющее небо ясно, а на душе так же счастливо и чисто, как в этом глубоком и высоком небе.

Как торжественно тиха будет ночь!

В доме уже были зажжены все лампады и ярко горели в углах, ясно отражаясь в чисто протертых стеклах и на серебре риз.

Все ложились пораньше, вздремнуть до заутрени, и чтобы не разлеживаться, примащивались кое-где и кое-как. Только братья сначала долго сидели, а потом разделись и легли в постели, по-видимому, не обнаруживая никакого желания принять участие в торжестве.

Мы слышали, как к их двери подходила мать и спрашивала их нерешительно, пойдут ли они в церковь.

Признаюсь, что я никогда их так не ненавидел, как в эти минуты за то, что они — грешники. Все мы готовимся к чему-то, ждем, а они преспокойно ложатся спать. В чью только голову бьют, хотелось бы знать. Я испытывал по отношению к ним такое же чувство, какое бывает иногда летом, когда встанешь рано, рано утром,— везде блеск солнца, роса и прохлада в саду, а все спят и не видят этой прелести раннего летнего утра и кажутся такими бесчувственными.

— Что же,— подумал я,— если им больше нравится горячие сковородки лизать, чем идти в церковь, так это их дело. Но все-таки было досадно и возмутительно.

— Так что же, не будем спать? — сказал я.

— Ни за что.

И мы, после всяких просьб и упрашиваний с нашей стороны, были предоставлены самим себе.

— Надо найти, где лучше всего сидеть,— сказала Катя. Я согласился. Мы пошли искать и скоро убедились, что лучше кресла в зале — ничего не найти. Оно стояло так, что с него, сквозь цветы, видны были все огоньки лампад в зале, видна была в дверь часть гостиной. Для мечтаний и наблюдений это был теперь, как всегда, самый лучший уголок.

Чтобы не так хотелось спать, мы решили почаще умываться.

— И совсем не страшно,— сказала Катя, усаживаясь и оправляя на ногах короткое платьице. Абрамовна говорила, что в эту ночь все до одного злого духа сидят безвыходно в преисподней.

— И очень хорошо,— сказал я,— по крайней мере, хоть можно свободно ходить, а то ни в одну темную комнату носа показать нельзя. Я вдруг почувствовал, что опять всецело примирился с Катей. Все-таки она хороший человек.

Посидев немного, мы не утерпели, вскочили с кресла и пошли по комнатам.

Лампы уже все были погашены и только еще ярче оттого горели лампады, неясно освещая дальние углы по-праздничному обновленных и убранных комнат. Мы шли, прислушиваясь к тишине, к своим шагам, и старались уловить что-то особенное, неповторяющееся, бывшее в этой ночи.

И трудно было понять, что это такое, в чем оно. Во всеобщей ли тишине, в неясных ли тенях или просто — в душе. В угловой мы остановились и прислушались. Слышно было, как круглые часы в столовой зашипели и не в такт качанию маятника, спеша, пробили, потом, защелкнув, опять спокойно пошли.

Только еще десять.

В гостиной на диване, взяв на этот раз одну подушку, прилег дядюшка. Он еще не спал и лежа курил. Огонек папиросы отражался в лаковой задинке дивана.

— Не спит еще,— тихо сказала Катя.

Мы опять пошли в кресло. Здесь в зале, бросая на высокий потолок огромные тени, стояли цветы. На подзеркальных столах по-праздничному были поставлены новые, необожженные свечи. Кресло стояло глубоко за цветами и только сквозь таинственные просветы в цветах видны были отсюда огни лампад.

— Сделай вот так глаза,— сказала Катя, показывая мне свои сощуренные узенькими щелочками глаза.

— Ну, сделал.

— Теперь долго, долго смотри на тени.

Я стал смотреть напряженно, до боли в глазах.

— Шевелятся?

И правда, казалось, что тени движутся, шевелятся.

— И как будто все, все другое, как будто в волшебном царстве! Тебе хорошо?

— Ах, как хорошо,— сказал я,— удивительно! А ты посмотри, кто это стоит в углу?

— Где?

— Вон, около печки, за дверью.

— Да это шуба крестной.

— А мне показалось... И совсем не страшно.

— А помнишь, зимой как было страшно? — сказала Катя.

— О, еще бы! Бывало, знаешь, что там ничего не может быть, кроме шубы, и все-таки боишься туда взглянуть.

И в самом деле было совершенно не страшно в полумраке лампадного света, а было только удивительно, необыкновенно и волшебно.

— Я думаю, что даже на чердак в эту ночь можно одному пойти.

— Ну, на чердак... зачем же на чердак...— заметила Катя.

— Да, туда и незачем, впрочем, ходить,— сказал я, сообразив, что хватил лишнего.

Мы отслонились от нагревшейся, слегка прилипшей к щекам кожи задинки.

— Надо умыться,— сказала Катя, протирая обратной стороной ладоней глаза. И мы поднялись с нагревшегося под нами местечка.

Часы в столовой пробили половину.

Мы наскоро умылись, кое-как утерлись оба одним концом полотенца, висевшего на двери, и пошли опять на свое место, но по дороге зашли в комнату мальчиков.

И все, что мы видели сейчас, все было необыкновенно, не похоже на действительность. Мы, как в заколдованном царстве, осматривались, задержав на пороге шаг и приложив палец к губам в знак тишины, старались узнать, кто здесь лежит, кто о н и.

— Этот длинный, должно быть, Сережа,— сказал я.

— А это какая-то чужая,— сказала Катя, не узнавая Вани.

Дядюшка в гостиной уже не курил и тоже спал. И убедившись, что теперь мы уже совсем одни во всем этом царстве неясного полусвета лампад, с тенями цветов, со столами, покрытыми свежими праздничными скатертями, опять пошли в кресло наблюдать эту тишину, эти живущие и движущиеся в полумраке тени и прислушиваться в себе к тем необъяснимым и не бывающим при обыкновенной обстановке ощущениям.

Я опять сощурил глаза и стал смотреть на огни лампад. Сквозь не совсем вытертые, еще мокрые ресницы, в глазах задрожали и запрыгали разноцветные радуги. Я хотел было сказать об этом Кате, повернулся к ней, но она, подложив ладонь под щеку, уже спала глубоким сном в уголке кресла.

Я сощурил глаза совсем, так, чтобы видны были только одни точки огней. Радуги задрожали сильнее. В глазах заточило. Я закрыл их на секунду, крепко сдавил зажмуренные ресницы. И вдруг — все, как по волшебству, начало кружиться: и цветы, и тени, и потолок, стремительно куда-то наклоняясь и увлекая все за собой. Казалось, что все летит и захватывающе кружится вместе со мною в волшебном вихре и вместе со мной поднимается все выше и выше, все быстрее и быстрее. Теперь нужно только крепче держаться.

— Ну еще, еще сильнее! — говорю я, с замирающим сердцем отдаваясь этому вихрю. И боюсь открыть глаза, чтобы не потерять этого удивительного ощущения. Я могу, как хочу, управлять им.

— Ну, еще выше, выше! — говорю я и внутренне делаю усилие, чтобы взлететь выше. И все, кружась, поднимается вверх на страшную высоту.

— Теперь — ниже и шире,— говорю я. И все подчиняется мне.

Потом все кружилось медленнее, тише и где-то уже далеко, в каком-то тумане. Наконец, все остановилось, и я почувствовал толчок в плечо.

— Вставайте,— сказал кто-то.

«Да, теперь кончилось, нужно вставать»,— подумал я.

— Вставайте, милые, разговляться, пасху есть,— сказал надо мною голос крестной и ее большая теплая рука ласкает мою щеку.

Я открыл глаза. В зале посредине был накрыт уже пасхальный стол, стояли на круглых блюдах высокие куличи, облитые белым, красные яйца, творожная

пасха с крестом из изюминок, окорок с бумажным цветком и два ряда приборов с накрахмаленными салфетками.

Ясно, что мы проспали. Но не хочется ни о чем думать, только бы спать,— хоть одну еще минуточку привалиться щекой к теплой коже задинки у Катиной спины и заснуть. Но нас трясут за плечи, и мы поневоле спускаем ноги с кресла, протираем глаза и, не попадая в двери, идем умываться.

XVII

Когда наступали праздники и мы ходили причащаться и чувствовали себя безгрешными, это чувство было так хорошо, что я подумал: должно быть, мы стали святыми. И решил, что с этого времени душа у меня будет совершенно чистая.

«Конечно! Больше ни одного греха,— думал я.— Не буду теперь сидеть за дверью, бегать к Тане в переднюю и совсем постараюсь не думать о ней, да и вообще о женщинах».

Как бывает хорошо, когда в душе так же ясно и чисто, как в высоком весенном небе по утрам; когда смело смотришь в глаза крестной и всем, а не прячешься по углам. С Катей у нас по-прежнему восстановился мир и согласие. У меня уже нет теперь тайных желаний, которые бы приходилось скрывать от нее. За все праздники я даже ни разу не сидел за дверью.

У Тани тоже во время праздников стал какой-то другой вид. Она с бусами на шее, которые завязаны сзади красной ленточкой, и в беленьком фартучке то прибегает, то опять убегает на качели в березник.

Я смотрел на нее и испытывал какое-то совершенно другое чувство, которое напоминало мне то, что я испытывал зимой на вечере к Наташе отрадненской. Я смотрел на нее и думал: какая она милая, она, должно быть, сейчас тоже святая, как и мы с Катей. А это очень хорошо: так великолепно чувствуешь себя! У Тани теперь и настроение другое. Ее уже нельзя было увидеть в передней, лежащей на сундуке под вешалками. И взгляд у нее стал живой, открытый и ясный, а не затаенный, каким она смотрела прежде кое-кому вслед...

Меня каждый раз тянуло взглянуть на нее, пробежаться с нею в березник до качелей по сухим хворостинкам, насорившимся из гнезд грачей. И мы, взявшись

втроем — с ней и с Катей — за руки, бежали от дома, мимо балясника, через канаву с валяющимися в ней кирпичами и осколками бутылок. И как странно, что к одной и той же Тане я испытываю два совершенно различных чувства. Оба они непреодолимо сильны, но одно из них сковывает, связывает. Другое, наоборот, дает необыкновенную свободу, радость, от которой хочется что-то сделать с собой, бежать без отдыха до самого конца сада и с разбегу вскочить на край высокой канавы. И я, представляя себе ее русую головку, улыбку, привычку отирать рукавом вспотевший от беготни лоб, думаю, как все удивительно хорошо — и небо, и пробивающаяся зелень в саду, и эта свежесть, и сама Таня...

В минуты грешного настроения зимой я стал было ходить к Аннушкиному сыну, Ваське. И он мне порассказал о Тане и Сереже много таких вещей, о которых я теперь, в обновленном состоянии, стараюсь не думать. Мне иногда приходит на мысль, что несдобровать этому скверному малому, раз у него даже после причастия душа не чище печной трубы.

Иногда выйдешь ранним утром на двор, когда еще на парадном лежит тень от березника, прислушаешься к колокольному звону, к свисту скворцов и подумаешь: как хорошо быть святым и как тяжело, стыдно и неприятно — грешником.

И хорошо бы подольше удержаться от грехов. После исповеди у меня, кажется, не было еще ни одного греха, если не считать увесистой колотушки, которую я закатил Кате за то, что она не пускала меня в комнату девочек.

Но это уж, наверное, небольшой грех, так как я совсем не испытал чувства раскаяния. А чем больше грех, тем больше раскаяние. После некоторых грехов приходится целыми часами сидеть за буфетом, только бы никуда не показываться.

Соблазны и искушения, впрочем, были: Васька подговаривал было меня курить и утащить папирос из ящика с туалетного стола, но я не согласился. Так как Ваня не курит и на женщин не смотрит, думаю, что и мне можно попробовать удержаться от соблазнов.

Трудно было удерживаться зимой, в особенности после обеда, когда некуда было больше идти, как к Тане.

Теперь приятно то, что в безгрешном состоянии больше всего способен радоваться, ждать всяких перемен в природе, приближающейся весны, которая зовет к де-

ятельности, бодрости и радости. Нет склоняющих к грешным мыслям полутемных комнат, послеобеденной сонливости,— везде целыми потоками льется солнечный свет и будит бодрость.

И часто остановишься и думаешь, что, может быть, там, в ярко-синих блещущих небесах, сидит сам господь бог и, наверное, видит совершившуюся во мне перемену,— оттого мне так и радостно.

XVIII

Весна, совсем весна. Стоит в ушах весенний звон, весенний гомон.

В березнике неумолкаемый шум от карканья грачей, от скрипучего свиста скворцов. Все они устраивают гнезда и важно, вразвалку ходят по саду, выбирая хворостинки и сухие прошлогодние листья.

Галки, как сумасшедшие, дерутся у труб, тоже таскают палки и опускают в трубу. Бросит и посмотрит туда одним глазом.

Из чащи леса уже бежит прозрачный ручеек последней весенней воды. На березах надулись тройчатые почки, и если сломишь веточку, из нее, как слезы на весеннем солнце, каплет, почти ручьем льется сок.

Над прозрачными еще вершинами осин ярко синеют молодые весенние небеса с бегущими под ними белыми облаками.

Дядюшка переменил свою зимнюю куртку на летнюю, обшитую около бортов и карманов тесьмой. Шубу его зашили в простыню и повесили в спальне на стене. Из дальнего паутинного угла из гардероба досталась его желтенькая палочка и поставилась в спальне за дверью.

— Сегодня в столовой можно выставить одну раму,— сказала крестная.

— Пожалуйста, уж и мое окно,— сказал, обращаясь к ней, дядюшка,— если вы будете так любезны,— и слегка поклонившись, не разгибая спины, ждал ответа.

Мы отановились и ждали, чем кончится этот разговор.

— Ну, уж нет, простудиться еще захотел.

Дядюшка выпрямил спину, как бы не желая вступать в препирательства с авторитетным лицом, пошел и сел в кресло читать свои газеты.

Но в зале было сказано выставить все рамы, и мы побежали туда.

Пришел Иван в фартуке с стамеской и карандашом за ухом, которым он метил рамы. Мы стали помогать ему, обдирали бумажки с окон, соскабливали старую замазку. И каждый раз с замиранием сердца ждали, когда Иван, взяв в губы карандаш, раскачивал и вынимал освобожденную раму.

— Смотри, смотри, здесь уже трава,— закричала Катя. Мы, высунувшись до пояса, стали смотреть в сад через открытое в первый раз после зимы окно.

Скоро заставят учиться, и тогда уже нельзя будет так свободно наслаждаться всем этим.

Иван понес рамы на чердак, и мы побежали за ним. Когда кто-нибудь идет туда, всегда пользуешься случаем побывать там, потому что одним туда забираться страшно.

Мы взобрались по узенькой крутой лестнице, на которой всегда пахнет голубями и кошками. Сначала посмотрели через слуховое окно в сад и окликнули Абрамовну, которая шла на ледник и долго не могла понять, откуда ее зовут. Потом упросивши Ивана не уходить, не сказавши нам, стали рассматривать всякие вынесенные сюда ненужные вещи.

Здесь стояли ящики со старыми книгами, пыльными журналами, старая прялка, обшитые натянутой холстиной пяльцы для вышивания.

Катя нашла какую-то странную стеклянную вещь, и мы понесли ее в дом.

— Это откуда еще достали,— закричала крестная, увидев нас.— Что вы берете в руки и таскаете сюда всякие гадости? Бросьте сейчас же.

Нам вымыли руки, стеклянную вещь отобрали и спрятали, а мы, переглянувшись, побежали опять на чердак и если находили что-нибудь такое, что по нашему мнению можно было отнести к разряду *гадостей*, то трогали уже не руками, а палочкой.

Сколько интересного, когда приходит весна! Сколько мы строим планов и рассчитываем сделать за лето.

Приготовляются семена цветов и сеются еще в марте в ящики, которые ставятся сначала на лежанку, чтобы лучше взошло.

У нас тоже по маленькому ящику. И мы каждую минуту бегаем смотреть, не взошли ли цветы. Кате все кажется, что мало поливают, и она вечно столько нальет

в свой ящик воды, что там уже не земля, а какое-то болото и по полу от ящика длинный ручей к двери.

— Да прогоните вы их с этими ящиками,— кричат братья,— что это за наказание: сесть никуда нельзя.

В кухне на окне у нас особый ящик. В нем посажен лук. Он дал уже зеленые ростки.

При содействии Ивана мы достаем сок из берез. Иван просверлит буравцем дырку в дереве, а мы вставим туда соломинку или сухую былинку глухой крапивы и сосем, пока колени не промокнут на сырой земле.

А там начинают готовить цветник, огород. Здесь у нас тоже свои грядки и клумбы и привезенные из города новые собственные лейки из белой жести.

Проведешь пальцем дорожку в рыхлой, теплой к вечеру земле и садишь пристающие к рукам намоченные в чашке плоские огуречные семечки. А потом бегаешь к бочке с прудовой водой, что стоит под ракитой, и, взобравшись на дроги, черпаешь воду, глядясь в светлое оконце.

Таня тоже, подоткнув с боков платье, носит с нами воду, обгоняя нас на узкой меже. Она раскраснелась и разрумянилась, и волосы немножко развились, и два локона повисли у щек, как у Раисы. Во время этих работ, когда занят тем, чтобы успеть вдвое больше воды принести, чем Катя, на Таню я смотрю спокойно, как на товарища по горячей работе, от которой уже давно весь смокся, как мышь.

— Кто скорее до бочки! — крикнет Таня. И мы летим, несмотря на усталость, от которой гудят руки и ноги.

В саду так хорошо, стоит аромат яблоневого цвета, сырой земли, так напоено все весенней свежестью и радостью, что, если бы я не очистился от грехов, мне не было бы здесь места.

Ракиты уже распустились, показались их обсыпанные желтой медовой пылью сережки, с которых, гудя и кружась над ними, берут пчелы. И в теплом апрельском воздухе пахнет отошедшей и оживающей землей, медом ракиты и цветами цикория, запестревшего по буграм. Полетели майские жуки. У нас уже давно заготовлены на них сачки на обручиках и окрашенных палочках. И мы, едва только солнце опустится за садом и сильнее запахнет цветом яблонь в вечернем воздухе, летаем, как угорелые, с этими сачками по зеленому двору, пока не споткнешься на кочку и не растянешься, так что шля-

па летит в одну сторону, сачок — в другую, а сам — в третью.

А то присядешь на корточки, чтобы дальше было видно по заре, и поджидаешь другого, за которым мчишься уже по другому направлению, через весь двор к конюшням. Иногда жук долетит до стены и, поднявшись вверх, начнет кружиться около верхних веток ракиты, тогда в него бросаются палки, шляпы, носовой платок, пока что-нибудь не останется на дереве. Тогда начинаем сбивать уже это, призвав на помощь Ивана.

— Я нашла щавель,— сказала один раз Катя, мы отправились в сад на поиски щавеля, а потом, надев материны перчатки, пошли с Аннушкой рвать молодую крапиву на зеленые щи.

А там — пошло все распускаться и зеленеть. Сиреневый куст около ледника, куда мы летом бегаем пить парное молоко, стоял уже весь белый, осыпанный тяжелыми белыми кистями, точно убранная к венцу невеста.

Для крестной началась теперь ее настоящая пора, когда она обыкновенно с раннего утра, забрав с собой все необходимое для работы над прививками, уходит в сад.

XIX

Как только в саду открылись дорожки и можно было пройти не увязнув, крестная обошла весь сад, осмотрела обмотанные соломой на зиму прививки, не подъели ли их зайцы, дошла до сухой канавы, отделяющей сад от поля, и из-под руки долго смотрела на далекий простор весенних полей. Прозрачные еще рощи белели в оврагах нестаявшим снегом, и свесившиеся низко над канавой надувшиеся тройчатые сочные почки берез отдувались в одну сторону теплым весенним ветром.

Налюбовавшись весенним видом сада, полей и блещущего неба, она пришла домой, выбрала из камина все накопившиеся там за зиму веревочки и мочалки, велела Тане все смотать и разыскать ее корзиночку.

А когда совсем подсохло, она с вечера уложила в корзиночку мочалки, садовый нож и поставила в столовой на шкапчик, чтобы утром не искать.

Для нас — самое приятное — эти сборы и прогулки с нею. Мы тоже будем участвовать в садовых работах

и помогать ей: обрезывать по ее указанию веточки, молодые, сочные, стрелками идущие вверх побеги и замазывать срезанные места мокрой землей, чтобы не вытекал сок.

Увидев накануне поставленную на шкапчик корзиночку, мы нарочно встали пораньше, чтобы крестная не ушла без нас.

Когда мы проснулись, было еще раннее утро. Самовар в столовую уже подали, но около него еще никого не было. Дядюшка только что умылся свежей ключевой водой и молился в зале у раскрытого в сад окна,— оттуда тянуло утренней прохладой.

— Вы, кажется, отправляетесь сегодня на работу? — спросил у нас дядюшка, сметая газетой с окна окурки в сад и не глядя на нас.

Мы сказали, что отправляемся.

— И вы уверены, что вас возьмут?

Мы ответили в том смысле, что, наверное, этот вопрос будет улажен, если крестная выйдет в хорошем расположении духа.

— Так,— сказал дядюшка,— ну, желаю вам успеха, а я должен заняться кое-какими делами.— И он сел в кресло.

Когда мы допивали свои чашки молока, крестная, совсем готовая, чтобы идти, вышла из спальни. Голову она покрыла светленьким платочком, чтобы не припекло солнцем, и взяла со шкапчика на руку корзиночку.

— Ну, кто со мной? — сказала она, очевидно, обратив внимание на наши молчаливые фигуры, полные ожидания и нерешительности.

Мы бросились искать свои шляпы, потом упросили дать нам нести ее корзиночку с мочалками и отправились.

Крестная сегодня в самом лучшем настроении, что мы заметили по ее обращению к нам.

Если она бывает в хорошем настроении и берет нас с собой, невольно думаешь, кого больше любишь — дядюшку или ее, и не знаешь, что себе ответить на этот вопрос.

А между тем, кажется, нет на свете двух других людей более несходных по характеру, чем дядюшка и она. Крестная даже по наружности представляет собой полную противоположность дядюшке.

Он — маленький, зябкий и весь седой, а она большая, с толстыми плечами и руками, которые у нее всег-

да красные, как будто она их только что вынула из ключевой воды. И несмотря на ее шестьдесят лет, у нее нет ни одного седого волоса. И только на родинке у подбородка вьющиеся волоски — седые.

Насколько дядюшка любит пошутить и подстроить какую-нибудь штуку той же крестной, настолько она всегда серьезна, строга и внушительна, так что ее все боятся, как огня, начиная с нас, кончая кошками.

Иногда она неожиданно войдет в детскую в момент какой-нибудь нашей схватки с Катей, когда моя рука держит ее за горло, а ее руки вцепились мне в волосы,— и со строгим удивлением скажет своим громким голосом:

— Это что тут делается?

У нас у обоих немеют руки и ноги.

С дядюшкой крестная, в противоположность его галантности, обращается несколько грубовато, но под этой грубостью чувствуется нежная забота, которую крестная, по свойству людей твердого характера, не любит обнаруживать.

— Ну ты, не изволь сидеть на балконе, сыро еще,— скажет она иногда дядюшке,— простудишься, лечить и ухаживать за тобой не буду.

Но стоит только дядюшке заболеть, как она сейчас же начнет приглядываться и всегда первая заметит его нездоровье.

А ночью со свечой несколько раз подойдет к двери гостиной и прислушивается, хорошо ли он спит.

Самое тяжелое для крестной — это быть без движения и без работы. Зимой, когда весь сад занесен глубоким снегом, окна запушены узором мороза и зимний холод загоняет всех в дом, крестная поневоле осуждена на сидение. И только в солнечные дни, когда иней белеет и сверкает на опушенных им березах, приходит с палочкой посидеть на балконе, среди мягких зимних теней, лежащих на снегу сада.

Поэтому обычное ее занятие по вечерам зимой — пасьянс.

Сидит за диванным столом с теплым платком на плечах перед разложенными картами и, держа колоду в левой руке, зорко оглядывает карты, прикусив губу и соображая, куда лучше положить карту. Она вся уйдет в свое занятие и не замечает, как дядюшка делает нам знаки, чтобы мы стащили у нее со стола карту из пасьянса.

Она никогда не раздражается, не выходит из себя, но столько в ней силы, в ее авторитетном тоне, что все чувствуют невозможность противоречия. И хотя возмущаются ее деспотизмом, но все делают так, как скажет она, и в добрую минуту к ней же идут за советом.

И когда случится какое-нибудь горе или несчастье, всегда приходят к ней за утешением. Она побранит за малодушие, даже накричит иногда, пророчески подняв палец, напомнит о боге и о незнании нашем его тайных путей, и пришедший за утешением уходит успокоенный и повеселевший.

По праздникам она надевает черное шуршащее шелковое платье, из комода вынимаются золотые серьги, лежащие в сафьяновой коробочке, которая при закрывании громко хлопает, и знакомая нам эмалевая брошка. А Таня уже бежит за шубой, которая висит в нашем уголке, в зале за дверью.

По возвращении из церкви — крестная, не раздеваясь, пройдет в зал, с серьезным торжественно-праздничным лицом помолится перед образами и даст нам большую мягкую просфору; мы сначала принюхаемся к ней, а потом разломим в том месте, где она так хорошо разделяется на две части,— на нижнюю, толстую и мягкую, и на верхнюю, более сухую и поджаристую, с печаткой,— и едим, стараясь не ронять святых крошек на пол.

Летом все дни она проводит в саду, заходит на пчельню к Никифору, где за ветхим плетнем, покрытым соломой, раздраженно и беспокойно гудят пчелы и пахнет медом и дымом курящейся гнилушки.

Бывало, идешь по дорожке впереди крестной среди нагнувшихся со всех сторон над дорожкой веток и наслаждаешься утренней прохладой, росой и сознанием того, что лето пришло. Крестная каждую минуту останавливается, осматривает прививки, деревья или разбивает палкой попавшийся на дороге комок земли, а нам хочется скорее идти вперед.

Иногда же она, продолжая по дороге строгим хозяйским глазом оглядывать все,— яблони, подвязанные кусты смородины, грядки с клубникой,— по своей привычке разговаривает с нами и сама с собой.

В эти минуты крестная кажется совсем нестрогою и так с ней хорошо идти. Мы расспрашиваем ее обо всем: отчего воздух над дальней пашней дрожит и струится; где сидят сейчас зайцы, отчего их не видно; почему

грач летит, не махая крыльями, а просто расправив их, и не падает.

И так мы, разговаривая или слушая, как она говорит, обходили сад по испещренным утренними тенями дорожкам среди пахнущей солнцем травы и пестреющих цветов под благодатными солнцем и теплым ветерком.

Если крестная захочет отдохнуть, мы приносим ей какой-нибудь чурбачок, и она, кряхтя, садится на него в тень под яблоней. Как много, по нашему мнению, теряет дядюшка, оттого что не любит ходить. Мы также ходили бы с ним, приносили бы и ему чурбачок, но нет — ему приятнее сидеть на террасе и читать свои вечные газеты.

Когда крестная уезжает по делам в город, у нас всегда немного чувствуется облегчение, как будто уехал строгий всевидящий глаз, от которого никуда не скроешься. Но проходит три дня, мы видим ее пустое место на диване, ее палку в углу за дверью и становится пусто, скучно... И мы никак не дождемся, когда в воротах покажутся знакомые лошади и подкатят к парадному.

Крестная принадлежит к числу тех людей, которые могут быть страшно строги и умеют заставить трепетать людей, но когда они захотят приласкать и утешить в несчастии, то кажется, что на свете не может быть более ласковых слов, чем их слова, более ласковой улыбки, чем их улыбка.

Бывало, набегаешься по сугробам, придешь домой весь в снегу и думаешь только об одном, как бы проскользнуть к матери, чтобы не увидела крестная, а она — тут как тут.

— Это где так убрались? Простудиться захотели? Я вот вас! Разденьте их.

Нас посадят на лежанку и стаскивают валенки, которые полны снега. Мать, всегда покрывающая по своей слабости все наши преступления, даже тягчайшие, уж прячет скорее чулки, чтобы они не попались на глаза крестной. В молчаливом ужасе, прикусив губы и покачивая головой, делает все новые и новые открытия, в результате которых оказывается нужным снимать даже панталоны и поить нас малиной.

А потом к вечеру с ужасом чувствуешь, что глотать больно. Что будет, когда узнает крестная, что простудился. А там и голова болит, и в сон клонит, и в глазах горячо, и ходят красные круги. До ночи крепишься, заснешь... Перед собою видишь зажженную лампу на ле-

жанке, а около себя встревоженные лица матери, сестер и спокойное, ласковое лицо крестной.

Она, сидя боком на постели и приговаривая что-то успокоительное, отчего все морщинки ее лица светятся невыразимой добротой, ставит мне на шею компресс.

— Ничего, сейчас завяжем, укроем, денек полежим, а там опять бегать будем,— говорит она, пряча мои руки под одеяло, и тепло, после холодных мокрых тряпочек, укрывая до подбородка одеялом.

Смотришь на ее морщинистое лицо с родинкой на подбородке, слушаешь ее тихий, успокаивающий голос и думаешь:

«Милая, милая крестная, как я ее люблю, как я не понимал прежде ее доброты. Дядюшка шутит и болтает с нами, а никогда не придет, когда мы вот так заболеем или с нами случится какое-нибудь несчастье».

XX

То, что составляло самый тревожный вопрос моей жизни, наконец, свершилось:

— Поди в гостиную, тебя мама зовет,— сказала мне один раз Катя, и по тону ее голоса я понял, что случилось что-то важное. Но хорошее для меня или дурное, я не мог догадаться.

Когда я вошел в гостиную, там сидели около диванного стола крестная, мать и какой-то молодой человек в студенческой тужурке. Меня ждали, как ждут на суде привода обвиняемого, и молчали, очевидно, обо всем уже переговорив. Крестная с серьезным, чуть нахмуренным лицом, положив обе руки на стол, выдвигала и задвигала ящичек спичечной коробочки.

— Вот что, милый мой,— сказала она, отложив в сторону коробочку, как бы не желая развлекаться,— тебе нужно подготовиться, чтобы не заявиться в школу ослом. Понял?

Я сказал, что понял.

— Ну, так вот, Петр Михайлович (познакомься, пойди) будет каждое утро приходить и готовить тебя... оставь в покое свой пояс. И чтобы у меня не лениться.

Катя стояла в дверях и смотрела на меня со страхом: чем кончится.

Кончилось тем, что мне сказали, чтобы я провел Петра Михайловича наверх и показал, чем я до сих пор занимался.

Петр Михайлович, кажется, обещал быть добрым малым. Он принадлежал к тем людям, которые избегают всякого резкого выступления: своего неудовольствия не выражают громко, а только огорчаются и молчат. У Петра Михайловича было доброе подслеповатое лицо и очки, которые он часто поправлял рукой за мочку.

Идя наверх, я вступил с Петром Михайловичем в разговор и, как мне казалось, довольно удачно вел его. Я как будто даже ободрял Петра Михайловича, показывая ему наш дом, рассказывая о том, как мы проводим время. И был очень доволен собой.

Заниматься мы начали через неделю.

Я очень рад, что у меня теперь есть область, недоступная для Кати. Прежде она гордилась и хвасталась передо мною тем, что ей можно присутствовать в комнате девочек, когда они переодеваются, а мне нельзя. Теперь я в свою очередь важничаю перед ней и притворяюсь, что моя наука не терпит никаких помех, а главное, совершенно не допускает ее присутствия.

Милая девочка несколько ошиблась в своих расчетах, когда захлопывала у меня перед самым носом дверь в комнату девочек. Ей представлялось что-то позорное в том, что меня перестали пускать туда. И она смотрела на меня с выражением любопытства и отчужденной насмешки. Ей было забавно, что я попал в беду. Теперь я припомнил ей это.

В первый же день, когда Петр Михайлович пришел заниматься и мы пошли наверх, в детскую, Катя разлетелась было присутствовать на уроке, но я перед самым ее носом захлопнул дверь.

— Когда вырастешь большая, тогда будешь ходить сюда,— сказал я ей в щель двери. И почувствовал истинное удовольствие при виде ее озадаченного лица. Она вся покраснела, повернулась и убежала, должно быть, плакать за буфет. Но мое сердце не тронулось.

«Большой, так большой!» — подумал я и запер дверь еще на задвижку.

С этого времени у нас опять начались заглохшие было вражда и рознь.

Не могу, впрочем, я сказать, что занятия с Петром Михайловичем доставляют мне много наслаждения. Несмотря на то, что он чудесный человек, никогда не кричит, не стучит линейкой,— все-таки каждый урок приносит больше мучения, чем удовольствия. Каждый раз

терзаешься сознанием невыученного урока, нерешенной задачи и чувствуешь себя лентяем, падшим, безнадежным человеком.

Вечером пробегаешь обыкновенно то за жуками, то за рыбой и думаешь: успею завтра утром сделать. Но летние утра так хороши и так хочется побывать на дворе и прислушаться ко всем утренним звукам, что с отчаянием убеждаешься в невозможности честно исполнить все, что требуется.

Проснешься рано, рано,— солнце еще едва только поднялось и положило на стену дрожащий и переливающийся бледно-розовый узор. На стеклах окон, обращенных в сад, еще не высохла роса. До урока еще далеко.

Выбежишь в одной рубашке на парадное и замрешь, от удовольствия. Свежая утренняя синева легким дымком стоит над двором и над всей окрестностью. От конюшни до самого погреба протянулись утренние тени деревьев. В кухонных сенях во все щели целыми потоками льется ослепительный солнечный свет. В сарае кудахчут куры. А в тонкой синеве небес неподвижно стоят мелкими, уходящими вдаль барашками облака.

Побежишь посидеть на бревнах около конюшни, усядешься получше, натянешь на голые колени рубашку и сидишь, прислушиваешься ко всем утренним звукам, вдыхаешь аромат свежести и росы.

Из кухни выйдет Аннушка и, гремя пустыми ведрами, пойдет к колодезю. Бежишь, подрыгивая через ногу, туда... Нагнешься через мокрый, обросший зеленым мохом сруб и смотришь вниз, где видно светленькое оконце и в нем — собственное лицо.

Большое деревянное ведро медленно поднимается, скрипя на блоке и роняя светлые капли, которые разбивают отражение в волнующейся прозрачной воде.

А там Иван выведет за оглобли из каретного сарая блестящий на солнце черным лаком шарабан и, бросив оглобли, пойдет в конюшню. Должно быть, собираются куда-нибудь ехать. В конюшне кудахчет спугнутая с гнезда курица, а около ворот ходит встревоженный петух и тоже кудахчет.

Все утренние звуки и запахи дают невыразимое наслаждение и желание дальней дороги. Думаешь о том, как хорошо выехать до зари, когда на деревне еще тишина, прохладная утренняя тень и обильная роса, которая держится даже на железных обручах водовозок, стоящих под ракитами.

Березы на большой дороге длинной чередой уходят вдаль. А на востоке золотятся грядочки облаков, за которыми прячется только что поднявшееся солнце.

Впереди на дороге большое село с белой церковью и крыльями мельниц за коноплянииками. Пристяжные, угнув головы, быстрее понесут вниз по селу, сзади за колесами увяжутся собаки, а там мелькнет околица, испуганно посторонится пешеход с высокой палкой, и пойдут опять мелькать и перекашиваться, отплывая назад, межи с грядками картофеля и загоны с цветущей гречихой.

И в лицо на шибкой рыси потянет медовым запахом луговых трав и ветерком летнего, почти безоблачного утра.

Замечтаешься — и не увидишь, как подойдут девять часов — время, когда приходит Петр Михайлович.

XXI

У Петра Михайловича, кроме доброты, есть еще одно неизменное свойство, это — аккуратность. Он никогда не пропустит назначенного часа. И я по мучительному ощущению под ложечкой чувствую близость его прихода.

Задачи на деление опять остались нерешенными, и я уж знаю, что скажет добрый Петр Михайлович: «Эх, вы,— скажет он,— что мне только с вами делать».

Я пришел в детскую и, не зная сам, зачем я это делаю, стал перебирать на столе тетради и книги. С тех пор, как я стал учиться, все мои вещи: книги, письменные принадлежности строго отделялись от Катиных вещей. Я выжил ее со своего стола, со своей этажерки. Если бы этого не сделать, то рядом с моими книгами, чего доброго, лежали бы все ее куклы и прочая *детская* ерунда.

Вдруг в коридоре послышались знакомые шаги. Я выскочил в переднюю. Это был Петр Михайлович. Осторожно, точно боясь стукнуть, он уставил в угол свою палку с выточенной на ручке собачьей мордочкой, зацепил свою старую фуражку на гвоздь и подал мне мягкую, несжимающуюся руку. Потом, стараясь не стучать ногами, точно в доме кто-то спал и он боялся разбудить, Петр Михайлович прошел в *классную*, как он назвал детскую.

— Ну, как вас господь милует,— сказал Петр Михайлович, потирая руки у стола и глядя на меня через очки своими близорукими глазами.— Делишки как?

Он был, очевидно, как всегда в хорошем настроении, происходившем от хорошего утра, ясного неба и его характера, как будто он уже не помнил, что вчера у него со мной был крупный разговор по поводу деления.

На его вопрос о делишках, я сказал, что ничего, только две задачи на деление немножко не вышли.

— Ну, немножко — ничего,— сказал Петр Михайлович, сев и протирая платком очки,— лишь бы понимание было.

Он взял из моих рук тетрадку, открыл заложенную промокашкой страницу и, передвинув промокашку на другую сторону, нахмурившись, стал смотреть.

Он еще не проверял, а, видимо, только соображал, где тут начало, где тут,— господь его знает,— конец.

А я, чтобы уж не встречаться с ним взглядом, нагнул голову, принялся за изрезанный край стола и начал его замазывать чернилами.

Я видел, как Петр Михайлович неодобрительно качал головой, безнадежно что-то подчеркивал, потом, бросив подчеркивать поодиночке, вздохнул, как человек, которому видно уж самим небом ниспослано это наказание, и перечеркнул весь лист. Потом, положив руки на мои руки, занятые столом, как бы прося внимания, подвинулся ко мне вместе со своим стулом и начал объяснять.

Объясняет Петр Михайлович хорошо, неторопливо, но из окна тянет прохладный ветерок и, приподнимая края бумаг, отвлекает мое внимание.

«В такое утро,— думал я, слушая Петра Михайловича,— не уроки учить, а поехать бы на озеро, ловить рыбу».

Выбежишь утром на крыльцо и видишь, как у каретного сарая Иван уже запрягает лошадей в шарабан и телегу. Наскоро выпиваешь чашку молока, забираешь с погреба удочки и бежишь садиться.

Приятно пахнет от колес телеги дегтем и свежим сеном, постеленным под сиденье.

Братья едут в шарабане, а мы с Иваном — в телеге. Нам в телегу кладут удочки, провизию, и мы трогаемся в путь. Из ворот поворачиваем налево, проезжаем по грязной дороге под березами и спускаемся к реке.

Вода в реке и луга за рекой еще спят. Прибрежные кусты ивняка, все седые и серебряные от росы, низко наклонились над сонной рекой. Туман клоками плывет в сторону, мимо привязанного к берегу парома. Солнца

еще нет. И так свежо над рекой, так прозрачно в утреннем воздухе, что не знаешь, что с собой делать.

А там мелькнуло озеро, все синее, точно выпуклое меж кустов и камышей. Над головой бесшумно пронеслись утки и, играя крыльями, опустились на озеро за кустами. Сердце бьется нетерпеливо, и кажется, что лошади бегут слишком медленно.

Пока отпрягают лошадей и готовят удочки, над лугами показывается солнце. Оно борется с туманом, с испарениями лугов и, наконец, побеждает их: на воду, на кусты лозняка ложатся его мягкие румяные лучи.

Озеро загадочно молчит, покрытое плавучими круглыми листьями. Его синяя глубина манит к себе охотничье сердце и обещает много рыбы. А утро все разгорается, туман рассеялся, воздух стал прозрачен и совсем ясно виден высокий дальний берег реки на повороте, под селом...

— Ну, чего же тут было не понимать,— сказал Петр Михайлович, кладя тихонько карандаш на тетрадь и отодвигая ее от себя.— Ведь просто?

— Просто,— сказал я, боясь только одного, чтобы он не спросил, что именно просто. И мы перешли к закону божию.

— Переход израильтян чрез Черное море...

— Через Чермное,— поправил меня Петр Михайлович, показав мне это слово в книжке и подчеркнул его ногтем.

— Ну, рассказывайте.

Он отклонился на спинку стула и, как бы давая мне время на обдумывание, закурил папиросу.

Предобеденное солнце зашло в раму окна и осветило уголок стола, на котором я уже давно приметил двух мух, потиравших задние ножки и оглаживавших крылышки. Катя прошла с книжкой. Села на качели и, как будто читая книжку, изредка поглядывала на меня в окно. Но я отлично знал, что она не читает, потому что, слава богу, и читать-то почти не умеет, это — кокетство. Вот-де я свободна, могу, если мне захочется, и книжку почитать. И я почувствовал в себе закипевшую к ней ненависть. Я видел насквозь все лицемерие и язвительное коварство этого человека. Это она мне мстит за то, что я выставил ее из классной. Что же, хорошо,— война так война!

— Ну, что же вы,— сказал Петр Михайлович,—

и этого не знаете? За кого бог-то стоял: египтян потопил, а евреев спас, или — наоборот?

Я слышал только последнее слово и сказал, что наоборот.

— Думайте.

Начал думать. Залетевшая в окно бабочка бьется о верхнее стекло. А сколько теперь в саду бабочек. Солнце уже зашло на зенит и почти отвесно бьет сверху. Сад густо зарос травой до самых веток. Трава нагрелась, и от нее пахнет душным ароматом цветов. Яблоневые ветки, отяжелевшие от плодов, пригнулись к самой земле. Кругом в траве стоит безумолчная трескотня кузнечиков; они то и дело выпрыгивают из-под ног — мелкие, крупные, зеленые, черные с красной подкладкой крыльев.

Бродишь по высокой траве и ищешь молочника, сочного, горьковатого сергибуса, который тут же съедаешь, откусывая его очищенную сочную палочку.

Сквозь густую, перепутанную зелень деревьев просвечивает голубое небо и отражается в воде пруда.

Летний полдень... Как хорош его безветренный зной, когда вся природа разомлела от жары, от душного аромата вянущих трав, от раскалившихся замолкших дорог с пышной, горячей пылью, которую иногда подхватывают и крутят вихри. Даже в тени под деревьями нет прохлады, трава суха и в ней нет влаги.

Вода в пруде нагрелась, но еще не потеряла своей прозрачной свежести, какая бывает в ней по утрам. Кое-как раздевшись, спихиваешь с мокрых, наглаженных бельем мостков доску и бросаешься за ней в воду. Весь пруд оглашается веселыми голосами и испуганными визгами, по воде идут во все стороны широкие круги, а от них по берегу и свесившимся веткам ракит — золотистые радуги.

Солнце отвесно бьет в воду, ветерка нет ни малейшего. Деревья стоят неподвижно и млеют под солнцем.

Когда уже накупаешься до того, что станет пробирать дрожь и губы посинеют, как у утопленника, сделаешь себе ямку на мелкой воде у берега, где вода — точно гретая, и начнешь делать из глины разные фигурки или мазаться илом. А потом обогреешься немного и с разбегу бросишься на глубокое место, чтобы разом все смыть.

Кто-нибудь наткнется ногой на вершу,— сейчас тащить ее на берег и вытряхивать рыбу. Сидишь, сжав-

шись на корточках и, стуча зубами, перебираешь на траве скользящих золотистых карасей...

— Ну, что же, должно быть, до вечера молча будем сидеть? — сказал Петр Михайлович.— Эх, вы! Возьмите повторите. Ничего не знаете.

XXII

«Боже мой, что мне делать»,— подумал я с отчаянием, когда дверь за Петром Михайловичем закрылась и шаги его по лестнице затихли,— я совсем пропадаю. Если бы я был честный человек, я сейчас же должен был бы сесть за уроки, но нет, жара, летний зной убивают во мне самые лучшие намерения. В эти часы полуденного томления я становлюсь таким грешником, что удивляюсь, как это еще меня носит земля.

Куда девалось мое настроение чистоты, в котором было так хорошо и легко. И теперь моя жизнь становится все менее и менее свободной, безгрешной и все более сложной.

Я чувствую, как в нее входит все новое. Все больше и больше признаков того, что я дальше ухожу от возраста маленьких и приближаюсь к большим. Это как с внешней стороны, так и с внутренней.

С внешней стороны это выражается в том, что я занимаюсь с учителем. С внутренней — в том, что в этот год я, благодаря братьям и Ваське, узнал многое, чего не знал раньше. И теперь это знание временами мучает меня и вводит в такие грехи, существование которых я не предполагал даже.

На мою голову все больше и больше сваливается испытаний, выдержать которые я не в состоянии, я падаю, потом раскаиваюсь и сижу за буфетом или на раките (летняя резиденция в тяжелые минуты).

Прежде я жил, не зная о существовании никаких мучений, никакого разлада с собой, не зная никакой вины за собой, кроме ничтожных, в сущности, вроде хищений конфет из буфета.

После святок я испытал неприятность грешного настроения, и на Пасху всю прелесть и свободу души при возрождении. Но теперь у меня не хватает сил держаться на высоте возрождения.

Новизна и значительность занятий скоро перестали давать содержание и интерес для моей жизни настолько, чтобы я мог довольствоваться гордым одиночеством

и не нуждаться в обществе братьев и сестер. А каждый укол самолюбия со стороны братьев, продолжающих упорно уклоняться от моего общества, каждый день неудач с уроками приводит меня к Ваське, а Васька неизменно тянет меня в открывшуюся передо мной запретную область.

Если бы жить, как прежде, и не знать этой другой половины жизни. Как было бы хорошо! Но беда в том, что пока воздерживаешься, она кажется так соблазнительна, так влечет к себе, точно сладкий дурман овладевает при этом всем существом, в особенности в знойные часы послеобеденной тишины и безмолвия.

Васька — тип отрицательный. Он в отцовской шапке и таких же больших сапогах, с вечным презрением ко всему на свете, производит впечатление атамана разбойников. И, кажется, совсем не разбирается, как я, что хорошо, что дурно. Он мрачно жесток: ловит бабочек и рвет им крылья, бьет палками воробьев на ракитах и подкарауливает лягушек у пруда; кроме всего этого, курит табак. Вообще делает все то, что меньше всего способствует душевной чистоте.

Я бегаю к нему теперь каждый день, и мы прячемся с ним от Кати, так как у нас завелись такие занятия и разговоры, которых не должен видеть и слышать никто из посторонних, а тем более Катя, которая в первый же день рассказала бы все большим. И тогда я — погиб.

Конечно, я мог бы общество Васьки заменить обществом Кати, но бес гордости от сознания того, что я теперь изучаю *науки*, так обуял меня, что водиться с Катей я считаю ниже своего достоинства.

Кроме того, в Ваське меня привлекает его презрение ко всему, с ним поэтому чувствуешь себя как-то крепче и легче переносишь свою отрезанность, свое промежуточное положение по отношению к большим братьям и сестрам. Васька так презрительно равнодушен к тому, какое он производит на других впечатление, что я невольно почерпаю у него какие-то силы для того, чтобы самому отвечать таким же презрением всем им, не желающим меня знать. И если я при этом забираюсь все дальше и дальше в дебри греха и всего запретного, то и здесь Васькина внутренняя прочность и уверенность в себе поддерживают меня и даже приводят к мысли, что *они* в этом виноваты.

И мне иногда даже хочется быть еще хуже, чтобы *они* почувствовали и ответили бы за меня. А я твердо

уверен, что отвечать за меня придется им. Да это так и есть: кто довел меня до того, что я стал бегать к Ваське? — Они. Кто никогда не хочет поговорить со мной по-человечески? — Они. Наконец, та же Катька, — она ведь готова всякую минуту показать мне спину, если у нее дела с сестрами обстоят хорошо. Надо только посмотреть на нее, когда она собирается с ними идти купаться. Как же им не мстить?! Единственно, что нехорошо, — это те мучения, какие испытываешь потом от сознания своей греховности, а они — виновники всех моих бед — благодушествуют, как ни в чем не бывало. Словом, они неуязвимы со всех сторон. А я терплю — то от них, то от самого себя. И чем сильнее я хочу их зацепить, тем больнее бью себя.

XXIII

Было уже двенадцать часов дня. Неподвижный зной висел в раскаленном воздухе. Слабо чирикали воробьи. Хотелось прохлады и влаги.

Я стоял у стола, собирая после ухода Петра Михайловича тетради и книги, и решительно не знал, что мне делать, куда мне деть себя.

— Захвати и простыню, — крикнул кому-то голос Сережи, и я, выглянув вниз в окно, видел, как в дом из сада прошел Ваня и через минуту вышел с полотенцем и простыней на плече. Братья пошли по дороге к пруду по ближайшему направлению, мимо погреба — через сад.

Я скатился с лестницы и догнал их около погреба.

— Ты куда это разлетелся? — спросил Сережа, останавливаясь и обращаясь ко мне.

— Вы купаться? — спросил я в свою очередь, но сорвавшимся голосом.

— Купаться, а тебе что?

— Я — тоже.

— Нет ты не тоже. Будь добр, вернись, можешь пойти с девочками.

— Девочки меня не берут с собой...

— Ну, уж это не наше дело.

Ваня, остановившись впереди, ждал Сергея и, избегая встречаться со мной взглядом, ковырял землю палочкой.

Дальнейшего разговора быть не могло. С этой стороны я хорошо знал Сергея. Они ушли. Я постоял на дороге, оглянулся, не видела ли всей этой позорной

истории Катя, и стал раздумывать, куда мне теперь деться.

Жара была даже в тени. Ветки ракит висели неподвижно над соломенной крышей погреба. Дорога раскалилась до того, что на нее нельзя было встать босыми ногами. В саду раздраженно, как всегда, когда цветет гречиха, гудели пчелы.

«Опять та же история.— С девочками... а к девочкам придешь, они скажут — к мальчикам иди. О, как я их ненавижу всех»,— подумал я. И пошел искать Ваську.

И что же тут удивительного, если все меня гонят и бегают от меня, как от чумы,— одни, как от маленького, другие, как от большого,— ничего нет удивительного, если Васька является единственным моим прибежищем. Зато уж и перемываем мы с ним косточки всем этим господам.

«Как же! — раздумывал я.— Хочешь быть хорошим, послушным и все... так нет же, сами толкают. Какое только терпенье нужно, чтобы не застрелиться, одному богу известно».

Васька был в каретном сарае и, сидя на обрубке, ковырял шилом свой сапог и продергивал нитку, помогая себе зубами.

— Отставили? — спросил он, мельком взглянув на меня и, как бы пользуясь перерывом, утер рукавом нос. Он, очевидно, был живым свидетелем моего позора.

— Отставили,— сказал я, присев около него на другой чурбачок.

— Что же теперь делать?

— Подложу Сергею свинью какую-нибудь, вот и все,— сказал я.— Пойдем одни купаться.

— Я еще не обедал,— сказал Васька.

— Вот это и хорошо, кто же после обеда купается.

— Нет, после обеда лучше,— сказал Васька,— живот раздует, на воде легче держишься.— Но все-таки он встал, бросил сапог на свою деревянную постель, покрытую дерюжкой, и мы пошли без шапок по жаре.

— Куда же? В нижнем пруде — братья, в верхнем — девочки наши.

— Так пойдем в верхний,— сказал Васька.

— Да ведь там же...— начал было я, но сейчас же замолчал.

«Все равно, сами виноваты,— подумал я,— сами!»

Со стороны верхнего пруда неслись веселые девичьи голоса и визги. Наверное, они там плавали на досках,

брызгали друг в друга водой и заходили по горло в воду. Как хорошо бывало прежде, когда они меня брали с собой купаться: посадят меня на доску верхом и повезут на середину пруда, или, подхватив меня под живот, учат плавать. Потом отвезут нас с Катей на мелкое место и предоставят нам полную свободу, чтобы опять приехать за нами на доске и везти к мосткам одеваться.

Теперь если и удастся иногда увязаться с братьями, то все дело ограничивается тем, что мутишь воду около берега и ерзаешь животом на узенькой дощечке, которая вывертывается из-под тебя концом кверху, а то уйдет под кусты к плотине, тогда и вовсе сидишь без всего. В то время как они на хороших больших досках плавают на самой середине пруда, на глубоком месте и блаженствуют, как будто тебя нет на свете...

В саду высокая, с высеменившимися головками трава стояла неподвижно под солнцем. Белые бабочки гонялись одна за другой и порхали в благодатном зное июльского полдня. Около шалаша в траве слышался храп спящего сторожа.

Забравшись в заросшую кустами ясеня и бурьяна канаву, мы прежде всего закурили.

У Васьки была махорка, которую он носил без коробочки, прямо в кармане, и когда нужно было свернуть папиросу, выворачивал холстинный карман и высыпал табак на шапку, продавив дно ямочкой.

Я чувствовал, что опускаюсь в бездны греха, но раскаяния не было.

«Пусть,— подумал я,— еще не то будет».

— Ты бы легкого табаку принес,— сказал Васька, утирая слезы после затяжки.— Я бы на твоем месте сколько наворовал, а то дерешь, дерешь этим горло, прямо сил никаких нет.

— Ладно,— сказал я,— наворую.

Мы докурили, посидели немножко, пока в глазах прошли зеленые круги, отдышались и пошли к пруду, причем Васька шел не со стороны плотины — открытого места, а со стороны кустов. Не доходя нескольких шагов до кустов, мы стали на четвереньки и поползли подсматривать.

Через некоторое время мы вылезли из-за кустов, спустились в луг и долго бродили по высокой траве, прикрывая по временам руками макушки от солнца.

Трава, нагревшаяся от зноя, пахла тысячью запахами цветов, клевера, белой ромашки, от их густого солнечно-

го аромата было трудно дышать. Потом лазили в соседний сад за крыжовником и чуть не налетели на сторожа, били в сарае воробьев палками.

Я не испытывал ни жалости, ни раскаяния и с каким-то наслаждением катился по наклонной плоскости.

После каждого убийства во мне говорил какой-то голос:

— Видели это? Сами довели. Подождите, то ли еще будет...

Потом, сидя на бревнах, говорили о братьях и обсуждали, чем бы им так насолить, чтобы они, наконец, почувствовали.

— Вот этим бы их,— сказал Васька, крепко сжимая свой грязный кулак.

— Да, но как? — сказал я.— Сестрам можно хоть воды в постель налить или шляпы ножницами проколоть, а им что сделаешь?

Мы помолчали, соображая.

Я уже опоздал к обеду. Мы давно видели, как прошли с пруда с полотенцами на плечах братья и сестры.

Мне могло влететь за опоздание к обеду, но я был в состоянии загулявшего человека, который слишком зарвался и терять ему уже нечего. И когда Васька, спустя полчаса, предложил мне отправиться за табаком, я согласился и пошел.

XXIV

Когда кончается ранний деревенский обед, во всем доме и на дворе наступает сонливая тишина.

Дядюшка, набив папирос, завешивает в спальне окно поверх шторы еще большим старым платком, которым мы накрывались, когда играли зимой в судьбу,— берет в руку кленовую ветку и, шурша ею по стенам, начинает выгонять в раскрытую дверь мух, разговаривая с ними.

Потом закроет дверь, и в спальне становится прохладно и полутемно. Только в платке светятся дырочки.

В саду тишина и зной. Кажется, что жара идет не только сверху от солнца, но и снизу, от травы, в которую бьют почти отвесные лучи солнца.

Не умолкают и бодрствуют только одни кузнечики да мы. От кузнечиков стоит такая трескотня, что порой кажется, будто это не в траве, а у самого в ушах звенит и стрекочет.

Забьешься в высокую траву, сядешь там — и наслаж-

даешься сознанием, что нас ни одна живая душа не видит. И говорим нарочно тихими голосами.

Жара всех сморила и повалила, только не нас.

Мы с открытыми головами сидим на самом припеке и рассматриваем пойманного большого зеленого кузнеца.

— Бока-то у него какие твердые, как сделанные,— говорит Катя,— ты попробуй. Дай я поглажу его по спине. Ему приятно это, как ты думаешь?

— Конечно, приятно,— говорю я.

И мы оба держим его за ноги и гладим.

А выйдешь за сад в поле,— там необозримая даль желтеющей ржи. Раскаленный воздух неподвижен. Вода в пруду давно уже потеряла свою утреннюю синеву и прозрачность и бьет в глаза ослепительным блеском. Над рожью одиноко летает ястреб, иногда останавливается в воздухе и часто машет крыльями, стараясь удержаться на одном месте. Пролетает грач низко, над самой пашней, чуть не касаясь ее крыльями. Его тень бежит за ним.

В небе над лесом столпились белые облака причудливыми тяжелыми столбами. Поднялись кверху и застыли в сонной неподвижности.

Когда я пришел в дом, все уже пообедали. Дядюшка отдыхал. Около двери спальни в передней стояла кленовая ветка, которой он выгонял мух. Крестной не было видно. Мне хотелось есть. Я открыл дверцы буфета и, присев на корточки, наскоро съел кусочек холодной курицы, потрогал лежавший под полотенцем пирог и, махнув на него рукой, так как некогда было с ним возиться, вытер о полотенце губы и пошел в гостиную за папиросами.

Пока мне все благоприятствовало: в гостиной тоже никого не было. Ящичек с табаком стоял на своем обычном месте, на старинном туалетном столе крестной с выгнутыми ножками. Я благополучно сделал, что нужно, и хотел было идти. Но тут увидел коробку с сигарами, которые дядюшка изредка курил и запах их мне очень нравился.

Я решил взять одну и попробовать.

«Выкурю одну,— подумал я,— Ваське не стоит давать, а то зазнается»,— и побежал было на чердак, но по дороге вспомнил, что у меня нет спичек. Надо было идти взять в черной передней в шкафу, где стоят лампы.

В этом шкафу чего только нет: ламповые принадлежности, мочалка, серое мыло для стирки, квасцы и гипс

для заливки ламповых горелок, бутыль с керосином и лейкой и всякие молотки и гвозди.

И когда откроешь ящик с мочалками, оттуда непременно выскочит, как угорелый, желтый таракан и, сорвавшись, шлепнется на пол. Катя боится их до безумия.

Только что я успел влезть на стул и спрятать в карман спички, как услышал за собой голос крестной:

— Ты что там лазишь?

Я испугался, но не растерялся и, не оглянувшись, сказал, что ищу гвоздик.

— Гвозди в среднем ящике,— сказала она и ушла в гостиную. А я невольно подумал о том, как меня бог спас, что она не видела, как я таскал папиросы.

Я слез со стула и, отставив его к стене, побежал на чердак, стараясь не шуметь по лестнице. Но, как нарочно, зацепил ногой стоявшую на ступеньках огородную лейку, и она с грохотом, подпрыгивая и кувыркаясь, полетела вниз.

— Черти тебя там носят!..— сказал в сенях голос Аннушки, очевидно, подумавшей, что это рябый кот.

Я зажал уши и, показав себе язык, присел, с ужасом ожидая последствий.

Но последствий не было никаких.

На чердаке я выбрал довольно живописное местечко, около большого разбитого полукруглого слухового окна и, поколебавшись некоторое время, с какого конца начать, стал раскуривать сигару. Но сразу же поперхнулся и так раскашлялся, что не мог остановиться, пока чья-то рука не дернула меня за рукав.

— Ты, сударь, что это делаешь?.. А?..

Будет мне сорок, пятьдесят лет,— большего ужаса, чем тот, который я испытал при этом окрике,— никогда не испытаешь.

«Пропал!..» — успело только мелькнуть в голове.

Какая-то волшебная сила подхватила меня так, что известная часть очутилась наверху, а голова внизу, около пыльного бревна, и началось позорное, ужасное... Но страшнее всего было то, что это была сама крестная...

«Куда теперь?..» — думал я, после того, как вырвался и убежал в сад. Я шел и в то же время сознавал, что у меня нет того ужаса и отчаяния, каких можно было ожидать в подобных обстоятельствах. У меня просто было состояние отсутствия в здешней жизни. Такое состояние мне казалось недостаточным и несоответствующим моему положению.

— Что же теперь... Что для меня теперь может быть в этой жизни? — говорил я себе, не потому, чтобы чувствовал свое положение ужасным, а потому, что мне казалось нужным чувствовать что-нибудь особенно сильное.

— Пропало все,— говорил я себе вслух,— пропала жизнь, возможность всякого существования между людьми, между своими. Прежде всего нужно утопиться, чтобы отомстить им, а потом... Как я прежде мог думать о ней что-то хорошее, как я сразу же не раскусил этого ужасного, жестокого человека, которому ничего не стоит исковеркать и погубить жизнь другому? Разве не видно было сразу, что она ждет моей гибели? Она даже с кошками жестока, как никто, туряет их полотенцем и чем попало с дивана. Нет, топиться, топиться без всяких разговоров.

Но когда я подошел к пруду и увидел его тихую глубину у плотины и больших лягушек, сидевших по берегам и смотревших своими зелеными глазами, мне стало страшно.

«Нет, жаль матери,— подумал я,— за что она, ни в чем не повинная, будет страдать. Положим, мать тогда ей все выскажет.— «Это ты,— скажет она,— своей необузданной жестокостью довела его до безвременной могилы».

«Нет, все-таки это жестоко по отношению к матери»,— подумал я и с остановившимися невысохшими слезами соображал несколько времени. Потом съел с ближнего дерева несколько вишен.

«Лучше просто не буду показываться. Спрячусь где-нибудь и буду сидеть день, два». Я зашел в вишневые деревья и, присев на корточки, стал раздумывать над своим положением.

«Что за окаянная судьба, все тебя гонят, дерут, как сидорову козу. И до каких пор это будет продолжаться? Я совершенно не представляю себе, когда может улучшиться моя жизнь».

Было только соображение о том, что я скоро поеду учиться, как братья, и, может быть, это образумит их немножко и поселит в них долю уважения ко мне. А то ведь совершенно нельзя жить. Нет никаких сил. Как же! — все ходят с спокойной совестью, а я как заклейменный каторжник с пятном несмываемого позора.

Я сел поудобнее и, срывая спелые, почти черные вишни, стал придумывать различные комбинации, благодаря которым они были бы опозорены и уничтожены.

Лучше всего мне показалось уехать, так, чтобы никто из них не знал, куда я делся. А потом, спустя много лет, дослужившись до генеральского чина и до золотых эполет, как у Ивана Тимофеевича, приехать сюда. Меня никто не узнает, ничего не подозревают, все рассыпаются передо мною в любезностях, я достаю папироску... Они, заторопившись, дают мне спичек, пепельницу, я... закуриваю и тут открываюсь им...

— То-то,— скажу,— милые мои, теперь вот вы прикуривать мне даете, а кто меня драл на чердаке?..

Я просидел под вишнями целый час и мне стало, наконец, скучно. Солнце уже давно сошло с полудня, но в воздухе было душно и где-то погромыхивал гром. В другое время я с наслаждением ждал бы грозы, но теперь все было отравлено. Я так разжалобил себя, что хотелось плакать. Теперь дома собираются пить чай. Обо мне, должно быть, забыли. И если бы я даже умер совсем от голода и жажды, они не вспомнили бы обо мне. Были бы даже рады: развязал всем руки. Никогда нога моя не будет больше в этом доме. Но, просидев еще минут пять, я не выдержал.

— Вот что,— сказал я себе,— пойду домой, но только не буду никому показываться и не буду ничего есть, хотя бы меня умоляли об этом.

Пробравшись потихоньку в детскую, я лег на диван и, повернувшись лицом к спинке, придал лицу выражение мрачного отчаяния. Но так как в детскую долго никто не заглядывал и не мог видеть, как я страдаю, то мне пришлось перебраться вниз и улечься в той же позе в угольной на диване.

Первой увидела меня мать. Она, не подозревая всего совершившегося, позвала меня пить чай.

Я даже не отозвался.

Она подошла поближе и спросила, что со мной. Встревожившись, она продолжала спрашивать и хотела было от спинки дивана повернуть к себе лицом.

— Оставьте меня! — крикнул я.— Теперь все равно ничего мне не нужно. Довели до того, что умирать...

Жалость к самому себе сжала мне горло и не дала говорить.

— Да что ты? Что с тобой?

Но я решил больше ничего не говорить, повернулся к кожаной задинке дивана и уткнул лицо в трещинку, где сходится задинка с сиденьем, чтобы было куда дышать.

Я знал, что мать не виновата, что она меня жалеет, беспокоится. Но мне доставляло удовлетворение, что она мучается за меня и в тревоге расспрашивает, чего из тех никто не подумал бы сделать. И все-таки я был груб с нею, зная ее доброту и неспособность прикрикнуть на меня, как это сделала бы крестная или тот же Сережа. И я пользовался этой добротой, чтобы вымещать на ней свои обиды.

— Ну, пойдем чай пить, сегодня свежие пышки, твои любимые.

Я не шевелился и редко дышал в трещинку. Мать постояла еще немного и ушла.

«Вот только досадно, что сегодня пышки»,— подумал я, прислушиваясь к голосам и стуку ложечек, доносившимся из столовой.

«Успокоилась»,— подумал я о матери, услышав ее голос, говоривший Тане подать полоскательную чашку. Я приподнялся на локте и вслушивался в голоса, надеясь услышать разговор обо мне. Но обо мне никто ничего не говорил.

«Господи, если бы только кто-нибудь знал, как я несчастен, как всеми заброшен. А крестная пьет чай и не подумает обо мне, хотя бы я умирал с голоду. Ведь она видит, что сегодня пышки. О, проклятая жизнь!»

Вдруг послышался скрип половиц под знакомыми тяжелыми шагами. Я едва успел спрятать голову под диванные подушки с вышитыми цветами и, затаив дыхание, не моргая, смотрел в пуговки задинки и ждал.

Это шла сама крестная.

Она тихо позвала меня. Я молчал. Тогда она села около меня на край дивана, пружины прогнулись под тяжестью ее тела, и мой бок прикоснулся к ее боку.

Я отодвинулся и еще дальше запрятал голову. Ее теплая, большая рука легла мне на плечо.

— Ну, будет, милый, поплакал и довольно. Пойдем чай пить,— сказала она мне тем своим задушевным голосом, которым говорила с нами во время наших болезней или каких-нибудь несчастий.— Что ж теперь делать,— виноват, так виноват. Мы никому об этом не скажем. Вот беда-то какая, подумаешь,— то ли еще бывает. Ну, пошалил немного. Только впредь этого делать не надо.

Она еще что-то говорила ласковое и успокаивающее. Я прислушался к родным звукам этого голоса, к горлу подкатился тяжелый ком, и я заплакал уже от другой причины.

XXV

В мутном знойном воздухе еще с самого обеда со всех сторон тяжело громоздились облака. А потом на юге засинелась и неизвестно откуда стала расти и приближаться грозная темно-синяя туча.

Солнце закрылось передними облаками. Вода в пруде приняла зловеще-черный оттенок. По ржи, стоящей за садом плотной зеленой стеной, шли уже темные волны.

Вдруг поднявшийся свежий ветер сильнее подул в лицо, порывисто пригибая траву, пробежал по ней, поднял с дороги пыль и листья, закружил их и понес на деревню. Ракиты в усадьбе, заворачивая белесую изнанку листьев, гнулись вершинами все в одну сторону. Где-то захлопали ворота. Стало вдруг пасмурно, сумрачно. Воробьи попрятались, и только куры, не понимая опасности, ходили еще по дороге, и ветер раздувал их хвосты и перья. Надулось от ветра и затрепалось на кольях белье.

— Гроза идет! — сказала тревожно крестная.— Танюша! Тихон Тихонович, закрывайте скорее окна. Ах, боже мой! — Она засуетилась, поглядывая на небо, и пошла сама осматривать окна в зале.

— Трубу скорее закройте. А Мария Ивановна где?

— В саду,— сказала Таня.

— Ну вот — измочит дождем. Точно глаз нет, идет гроза, а они не видят.

— Не волнуйтесь, пожалуйста,— сказал дядюшка, тоже подошедший к окну,— а то вы все тучи разгоните, как в прошлый раз. Этим дамам даже сам господь бог не угодит.

Но крестная не слушала его и говорила что-то о кадках для дождевой воды, и голос ее раздавался уже в столовой, выходившей окнами на двор.

Мы выскочили на балкон и со страхом и радостью смотрели на потемневшее небо и гнувшиеся вершины деревьев, чтобы с первым ударом грома, со следами дождевых капель на рубашке с визгом вбежать в балконную дверь.

Гроза освежает не только воздух, но и душу. И я чувствую, как моя душа ждет от грозы обновления и освежения.

— Успеем пробежать до клумбы? — сказала Катя.

Я было согласился, но в это время тяжкий воздух дрогнул, глухо, отдаленно, чуть трогая слух, пророкотал где-то гром. Мы остановились и посмотрели на небо.

Все перемены в природе сближали нас и гасили горевшую между нами вражду. И в это время о Ваське я не мог думать иначе, как с отвращением.

Гроза надвигалась. Рассеянно редко упали на песок дорожки несколько капель и жадно впитались, потом еще и еще... и сразу, точно прорвавшись, полил крупный, прямой и теплый летний дождь.

Запрыгала катышками прибиваемая дождем дорожная пыль. Захваченные дождем куры, опустив смокшиеся хвосты, бежали под навес.

Одно окно в столовой раскрылось рукой крестной, и она, высунувшись на дождь, закричала в кухню, где в сенях стоял укрывшийся от дождя народ:

— Кадку, кадку поправьте под трубой! Не видят, что вода мимо льет, безголовые!

Аннушка, накрывшись мешком и раскатываясь белыми босыми ногами по грязи, побежала по дождю поправлять кадку. Забытое на изгороди белье обвисло и облепило колья.

Вдруг, ослепив глаза, низко по двору блеснула сквозь дождь яркая белая молния, а за ней сейчас же где-то близко, над нашими головами, что-то огромное, разломившись, треснуло с резким сухим звуком и в несколько приемов — трах-тах-тах... раскатилось по небу; перекатилось на другой конец неба и зарокотало там уже отдельно и широко.

Мы, сбив с ног в дверях Абрамовну, вышедшую за нами, бросились в комнаты. В столовой около окна стояла крестная и, глядя на дождь, крестилась при каждом взблеске молнии и ударе грома.

Хорошо бы сейчас выбежать в сад и подставить голову под водосточную трубу. Или просто выскочить, пробежать по двору, чтобы намочило дождем.

Молодежь где-то застал дождь, и они со смехом вбежали в дом, оглядывая себя и отряхаясь.

— Все мокрое,— кричала Соня, разводя руками и показывая себя.

— Иди, иди скорее, от тебя лужа,— говорила Маруся, оправляя перед зеркалом свои намокшие и развившиеся волосы.

— Переменяйте же скорее белье,— закричала на них крестная, хлопнув себя руками по бокам при виде их, и они убежали в спальню.

— Вот счастливые,— подумали мы,— где это им так удалось.

Гроза пронеслась. Везде по двору стояли мутные лужи с плавающими по ним пузырями. Под окном в саду, на мокром песке, лежали выброшенные на дождь ножницы. Это крестная бросила их от грозы.

Туча, еще более синяя, но уже не страшная для нас, свалила на другой конец неба.

Повсюду стекала вода, все было мокро: стволы ракит, заборы. Столбики балкона все почернели с одной стороны от дождя. Мокрая трава в саду была перепутана ветром, и большие листья лопуха белели, завернувшиеся мохнатой изнанкой.

Солнце уже просвечивало сквозь тонкий полог уходящей тучи, и мелкий, золотистый от солнца, перестающий дождь сеялся на заблестевшую мокрым глянцем траву.

Из ворот сарая, точно освободившись, вылетела ласточка и с радостным свистом взвилась в небо.

Куры, подобравшись, вышли из-под сарая на траву. Мальчишки, засучив штаны и придерживая их руками, пошли босиком бродить по лужам.

Дождь совсем перестал, и только с ракит падали крупные капли в натекшие под ними лужи теплого летнего дождя. Одна капелька скатилась, повисла и от попавшего в нее луча загорелась красным, как кровь, светом, потом мягко перелилась в ослепительно синий и упала.

— Смотри-ка,— закричала Катя, пробуя палочкой в луже,— вот как здесь глубоко.

Как хорошо небо после грозы, как хорош освеженный воздух и как чиста душа, как будто омылись все грехи, все дурное, что накопилось в ней за душный летний день.

XXVI

Как зло и грех постепенно омрачают всю радость жизни и делают меня недостойным и неспособным с открытой душой наслаждаться всей прелестью мира божьего.

Выпадают теперь такие дни или целый ряд дней, когда душа бывает до того загрязнена скверными мыслями, образами и новыми открытиями, благодаря любезному содействию Васьки, что нет сил никому смотреть прямо в глаза.

Главные мои грехи: курение, избиение воробьев, лягушек в пруде и ж е н щ и н ы. Последний грех — самый

тяжелый, самый мучительный для меня. Здесь я совершенно бессилен бороться с собой. И я еще не знаю, что больше — удовольствие, получаемое от подсматривания, или муки совести, которые следуют за этим. Пожалуй,— последнее.

И вот — я сижу и мучаюсь от невозможных представлений, страдаю от них и ничем не могу прогнать их от себя, хотя для этого употребляешь решительно все обычные в подобных случаях средства: стараешься твердить без передышки какое-нибудь бессмысленное слово или бьешь себя по уху, чтобы отдавалось в барабанной перепонке, и скачешь при этом на одной ноге.

А в другое время сам не выдержишь и всецело отдаешься во власть нечистого и — то торчишь в передней, то промышляешь у пруда.

Потом придешь домой, там молодежь мирно беседует, девочки, подвязав фартучки, чистят ягоды для варенья, а потом кто-нибудь из них, подкравшись сзади, вымажет Сережу смородинным соком и — пошла возня! Ты же чувствуешь себя среди них, как неумытый или прокаженный, и не имеешь ни силы ни права принять участие в их весельи.

С какою сладостью вспоминаешь тогда свое раннее, неомраченное грехом детство, когда не знал соблазнов, никаких ужасных мыслей, никаких мучений совести и свободной душой радовался всему, всему — и первому зазимку, и темным комнатам, и летним утрам.

Теперь все это недоступно для меня.

Часто в отчаянии даю себе слово начать с первого же понедельника или с именин дядюшки чистую жизнь, но обещания так и остаются обещаниями.

После случая на чердаке я, например, дал себе клятвенное обещание порешить с прежней ужасной жизнью, а кончил тем, что на другой же день, даже один, без Васьки, сидел в хвосте пруда, в кустах, потом колотил лягушек и выдавливал из них кишки. Итак, чем дальше, тем больше.

И уж раз сорвался, так и пойдет одно к одному: то подсматривал, как купаются, то курили с Васькой, и нас поймали, то зарвался в ссоре с Сергеем (не хотел ему уступить на глазах у барышень) и искусал ему руку, а потом сидел за это в чулане.

Ведь нельзя сказать, чтобы все то, что проделываешь, было приятно и самому. Иногда сидишь где-нибудь в глухом, заросшем углу сада, на упавшем гнилом дереве,

среди бурьяна, накурившись до того, что в глазах ходят зеленые круги и все нутро выворачивается, и думаешь: «Господи, хоть бы кто-нибудь помог!»

Потом призовешь на помощь Николая-угодника, наобещаешь свечек и, уже лежа на траве от тошноты, даешь ему священную клятву с завтрашнего дня не курить, не смотреть на женщин и не бить не только лягушек, но даже и мух. Голова кружится, мучает сознание отверженности, душевной загрязненности и невозможности возрождения. А между тем, как прекрасно могло бы быть. А как прекрасно сейчас все вокруг меня.

Густо до самых нижних веток яблонь зарос сад травой. В просвет деревьев видны белая стена дома и белые колонны балкона, окна издали, сквозь деревья, блещут и золотятся от заката. Пахнет засыревшей к вечеру травой.

Вверху мирно синеет вечернее небо. Летят с поля, растянувшись длинной полосой, грачи на ночлег в березник. С деревни доносятся хлопанье кнута и дрожащее от бега блеянье овец, бегущих по обыкновению впереди стада.

На ледник сейчас принесут парное молоко, и явятся кошки к своему черепку за своей долей. Прибежит Катя с своей чашкой и будет просить налить ей без пены.

И только я один проклят и лишен всех радостей. А настанет страшный суд, тогда, должно быть, еще не так со мной поговорят.

— Поскорее хоть бы уж один конец, чем каждый день испытывать эту муку.

И нет дня, чтобы чего-нибудь не открылось: то в кармане моих панталон мать найдет папиросы и спички, ахнет и уж прячет поскорее, чтобы кто-нибудь не увидел моих художеств. То придут садовые девушки и пожалуются на меня, что я руки сую, куда не следует. А то Иван Тимофеевич, сидя у нас, как будто дружески, погрозит мне пальцем и скажет, что нехорошо в гости ходить не в ворота, а через садовый плетень.

И все это — я. Все это — мои подвиги.

— О, господи, что это будет, если я не остановлюсь.

И до каких пор это будет продолжаться! Неужели всю жизнь я осужден терпеть такие мучения? Я невольно оглядываюсь на братьев, что они? Может быть, грехи одолевают, пока продолжаешь быть маленьким, а потом все это пройдет. Но тут я наталкиваюсь на совсем не понятную вещь: я отлично вижу, что у Сережи может быть

столько же грехов, сколько и у меня,— я кое-что успел заметить и немало. Но он чувствует себя превосходно, тогда как Ваня, человек, по-моему, совершенно святой, постоянно чем-то мучается, о чем-то думает и никогда не бывает совершенно весел и беззаботен.

Так что по моим наблюдениям оказывается, что можно быть святым и мучиться, а с другой стороны — устраивать себе сзади куртку петушком, исчезать по ночам куда-то в окно, как это делает н е к т о, и чувствовать себя великолепно.

— В чем это тут дело? — думал я однажды, сидя на чердаке с папироской и прислушиваясь на всякий случай, не нагрянул бы кто-нибудь сюда грешным делом.

— Должно быть, в том, что уж это т а к о й человек. А какой же я человек? — вдруг пришло мне в голову. Сережа грешит и не мучается, Ваня не грешит и мучается, я же и грешу и мучаюсь. И мне приходится труднее их уже потому, что многие из моих грехов для них не являются грехами, например, то же куренье: Сережа покурит и для него — одно удовольствие в этом, а я должен страдать или от мучений совести, или от порки, что еще хуже.

И что же, в конце концов, должен я отличаться от них или должен подражать им? Но тут впутывалось, однако, соображение о том, что нужно подражать все-таки кому-нибудь одному из них, обоим сразу — не было никакой возможности, так как они были совершенно не похожи друг на друга. В особенности это стало заметно теперь, главным образом со времени нашего храмового праздника троицына дня.

XXVII

Троицын день по многим причинам самый любимый наш праздник. В день праздника мы встали рано. Утро было свежее, на небе стояли серые облачка и закрывали взошедшее солнце.

Но чувствовалось по всему, что скоро, может быть, к концу ранней обедни, облака разойдутся, и солнце заиграет на свежей росистой зелени.

Мы выбежали в гостиную, оттуда на балкон. Здесь было свежо, росисто и зелено. На средней клумбе распустились красные пионы и, окропленные утренней росой, пригнулись от собственной тяжести к траве.

Вышла крестная в черном праздничном платье, которое шуршало при каждом ее шаге шелком, отперла стоя-

вшую на туалетном столе свою шкатулочку, достала из нее деньги в церковь и, положив ключ с платком в карман, вышла через балконную дверь в сад. Посмотрела из-под руки на небо, потом, увидев распустившиеся пионы, улыбнулась и сказала:

— Ах, милые мои, какие хорошие...

Потом, повернувшись к дому, крикнула:

— Танюша!.. или кто там, цветочков в церковь. Нарви, матушка, цветочков,— прибавила она, когда из дома на балкон выбежала Таня.— Два пиона сорви да колокольчиков в саду поищи, там, около канавы, я видела, потом куриной слепоты, желтенькие цветочки, знаешь. И ромашек побольше.

Она взяла шлейф платья в руку, оскребла о нижнюю ступеньку сырой песок с башмаков и пошла через балкон в дом. А мы отправились за цветами, прежде всего сорвав два тяжелых пиона.

Как хорошо бродить в серое погожее летнее утро по саду в густой сыроватой траве и собирать цветы в церковь, в то время как со стороны села доносится праздничный звон колокола. И как хорош сам троицын день: около дома наставят березок, в комнаты принесут накошенной в саду травы и разбросают по всему полу. Ходишь по комнатам и принюхиваешься к ее свежему запаху. В зале приготовляют перед иконами стол для молебна и приносят в белом блюде воду для освящения, расставляют свечи.

В церкви тоже все убрано зеленью, и стоит тот же приятный запах свежескошенной травы, березовых веток и кадильного дыма.

Стоишь с букетом цветов в руках, в новенькой в первый раз в церковь надетой курточке, и ждешь, когда из алтаря вынесут обитую малиновым бархатом скамеечку, и батюшка, в лучших золотых ризах, выйдет на амвон читать на ней коленопреклоненно троицкую молитву.

После обедни на террасе, за большим столом, покрытым белой, почти до пола спадающей скатертью, с пирогом на большом блюде, с блестящим на солнце самоваром и посудой, пили чай. Приехали почти все те же гости, которые бывали обыкновенно на всех больших праздниках и именинах. На одном конце сидели старички, на другом, ближе к самовару,— молодежь.

— А где же Ваня? — сказала крестная, оглянувшись на молодежь. Мать тоже оглянулась и пошла искать Ваню, но потом вернулась и молча села. По лицу ее

было видно, что она чем-то огорчена, очевидно, разговором с Ваней.

Ваня был в кабинете. Он с особенным выражением какой-то напряженности, какая у него всегда появлялась, когда приходил какой-нибудь большой праздник и в доме собирались гости, нарушавшие весь обычный порядок дня, сидел и усиливался о чем-то думать.

Мы посмотрели на него в щелочку.

Когда мы вернулись на балкон, мать что-то говорила, очевидно, отвечая на вопрос крестной.

— Молодое вино... молодое вино,— сказала крестная и, задумавшись, прибавила: — Все-таки необыкновенный мальчик. Дай бог, если в хорошую сторону; шелопаев много, а вот настоящих людей нет. Не надоедайте только ему, сам справится,— сказала она, махнув рукой матери, которая хотела было опять идти.

— Чудится мне, что вот этот гусь тоже будет всякие штуки выкидывать,— сказала крестная.

Я поднял голову, чтобы узнать, про кого она говорит, и увидел, что она смотрит на меня. И все оглянулись на меня. Я не знал, что мне делать, какое выражение придать своему лицу. Такой удачи я не ожидал. Я наскоро допил свою чашку и побежал в зал, где еще стоял не убранный после молебна стол.

«Неужели я необыкновенный? — думал я, шагая в зале по растасканной ногами траве с заложенными назад руками.— Это удивительно приятно».— Я увидел, что Катя, подошедшая к дверям, наблюдала за мной, как за какой-то новостью, и сделав вид, что ее не замечаю, я придал своему лицу вид мрачной задумчивости. Это по моим расчетам более всего должно было подходить к моему теперешнему положению и к тому, что Катя должна была ждать от меня теперь.

В зал принесли столовую посуду и стали накрывать на стол. Расставляли стаканы, рюмки, бутылки на подносах, и я, на минуту забыв о своем новом положении, приглядывался к бутылкам и выбирал, из какой за обедом мне попросить у матери вина.

В маленькой комнате стояли принесенные бутылки меда с поднимающимися со дна к горлышку шпильками-пузырьками. Если вина дадут только полрюмочки, зато меду — сколько угодно.

Бывало, после обеда, когда на столе останутся только тарелки с недоеденным сладким и недопитые рюмки вина, нагнешь графин с медом и нацедишь себе в узенький

стаканчик, потом, согревая его руками, чтобы больше набралось на стенках пузыриков, пойдешь на балкон и тянешь мед понемножку через зубы, пока нёбо не заколет от крепости игристого напитка.

За обедом крестная сидела на почетном хозяйском месте в конце стола, по правую руку от нее Иван Тимофеевич в генеральском мундире, по левую — веселый рассказчик Иван Андреевич, раскрасневшийся после первой рюмки и говоривший без умолку. А дальше — другие гости, молодежь, наконец, мы и Захар Михайлович. Дядюшка сидел на другом конце стола, против крестной, недалеко от нас. Сережа что-то тихо рассказывал барышням, смешил их и незаметно подливал им вина в стаканы с медом. Ваня в парусинной казенной куртке, которая была широка ему в вороте, сидел, нагнувшись над тарелкой, и чертил по ней вилкой, очевидно, чтобы не смотреть ни на кого. Он с тоской иногда поглядывал на дверь, из которой вносили блюда, по-видимому, желая только одного, чтобы этот несносный обед кончился, и он мог бы тогда уйти.

— А что же Иван Николаевич ничего не пьет,— сказал Иван Тимофеевич с своего конца стола.

— Он у нас совсем особенный,— сказала Соня, с насмешкой глядя на Ваню,— старается как можно меньше походить на всех нас. Одевается хуже всех, работает в поле с рабочими, хотя в этом, кажется, особенной нужды нет, даже завтракает с ними в поле.

Она, видимо, была раздражена против Вани, как человека, выходящего из всеми принятых рамок по причинам ей чуждым и непонятным, и долго сдерживала в себе чувство досады и возмущения, которое, наконец, прорвалось, и она не могла сдерживать себя.

Все оглянулись на Ваню.

Тот покраснел, хотел промолчать, но потом побледдел, тихо сказал, все чертя вилкой в тарелке:

— У каждого свой взгляд на вещи и на жизнь, и я не могу жить той жизнью, которую считаю заблуждением, я не могу, хотя бы это и не нравилось некоторым. Вот и все...

Иван Тимофеевич, попивая из стакана, слушал сначала со снисходительной спортсменской улыбкой, глядя то на Ваню, то на Соню, как бы забавляясь спором молодых людей. Но когда Ваня сказал, что он эту жизнь считает заблуждением, Иван Тимофеевич с вопроситель-

ным недоумением оглянулся на крестную, поставив стакан на стол.

— Разрешите мне встать,— сказал Ваня, отодвигая стул, и ушел.

Несколько времени за столом было совершенно тихо. Мне все это очень понравилось. «Все-таки на него обратили внимание. Он такое выдумал, что всех в жар бросило»,— раздумывал я. И мне определенно показалось, что гораздо выгоднее, приятнее быть таким, как Ваня, всех удивлять, ошеломлять и казаться необыкновенным.

Поговорили еще о Ване. Иван Тимофеевич, потрагивая стакан своей пухлой рукой с кольцом, спросил Сережу, какого он мнения о брате.

Сережа сказал, что считает его очень умным человеком, но слишком строго и с ненужной горячностью все воспринимающим.

Про меня забыли совершенно, я сидел и раздумывал, что бы такое сделать, чтобы на меня обратили внимание и еще раз что-нибудь сказали бы про меня, но решительно ничего не мог придумать. Кроме того, я давно уже наметил бутылку — темную с красной головкой,— из которой собирался попросить мать налить мне полрюмочки, но теперь это казалось мне не соответствующим моему положению тем более, что Ваня упорно отказывался что-нибудь пить, когда ему наливали.

Я с завистью смотрел на его полную, невыпитую рюмку. Что это заставляет отказываться человека от такой прелести, хотел бы я знать. Вероятно, казаться необыкновенным гораздо приятнее, чем пить сладкое вино. И я решил тоже терпеть, даже когда мать, нагнувшись ко мне, тихо спросила у меня, не хочу ли я вина, я закусил губы и, не поднимая головы, только отрицательно покачал ею.

Относительно же меда я не имел определенного мнения, так как совершенно не заметил, пил его Ваня или нет.

Я очень жалел, что не приехала Наташа из Отрады и не слыхала того, что сказала обо мне крестная.

Но кажется, что я очень раздул это высказанное вскользь обо мне мнение крестной, так как остальные, по-видимому, не придали ему никакого значения. Да и сама крестная, когда я после обеда, обходя стол с винами, наткнулся на нее, сказала:

— Смотри под ноги, когда идешь.— Это меня отрезвило.

XXVIII

— Ты знаешь,— сказала мне Катя, подбежав на другой день праздника ко мне и сделав большие глаза,— знаешь, Ваня теперь не будет жить с Сережей.

— Как не будет, а где же он будет?

— Он будет в бане.

Я был поражен.

— Почему в бане?

— Он говорит, что ему здесь мешают заниматься.

— А спать он где будет?

— И спать будет там.

«Вот оно что,— подумал я,— молодец Ваня, в бане еще никто никогда не спал».

Мне стало завидно, что он как-то умеет находить то, до чего еще никто не додумался. «Почему мне не пришло в голову раньше него уйти в баню жить. Вот интересно, что бы тогда крестная сказала. Ночью там только страшновато, загремит что-нибудь на чердаке, так и вылетишь оттуда».

Мы побежали посмотреть, как он устроился там.

В тесном предбаннике с дощатой перегородкой и одним окном была устроена постель на лавке у окна, а в самой бане, у другого окна, стоял принесенный из дома стол; на нем были разложены книги, тетради, на стене висел приколотый по углам лист бумаги, на котором вверху было написано крупными буквами: «Расписание». Мы поставили стул и прочли:

«Вставать в 6 часов, до 8 — работа в поле, до 10 — писать свое, до 12— думать, до 2— гулять, до 4— отдых, купанье, до 6 — план, до 8 — языки, до 10 — гулять и спать».

— Великолепно,— сказал я.

Катя, очевидно, немного понявшая из всего этого, посмотрела на меня с некоторым уважением.

— Что великолепно? — спросила она.

Я в сущности тоже немного понял, например, мне слова: план и писать свое,— сказали очень мало, но показать это перед Катей было бы неразумно.

— Вообще все это,— сказал я, продолжая вглядываться в расписание, как бы еще критически просматривая его.

Катя еще раз посмотрела на меня, потом повернулась на каблуке, раздув платье колоколом, и стала ос-

матривать потолок и стены, как всегда, скоро наскучив одним занятием.

Чтобы не потерять над ней своего влияния, я поторопился уйти и с порога еще раз оглянулся, как бы оценивая квартирку, которую и сам не отказался бы занять.

В самом деле: какое занятие в детской, где раз десять кто-нибудь пройдет, ни сосредоточиться — ничего.

Один случай еще более укрепил во мне желание придерживаться примера Ваниной жизни.

Как-то во время обеда крестная несколько раз взглядывала на Ваню и на его пустую тарелку, так как он после горячего ничего не ел, и, наконец, спросила:

— Ты почему ничего не ешь?

— Я ел горячее,— сказал Ваня, не глядя на крестную.

— А второе почему же не ешь?

Я насторожился.

— Потому что считаю летом излишним есть мясо,— сказал Ваня, все так же не поднимая головы и нервно водя вилкой по трещинке в дне тарелки,— я жду, когда подадут салат и буду есть его.

— Ну, уж это не извольте себя голодом морить! — сказала крестная.— Отшельник какой нашелся, молодой человек должен питаться как следует, а не изнурять себя, в особенности при такой усиленной умственной работе, как у тебя. И так уж есть одна постница-богомолица,— сказала крестная, бросив недовольный взгляд на мать, как будто она была виновата в чем-то.

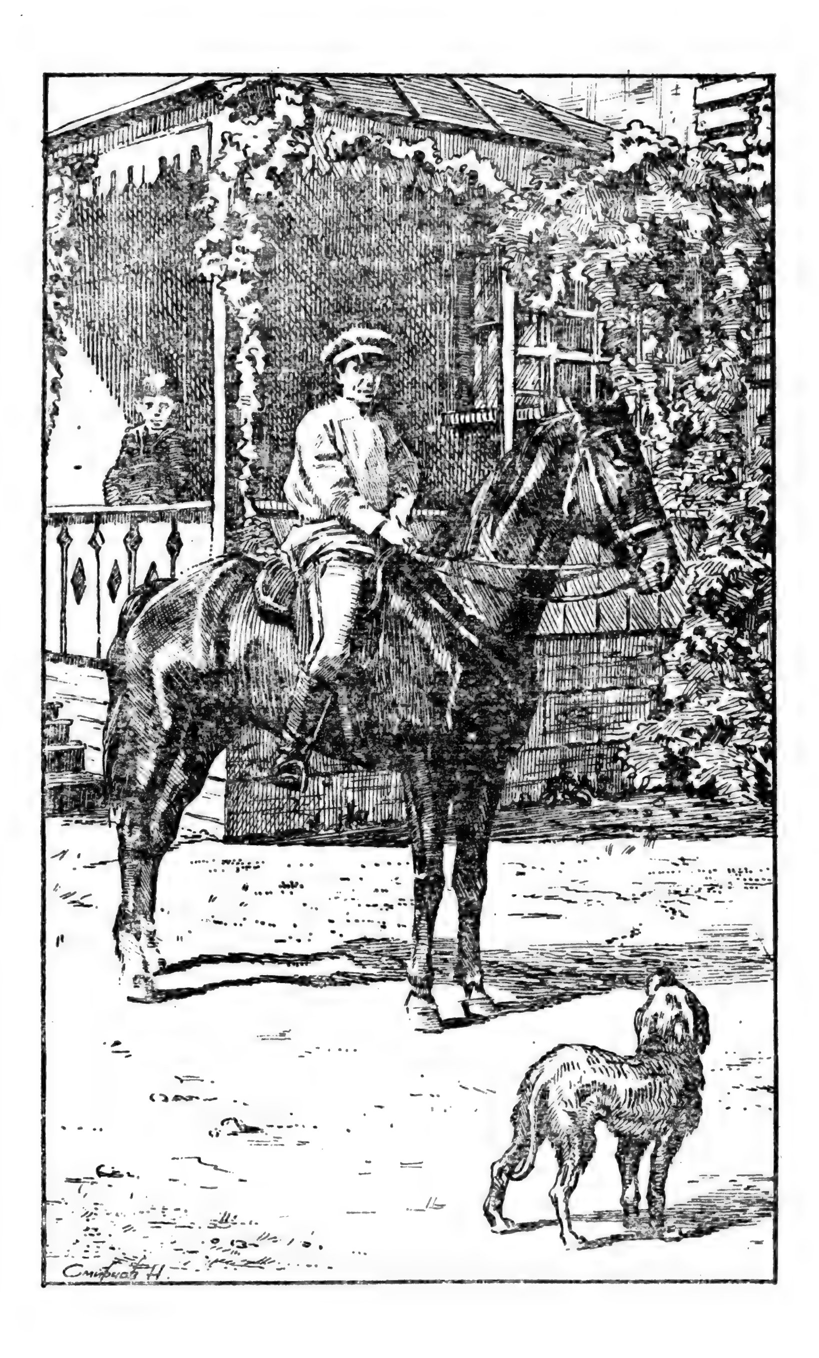
— Тут ничего нет общего,— сказал, вспыхнув, Ваня, видимо, оскорбленный тем, что сравнивают с кем-то,— и я совсем не из-за того...— сказал он.— В чем угодно меня можете упрекать, только не в подражании...

— Ну, что ты горячишься,— сказал примирительно Сережа.

— Горячусь потому, что постоянно за тобой смотрят и обращают внимание на каждый твой шаг,— сказал Ваня.

— Он вечно, вечно старается только о том, чтобы быть неприятным,— сказала Соня и раздраженно повернулась на стуле.

«Нет, он положительно неистощим,— подумал я о Ване, глядя с завистью на него.— Казалось, уже все сделал, что было можно,— нет,— он еще придумал. Как это он находит?»



Я посмотрел на Катю, чтобы узнать ее впечатление от такого блестящего, по моему мнению, выступления. Но Катя, справившись с отношением сестер, смотрела на Ваню отчужденным прямым взглядом, как на человека из чуждой среды, который просто не умеет держать себя в обществе. Точно так же, как смотрела на него Соня.

— Ну, эта еще мала,— сказал я себе и, когда она оглянулась на меня, посмотрел на нее, презрительно прищурившись.

И хотя у Вани с его неизменным пучком на макушке, рыжими сапогами и слишком большой по его росту куртке,— вид был далеко не представительный, все-таки он казался мне героем, безусловно, заслуживающим подражания.

После обеда, когда я, заложив руки назад, расхаживал в палисаднике по дорожке и, обдумывая события дня, соображал, не занять ли мне по примеру Вани какое-нибудь помещение вместо надоевшей детской,— к парадному подали Звездочку, верховую лошадь Сережи.

Приведший ее Иван посмотрел на окна дома, поправил у лошади гриву, сгладил наперед челку, потом, увидев меня, попросил меня сходить в дом, сказать Сергею Николаевичу, что лошадь подана.

Я не преминул сейчас же исполнить его просьбу, так как это давало, кстати, возможность узнать, куда направляется Сережа.

Когда я вбежал в комнату Сережи, он стоял перед складным зеркалом у комода и, прикусив губу, застегивал запонкой крахмальный воротничок. На спинке стула был раскинут только что выглаженный белый китель.

— Сережа, лошадь уже подана,— сказал я.

Сергей все так же, с прикушенной губой, кивнул мне в зеркало головой.

Моя миссия, собственно, была окончена, но я, как бы пользуясь некоторым правом за оказанную услугу, продолжал оставаться в комнате, следил за туалетом Сергея и ждал, не выпадет ли на мою долю удача — помочь ему в чем-нибудь.

Сергей из одного флакона, опрокинув его над головой, смочил себе какой-то розовой жидкостью волосы, потом из стеклянной коробочки набрал на гребенку жидкой розовой помады, какой я в жизни своей никогда не видал, и причесал волосы, сделав очень искусно косой пробор. Волосы от помады ложились прекрасно, и я, на

всякий случай, заметил, куда он кладет эту коробочку. Потом он надел китель, выправил манжеты, прихватив их пальцами, опрокинул в развернутый платок раза три граненый флакон с духами и оглянулся по комнате, ища что-то глазами. Я догадался и подал ему хлыстик.

Когда Сергей, похлопывая себя по желтым ботфортам хлыстиком, вышел на крыльцо в плотно облегавших его ноги рейтузах, в белой фуражке, я невольно посмотрел на свои побелевшие на носах сапоги, заштопанные на одном колене штаны, и стал сам себе противен. Тем более, что и руки по обыкновению не отличались чистотой, благодаря часто производившимся на берегу пруда земляным работам в компании с Васькой.

При этом блеске Сережи мне как-то неприятно было вспоминать о Ване и своем чересчур усердном сочувствии ему. «Неумытая компания в рыжих сапогах»,— подумалось мне как-то невольно.

Сережа, попробовав сам подпруги, легко перекинулся на седло и поехал к воротам.

Я почувствовал себя оставшимся в самых серых буднях. Еще раз посмотрел на носки своих сапог, попробовал потереть их рукавом, предварительно плюнув на него, и пошел, куда глаза глядят.

«Куда мне деваться?» — подумал я.

К грязному, нечесаному Ваське идти не представлялось возможным после блеска Сережи и моей зависти к нему.

— И вообще мне все надоело,— сказал я неожиданно для самого себя вслух. Я почувствовал себя расстроенным и, не видя никакой светлой перспективы для себя в ближайшем будущем, предался самой черной меланхолии.

Мне только понравилось, что у меня совершенно непроизвольно вырвался этот возглас, так как обыкновенно мне приходилось принуждать себя выражать те или другие сильные чувства, которых у меня не было, но иметь которые я считал для себя необходимым.

— Но все-таки, что же я теперь буду делать,— сказал я сам себе вслух.

— А что? — спросила неожиданно подвернувшаяся откуда-то Катя.

— Ничего, тебе еще что здесь нужно? — сказал я с досадой и пошел по дорожке к беседке.

Эта беседка в конце широкой дорожки,— что идет в глубину сада от балкона,— похожа на китайский домик

с разноцветными стеклами и со шпилем на крыше, оканчивающимся деревянным яблоком. Двери ее всегда полуоткрыты, и внутри виднеется пустующая темнота, которая невольно заставляет держаться от беседки подальше. И только в случае крайней нужды иногда мы прячемся в ней от грозы, если захватит где-нибудь в саду, далеко и до дома все равно не добежать.

Но сейчас я шел к ней совершенно спокойно, разные мысли нагрянули на меня, и мне как-то совершенно не приходили в голову обычные в этих случаях соображения о всевозможных проделках нечистых духов, которые питают общеизвестную слабость ко всем темным и заброшенным помещениям. Мне даже пришла в голову мысль, не воспользоваться ли мне беседкой по примеру Вани для своих целей. Помещение хорошенькое, удаленное от всякой суеты. Даже не скоро догадаются, где я, и Катя не будет лезть, в крайнем случае, при ее приближении можно рычать.

Я смело вошел в беседку, на всякий случай сначала осмотрел углы; там угрожающего и подозрительного ничего не было, тогда я обратил внимание на сено, кем-то постеленное на широкой лавке у стены. Оно было примято и так слежалось, как будто кто-то спал на нем здесь по ночам.

«Кто же здесь может спать?» — подумал я вслух и увидел под лавкой у стены чей-то оброненный носовой платок. Я на четвереньках полез под лавку и достал мужской, надушенный платок. Платок был совершенно чистый, и так как духами пахло очень приятно, то я подумал, отчего бы мне не воспользоваться им; потом на полу я увидел что-то блестевшее и, настроившись на находки, подошел поднять, но это оказалась раздавленная ногой бусинка с женского ожерелья. Я подержал ее в руках и бросил, пришлось ограничиться одним только платком. Но я еще никогда не имел надушенного платка и каждую минуту подносил его к носу.

Но потом мне пришла в голову мысль: откуда здесь бусы? Кто здесь бывает? Наши девочки таких бус не носят. Только у Тани я видел такие. И вдруг на сене я увидел еще несколько штук,— очевидно, перервалась нитка и они рассыпались...

Самое добродетельное, аскетическое настроение иногда разлетается прахом под влиянием какого-нибудь совершенно противоположного видения или мелькнувшей мысли. Так и мое увлечение Ваниной жизнью было

сначала сильно поколеблено видом блестящей, жизнерадостной и самоуверенной фигуры Сергея, а потом коекакими соображениями в связи с этими женскими бусами, рассыпанными на сене.

Я часа на два потерял равновесие и спокойствие. Мысли мои витали около бус и всего того, что с ними может быть связано, потом перешли на какие-то дворцы, где я с надушенным платком разгуливаю среди дам в белоснежном кителе, говорю им всем любезности, все поражены моей воспитанностью, моей красотой и остроумием. Хожу вечером под руку кое с кем в темной аллее и выслушиваю признание о том, что меня очень помнят еще с тех пор, когда мы сидели на святках в угольной на диване.

Но пойти дальше мечтаний в этом направлении не представлялось никакой возможности. Я только, оглянув себя, почувствовал вдруг отвращение к своему костюму и сапогам, пострадавшим от недавнего путешествия на ракиту, и пошел к матери, попросить ее взять от меня эти панталоны с заштопанной коленкой и дать мне более приличные. На это мне ответили, что все равно я и те разорву, лазивши бог знает где.

Я ничего не возразил, мрачно надел поданные мне другие панталоны и ушел опять в сад.

Вот надеты и новые панталоны, а все ничего нет, и никто решительно не обращает на меня ровно никакого внимания, и я не знаю, что мне с собой делать, куда мне, наконец, податься?

XXIX

Жизнь братьев передо мной точно какие-то две совершенно различные дороги, между которыми я все время путаюсь, не знаю, на какую из них мне стать.

Жизнь Сережи всегда находится в полном соответствии с взглядами и желаниями больших. Он хорошо учится, хорошо держится, здраво смотрит на вещи, и они знают, что могут быть совершенно спокойны за его будущность: он уже определил себе, что будет военным, и все знают, что он легко добьется хорошей карьеры, так как его взгляды слишком прочны, спокойны, и никаких неожиданных перемен в этом направлении бояться нет оснований.

При одном взгляде на него, на то, как он после обеда, сев в кресло и спокойно вытянув ноги, закурит папи-

роску и сидит благодушествует, жизнь кажется удивительно легкой и ясной, как будто у человека и душа и совесть совершенно спокойны. А между тем я отлично знаю, принимая во внимание некоторые соображения, что душа у него немногим чище моей.

Как же он устраивается, что все это с него, как с гуся вода? Вот это-то и удивительно.

И у него нет никаких решительно забот. Придет время, он поедет учиться, будет идти одним из первых, а сейчас свободен, по его выражению, как король.

Как-то вечером в гостиной зашел разговор о том, какая карьера лучше.

У Вани спросили, кем он рассчитывает быть.

— Никем... то есть тем, что я есть, самим собой,— сказал Ваня резко, по обыкновению покраснев, как будто он был окружен недоброжелателями, покушавшимися на свободу его мнений. Кисточка на макушке как-то угрюмо торчала и еще более указывала на его обособленность ото всех.

И большего от него никто не мог добиться.

Я иногда сидел и соображал, как же это так может быть, что Ваня никем не будет, а только Ваней.

«Все-таки напрасно,— думал я,— он отказывается быть военным, это ведь совсем недурно. Книжки ему читать никто не помешает, а иметь свою верховую лошадь совсем нелишне. Кажется, насколько можно судить из слов Сережи, все военные имеют верховых лошадей».

«Но, с другой стороны, это уж будет обыкновенное,— подумал я.— Эта лошадь только все дело испортит. Нет, Ваня знает, что делает».

Вот что и — уже окончательно: буду подражать ему.

Чтобы не быть в таком идиотском положении, как в прошлый раз,— когда я все подражание Ваниной жизни положил в том, чтобы быть внешностью похожим на него и задумываться так же, как и он, чтобы не повторять этой ошибки,— я решил подражать ему в действиях.

Прежде всего, я сам начал убирать детскую, благодаря чему Катя в первый же день не могла найти ни одной своей игрушки. А так как дело было новое, то на другой день чернильница на столе оказалась перевернутой и разлитой, едва только я прикоснулся к столу тряпкой.

Пока я ликвидировал дело с чернилами, я так убрался, что, глядя на свои растопыренные черные пальцы, не знал, что делать.

И первое время каждый раз после моей работы в комнате оказывалось что-нибудь разбито, перевернуто или запрятано в такое место, что оставалось только предполагать здесь действие какой-то сверхъестественной силы.

А так как я клялся и божился, что я ничего не трогал, то все только пожимали плечами, недоумевая, какой это бич появился, который с недавнего времени все корежит и портит самым нещадным образом.

Но у меня зато чувствовалось удовлетворение от сознания, что так или иначе, а пол подметен мною, письменный стол приведен в порядок тоже мною, и чем больше у меня была усталость от этой работы, тем больше чувствовалось удовлетворение.

Только не хватало немножко одного, чтобы кто-нибудь удивлялся, как я хорошо все делаю, как много работаю. Чтобы кто-нибудь говорил мне хоть изредка:

— Довольно... что ты так мучаешь себя работой.

Но это было невозможно, потому что если бы кто-нибудь узнал о новой линии моего поведения, то сразу бы стало понятно и то, кто перевертывает чернильницы, хронически бьет всякие вещи и засовывает их в самые неподходящие места.

Кроме этого, я еще расширил область подражания и попробовал не веровать в бога. Выражалось это на первых порах в том, что я во время молитвы начинал думать о рыбной ловле, об охоте и с некоторой дрожью ждал, какие последствия меня ждут со стороны Николая-угодника, большой образ которого висел в зале.

Последствий пока никаких не было.

Мать как-то говорила нам с Катей, что дурных и неверующих людей всегда окружают бесы. Но я пока ни в чем не замечал их присутствия, хотя очень интересовался их загадочной жизнью, а главное — способностью быть невидимыми и принимать на себя всякие личины.

Я бы даже, пожалуй, не отказался получить от них по сходной цене такую способность, которая представила бы много выгод в моем положении, если принять в соображение удобство таскать папиросы и всякого рода вкусные вещи из буфета.

И потом, если бы не страшны были последствия, недурно было бы даже иметь к своим услугам какого-нибудь добродушного беса, вроде тех, которые катали некоторых святых за тридевять земель. Ему также можно было бы поручать всякие деликатные дела, где сам рискуешь отведать березовой каши.

Результатом всех этих упражнений явилось то, что как только я становился на молитву или приходил с матерью к обедне, так и начинала лезть в голову всякая чушь и дичь.

Я начинал без конца развивать такую тему: что в моем распоряжении в отплату за неверие находится великолепный услужливый бес, благодаря которому я могу выделывать какие угодно штуки — курить при всех в гостиной и без всякой церемонии колотить Катю по чем попало; она просто умерла бы со страху, не понимая, откуда на нее сыплются колотушки.

И как нарочно, в самых торжественных местах службы мне приходила в голову мысль:

«А что, если взять да выкинуть какую-нибудь штуку на глазах у всех — проскакать козлом или что-нибудь в этом роде».

Или начинали мучить приступы беспричинного смеха.

«Должно быть, бесы уже обступили меня»,— думал я в этих случаях и осторожно оглядывался.

XXX

Уже все съедобные травы, которые мы разыскивали и ели весной, пожелтели от июньской жары, макушки их расцвели и обсеменились.

То там, то здесь возвышаются из травы прежде не видные, желтые зацветшие верхушки сергибуса, молочника, с которых теперь, в знойный июньский полдень, берут пчелы. На лугах травы тоже зацвели, пахнут медом, кашкой и ждут косы.

И вот ранним солнечным утром, когда еще молочно-белый туман не разошелся над низинами луга, к перевозу спускаются по каменистой тропинке известкового речного берега мужички с блещущими на раннем солнце косами, в накинутых на одно плечо кафтанах.

С высокого берега далеко видны залитые утренним блеском луга, не проснувшиеся еще от ночной дремоты, спокойная синева загибающейся вдали реки, блеск утренних небес и непочатое море травы. И среди нее, потонув по пояс, неправильно изогнувшейся ниткой уже растянулись косцы.

Уже сереют первые скошенные ряды, и около них чернеют кучки сложенных кафтанов, а под кустами лугового ивняка поставлены принесенные кувшины с кислым квасом, заткнутые свернутым полотенцем или лопухом.

Передние пройдут ряд и, сделав несколько последних коротких взмахов, чтобы срезать незахваченные клочки травы, вскинут косы на плечи и идут начинать новый ряд.

Некоторые спустятся к реке, чтобы сполоснуть лезвие косы от приставшей мелкой травы и земли и зачерпнуть в жестяные брусницы свежей студеной воды из-под кустов ивняка, нагнувшихся до самой воды.

Солнце пригреет, и на лугу сильнее запахнет кашкой и душистым смешанным ароматом цветов и травы. Река на изгибе под лесом еще свежо синеет, а на просторе средины уже ослепительно блещет. Вдали, на крутом известковом берегу, подмытом разливами, в утреннем редком воздухе странно ясно видно село с белой церковью и ветряными мельницами. Одни медленно ворочают старыми, зачиненными крыльями, другие стоят неподвижно.

Ряды на лугу растут. Уже большое пространство запестрело от них. Срезанная трава и цветы опустили головки и вянут. На рядах еще сильнее стрекочут и прыгают из-под ног кузнечики.

А потом ряды собираются бабами с граблями в большие валы, которые, изгибаясь, идут через весь луг, и перед вечером — в копны. Когда на лугу потянет с реки предвечерней прохладой, работа кипит еще веселее. Мы летаем от одной копны к другой и с разбегу бросаемся в душистое, свежее сено и тонем в нем. Потом захватываем большие охапки обеими руками и волочим сено по земле, ничего не видя под ногами. Лица у нас давно красны и потны, за шею насорилось мелкое сено.

— Ай, ай! Вытащи у меня из-за спины, что-то кусает! — кричит Катя и, сжавшись, со страхом ждет, что там окажется.

Я лезу рукой ей за воротник матроски и вытаскиваю кузнечика.

Сенокос еще не прошел, мы вдоволь не наездились еще в порожних телегах за сеном, не накувыркались на стогах нового сена, как в саду начинают созревать вишни. Уже давно прохаживаешься около них, забираешься в высокий бурьян, что растет всегда у плетня, и высматриваешь оттуда, не найдется ли на счастье хоть одна красненькая.

И вот, наконец, уже все красные, темно-красные, почти черные, налитые соком висят на веточках, как дождь кроваво-красных рубинов. Заберешься на гнущееся деревцо, сядешь на развилку и, держась одной рукой, что-

бы не слететь в бурьян, рвешь висящие над головой и с боков, и внизу сочные, сладкие вишни и давишь их языком до усталости.

Благодатное солнце жжет, и одни за другими поспевают долгожданные ягоды. Там, таинственно краснея матовым боком под листьями, висят сливы, желтеют на макушке, где их достать нельзя,— первые груши.

«Вот оно, подошло»,— думаешь тогда и не знаешь, что рвать, чему отдать предпочтение. И такая полнота везде и благостность жизни, что боишься пропустить что-нибудь и не успеть насладиться всем в полной мере.

У шалаша, посредине сада, на разостланной, только что обмолоченной, новой соломе, в отдельных кучках лежат первые опавшие и подобранные стариком Никифором яблоки. Сам он в длинной белой рубахе, подпоясанной лычком, сидит у шалаша на самодельной скамеечке и, постукивая свайкой, чинит лапоть.

Сядешь на корточки около вороха, принюхиваешься к новому, свежему запаху первых яблок и выбираешь, какие получше, потом зажмешь пальцем червоточинку и ешь.

В жарком, неподвижном воздухе, пронизывая его, как стрелами, во всех направлениях мелькают пчелы, осы или висят неподвижно и гудят в тени кленов большие зеленые мухи.

И надо всем этим — бездонным голубым куполом синеют небеса. Иногда ляжешь где-нибудь в траву, в тени под березами и, сделав кулак трубочкой, долго смотришь прищурив глаз, в бесконечную синеву.

На пчельнике запахло дымом. Никифор в сетке, с большим ножом в руках, возится около ульев и достает к медовому спасу тяжелые рамки нового душистого меда. Иногда рамки целиком приносят в дом, по окнам жужжат пчелы и лезут к лицу. Мы с Катей целый день визжим и отмахиваемся, чем можем, проклиная и этот дурацкий мед и тех, кто его нанес столько сюда.

— Житья нет от этих пчел,— кричит Катя, а после стоит у стола и, облизывая палец, просит еще хоть немножечко меда.

Абрамовна развела в саду жаровню, принесла таз на ручке, тарелку для снимания пенок и ведро с водой, потом уже из дома полное блюдо начищенных девочками ягод. Поворчала немножечко себе под нос:

— Больше жировали, чем чистили, только и работы от них.

Потом, когда жаровня задымила, она уселась на нижнюю, прогнившую от дождей ступеньку балкона, вытянула ноги в шерстяных чулках и туфлях, и, как бы не доверяя работе девочек, занялась переборкой ягод.

Мы тоже пристроились тут же, чтобы потом иметь право на пенки, и выказывали полную готовность помогать ей: подавали ложку, подкладывали щепочку под ножку жаровни и спорили из-за места поближе к Абрамовне.

А когда варенье начинало закипать и уже пробивалась наверх розовая, еще жидкая пена, мы торопили Абрамовну снимать пенки и в ее отказе и указании на то, что еще рано, видели старушечью медлительность и скупость, чтобы нам меньше досталось.

— Девочки всегда уж в это время снимают,— сказала Катя.

— Много они понимают, твои девочки,— сказала Абрамовна, но все-таки взяла тарелку с ложкой и сняла пенки.

В полях уже идет уборка хлеба. На жнивье, около леса, стоят первые сжатые снопы и здесь нам раздолье: воображать в них неприятелей и с разбегу валять их на землю. На деревне целые дни до самого вечера стоит скрип от возов, и полевые дороги, с насорившимися на них соломинками, накатаны до блеска.

Воздух сух и тепел даже по вечерам. И когда солнце уже сядет и сад начнет постепенно темнеть, все-таки душно, а где-то вдали вспыхивают зарницы.

Окна в доме, обращенные в сад, долго не закрываются, и дядюшка, покуривая папироску, сидит до самой темноты на балконе.

XXXI

— Куда это ты собрался? — спросила у меня Катя, когда я, решив по примеру Вани удалиться от мира, сложил в стопку все свои книжки, тетрадки для арифметики и приготовился переселиться в беседку.

Так как я место своего уединения хотел сохранить в тайне, то этот вопрос существа, очевидно, созданного только для того, чтобы мешать мне, вывел меня из равновесия. Но я решил сдержаться и даже попробовал сделать тактический обход.

— Я не могу здесь р а б о т а т ь,— сказал я кротко,— и ты, если хочешь, можешь перейти сюда.

— А ты куда же?
— Я найду другое место.
— Какое другое место?
— Пойду и найду,— сказал я, продолжая еще сдерживаться, уже чувствуя, что во мне закипает.
— Я с тобой пойду искать.
— Нет, уж, пожалуйста, будь добра, оставь меня в покое, я сам найду, что мне нужно,— сказал я таким тоном, каким в этих случаях говорил Сережа. И углубился в завязывание тетрадок, показывая этим, что разговор между нами окончен.

Но Катя думала иначе. Она постояла в озадаченной нерешимости, пососала палец, потом сказала:
— А я все-таки пойду...

В первый момент я просто хотел было схватить ее за шиворот и выставить из детской, но сейчас же сообразил, что она, хорошо зная силу своего испытанного оружия, поднимет крик на весь дом, и тогда не оберешься неприятностей.

— Ну и иди, куда хочешь,— сказал я, делая вид, что развязываю книжки и остаюсь дома. Наружно я был спокоен, но у меня уже кипело. Я сел в кресло Петра Михайловича и, отвернувшись от нее, стал смотреть в окно. Катя стояла передо мной и, казалось, была в затруднении, не зная, что предпринять.

Я посмотрел на нее прямо и, как мог, твердо.
— Долго ты тут будешь стоять? — сказал я.

Катя молчала и смотрела на меня.
— Что ты мне не даешь жить,— сказал я опять.— Ты знаешь, я могу тебя возненавидеть!
— Ненавидь, пожалуйста, я не боюсь,— сказала она, нагнув голову и занявшись оборкой своего фартучка, но не уходя с места.
— Ну так знай же, сколько ты ни будешь стоять здесь, я никуда не уйду,— сказал я, встав с кресла. Я подошел к окну и стал смотреть в него. Я делал вид, что интересуюсь тем, что делается на дворе и что совершенно забыл о ней, но я чувствовал у себя за спиной ее молчаливое присутствие и ненавидел ее всеми силами души. «На это способна только девчонка,— думал я,— будет назло стоять, как истукан. Ведь знает, что я ее сейчас ненавижу... и ничего не добьется, а все будет стоять. Из нашего брата ни один никогда так не сделает».

Наконец я услышал, что она повернулась и пошла к двери. Я подошел было к столу, но, посмотрев на дверь,

увидел подсматривающий за мной в щель глаз и крепко прихлопнул дверь.

Пробравшись со всеми предосторожностями в беседку, я, прежде всего, решил распределить часы. Достал лист бумаги и написал расписание дня.

В расписание вошло: сидеть на бревнах, учить уроки, читать книги, работать по уборке комнаты. Потом пришлось все-таки написать еще одно: д у м а т ь. Но здесь был уже явный пробел: я хотел, чтобы в расписание входили все мои поступки, а между тем я чувствовал, что здесь можно поместить только одно благообразное, в то время как в действительности оставалось еще много приятного, что резало бы глаз в расписании, но в то же время фактически пропущено быть не могло. Без этого — жизнь не в жизнь.

Написать в расписании — курить, охотиться за лягушками, лазить за яблоками в чужой сад,— было невозможно, а между тем в действительности было и это все.

Приходилось даже для самого себя разделить жизнь на показную и скрытую.

«Как в этом отношении устраивается Ваня? — подумал я.— Может быть, в самом деле отказаться от лягушек?» Но мне пришло в голову для этого завести другую, тайную тетрадочку, куда и вписывать все до последней мелочи из области запретного и греховного, а расписание я устроил на самом видном месте. Правда, линейки были довольно кривы, строчки тоже лезли куда-то вверх, то в конце загибались маленькими буковками вниз, но в общем было — ничего. Я даже отступил шага на два и, наклонив набок голову, полюбовался своей работой.

Помещение мне тоже нравилось.

— Вот сижу себе здесь, и никто не мешает работать.

В раскрытую дверь беседки мне была видна часть дорожки, высокая трава около кустов смородины и гладкое выкошенное пространство дальше, меж яблоней. Я еще ничего не начал делать и только наслаждался приятностью новизны своего положения и дальнейшими перспективами.

«Буду сидеть здесь до обеда»,— подумал я. Но в это время на леднике загремели ведрами, и я почувствовал, что мне хочется есть. Это было досадно: только было уселся, приходится идти в дом. Явно сделано одно упущение, нужно было захватить с собой провианта; спрятать его, слава богу, здесь есть где, и тогда я мог бы не выходить отсюда по целым дням. Но теперь ничего боль-

ше не оставалось делать, как нарушить расписание и пойти подкрепиться.

Я пришел домой, не обращая внимания на пытливый взгляд Кати, поел на маленьком шкапчике над тарелкой пирога и уж собирался было идти обратно, как вошел Сережа и прямо обратился ко мне:

— Это ты устроился там в беседке? — сказал он.

Я подавился от неожиданности пирогом и, откашлявшись, сказал, что я.

— Ну и потрудись, пожалуйста, убрать свое имущество оттуда.

— Почему?

— Ты очень обяжешь меня, если поменьше будешь разговаривать...

— Кстати: а зачем мой платок очутился у тебя,— прибавил он, доставая из кармана платок, который я оставил на столе в беседке.

— Разве это твой платок? — спросил я.

— Да, это мой платок. Зачем ты таскаешь чужие платки?

Это меня задело.

— Я вовсе не таскаю чужих платков,— сказал я.

— А где же ты его взял?

— Я его нашел в беседке, под лавкой с сеном...— сказал я твердо и не опуская глаз.

— С каким сеном? — спросила подошедшая в это время мать.

— Это так,— глупости,— сказал Сережа, покраснев и сейчас же прекратив разговор.

— Все-таки я попрошу тебя убрать оттуда свои книги и все, что ты нанес туда,— расписание и прочее.

Катя, стоявшая в дверях и как всегда явившаяся свидетельницей моего позора, вдруг исчезла. Я догадался: она побежала посмотреть, чего я нанес в беседку и как я там устроился. Чтобы не дать ей успеть сделать это, я выскочил в другую дверь, помчался напрямик под яблонями, через кусты и, прибежав раньше ее, скорее забрав все и отбежав, сел в бурьян, чтобы видеть, как она останется с носом.

Пришлось искать другого места, и я, подумав, решил устроиться на раките. Правда, там не так удобно, но зато, когда заберешься туда, где огромные толстые сучья расходятся в стороны и образуют как бы гнездо,— чувствуешь себя совершенно удаленным от мира, где тебя ни одна живая душа не увидит. Кроме того, там есть

недурное дупло, куда можно прятать провиант, благодаря чему можно будет не показываться домой по целым дням. Пусть тогда поищут. А то гонят отовсюду, точно заразу какую-то. Нет, все-таки какой я несчастливый человек!

В то же время мои дела с жизнью по расписанию шли плохо: я аккуратно каждый день, захватив с собой в виде провианта пышек, груши, разместив все это в складах, развертывал книжку и начинал дело с самого неприятного — с уроков.

Скоро, однако, глаза начинали козырять по сторонам, и я переходил к наблюдениям. Когда сидишь на раките, то внизу все кажется каким-то другим миром. Вон из кухонных сеней вышла Аннушка и пошла к погребу. Я сверху смотрю на нее, и мне смешно, что она проходит под самой ракитой и не подозревает, что я сижу здесь. Иногда отломишь веточку и бросишь в нее, чтобы посмотреть, что будет; но она, проворчав себе под нос и обругав почему-то грачей, проходит дальше.

Потом, не успевал я прочитать несколько строк, как мне начинало хотеться есть, и я вытаскивал запасы из склада и поедал их в один присест, тогда как их должно было хватить на целый день. Значит, через час я опять должен был бежать в дом за подкреплениями. А частые перебежки, помимо того, что не давали сосредоточиться, могли открыть мое убежище.

Кроме всего этого, в расписании был один проклятый пункт, на котором я каждый раз неизменно садился.

В пункте этом было только одно короткое слово: думать. Но о чем думать, это еще по-прежнему оставалось нерешенным. И с этим делом обстояло хуже всего. А то, что этот пункт являлся самым главным в расписании Вани,— это было несомненно. Выбросить его, как я хотел сначала, было нельзя, так как главный секрет Ваниной жизни, по всем видимостям, заключался именно в этом пункте. Не мог видеть этого только слепой. Что же мне делать?

Как только подходило время исполнения этого пункта, так начиналась каторга. Сколько я ни усиливался, никак не мог думать о чем-нибудь одном, а всегда обо всем сразу: и о том, почему Сережа прогнал меня из беседки, на что она ему вдруг понадобилась, и о том, что если я каждый день буду думать о настоящем, то в конце концов буду самым умным человеком. А в чем это настоящее,— одному богу было известно. Я уж, бро-

сив доискиваться, перешел на казенное отношение к делу и старался только отбыть положенный срок. Думал о том, что первое взбредет в голову: о Тане, о своих грехах, о Петре Михайловиче, которому, должно быть, самой судьбой суждено ахать каждый день и ужасаться, как я поеду учиться, когда в делении четных чисел на четные у меня получаются ошеломляющие остатки, а там, где числа нечетные, каким-то образом все идет гладко,— все разделилось.

Потом я начинал думать, кем я буду, а может быть, как Ваня, останусь никем. Но что же тогда со мной будет? И что Ваня — сейчас никто или еще нет? А если нет, то когда это с ним случится? А что, если это окажется нехорошо, можно ли будет потом переменить? И вдруг я неожиданно, завтра же, сделаюсь никем, может быть, это во мне уже началось. И я иногда уже с тревогой посматривал на больших, не заметно ли им во мне чего-нибудь со стороны. Пока все было спокойно, только я после этих упражнений слезал с ракиты с совершенно обалдевшей головой и не понимал того, что мне говорили.

Выручала только физическая работа, которой я, по примеру Вани, отдавался с большим удовольствием, и, кроме уборки комнаты, перешел на полевые работы. Свел дружбу с Иваном и, выпросив у него иногда косу, косил в саду крапиву и толстые сочные стебли молодого лопуха, воображая для большей приятности, что передо мной стоит войско неприятеля.

Получить дальнейшие руководства в этом деле мне было не у кого, спросить у Вани я не решался, а между тем я терпел немало неприятностей от своего нового направления жизни: все чаще и чаще поднимались разговоры о том, что на меня штанов не наготовятся, что башмаки все изодраны и физиономия грязная, как у сапожника,— результаты моей трудовой жизни.

Я до того измучился от этой неразберихи, от вечных скандалов, которыми сопровождается каждое мое новое начинание, от расписания, закабалившего меня на целые дни на ракиту, что, плюнув на все, махнул к Ваське.

Там мы развели на опушке огонек, свернули папироски из дубовых листьев и отдались всей прелести первобытной жизни.

Жизнь вдруг показалась необыкновенно легка и блаженна и я, закрыв глаза на будущее, поплыл по течению, затягиваясь нашим табаком из дубового листа и выслу-

шивая от Васьки новые сообщения о Сереже с Таней и о барышне Раисе, к которой ездил Сергей.

«Что в самом деле! — думал я,— чего это ради я мучаюсь как каторжный, покоя нет».

И мы уже с новым небывалым остервенением, точно я мстил кому-то за свои испытания, предались грабежу чужих яблок, тасканию картошек с чужих полей, чтобы их печь на костре около рощи, а за пиршеством перебирали по косточкам всех неугодных нам лиц.

XXXII

Должно быть, никогда я еще не доходил до таких пределов падения, как в этот раз. Бессильный справиться с своей жизнью и со всем новым, нахлынувшим на меня, и не получая ниоткуда помощи, я, закрыв глаза, уже без узды ударился в другую сторону.

Курил я так, что каждый день меня мутило и, казалось, душа с телом расстается. Кроме того, целыми днями торчал в саду или в подвале около девушек.

Расписание, как укор моей теперешней хулиганской жизни, было порвано на мелкие клочки и развеяно по ветру.

Драли меня уже несколько раз в последний месяц. Один раз за то, что я, вообразив себя на войне, вступил в драку с священниковыми индейками и переломал им ноги, другой раз за то, что пропал на весь день из дома, в третий раз за неумеренные ухаживания в подвале и так далее — конца нет.

Катя на меня смотрела уже как на разбойника. Даже дядюшка стал холоден со мной и почти не обращался ко мне, как будто не замечал меня.

И каждое пробуждение от этой угарной жизни было ужасно. Но всю глубину своего падения я почувствовал на именины дядюшки, которые я приберегал было для того, чтобы со дня их начать добрую жизнь.

Дядюшка, от которого я не ожидал ничего подобного, устроил мне хороший бенефис: он за столом, при всех начал рассказывать о моих подвигах.

Обо мне, может быть, и не вспомнили бы, но меня угораздило опоздать к обеду, и я к тому же явился, не зная того сам, весь в угле,— и губы, и щеки (мы пекли с Васькой в поле на костре ворованные картошки, и я вымазался, как сатана). Кроме того, я где-то убрал все панталоны в глину. Галстучек на матроске был прожжен

в двух местах и при этом больше был похож на тряпку, чем на галстук, так как я его запачкал и попробовал было собственными средствами выстирать в лужице под рощей.

Посмотрев на один конец стола, я похолодел: там я увидел знакомую головку с золотистыми волосами, с бантиками из красных ленточек на висках. Я видел, как она испуганно взглянула на меня и сейчас же, покраснев, опустила глаза в тарелку. Я мысленно измерил ту пропасть, которая отделяла ее теперь от меня. Какой я был тогда, когда она была здесь в первый раз и какой — теперь! Мне уже закрыт доступ ко всем чистым наслаждениям жизни. Наташа — чистенькая невинная девочка, не знающая всего того, что я знаю, с пышными кудрями до плеч, в розовеньком платьице и беленьких чулочках,— и я, грязный, с живыми следами своих похождений на щеках и коленях панталон, со всем тем, через что я прошел благодаря содействию Васьки,— что между нами теперь могло быть общего!

Когда меня увидели, мне прежде всего дали заметить странность моего костюма и сказали, чтобы я сначала привел себя в порядок, а затем бы уж являлся к столу.

Но я, угнув голову, сел в углу в кресло и, расковыривая порванную кожу, сидел, как загнанный волк.

Тогда дядюшка, не глядя на меня, стал рассказывать, какой я прежде был хороший мальчик, как меня все любили, гордились мной, а теперь я хуже пьяного сапожника: стал лазить по чужим садам, кусаться, избивать лягушек и являюсь вечно с прорванными коленками и грязной физиономией.

— А еще за ним, насколько я слышал, числятся такие дела, что даже и рассказать нельзя...

Я сидел и не уходил, выслушивая и вынося весь этот свалившийся на меня позор. Я чувствовал, что душа у меня окаменела.

«Пусть убивают даже,— подумал я,— теперь все равно. Она все узнала». Но, взглянув исподлобья на сидевших за столом, я увидел мать, она сидела, как приговоренная, глядя мимо тарелки, и один раз глубоко вздохнула.

Я вдруг вскочил и убежал. Выбежал в сад, потом к пруду. Земля подо мной горела. Около пруда я увидел Ваську, он под старой, выгнувшейся от корня березой, на которой было удобно сидеть, разводил костер среди

пасшихся лошадей и, отвернув от дыма лицо, подкладывал дрова.

Увидев выражение моего лица, он несколько времени спокойно смотрел на меня, как бы соображая, не испортились ли у меня винтики в голове. Но я, не обращая внимания, вытащил из костра горящую палку и дал ему.

— Жги мне руку!

Васька нисколько не удивился, не спросил даже, зачем это мне потребовалось.

— Стерпеть хочешь? — только заметил он мне и, изловчившись, плашмя приложил палку к моей руке.

У меня из глаз градом полились слезы, но я так стиснул зубы, что, казалось, в состоянии был претерпеть настоящее мучение на костре.

— Ну, ладно,— сказал Васька и, бросив палку в костер, сплюнул.— Пузырь здоровый будет. Мылом хорошо прикладывать, а то — сахаром толченым.

И я, чувствуя нестерпимую, рвущую боль во всей руке до плеча, все же ощутил вдруг некоторое успокоение.

— Это — за подсматривание и за куренье,— сказал я себе,— а за лягушек еще сожгу.

XXXIII

Но как бы ты низко ни пал, как бы все ни отвернулись от тебя, все-таки есть существо, для которого ты мил даже во всей мерзости своего падения,— это мать.

Никто с такой чуткостью не относится ко всем нашим с Катей несчастиям, как она, скрывает от крестной все наши и даже мои самые ужасные преступления.

Она помнит и заботится только о нас и никогда о себе. И так как ее больше всех задевают все несчастия детей — а на пять наших душ несчастий приходится немало,— то жизнь ее сплошь состоит из забот, тревог и огорчений.

Надо всех накормить, надо успеть распорядиться, чтобы у всех было белье, чтобы у Сережи был выглажен китель. А там душа болит за неизвестное будущее Вани, за беспутные мои наклонности.

И не успеет она поговорить с Ваней, как нужно бежать и смотреть, все ли, что нужно, подано к обеду.

Все эти заботы и тревоги состарили ее раньше лет, и мы с Катей, ложась спать, уже видим появившиеся седые пряди волос, которых раньше не было. Хочется иногда пожалеть ее, приласкаться к ней и сказать:

— Милая, милая мама,— и поцеловать ее худую небольшую руку.

Но ее постоянная и неизменная доброта и бесконечная любовь и слабость к нам приучают нас к небрежности по отношению к ней. Если каждая улыбка крестной, появляющаяся на ее суровом лице в добрые минуты, вызывает у нас горячий порыв любви к ней, то постоянно ровное самоотверженное настроение матери заставляет нас недостаточно ценить ее.

И ее ласки мы принимаем всегда с каким-то снисхождением, как что-то для нас привычное и нисколько неудивительное, пожалуй, даже скучное.

Но когда жизнь припрет к стене так, что податься некуда, когда натворишь уйму всяких дел и от тебя уже отвертываются, как от прокаженного, тогда остается одно прибежище, один человек, способный не постыдиться тебя даже в таком виде. Что бы ни случилось, всегда можешь рассчитывать на ее жалость и сочувствие.

И это наше последнее прибежище, когда уж некуда больше пойти...

Рука от ожога у меня так болела, что скоро не стало никаких сил терпеть. Сначала я, под влиянием подъема, не очень чувствовал боль, только стиснул покрепче зубы. Потом, когда стало больнее, я старался представить себе страдания мучеников, которым, несомненно, приходилось хуже моего.

Но руку жгло и, наконец, стало дергать так, что никакие мученики не помогали.

Я попробовал приложить лопухом. Холодная трава на минуту облегчила боль, но потом стало рвать еще сильнее.

«Боже мой,— подумал я,— за что я так ужасно страдаю? И нет никакого выхода». Я сел на кочку и, сжав руку, стал думать, что бы такое сделать с ней.

По высокому небу тихо шли предвечерние облака, в траве беззаботно стрекотали кузнечики. Невдалеке от меня один зеленый полз по наклонившейся травинке; не доползши до половины, пригнул ее своею тяжестью к земле и, сам испугавшись ее движения, отпрыгнул в сторону.

Все идет по-прежнему и все хорошо кругом, как тогда, когда у меня в душе было так светло и чисто, только один я в постоянной муке... Почему так стало? Как мне прежде свободно и легко жилось.

Поднявшись с кочки и придерживая руку, я побрел домой, раздумывая, чем бы ее полечить.

На балконе уже пили чай. Там была и Наташа. Я видел ее головку, едва возвышающуюся над задинкой стула. И то, что они все беззаботно говорили, совершенно независимо от моего отсутствия, показало мне еще раз, что я совершенно никому не нужен. Я не имею права и возможности пойти и просто сесть за стол. Кто-то прошел в соседнюю столовую, и я, боясь, что меня увидят, на цыпочках проскочил в спальню.

— До чего я дошел, что мне приходится бегать от людей. Боже мой, что за проклятая жизнь. Что мне остается? Уйти куда-нибудь в леса и жить там одному. Питаться кореньями и диким медом. Или приходить по вечерам к сторожке и просить подаяния.

Тяжелый ком подкатился у меня к горлу, дышать было тяжело, но слез не было. Я ждал их, чтобы получить облегчение.

— Придет зима,— продолжал я думать,— мне некуда деваться, на мне только одна матроска с галстучком, тогда я вырою себе яму в снегу, наношу листьев туда и буду жить. Даже спичек у меня нет, чтобы развести костер. Но бог тогда сжалится надо мной и будет за каждый проведенный мной в снегу день прощать по одному греху. Скоро у меня не останется уже ни одного греха, и вместо них начнет накопляться святость. Я уже начинаю творить чудеса: вороны мне приносят хлеба, даже пышек. Ко мне стекаются со всех концов люди и удивляются мне. Я даю всем советы, очищаю от грехов, исцеляю болезни.

И вдруг вижу один раз приходит женщина, закрытая густой темной вуалью. Она говорит мне, что она несчастна, так как потеряла человека, которого любила больше папы и тети Натальи Александровны. Меня как громом поражает это знакомое имя, но я сдерживаюсь и говорю с видимым спокойствием:

— Продолжай, женщина. Как ты его потеряла?

Она рассказывает мне, как она один раз приехала к ним на именины и хотела в этот день сказать ему о своей любви, но он... но с ним случилось что-то, и он стал величайшим преступником и грешником. Его, кажется, прогнали из дома, и он с тех пор пропал бесследно.

— Ты наверное знаешь, что его прогнали, может быть, он сам *ушел*?—говорю я уже вслух, сидя в спальне на сундуке.

— Я не знаю,— говорит женщина,— мне сказали так.

— О, злодеи,—говорю я невольно,—они еще налгали!

— Ты же знаешь, отец святой,— восклицает пораженная женщина.

— Да, я знаю,— говорю я, едва сдерживая волнение.— А что если бы ты... вдруг н а ш л а его,— говорю я, пронзая ее своим острым, всевидящим взором,— ты простила бы ему все его прошлое... согласилась бы жить с ним?..

У меня от волнения захватило дух, я уже давно забыл про свою руку, вся сила внимания сосредоточилась на роковом разговоре пустынника с н е ю.

— Согласилась бы ты забыть все? — повторяю я.

— Отец,— говорит женщина,— я все бы отдала, ушла бы за ним, не надо мне ни тети, ни игрушек,— ничего, только хочу быть с ним.

Волнение мое достигло высшей точки напряжения. И я говорю.

— Хорошо, женщина, будет тебе по твоему желанию за твою верность и за то, что ты одна помнила о нем, когда все... Все забыли. Это я — твой жених...

Мы остаемся жить в лесу, я махнул волшебной палочкой, и на поляне вырос чудесный замок, в воздухе появились целые тучи воронов и нанесли всего: пищи, меду, пышек с маком и в подарок моей невесте всяких невиданных заводных игрушек и кукол.

Когда развязка совершилась и чудесное видение начало таять, как я ни старался его удержать, забытая боль в руке опять поднялась с новой силой.

Я пробрался в столовую, взял из буфета сахарного песку, варенья и еще какого-то белого порошка, чтобы применить все это, как средство для лечения. Сначала я намазал руку вареньем. Ожог загорелся с большей силой, я скорее насыпал на него сахару — и не взвидел света.

Тогда я сел на маленькую скамеечку и заплакал. А из зала доносились звуки веселых голосов и смех Сони. Я прислонился к углу сундука головой и заплакал сильнее от боли и от своей заброшенности.

Вдруг кто-то положил мне руку на голову, тревожно нагнулся ко мне. Я поднял голову. Это была мать.

— Милый мой, хороший мой, что с тобой? Скажи мне.

— Все... бросили... не могу... больше...— сказал я прерывающимся голосом и, уткнувшись в ее колени, зарыдал.

— Что у тебя с рукой? Боже мой, чем это ты?

— Я сжег... ее... взял палку и... приложил...

— Разве так можно шалить!

— Господи,— шалости!.. человек, может быть... погибает, а вы... у вас — только одно,— едва выговорил я.

Она поспешно промыла рану, приложила какую-то примочку и уложила меня в постель. Я видел, что остался непонятым, но меня уже удовлетворял ее испуг и ее участие, я лежал, видел склонившееся надо мной милое, родное лицо и вместе с утихающей болью чувствовал в своем сердце горячую волну любви к этому единственному пожалевшему меня человеку.

— Милая, милая мама,— прошептал я и закрыл глаза.

XXXIV

Скоро уже и ехать. Скоро я оставлю наш милый дом, где было столько хорошего и в последний год столько тяжелого для меня.

Часто я думаю и не могу понять, как могло случиться, что я, еще не знавший греха и бывший, вероятно, святым, теперь стал единственным из всего дома грешником и несчастным человеком? Я хорошо помню, что до приезда братьев у меня не было грехов. Все было так хорошо, душа была чиста и спокойна, с Катей мы жили мирно и вместе радовались всему, всему.

Как случилось то, что в мою жизнь вошло то, чего я прежде не знал, и сделало мое существование невозможным? Могло этого не случиться, или это — неизбежное следствие того, что я стал большим. И как будет теперь дальше, как мне справляться со всем этим?

Часто я, сидя где-нибудь на яблоне или в дождливую погоду за буфетом, думаю об этом и не могу прийти ни к какому заключению.

Неужели все большие знают все, что я узнал за это лето, и если знают, то как они делают, что остаются такими спокойными и не чувствующими за собой никакой вины?

Что же я, чем дальше буду жить, тем больше буду узнавать всего этого? А это, несомненно, так. Если уж я за одно лето ухитрился так набраться, то что же будет года через три. Тогда жить будет невозможно.

В такие минуты я предпочел бы лучше навсегда остаться маленьким. Чем я, в самом деле, могу заменить

все прежнее — радостное, удивительное,— все эти зимние вечера с темными комнатами, летние утра с синей дымкой тумана, первый летний дождь и аромат мокрой травы после него?

Ведь я заметил, что, чем больше грешишь и узнаешь, тем меньше радуешься, а чем больше вырастаешь, тем больше грешишь и узнаешь. Как же тут быть?

Нет, это ужасно, и выхода, очевидно, никакого нет.

При всем том большими мое существование как-то совсем не принимается всерьез. Ко всем привычкам братьев, ко всем их желаниям они относятся с вниманием, с готовностью или с тревогой, как к затеям Вани. А я что бы ни чувствовал, на это смотрят между прочим, как на что-то неважное. Какие бы большие перемены и настроения в моей жизни ни были, они никого не взволнуют, не испугают. Просто раз навсегда не верят, что я могу думать и переживать что-нибудь серьезное.

И невольно иногда сидишь и думаешь, что бы это такое выкинуть, чтобы они почувствовали, наконец.

А между тем ведь не шутки были и у меня: я недалек был от самоубийства после порки за курение, я всем сердцем раскаивался в своих преступлениях, я мучился, как, может быть, не все мученики мучились,— ведь руки жечь тоже штука не легкая.

Но нет, я никак не могу вызвать никакого внимания, никакого мало-мальски серьезного отношения к своей жизни. Я не говорю уже о Сергее, о больших сестрах, те — дубовые. Но мать!.. Все, на что она способна в этих случаях,— несмотря на всю ее любовь ко мне,— это погладить по головке и дать конфетку. Конфетку, конечно, возьмешь, но непонимание остается непониманием. И это обидно, больно и возмутительно.

Все они совершенно не подозревают, что со мной творится. И возмутительнее всего то, что если бы я рассказал, что я очень страдаю,— самое большое, на что я могу рассчитывать,— это на конфетку не в очередь.

И вот я один, совсем один с свалившейся на меня этой новой, неведомой прежде тяжестью.

Часто я сижу и думаю, что дело, должно быть, и не в грехах, а в том, как смотреть на них. Ведь, собственно говоря, самыми большими грешниками должны быть Сережа и Таня, но они себя превосходно чувствуют, а я то и дело залезаю в какой-нибудь угол и схожу с ума оттого, что настоящим образом гибну и спасения никакого не предвидится.

А может быть, думаю я в другой раз, можно научиться так грешить, что не будет никакого мучения. А вдруг потом т а м будут мучить?.. Тогда как вывернешься?

Иногда меня подмывает расспросить обо всем этом хорошенько у матери, но здесь замешано столько деликатных вещей, что начать разговор об этом,— значит рассказать о том, за что, пожалуй, так выдерут, что — мое почтение.

И я поневоле один и один. В сущности, у меня только один человек, которому я могу говорить все и у которого я могу расспрашивать обо всем,— это Васька. Но Васька является компаньоном только тогда, когда очертя голову бросаешься на всякие нарушения божеских и человеческих законов. Когда же приходит время отрезвления и раскаяния, я остаюсь один и безнадежно тону во всяких съедающих меня вопросах.

Есть только одно утешение, что я теперь могу мучиться и сильнее чувствовать, пожалуй, даже не меньше Вани. Если так будет продолжаться, то скоро и у меня найдется, о чем думать и открывать Америку. Но когда это будет и у кого спросить об этом?

А что если бы Наташа узнала, о чем я д у м а ю, вероятно, удивилась бы моему уму. Вот только если Катя поторопилась по своему обыкновению рассказать ей, что меня в это лето драли, как сидорову козу,— это скверно.

XXXV

Прошло лето... Это заметно уже по всему. По утрам на зеленой осенней траве, засевшей на месте скошенной, лежит долго обильная роса. Воздух стал редок и прозрачен. В полях умолкла шумная, веселая жизнь, не слышно уже скрипа тяжело нагруженных хлебом телег. Вода в пруде стала прозрачнее и холоднее и уже не манит к купанью. Листья на березах постепенно желтеют все больше и больше, дикий виноград на балконе весь покраснел, девочки срывают его листья и кладут в книги, чтобы засушить.

Клены у погреба стали совсем золотые, и мы после обеда отправляемся шуршать ногами в опавших листьях и собираем себе из них целые букеты.

В зале на окнах лежат большие желтые груши и уже созревшие желтые антоновские яблоки, на расстеленных старых газетах сушится чернослив. И так всего этого много, что не знаешь, что с ним делать. Подойдешь, по-

роешься, выберешь самое зрелое яблоко, обнюхаешь его со всех сторон и начинаешь есть с того места, где оно сильнее пахнет.

В саду у сторожей каждый вечер заманчиво горит у шалаша огонек, где в закопченном котелке варится их обычная пшенная похлебка с салом. Пойдешь к ним, посидишь на яблочном ящике, в то время как они, покуривая трубочки, помешивают в дымящемся котелке и разговаривают о своих делах.

Прежде, бывало, радуешься и этому времени, участвуешь в сборе яблок, груш, бегаешь то и дело то в сад, то в подвал, чтобы принюхаться к свежему аромату только что снятых и сложенных яблок, следишь, как на балконе, среди опадающих листьев на разведенной жаровне маринуют сливы. Они сливаются в стеклянные банки и уносятся в кладовую на полку до осени и зимы, когда из них берут маринад, который подается к жареным индейкам и уткам. И когда, бывало, кончишь есть,— на тарелке останется красная жидкость,— выждешь время, когда на тебя никто не смотрит, и сопьешь с тарелки. Варят сливную пастилу и разливают ее на мелких больших блюдах, откуда она потом снимается гладкими пластами, режется в столбики и засыпается сахаром. Варят в сиропе очищенные, но с палочками груши. Все это будет подаваться зимой к чаю или просто в вазах, когда на святках играет молодежь в карты и нужно что-нибудь жевать. Приготовляешь, бывало, и себе отдельно в баночку. Теперь же я знаю, что скоро меня не будет здесь, и все эти приготовления только лишний раз напоминают мне о близости отъезда...

То же и в природе: каждый лишний желтый лист на дереве заставляет меня вспоминать о близости рокового дня. Но в то же время заставляет меня с особенной любовью, как будто в последний раз, осматривать все любимые уголки и прислушиваться к осеннему шороху листвы вокруг дома.

Каждое утро все более и более приближает меня к отъезду. И я, проснувшись, с щемящим сердцем вижу в окно желтеющую зелень сада, освещенную ярким, но уже не жарким августовским солнцем. На окнах с теневой стороны собралась туманом и капельками роса и долго не высыхает, пока не придет сюда солнце. Лужи в выездной аллее засорены желтыми листьями, и влажная дорога накатывается мягко, как резина.

Наслаждаться видом наступающей осени мне мешает

не только сознание близости отъезда, но и то, что теперь у меня нет прежнего безоблачного, безмятежного состояния души, когда была одна только радость от ощущения своего существования, от безгрешной близости к небу, к земле, и ко всем людям...

Теперь, когда я узнал другую, прежде не существовавшую для меня сторону жизни, и она постепенно все более и более захватывала мою прежде свободную душу, я становился все более и более тупым и неспособным чувствовать так легко и просто, как прежде, красоту мира и наслаждаться, жить ею. Я уже окончательно вошел в новую для меня сложную, трудную, принуждающую к борьбе с собой жизнь.

Очевидно, что мне уже не вернуть прежнего светлого и безболезненного состояния души, когда не нужно было никакой борьбы, когда не было никаких мук, а было только одно блаженное состояние легкости и счастья.

Как с этим быть?

Но тут же я вспоминаю моменты возрождения после грехов, и в моей памяти всплывают такие светлые минуты, такое освобожденное чувство воскресения и порыв в будущее, что я даже не знаю, что лучше.

Однажды, напившись утром чаю, я вышел на балкон. Там были мать и Таня. Мать была чем-то взволнована, очевидно, своим разговором с Таней.

— Как только не стыдно, молоденькая девочка...

Таня была вся красная и сконфуженная.

Посмотрев на Таню и на мать, замолчавшую при моем появлении, я прошел в гостиную. Крестная в очках, со счетами, которые она держала стоя, уперев их в колени и придерживая одной рукой, щелкала косточками и записывала что-то карандашом на клочке бумажки.

— Это вы сцапали мой карандаш? — сказал дядюшка, подходя к крестной. Он держал руки в карманах в своей обшитой тесьмой куртке и ждал ответа, слегка наклонившись и не выпрямляя спины.

— Подожди, пожалуйста, с своим карандашом,— сказала крестная,— надо сообразить, что нужно детям. Марья Ивановна вечно займется штопаньем чулок и молебнами, а про главное не вспомнит.

— Ну, не смею прерывать ваших серьезных занятий,— сказал дядюшка, выпрямляя спину, и, не вынимая рук из кармана, отправился к своему креслу.

— Только я все-таки просил бы не трогать моих вещей, тем более что на место никогда не положите. Вот

где, например, календарь? Потом пучок веревочек тут лежал, тоже улетучился.

И он развел руками, оглядывая стол.

— Да, так молодцы скоро и к отлету, жаль,— сказал он уже сам с собой и, усевшись в кресло, развернул газету.

— Ты едешь вместе с братьями? — спросила у меня Катя, догнав меня в детской.

— Разумеется,— сказал я

У Кати было внимательное, сосредоточенное лицо, какое у нее бывало всегда при какой-нибудь новизне, она даже не чувствовала в моем тоне насмешки и не обижалась.

«Наконец-то почувствовала»,— подумал я.

— А когда вы поедете?

— В среду, кажется.

— Тебе не хочется?

— Отчего же. Наоборот, мне очень хочется. Не век же целый сидеть около мамы.

— Нет, я бы не поехала,— сказала Катя.

— Подрастешь побольше,— сказал я небрежно,— тогда иначе будешь рассуждать.

— Да, конечно,— сказала, вздохнув и опять не заметив укола, Катя,— но все-таки уехать из дома...

При этих словах я невольно оглянулся кругом. Мы сидели в детской за нашим изрезанным по краям столом и наглаженной до блеска клеенкой. Здесь все было знакомо, до мельчайшей черточки: и низкие, широкие окна, почти доходящие до низкого потолка, и печка с синими цветочками на старых кафлях, отставленные от стола в беспорядке стулья и кресло Петра Михайловича с мягкими затертыми подлокотниками, а в окно были видны угол крыши парадного крыльца и часть выездной аллеи с воротами вдали.

Я посмотрел на все это, и мне стало грустно. Дом впервые останется без меня. Опять придет зима, опять придут долгие вечера, опять начнется все наше домашнее, милое. Катя все это будет видеть, а я уже нет.

«Милый, милый дом,— подумал я,— неужели все это уже прошло для меня: и беготня вечерами по комнатам босиком, и игры в прятки, и сиденье на диване за спиной у крестной с Катей вместе».

— Все-таки без тебя мне скучно будет,— сказала Катя,— помнишь, как все хорошо было? — Она сидела на краешке нашего старого дивана и, грустно склонив набок

свою хорошенькую головку, наматывала на палец ленточку.— А в чем ты повезешь свои вещи?

— В чемодане, конечно.

Вошла Таня. Увидев нас, она отвернулась и, сделав вид, что ищет что-то в комнате, потом ушла.

Мы оба заметили, что у нее заплаканы глаза, и потому не окликнули ее.

— Что это с ней? — спросил я.

— О, это целая история,— сказала Катя, оживляясь и оглядываясь на дверь. Глаза ее заблестели.— Ты знаешь, ведь она влюбилась в Сережу... (Я вдруг почувствовал какую-то обиду и укол для себя в этом.) И мама ее сегодня бранила, так бранила... Я сидела за дверью и все слышала. Мама сказала ей, что она развратная девчонка и что ее прогонят. Что значит *развратная*? — спросила Катя, повернувшись ко мне.

Я пожал плечами.

— Наверное, таскает что-нибудь,— сказал я, а сам подумал, что надо будет справиться у Васьки, так как это, должно быть, относится к его области.

— Я тоже так думала,— сказала Катя.— А Сережа теперь на нее не обращает внимания и все ездит в Отраду, вот она и злится.

Я вспомнил отрадненскую Наташу и свое тяготение к Тане, невольно сопоставил их обеих и мне стало стыдно своего чувства к Тане в соединении со всеми торчаниями за дверью.

— И очень хорошо делает,— сказал я, задетый тем, что она сейчас не обратила на меня внимания.— Она — *прислуга*, и ее нельзя так любить, как Раису.

— Почему нельзя? — спросила Катя с загоревшимися любопытством глазами и живо повернулась опять ко мне.— А как Раису можно любить?

— Ну, там совсем другое дело.

— А почему же ты зимой все около нее вертелся?

— Я не вертелся,— сказал я.

— Нет, вертелся!

— Нет, не вертелся! Ты не ври, пожалуйста.

— Не толкайся!

— А ты не ври. Вот дрянная девчонка какая.

— Сам дрянной!

— А, ты так?..

Короткая борьба у двери, прищемленный палец,— и она вылетела в коридор, а я захлопнул дверь и в волнении прошелся по комнате.

XXXVI

Когда в первый раз уезжаешь из дома, то все время борются два чувства: одно — желание перемены жизни, предвкушение новизны и приближение к миру больших. Другое — чувство страха, печали,— оттого, что в первый раз приходится покидать родной дом, где было так хорошо.

Когда я спустился вниз, я увидел в раскрытую дверь комнаты братьев, что они возятся у своих корзин и чемоданов. То мать, то сестры приносили к ним в комнату банки с вареньем, пирожки в промаслившейся бумаге, чистое, сложенное стопочками белье.

«Уже...» — подумал я, и сердце сжалось.

Бывало, с какой завистью смотришь на братьев в день их отъезда. Внимание всех сосредоточено только на них. Чего только им ни наготовят: пышек, варенья, яблок в заколоченных досками ящиках, груш. А они морщатся, что много всего нанесли и некуда это укладывать.

Бывало, стоишь и думаешь:

«Господи, и что это за счастье людям. Только о них все и думают, а ты, если подвернешься и тебе отдавят ногу, то на тебя же еще и накричат, зачем вертишься под ногами. Точно ты самая последняя кошка какая-нибудь».

Уйдешь в зал, сядешь в кресло и мечтаешь о том времени, когда и для меня будут все эти булочки и пирожки и всеобщее внимание.

В коридоре у двери валялись оберточная бумага, сено, веревки. Комнаты имели покинутый и забытый вид. Дядюшка, один не принимавший участия в сборах, тоже как-то одиноко сидел за чтением в гостиной и опускал газету всякий раз, когда кто-нибудь проходил мимо.

—Тебе укладывают вещи в корзину,— тревожно сказала Катя, подбежав ко мне.

— А что же... А почему не в чемодан?

— Чемодан взял себе Сережа. Он сказал, что ты маленький, обойдешься и с корзиной.

Этого можно было бы и не передавать. Я посмотрел на Катю при слове *маленький*, чтобы видеть, с злорадством она говорит это или нет. Но у Кати лицо было в такой степени серьезное и обеспокоенное за меня, что ни о каком злорадстве не могло быть и речи, несмотря на недавнюю стычку.

«Всюду на дороге стоит у меня этот человек»,— подумал я.

Катя, глядя на меня, ждала, как я отнесусь к этому известию.

Я пожал плечами, как человек, который уже привык ко всем щелчкам судьбы.

— Дело понятное,— сказал я,— ведь это ему хуже смерти, что я вырос большой и еду вместе с ними,— вот он и мстит.

Сначала я было важничал и задирал перед Катей нос от сознания, что я еду, а она остается дома. Но потом я смирился перед ее кротостью и внимательностью, с какой она относилась ко мне в последний момент.

«Все-таки она хорошая»,— подумал я.

Кроме того, одна только она чувствовала мою значительность, я был признателен ей за это, и мы пошли вместе с ней обходить дом.

Мы посидели с ней последний раз за буфетом, потолковали о том о сем и долго сидели молча, прислушиваясь по-старому к тому, что делается в доме. Когда кто-нибудь проходил мимо буфета и под ногой скрипела знакомая нам продавливающаяся половица, мы приотворяли дверку и выглядывали, чтобы узнать, кто прошел.

— Завтра в это время тебя уже не будет здесь,— сказала Катя.

Я представил себе дом без себя. Здесь все будет попрежнему, и в воображении я буду присутствовать здесь и буду видеть здесь каждую мелочь.

— Ты каждый день после обеда сиди здесь, — сказал я Кате.

— Зачем?

— Чтобы я наверное знал в это время, где ты. А я тоже там где-нибудь буду сидеть и напишу тебе об этом.

— Хорошо,— сказала Катя.

Потом, перед чаем, мы ходили будить дядюшку и, лежа в постели около него, долго разговаривали с ним. После чая прятались за вешалками и долго прогуливались по залу, заложив руки назад и шаркая ногами по клеткам паркета.

Я смотрел кругом и думал: «Как-то придется расставаться со всем этим».

Что-то есть волнующее в этих сборах. Вся жизнь в доме нарушена и остановилась, как будто приближается что-то неизбежное.

— Где ты летаешь? — сказала крестная, увидев меня.— Пойди к матери, она тебя ищет.

Я побежал в спальню.

Мать стояла на коленях перед сундуком, как бывало всегда перед баней и отбирала мое белье.

Я разбежался вприпрыжку через ногу, но вдруг остановился и сердце у меня повернулось и заныло: глаза у матери были красные от слез, и в одной руке она держала платок, которым украдкой утирала слезы. При виде меня она хотела было скрыть слезы, но я уже увидел и понял. Тут я впервые ясно почувствовал, что отъезд — не шутка, что я уеду отсюда и изменить этого уже нельзя.

— Вот здесь твои чулочки,— сказала мать,— а когда придет зима, надевай вот эти, теплые... сам... смотреть за тобою некому будет...— выговорила она и отвернулась к окну, приложив платок к губам, потом к глазам.

При слове зимой я почувствовал, на какой громадный срок я расстаюсь со всем, что для меня дорого. А при виде слез матери я не удержался и заплакал. Платок свой я потерял, и мне пришлось утирать слезы рукавом матроски.

В этот момент тоже вприпрыжку вбежала Катя и, увидев, что здесь все плачут, сразу стихла, с немой тревогой остановилась около нас, потом, ни слова не говоря, потянула свой рукав к глазам и тоже заплакала.

XXXVII

Я только что проснулся. В окно, еще покрытое утренней росой, было видно ярко осветившееся в саду солнце. Я посмотрел на блеск солнца на желтеющих листьях, холодную росу на стеклах окон, и внутри меня кто-то сказал:

— Сегодня ехать...

В последнее утро, когда уезжаешь из дома, кажется, что и солнце светит не так, как в обыкновенные дни, и на всем лежит какой-то другой оттенок, говорящий только об отъезде.

В передней уже стояли вынесенные чемоданы и корзины с наклеенными старыми багажными бумажками, перевязанные накрест толстыми веревками в дальнюю дорогу.

Скоро подадут лошадей. Надо было успеть обежать все в последний раз.

Я выскочил на крыльцо.

Было то свежее ясное августовское утро, когда в редком, прозрачном воздухе все блестит от росы и яркого солнца. В тени холодно и сыро, завешенные окна в доме смотрят как-то хмуро, точно не выспались, но на солнце чувствуется особенная резкость и отчетливость очертаний, какие бывают в ясное, погожее утро ранней осенью.

Около погреба меня догнала Катя.

— Ты в сад?

— Да.

— Побежим вместе.

Сначала мы забежали к каретному сараю, посмотреть, не запрягают ли лошадей. Около сарая были уже заметны приготовления: большая старая коляска с рессорами, обмотанными веревочками, и привязанным в дальнюю дорогу лишним некрашеным вальком для третьей лошади, была выдвинута из ворот.

Ивана около нее не было; очевидно, он ушел за лошадьми.

На дворе было все обычное: так же блестело везде солнце, кудахтали куры где-то в сарае, на соломе на солнышке спали врастяжку собаки. Небеса над ракитами, окружавшими конюшни, по-осеннему прозрачно синели. Обильная роса лежала везде: на траве, на теневой стороне крыши конюшни. А в саду виднелись на макушках деревьев освещенные ярким утренним солнцем желтеющие, краснеющие бока созревших груш.

Мы подбежали к крайнему дереву, на ветках которого еще висели зацепившиеся при возке хлеба соломинки, я тряхнул из всех сил и, пригнувшись, прикрыл макушку обеими руками, пока спелые груши, стуча по веткам и по спине, сыпались на землю.

А потом подобрали их в подолы и в карманы из травы, мокрой от холодной росы.

В свежем блеске утра далеко были видны знакомые поля, бугры, размытая глинистая дорога около березового леска на горке и зеленая лощина под ним с извивающейся по ней и блещущей на солнце речкой. По этому бугру, под рожью, мы собирали во время покоса клубнику... Как, кажется, это было недавно... А теперь — поля опустели, и над блестящим от утренней росы жнивьем летела узелком вниз, медленно оседая, белая паутина — признак наступающей осени.

И казалось, что раньше недостаточно сильно чувствовал всю прелесть того, что было сейчас перед глазами. И, кажется, если бы дана была возможность пережить

все сначала — всю прелесть и роскошь летних утр, майских теплых вечеров, когда весь воздух полон аромата сирени, жасмина, с какой силой теперь перечувствовал бы я все это!

Вот низкая соломенная крыша покрившегося ледника, сиреневый куст, моя ракита...

Как это все останется без меня?.. Счастливые, счастливые, они остаются здесь.

На балконе, куда я забежал уже один, лежала еще утренняя тень, и балконная дверь была закрыта. Это тоже указывало на приближающуюся осень.

Не то было летом, рано, рано,— еще солнышко играет только в столовой на стене и на только что принесенном самоваре, а дядюшка уже встал, распахнул обе половинки своего окна и сметает с подоконника газетой окурки и мертвых мух в сад, а потом со звоном отворяет стеклянную дверь на балкон, и мягкая утренняя свежесть и прохлада льются в комнаты.

Неужели теперь это все прошло? Сумею ли я в будущем чувствовать и переживать с такою же яркостью, свежестью все проходящее передо мной, так же жадно, с таким же упоением вдыхать вечный аромат жизни?

Или все краски мира поблекнут для меня, глаза станут равнодушны и не будут видеть всего того, что видели они в детстве? И, может быть, всю прелесть и красоту мира суждено было видеть мне только однажды, на ранней заре жизни, а потом...

— Где же ты? — крикнула Катя, выбежав на балкон.— Иди, тебя все ищут...

Я почувствовал, как вся кровь отхлынула у меня от сердца.

Неизбежный момент настал.

Все уже были в сборе и толпились в передней.

— Яблок-то им на дорогу положите,— говорила крестная.— Как это не надо? Это ты сейчас говоришь, не надо, а дорогой скушал бы, да нет их.

— Вот он! Что же ты бегаешь, все ждем тебя, уже простились,— послышались голоса, обращенные ко мне.

Меня заставили наскоро выпить чашку молока с сахаром и с пирожком, который не лез в горло.

— Ну, брат, ты попроворнее, нам тебя ждать не приходится,— сказал Сережа.

«Начинается,— подумал я — заберет теперь власть надо мной и будет мстить».

Одетый в дальнюю дорогу, Иван входил уже, стуча

тяжелыми сапогами, в дом, забирал корзины и выносил их, цепляя углами за притолоки дверей.

— Ну, молодцы, теперь, значит, до Рождества? — сказал дядюшка.

— До Рождества,— сказал Сережа.

— Ну, с богом.

Нас перецеловали, перекрестили. Надавали наставлений на дорогу, указали, где что лежит, но из-за слез, застилавших глаза, ничего нельзя было разобрать.

У парадного стояла наша старая коляска, на которой крестная выезжала в город, и мы выбегали ее встречать, чтобы прокатиться вместе с ней от ворот до подъезда. Были запряжены те же лошади... И как знакома эта огороженная задинка и передняя скамеечка, обитая обтершимся сукном,— обычное наше место с Катей.

Я поместился на ней, спиной к Ивану, лицом к братьям.

Таня, запыхавшись, прибежала с каким-то забытым твердым пакетом. Ивану сказали подождать и начали пересаживаться, чтобы положить его.

— Ах, народ безголовый,— говорила крестная, стоя на крыльце,— вечно все перезабудут, а теперь вот и положить некуда.

— Да положи под него-то,— сказал Сережа Ване, который, стоя с пакетом в руках в коляске, оглядывался и не знал, куда его приткнуть.

И я должен был, держась обеими руками за скамеечку, поднять ноги, пока под меня подсовывали пакет. Я хотел было обидеться, но раздумал, решив, что теперь все равно, дальше еще, может быть, хуже будет.

Экипаж рвануло вперед, я от неожиданности клюнул носом в Сережину коленку,— и замелькали, отбегая назад, березы выездной аллеи. Левая пристяжная, дугой загнув голову, с косящим глазом в сторону от коренника, пошла скакать.

На крыльце стояли милые родные лица: мать, дядюшка, крестная, сестры и махали нам руками и платками.

Я видел, что дядюшка первым ушел в дом, а крестная, прежде чем уйти, оскребла ноги о ступеньку. Сейчас мелькнут с обеих сторон столбы ворот, лошади круто возьмут направо, и все милое родное останется позади.

РАССКАЗЫ



НЕНАЧАТАЯ СТРАНИЦА

I

На широкой перинной постели сидел толстый человек с жиденькими священническими волосами и с изумлением ощупывал и оглядывал свои ноги. На ногах была очевидная и несомненная опухоль.

Тучная и рослая фигура сидевшего производила странное впечатление чего-то слабого, детски покорного и растерянного.

Это был священник Федор Иваныч, у которого два года тому назад от невоздержной жизни появилась на ногах и на руках угрожающая опухоль, заставившая его выдержать длительное и мучительное для всякого русского человека лечение со строгой диетой, с ежедневными ваннами.

Доктор Владимир Карлович еще тогда ему сказал, что если он будет вести такой образ жизни, то опухоль появится вторично и перейдет в водянку. Но, несмотря на это предостережение, Федор Иваныч, увидев сейчас опухоль на ногах, встретил это как что-то совершенно неожиданное и непредвиденное.

— Как же нам теперь быть? — спросил кого-то Федор Иваныч, поднимая голову, на которой белела большая лысина. И на широком, когда-то румяном лице этого большого человека неожиданно появилась добрая, жалкая улыбка. Всегда всякое затруднительное и даже тяжелое положение выражалось у него этой улыбкой, странной при такой могучей с виду фигуре.

Часы в столовой пробили половину десятого. Федор Иваныч испуганно прислушался и неодобрительно покачал головой.

— Ну, что это, — сказал он с досадой, — никогда не могут разбудить! Чем только заняты люди!

Федор Иваныч торопливо спустил толстую ногу с кровати, навалился на нее мягким животом, как бы

готовясь спустить и другую, точно соображая что-то. Но он ничего не соображал. Это у него часто бывало так, что на лицо забредало выражение тонкого соображения. И в это время он непременно прищуривал и глаз.

Посидев так, он начал одеваться, и едва только надел брюки, как сейчас же досадливо крякнул: на столике лежало чистое белье, которое он уже третью неделю никак не мог собраться переменить, потому что вспоминал об этом только тогда, когда был наполовину одет, а раздеваться опять — на это не хватало решимости и силы воли.

Поэтому он, оглянувшись, не наблюдает ли за ним жена, осторожно подсунул чистое белье под перину и, подпрятав подальше рукава сорочки, чтобы они не бросались в глаза, пошел умываться в сени.

Вода, конечно, как всегда, оказалась холодная, что можно было даже видеть по отпотевшему снаружи медному умывальнику.

Федор Иваныч смочил руки, выжал их и чуть мокрыми провел осторожно по лицу.

«Добиться у этих людей, чтобы они давали теплой воды, труднее, чем вымолить пощаду у палача»,— сказал он сам себе. Он увидел на дворе кухарку Марью, хотел ей крикнуть, но вместо этого махнул рукой и пошел в комнаты.

Подойдя с полотенцем к зеркалу, он посмотрел на свои опухшие руки и с сомнением покачал головой, как бы признавая, что его дела по части состояния его жизненного бюджета могут оказаться не из важных.

Потом достал с этажерки книжку с церковным кожаным переплетом и стал по ней молиться, креститься и кланяться. Половину молитв он знал уже наизусть. Поэтому, пользуясь тем, что язык по привычному знанию дела один может управиться со своей частью, Федор Иваныч обыкновенно не упускал случая наблюсти за чем-нибудь по хозяйству.

— Марья! — крикнул он в окно,— расподдай-ка оттуда кур хорошенько! Что они, каторжные, повадились на грядки!

Он вернулся к молитве и, застав себя читающим уже последнюю, перекрестился несколько раз мелкими крестиками и пошел пить чай, хотя уже не с обычным добродушным видом готовности развлечься чем представится, подшутить над женой, над Марьей, а с виноватым, робким выражением, какое бывает у слабых,

бесхарактерных людей, когда с ними что-нибудь случается. И они скрывают это от домашних, почему-то боясь не столько грозящей им лично опасности, сколько того, что о ней узнают и им попадет.

II

Когда Федор Иваныч бывал свободен от исполнения служебных обязанностей,— а свободным он бывал шесть дней в неделю,— то большею частью сидел у окна, выходившего на улицу, за обычными занятиями, которые принадлежали его личной жизни и установились с течением времени сами собой, без особенных распоряжений на этот счет самого Федора Иваныча.

Сидя у окна, Федор Иваныч наблюдал все, что делается на улице; иногда по своему добродушному нраву, слегка склонному к юмору, не мог удержаться, чтобы не стравить двух собак, выбросив им кусочек хлебца из окна. Или заводил разговор с кем-нибудь из прохожих, если тот оглядывался на него.

Тут же Федор Иваныч занимался предсказаниями погоды на следующий день.

Если же Федор Иваныч не сидел, то для разнообразия ходил по комнате, заложив руки назад, как будто обдумывая что-то и тихонько посвистывая. Если попадался на полу комочек бумажки, он загонял его ногами к печке, не переставая в то же время иметь вид тонко что-то соображающего человека.

— Так вот-с какие дела-то,— сказал Федор Иваныч, садясь к окну.

Он высунулся на улицу посмотреть, нет ли там чего-нибудь интересного, но, не увидев ничего, долго сидел, прищурив один глаз и слегка покачиваясь, потирал коленку, не потому, чтобы какая-то идея или соображение пришли ему в голову, и не потому, что болела коленка, а просто т а к с е б е, как он сам определял почти все из своих личных поступков. Эти два словечка совершенно исчерпывающе объясняли причину и цель всего того, что Федор Иваныч делал в жизни от себя, по своему почину.

Он увидел, что в столовую вошла жена, проследил за ней несколько ироническим и добродушным взглядом и хотел по своему обыкновению подшутить над ней.

— Вам что здесь угодно?

Жена, не ответив, недовольно оглянув комнату, как бы ища чего-то забытого и не нашедши, пошла.

— Ты бы спал лучше поменьше, а то глаза совсем скоро запухнут,— сказала она, уже выходя из комнаты.

Федор Иваныч сразу притих. Он уже был доволен, что жена, заметив опухоль, приписала ее появление чрезмерному сну, не подозревая истинной причины.

Вспомнив опять о своей опухоли, Федор Иваныч сейчас же показался себе несчастным, заброшенным и никому не нужным.

Он несколько времени сидел неподвижно, машинально глядя в ту сторону, куда ушла жена, потом тоскливо переменил положение и, вздохнув, как будто подчиняясь судьбе, потянулся рукой за книгой, лежащей на столе.

Придержав большим пальцем страницы, он пустил их веером — посмотреть, нет ли картинок, что он особенно любил в книгах, и, убедившись, что картинок нет, положил книгу на стол. Потом встал, направившись к буфету, но сейчас же опять опустился на стул с таким убитым видом, какой бывает у человека, потерявшего возможность всякой радости и утешения в жизни.

Он опять взял книгу, развернул ее из середины и, прищурив глаз, стал читать с таким выражением, как будто он уже давно читает и тонко понимает весь ход интриги.

Чтение священник очень любил. Его часто можно было увидеть у окна читающим. И если из окна не торчала его голова и не повертывалась то в одну, то в другую сторону улицы, а только изредка выкидывались его рукой подсолнечные очистки, то, наверное, можно было бы сказать, что он читает.

Читал он очень охотно вообще все — книги, журналы, предпочитая, однако, те, в которых были картинки. С одинаковой, чуть насмешливой любознательностью прочитывал всякое попавшееся под руку письмо, хотя бы и не ему адресованное. Наконец, даже клочок, поднятый с пола.

Довольно значительную часть дня занимал также сон или отдых. А по вечерам он решал ребусы и шарады из журналов.

Почитав несколько времени, он закрыл книгу и встал, но тут же почувствовал в ногах странную тяжесть, точно они туго, до боли налились чем-то.

— Ну, должно быть, конец блаженству,— сказал Федор Иваныч, с тревожным сомнением покачав головой.

Положение угрожало болезнью, а болезнь — перело-

мом всей его жизни, которая сложилась годами и вытекала из основных свойств его общественной пастырской деятельности.

III

Отец Федор никогда не был замешан в деле управления своей собственной жизнью. Он получил, так сказать, все материалы жизни готовыми. И направление жизни тоже. Поэтому у него никогда не было и не могло быть исканий, борьбы. Все в мире и жизни было ясно и спокойно.

И должность Федора Иваныча имела одно определенное свойство — это покой. Покой моральный, умственный и волевой. В его существовании высшей волей было определено раз на всю жизнь, что ему делать, что признавать, что отрицать, что говорить и чему учить разлагающийся мир. Все это было точно распределено по календарю, так что никакой путаницы или бестолковщины в его апостольских действиях произойти не могло.

Сначала было как-то странно от сознания, что самому в своей жизни нечего было делать, не нужно применять к жизни ни своей мысли, ни воли, ни энергии. И первое время даже перед людьми было как-то неловко торчать по целым дням у окна, ничего не делая. Но с годами эта неловкость прошла.

Отношения к пасомым у о. Федора выражались большею частью в том, что иногда, в месяц раз, его звали крестить или венчать. Ходить по страждущим со словом утешения, по завету писания, он хоть и ходил, когда за ним присылали мальчишку, прочитать поскорее отходную над каким-нибудь умирающим, но он как-то мало находил от себя слов утешения. И если страждущий был из простых, о. Федор, подойдя к нему, видимо, пытался что-нибудь сказать, но обыкновенно не находил многого, а говорил только:

— Что ж это ты ноги-то задрал?

И уж спешил приступить к напутствию, которое облегчало ему общение с духовным сыном и ставило пастыря из ненормального положения на подобающую ему высоту.

А из домашней священнической работы было: ведение книг, представляющих собою рапорты начальству о кружечных сборах, о числе умерших. Все это он мог бы поручить и псаломщику, но он любил делать это

сам и даже иногда томился, когда умершие за прошлый месяц были подсчитаны и сданы, а новых еще не набралось.

Привыкнув за время хождения по приходу закусывать, он часто после праздничных недель, когда кончалось это закусывание, испытывал какое-то неудобство, томление, точно чего-то не хватало ему. И он стал заполнять промежутки между завтраком и обедом какими-нибудь пустяками — сухой рыбешкой, икрой.

Со временем к икре была прибавлена настойка, а также грызение подсолнушков, которые были особенно удобны тем, что, не насыщая, приятно и удобно заполняли собою время, которое нечем было заполнить.

Это сделало жизнь легкой, занятой и приятной. Но вот теперь, с появлением опухоли, весь порядок жизни грозил перевернуться. Вся легкость духовно опекаемой и со стороны управляемой жизни грозила нарушиться.

И хотя Федору Иванычу приходили иногда успокоительные мысли о том, что, может быть, дело еще как-нибудь обойдется — ведь жил же покойный отец и после четвертой опухоли,— все-таки чувствовалось на всех пунктах, что дело скверно.

В первый раз опухоль появилась два года назад. Сперва Федор Иваныч начал от сидячей жизни полнеть. Старушки из пасомых радовались было, что их батюшка стал такой гладкий. Но потом Федор Иваныч стал задыхаться от ходьбы. И если на полу попадался какой-нибудь клочок бумажки, он даже не мог нагнуться и поднять, чтобы прочесть, что в нем может быть написано.

Тут на сцену появился Владимир Карлович со своими теплыми ваннами. Когда приступ болезни прошел, Владимир Карлович взял с больного честное слово, что он будет вести воздержный образ жизни, будет больше двигаться, меньше есть и спать.

Федор Иваныч, с испугу не разобравшись, дал честное слово. Но потом, когда страх непосредственной опасности прошел, он сам не заметил, как съехал опять на прежнее: помногу спал после обеда на мягкой расслабляющей перине, выпивал по маленькой рюмочке через каждые полчаса, рот его постоянно опять жевал что-нибудь, а сам он по целым дням торчал у окна на своем стуле, наблюдая все уличные сцены и поглядывая на свиней, которые толкались под его окнами, подбирая кусочки съестного, что выбрасывал из окна о. Федор.

IV

Вся приятность жизни, все спокойствие существования нарушилось, разлетелось прахом.

Необходимо, нужно было что-нибудь решать, предпринимать. И предпринимать самому. А что предпринимать? С чего начать?

Все это было тяжко, трудно, а главное — совсем неожиданно, без всякого предупреждения.

Но все-таки близкая опасность, вопреки ожиданиям, не дала ему остановиться на тоскливом мычании в незнании, что делать, а поселила решимость.

Ему вдруг пришла мысль: сейчас же, не откладывая дела в долгий ящик, переменить режим и, не обращаясь к немцу, своею волею поставить себя на ноги. Ведь раз болезнь от того-то и от того-то, нужно устранить то-то и то-то, и все пройдет.

Благодаря этой мысли Федор Иваныч сам обдумал и решил в корне покончить с прежним образом жизни. Организм тогда придет к нормальному виду, и все пойдет по-старому без всяких докторских советов, а только благодаря своей собственной воле.

Это сознание так оживило Федора Иваныча, так подняло дух, что он даже не затруднился перед теми лишениями, которые ожидали его на новом пути жизни, при совершенно новом режиме,— самоуправления.

Он даже почувствовал себя в счастливом возбуждении при мысли о таком крутом решении, которое он осилил совсем шутя.

— А то это, пожалуй, дай себе волю, этак можно так распуститься, что в конце концов ничего не будешь в состоянии сам для себя решить! — говорил Федор Иваныч.

В этом возбужденном состоянии он решил устранить не только прямые причины своего разрушения: бездействие, чрезмерный сон, настойку; он решил даже бросить такие невинные, мирные удовольствия жизни, как грызня подсолнушников. Если уж решать, так решать!

И ему приятно было чувствовать всю силу своей воли, с деятельностью которой ему пришлось столкнуться впервые.

Владимир Карлович удивится, увидев его опять здоровым, свежим и розовым. Непременно хлопнет себя по карману и скажет:

— Непостижимо! Что с вами сделалось, святой отец, вас узнать нельзя!

Не считая пищевого режима, Федор Иваныч придумал взять в свои руки и вообще в с е. Это было слишком обще и неопределенно, но он часто так выражался в процессе своего мышления, потому что это было легче и удобнее: захватил сразу побольше — тогда наверное уж тут попадется и то, что ему собственно нужно.

В этот раз под словом «все» он разумел приблизительно все главные функции своего существа: мысли, поступки, слова, волю, деятельность. Все это он решил подчинить себе, чтобы знать, что в нем происходит, почему происходит, и на свободе иногда даже самому направлять энергию по своему сознанию.

Выходило так, что благодаря этой болезни он как будто тронул в себе какой-то основной рычаг, а с ним вместе получили толчок другие рычаги, пришли в движение и, как бы пользуясь таким редким случаем, требовали пересмотра дела.

Но все это было хорошо, пока только решалось, распределялось. Вся трудность же практического проведения этих новых основных законов в жизнь сказалась в первые дни.

V

Русскому духовенству запрещено посещение недостойных его высокого сана театров, светских концертов и прочих развлечений, которыми обыкновенные люди, не стесненные высоким саном, пользуются во время отдыха.

Но обычно пастыри не тяготятся этим лишением и приучены не высказывать недовольства своим положением.

Федор Иваныч также никогда этим не тяготился, по крайней мере он никогда не высказывал недовольства содержанием своей жизни.

Но не тяготился он этим в обычное время, то есть до болезни, так как развлечения у него были, наслаждения и умственная деятельность тоже.

Теперь же, когда жизнь его в корне поколебалась, когда пришлось благодаря диете воздерживаться почти от всей своей личной жизни, он почувствовал, что на свете есть время, и время это может быть убийственно для честного человека.

Даже его приватные занятия по службе, вроде переписки церковных книг набело, и те потеряли для него

облагораживающее и удовлетворяющее значение. Взялся было переписывать мертвых, посидел несколько времени и бросил.

Он ходил скучный, унылый и потерянный, почти не шутил и не разгадывал ребусов.

Оживлялся о. Федор и как будто немного радовался, как неожиданному развлечению, когда приходил дьякон и говорил: «мертвечинка объявилась», как он называл это, когда умирал кто-нибудь из духовных детей Федора Иваныча. В это время он все-таки хоть на время переставал томиться и мечтать о прежней радостной жизни, когда он не думал ни о каких режимах.

Проходя по улице, он рассеивался какими-нибудь пустяками: прослеживал подозрительным взглядом беленькую с бубенчиком болонку, бегущую торопливой, озабоченной рысцой, мимоходом заглядывал в открытое окно какого-нибудь дома.

Но когда приходил домой, то опять начиналось тоскливое ощущение пустоты, точно этим переворотом — шут бы его взял! — из него вынули всю душу и всю суть личной жизни.

Федору Иванычу стали приходить мысли о том, что дело совсем не в том, чтобы отказаться от всего прежнего образа жизни. Нужно удалить только вредное. А то это обычная дурацкая манера: уже если что решил, так вали вовсю!

Походив немножко по комнате и потирая лоб, как будто находясь в затруднении, Федор Иваныч сказал себе:

«Вот что: я совершенно напрасно выкинул подсолнушники. Вреднего в них ничего нет, а они все-таки облегчат хоть немного. Да и все равно никогда не может быть полного воздержания».

После этого Федор Иваныч послал купить подсолнушников.

Но все равно дело от этого почти не изменилось. Он по-прежнему ходил целый день по комнате, томился и не знал, куда себя деть.

Однажды, походив так, Федор Иваныч поправил завернувшийся лист у цветка на окне, потом вздохнул и позвал кухарку.

— Марья! Пойди сюда! — крикнул он.

Марья ходила, вечно высоко подоткнув со всех сторон сарафан. Она отличалась особенно толстыми ногами и такими же «благодатями», как называл дьякон.

И Федор Иваныч (грешный человек) иногда, сидя у письменного стола за перепиской мертвых, смотрел украдкой на ноги Марьи, когда она развешивала белье в саду (ноги у нее были видны чуть не выше колен),— смотрел и, усмехаясь, покачивал головой.

«Вот уж дьякон ни за что бы не утерпел»,— думал Федор Иваныч. У самого же у него была на этот счет некоторая робость и нерешительность. Он только шутил с нею.

— Ты что сегодня готовила? — спросил Федор Иваныч, когда Марья остановилась в дверях и одернула бок сарафана.

— Уху,— сказала Марья сиплым, тяжелым голосом, точно ей приходилось делать огромное усилие для того, чтобы выдавить этот звук из себя.

— Ты перцу, небось, навалила туда, бог знает сколько? — сказал как-то осторожно Федор Иваныч, точно с волнением ожидая ответа.

— Клала,— сказала неопределенно Марья.

— Ну вот! А я болен, и мне нельзя с перцем есть.

— Я его пойду выловлю,— сказала угрюмо и недовольно Марья, не глядя на хозяина.

— Зачем, зачем выловить! — крикнул с испуганной поспешностью хозяин,— тебе, дуре, скажи только, ты уж и обрадовалась. Теперь уж дело сделано, раньше бы заботилась и думала о здоровье отца духовного. А то пойдешь грязными лапами по кастрюле лазить.

Марья спрятала под фартук руки.

— То-то вот... А селедку очистила?..

— Хозяйка не велела; она говорит — вам нельзя.

Федор Иваныч подумал.

— Нельзя... Гм, отчего же мне нельзя? Что же я, потвоему,— мальчик, сам не могу рассудить, что мне можно и чего нельзя? Это еще что за опекуны такие!

— Я не знаю, мне все равно,— очистить, так очистить.

Федор Иваныч не слушал ее и думал.

— А ты не говори ей про селедку. Очисть, а не говори.

— Что ж не говорить-то,— сказала Марья,— за обедом все равно вместе будем сидеть, она и отнимет.

— Да, это, пожалуй, верно. А больше ничего нет?

— Каша...— сказала Марья и поперхнулась.

— Каша!..— передразнил ее хозяин.— А нет того, чтобы еще что-нибудь приготовить. Должно быть, тебе

некогда? — сказал он вдруг, иронически посмотрев на нее, и даже упер руку в бок и погладил бороду, лукавыми, пытливыми глазами глядя на Марью.— Должно быть, все у ворот стоишь да с кавалерами переглядываешься?

— Я не переглядываюсь,— сказала угрюмо Марья и при этом завернула нос к двери.

— Э! Постой, постой! — сказал поспешно Федор Иваныч,— куда же ты заспешила так сразу? Мне еще нужно сказать...

И Федор Иваныч все так же лукаво глядел на нее.

— Я, брат, видел, как ты с каким-то трубочистом целовалась, вон и пятно на щеке.

Марья сначала покраснела каким-то бурым цветом, как кирпич, когда на него плеснут водой, потом потянула грязный фартук к глазам, и Федор Иваныч явственно услышал странные звуки, как будто шедшие откуда-то с противоположной стороны, точно тронулась давно немазанная водовозка.

— Чего же ты? — сказал он, струсив.

— А что же вы плетете... это я около печки... заступиться некому, вот и...

Федор Иваныч, по натуре ненаходчивый, совсем растерялся.

— Ну, будет, будет, пойди-ка лучше поищи у меня,— сказал он, зная по опыту, чем успокоить и задобрить Марью, а кстати, и самому провести время до обеда и не думать о прежнем.

Искание, и прежде практиковавшееся, не было необходимостью; оно применялось не вследствие нечистоты о. Федора, потому что жена все-таки изредка гоняла его в баню, а под большие праздники сама мыла ему голову.

В данное время оно заменяло его прежнее, теперь отсутствующее содержание личной жизни.

— А может быть, тебе некогда искать? — сказал Федор Иваныч, когда голова его уже лежала на толстых коленях Марьи.

— Нет, ничего, поищу.

Трудно сказать, почему, но видно было, что ей это занятие доставляет еще большее удовольствие, чем самому отцу Федору. И когда к ней приходили в гости ее подруги, они всегда располагались в саду под яблонями и по очереди доставляли это удовольствие друг другу.

По закрытым глазам Федора Иваныча, завешенным распустившимися длинными волосами, можно было по-

думать, что он спит, но это была только легкая дремота от приятности ощущения.

Потом Марья ушла, и он опять остался один.

VI

Когда принималось решение переменить правление, взять все в свои руки и с корнем уничтожить содержание старой жизни, то результаты от этой перемены ожидались скорые и проявление их эффектное.

Но прошло уже шесть дней каких-то, в сущности, нелепых самоистязаний, а эффектных результатов не было: Федор Иваныч пробовал ноги, живот и, уныло разводя руками, говорил, что никакой пользы нет, только напрасно себя мучить.

Правда, опухоль под глазами уменьшилась, и лицо стало не так нездорово, но Федору Иванычу казалось даже оскорбительным после такого напряжения и подвига класть в счет эту мелочь, то есть так дешево торговать подвигами. Ему даже нарочно хотелось найти какие-нибудь отрицательные признаки нового режима и тем совсем обесценить его.

«Ну, конечно, нисколько не лучше,— говорил презрительно-безнадежным тоном Федор Иваныч, как будто он так и ожидал, что ничего путного от этого режима не выйдет.— И незачем было так круто менять, надо было постепенно, тогда организм и привык бы, а то вот...»

Он не знал еще, что вот, но, подумав, сказал:

«Даже и повредить себе так можно. Притом ведь Владимир Карлович запрещал мне пить настойку, водку, а церковное вино — не водка. Да и все это пустяки, чушь! — крикнул он вдруг, раздражаясь.— Как умереть, так все равно умрешь, и никакие тебе режимы не помогут».

Он говорил это таким тоном, как будто возмутился, наконец, против того насилия, которое кто-то производил над ним, и втиснул его черт знает в какие рамочки, где и повернуться свободно нельзя.

— Не желаю я, вот вам и все,— сказал он.— Шутки, какие, подумаешь! Молоды еще учить, у меня уж седина показывается, я вам не мальчик, поэтому — позвольте вас покорнейше поблагодарить, а от учения отказаться.

И он в волнении прошелся по комнате.

Но по природе своей Федор Иваныч был не так

храбр и решителен, и этими разговорами с самим собой только хотел разжечь себя, набраться храбрости, настроить себя на бунт против кого-то и против их вторжений в его частную жизнь.

Он с озлоблением разрушил им самим построенное здание.

«Рано еще самовольничать-то! Своим разумом жить! Ему только дай волю, и сам не заметишь, как угодишь чертям на окрошку. Мало ли таких-то молодцов, Ариев да Толстых, которые загордились,— вот и... пропали,— сказал он, подумав.— Ему, этому разуму своему, только позволь распоряжаться, встать на первое место, сразу и осатанеешь от гордости. Разум, разум,— прибавил он раздраженно,— все это только грубое, материальное, что руками попробовать можно, вот тут и разум. Это материалистам по вкусу, а нам — и думать-то об этом стыдно».

Так говорил Федор Иваныч, все более и более разжигая себя на бунт и действительно все более и более раздражаясь. В скором времени произошел и бунт.

Сначала в церкви он выпил церковного вина больше, чем следует, так что дьякон, заглянув после него в святую чашу, только посвистал и продолжительно посмотрел на о. Федора. А тот углубился в молитву по книжке и ни разу не взглянул в сторону дьякона.

Придя домой, Федор Иваныч чувствовал в желудке знакомую приятную теплоту от выпитого вина, и прежняя храбрость и возмущение еще более подогрелись и укрепились.

Он решительно подошел к буфету, резко растворил дверцы, как бы этим подчеркивая, что он и не думает скрывать своего образа действий, налил себе самую большую рюмку, с ядовитой медлительностью намазал кусок белого хлеба икрой и зачем-то даже густо посыпал его перцем.

«Я не мальчик,— говорил он,— слава богу, пятый десяток идет, могу жить самостоятельно. Да теперь и все равно: ведь я выпил церковного вина, а это тот же спиртной напиток, что и водка. А раз уж половина нарушена, за остальное нечего держаться».

Сказав это, он спокойно и твердо выпил рюмку настойки и, закусывая на ходу икрой, пошел опять к своему окну с таким спокойным видом, как будто то, что он сейчас поборол, досталось ему шутя, точно огромность его внутренней силы и не дала ему почувствовать ника-

кого напряжения в борьбе с навязанным ему новым порядком жизни.

Около окна каждый раз изо дня в день происходила одна и та же сцена. Часов в десять утра на улице раздавался пьяный, горланящий голос. Это был Васька-пьяница. Он ходил босиком, в рваных штанах, причем одна штанина, висевшая бахромой, едва доходила до колена. А картуз был весь в дырочках, откуда торчала какая-то дрянь вроде хлопьев.

Васька остановился перед домом о. Федора, как перед чем-то особенно ему знакомым, и не сразу пьяными глазами нашел наверху открытое окно.

О. Федор спрятался за штору и сосал икру.

— Отец святой! — раздалось с улицы.

Святой отец молчал.

— Ваше преподобие, наставник, откликнись!

Наставник не откликался.

— Подай мне, окаянному, свою трудовую, по́том и кровью добытую копейку,— мне, лодырю, на пропитие.

Самое лучшее было бы уйти и не показываться. Васька постоял бы и ушел. Но Федору Иванычу всякий раз хотелось ему прочесть хорошую нотацию, а потом уж прогнать, ничего, конечно, не дав бездельнику.

— Ну, ты чего тут безобразничаешь! — строго и с достоинством сказал Федор Иваныч, выходя из засады и показываясь в окне.— Чего кричишь!

Васька при его появлении быстро, как нельзя было ожидать, сорвал с головы свой картуз, бросил его зачем-то на землю, и, вытянувшись по-военному, приложил неумело два пальца к виску, отдавая честь с таким видом, точно перед ним был чин страшной высоты.

Федор Иваныч немного смягчился при виде такого к себе отношения, но не хотел этого показать.

— Ну, я, брат, не военный и мне твоей чести не нужно,— сказал все-таки более мягким тоном Федор Иваныч.— А ты иди-ка лучше и не кричи, как безобразник, перед домом отца духовного.

— Отец, отец! А на водку-то, на губительницу-то мою окаянную!

И Васька, склонив умиленно-просительно набок голову, ждал.

Федор Иваныч сидел, щелкая семечки, и равнодушно поглядывал на облака. Васька ждал.

— Что ж ты стоишь? — спросил Федор Иваныч удив-

ленно, как будто он думал, что Васька уже ушел, а он все еще тут.

— На губительницу копеечку,— сказал уже тише Васька, жалко моргая и держа голову молитвенно набок.

— Если губительница — брось.

— Не могу, силы нету.

— Мало ли чего не можешь! Имей волю и будешь мочь. Я бы тоже, может быть, захотел безобразничать или что, а ведь терплю, сдерживаю себя, тружусь! — говорил Федор Иваныч, даже несколько возбуждаясь.— У меня сколько вас! Всех надо наставить и сберечь ваши души.

Васька, моргая и с тупым усилием напрягая свой узкий, весь в частых морщинах лоб, слушал, стараясь понять, хотя, видимо, не понимал ничего. У него было такое бесплодно напряженное выражение, как будто он вслушивался в иностранную речь. Но лицо его по привычке все более и более принимало вид человека, готового каяться, биться головой, сознав свою мерзость греховную под огненным словом святого наставника.

— Верно! Верно это! — говорил он, подняв картуз, и, зачем-то еще с большим усилием бросив его, махнул рукой.— Верно! Окаянный я! — И он, вытянув руку внутрь рукава, потянул пустой конец к глазам, утирать слезы.

— Ты не окаянный, а пропащий, несчастный человек! — говорил торжественно и взволнованно Федор Иваныч.— Тебя жалеть, жалеть, а не ругать надо. Ну, оглянись на себя: куда ты годен в жизни, кому нужен? Что у тебя за лицо! Ведь тебе уж по одному твоему лицу дальше ада никуда не пустят. В писании что сказано? «И сотворил бог человека по образу своему»... А ты куда дел образ божий, во что его превратил? Образина какая-то, а не образ!..

Васька плакал.

Федор Иваныч сам был взволнован и растроган своей речью. Наконец в окно бросался пятачок, которого Васька никак сразу не мог найти, и оба, потеряв его глазами, долго искали уже мирно вместе: один внизу, топчась и с недоумением оглядываясь вокруг себя по земле, другой разглядывал сверху. Пятачок отыскивался. Васька обтирал его о штаны и, идя по улице, крестился и бормотал:

— Верно, окаянный я, не могу себя соблюдать.

VII

Допустив одно послабление и отступление от принятого было с таким подъемом решения, Федор Иваныч сказал себе, что теперь уже все равно: раз чуть не половина режима нарушена, за оставшийся кусочек нечего держаться.

«Все равно, не нынче — завтра. Разве можно так мучиться! Не сплю, все хожу, и посидеть не дадут, и не ем ничего к тому же. Вот я даже похудел. А я и так *болен*. Кто же при болезни будет так мучить свой организм!»

Точно что-то тяжелое и нелепое свалилось с плеч Федора Иваныча.

Постоянное напряжение воли, мысли для борьбы с самим собой, когда он вздумал жить «своим разумом», как он иронически говорил,— эта непосильная работа наконец кончилась. Он вздохнул свободно. И только теперь во всей силе он почувствовал, как хороша, как сладка была его обычная, нормальная жизнь. Прежде он жил, принюхавшись к ней, и поэтому не ценил ее, как теперь оценил.

С каким чувством радостного покоя возвращался он к тому порядку жизни, который вырос из глубоких, невидимых причин.

И опять стало легко, спокойно, опять жизнь пошла по тому руслу, против которого он взбунтовался.

Спал теперь Федор Иваныч не только после обеда, но и после завтрака и перед ужином. Но самое ценное время для этого было — послеобеденное.

После обеда окно в спальне завешивалось. Мухи отправлялись на потолок или бродили в полутьме по подушкам, не узнавая друг друга. На столик ставился квас, и Федор Иваныч, раздевшись, валился на высоко взбитую перину.

После двух-трех часов сна все тело блаженно-сладко расслабевало. Он весь разметывался, лежа на жаркой пуховой перине, и даже стонал от чрезмерного наслаждения, доходившего почти до страдания. Все тело становилось бессильным, и всякое движение в это время причиняло муку и неприятно возвращало к действительности.

Разбудить его в это время по частной надобности было совершенно невозможно. Но — странное дело!— стоило только его ушам услышать хоть бы слабый звук

колокола,— они передавали известие куда нужно,— о. Федор сейчас же приводился в надлежащее движение и быстро делался готовым к употреблению, то есть к исполнению долга.

В нем точно было устроено на этот счет какое-то приспособление, благодаря которому не могло быть сделано упущение по долгу. Исполнение долга было даже гарантировано и в том случае, если бы его ум и воля в данный момент отлучились и отсутствовали, как это часто бывало. И часто, даже благодаря именно этому, исполнение долга могло возвышаться до высокого героизма, как это, например, бывает у военных.

И если в обычное время в нем исключительно господствовали и всем верховодили пищеварительные процессы, то в этом случае они уже скромно отходили куда-то дальше. Но они за многим и не гнались, потому что знали, что своего не упустят, потому что вся жизнь о. Федора была сознательно и бессознательно построена по принципу: «кесарю кесарево, божие богови».

И «богови» нисколько, в сущности, не мешало им. Они знали, что никакие уставы святых отцов и высшая воля, в распоряжении которой находилась жизнь о. Федора, и весь бюджет его не в силах им ничего сделать. В противном случае у их хозяина не останется никакого смысла жизни.

Благодаря этому всей личной жизнью о. Федора завладели исключительно процессы, а «богови» было оттеснено на самый краешек жизни — на всенощную и обедню.

Служение в церкви для жизни Федора Иваныча имело огромное значение. Во время таких передряг, при всяких неприятных столкновениях с жизнью он находил здесь, в святом храме, полное успокоение, скрываясь от «кесарева» и забывая хоть на время неблагообразие собственной жизни.

В праздники он надевал на грудь поверх рясы большой белый серебряный крест, брал из угла высокую пастырскую палку — символ водительства слабых человеческих душ — и шел в церковь. Там, привычно чувствуя себя на своем месте, шутил с дьяконом, надевая облачение, как шутит опытный хирург перед началом операции, чтобы затем, когда начнется самая операция, сделаться серьезным и неприступным.

Служил о. Федор очень хорошо. Голос у него был слабый, приятный. Старушки называли его ангельским.

Теперь от общей опухоли ангельский голос немного охрип, но все-таки торжественность службы не уменьшилась.

Когда он надевал на себя серебряные парчовые ризы, то чувствовал умиление перед самим собой, перед своей чистотой, перед тем, кто он сейчас. Все это великолепие одежд и службы так поднимало чувство собственной значительности, что он видел себя безмерно возвысившимся над суетным, разлагающимся миром и над обыкновенными людьми.

Под серебром риз уже не было видно ни опухших ног, ни разлагающихся почек и разрушающегося организма, ни зреющих геморройных шишек.

В такие великие минуты Федор Иваныч совершенно забывал свои тревоги и борьбу последнего времени. Здесь было ощущение покоя и чувствование над собой той могучей божественной силы, к которой он прибегал во всех трудных и запутанных случаях своей жизни, когда требовалось сильное напряжение духа, когда грозила какая-нибудь опасность,— особенно в последнем случае.

И за этой силой он всю жизнь чувствовал себя защищенным и спокойным, как дитя под крылом матери.

В церкви, во время святой молитвы, Федор Иваныч совершенно уходил от всех неприятностей и не думал уже ни о настойке, ни об икре, ни о разнузданной ватаге процессов. Было лишь приятное и легкое сознание, что он с просветленной душой стоит здесь и отдает, что полагается, богови.

Когда о. Федор выходил на амвон принимать от дьякона евангелие, то делал это со спокойной, неторопливой торжественностью и как бы со слабым изнеможением, склонив немного набок свою голову с наполовину вылезшими волосами.

Это был один из самых приятных моментов. Он, не глядя, чувствовал в блеске свечей и золота сотни глаз, устремленных на него, и от этого легкий, приятный холодок, веяние духа, пробегал по опухшей спине. И хотелось даже лицу своему придать выражение кроткого страдания, которое он несет за подведомственных ему духовных детей.

И, действительно, лицо его сверх обычной слабой доброты было кротко и размягченно.

— Батюшка-то наш, ангел,— говорили старушки, плача и сморкаясь.

В такие минуты даже дьякон как-то подтягивался и, конечно, не решился бы ничего рассказать из своего скользкого репертуара, так как о. Федор никогда не забывался, никогда не упускал мысли, где он и кто он сейчас. И уж никогда не путал: во время служения не бывал тем, чем он был в действительной жизни, и наоборот.

Так шло время, и Федор Иваныч уже склонялся к мысли, что, может быть, дело обойдется, организм зазевается и забудет, что хозяин его опять на старое съехал.

VIII

Но вдруг, совершенно неожиданно, у него появилась опять опухоль, и сделались жестокие судороги в ногах и в пальцах рук. В левой стороне живота выперло что-то, и Федор Иваныч стал задыхаться. Его положили на постель.

— Вот, довели, окаянные,— говорил с трудом, уже лежа на постели, Федор Иваныч.

На вопрос домашних, кто довел и кто эти окаянные, Федор Иваныч ничего не ответил и только махнул рукой. Очевидно, он подразумевал процессы.

Становилось уже несомненно, что нужна сторонняя власть, приходилось передать управление делами какому-нибудь другому лицу, чтобы оно пришло водворять тут порядок. То есть, просто говоря, нужно было в конце концов обратиться к Владимиру Карловичу.

Приехавший доктор застал Федора Иваныча на кровати с бледным, опухшим и побелевшим лицом, среди которого только один нос несколько утешал своим красно-лиловым цветом, указывая на присутствие в организме все еще цветущих жизненных сил.

— Ну, вот, добились своего! — сказал доктор.

— Это не я... — только и сказал Федор Иваныч.

Доктор не расслышал.

— Ведь это — вторичная опухоль! Вот, как появилась, так, конечно, и скрутила. Безобразный вы человек!

Федор Иваныч уже молчал, что он уже целый месяц с ней живет.

— Ну, что же, попробуем повозиться, может быть, и наладим дело, если вы и после второго припадка выжили.

— Мой отец-покойник после четвертого выжил,— слабо сказал Федор Иваныч.

— Ну, хорошо. Только теперь, батюшка мой, изволь-

те лежать смирнехонько, а мы уж будем распоряжаться вами по-своему.

— Вы уж построже с ними,— со слабой надеждой сказал Федор Иваныч.

— С кем с ними? — удивленно спросил доктор.

Но у Федора Иваныча сказалось это инстинктивно, и он сам не мог уже объяснить, на кого он жалуется.

— Ему надо делать общие припарки,— сказал доктор, обращаясь к жене Федора Иваныча, которая с завязанными зубами стояла в ногах кровати, держась рукой за никелевую шишку.— А главное, не давайте ему ни на йоту отступать от того режима, какой я ему установлю. И все вредное прячьте от него подальше, спеленайте его даже, если будет нужно,— шутил доктор.

— Ну, зачем прятать,— сказал Федор Иваныч, лежа изможденный, с закрытыми глазами,— что я, разве маленький?

После этого припадка Федор Иваныч резко изменился. Он уже не подшучивал над другими, а большею частью грустно трунил над своим положением: что вот опять его парят и вымачивают, как солонину какую-то. Он стал совсем послушен. Белье теперь на нем бывало постоянно чистое, потому что с ним уже не церемонились. Марья без долгих разговоров сажала его на кровати, стаскивала за рукав сорочку, как наволочку с большой подушки, и покрывала его с головой чистой сорочкой, только предварительно нагретой по его просьбе у печки. И сейчас же из-под сорочки появлялась сначала удивленная голова, потом пролезали и руки.

Марья с особенным, ей свойственным удовольствием хлопотала около припарок. Болезнь и всякие подобные явления вызывали в ней жгучее любопытство. И чем тяжелее и некрасивее был вид болезни, тем больше она любила посмотреть. А потом у ворот рассказывала другим кухаркам, с горестным видом подперши рукой щеку. Кухарки, не имевшие случая видеть что-нибудь подобное у себя дома, слушали с жадным выражением и завидовали Марье.

По вечерам она приносила таз с водой. О. Федора раздевали, сажали на стул и завертывали одеялами, оставляя торчать только одну пастырскую голову. Причем Марья, по обыкновению, употребляла столько силы, что Анне Ивановне то и дело приходилось кричать на нее:

— Тише, ступа! Ты так повалишь его. Поверни его лицом сюда, куда же ты его носом к стене посадила!

Потом подставляли под Федора Иваныча таз с водой, спихивали туда палочкой с железного листа раскаленный кирпич, и обе немного отходили в сторону, как бы ожидая взрыва. А Федор Иваныч, закутанный до головы в одеяло, сидел, как оракул, и от него шел пар.

— Действует? — спрашивала жена.

— Действует,— покорно отвечал Федор Иваныч.

Марья рассказывала потом кухаркам, что смирнее и послушнее больного она не видела. И действительно, Федор Иваныч все переносил и всему подчинялся терпеливо, что бы над ним ни делали. И в этом точно сказывался огромный навык в деле всякого подчинения. Он не высказывал ни жалоб, ни протестов, как он не высказывал их всю свою жизнь.

Иногда приходил казначей, его приятель, и говорил, здороваясь:

— Что, лежишь, батя?

— Лежу,— отвечал Федор Иваныч, слабо усмехаясь над своим положением, и так как они обыкновенно играли в карты на грецкие орехи, Федор Иваныч прибавлял:— Что же, перекинем в картишки.

— За вами еще фунт грецких,— напоминал казначей.

— Отыграюсь, бог даст,— говорил Федор Иваныч.

Иногда казначей приходил, когда Федор Иваныча сажали на кирпич, и, увидев оракула посредине комнаты, говорил:

— Что, сидишь, батя?

— Сижу,— отвечал Федор Иваныч.— Садитесь и вы. Там на стуле лежит что-то, так вы сбросьте это сами на кровать. А то меня мои недоброжелатели забинтовали с руками и ногами, да еще не смей им противоречить ни в чем.

IX

С вмешательством немца во внутренние дела у Федора Иваныча появилось невыразимо приятное ощущение освобождения. До этого у него, кроме заботы самоуправления, была боязнь домашних, что вдруг они узнают, что ему хуже стало, что ему грозит смерть. Вот тогда попадет на орехи!

«А! — скажут,— тысячу раз говорили, и сам знаешь, что вредно тебе столько спать, торчать постоянно у окна без всякого движения и жевать; не можешь удержаться!» — и так далее, и так далее.

Теперь же этого неприятного вопроса не могло и существовать для пастыря. Виноват, если что, будет не он, а они с немцем. Его же дело сторона. Чувствовалась знакомая безответственность за ход и итоги своей жизни. Так и хотелось насмешливо улыбнуться и сказать:

«Не знаю, мое дело сторона. Я тут ни при чем. Спросите кого-нибудь там...»

Деятельность о. Федора сильно сократилась вследствие лежачего положения. Доставлявшие ему духовно-нравственное удовлетворение переписывание церковных книг, подсчет умерших и кружечных сумм стали невозможны.

Большую часть дня он лежал на спине и следил глазами за тенями, которые ходили по потолку, и тут немножко думал о тенях. Или перевертывался на бок, и, лежа лицом к стене, водил пальцем по рисунку обоев и думал уже об обоях. К этому сводилась почти вся его духовная работа. И недостаток ее тяготил о. Федора.

Если какой-нибудь звук, вроде тыкающейся о потолок большой мухи, развлекал его в это время, он повертывал голову в ту сторону, слабо и жадно следил за мухой. Или же просто глядел по стенам, по потолку и в рассеянности водил языком по губам.

Лицо о. Федора было спокойно, не обременено никакой тревожной думой. Никакая тяжелая мысль или просто мысль не хмурила, не морщила его чистого девственного лба, когда он лежал один сам с собой, с своим внутренним содержанием.

Приходил иногда казначей, и они играли, сдавая карты на одеяло, в дурачки. На орехи уже не играли, потому что доктор запретил волноваться.

Доктору Федор Иваныч подчинялся совершенно. Он повиновался каждому приказанию, в особенности если это приказание или запрещение повторяли ему настойчиво громко несколько раз, как медиуму или, того лучше, как подчиненному.

Придерживался этого режима он вовсе не потому, чтобы здесь участвовало его желание, а просто он подчинялся доктору, как подчинялся епархиальной власти или Марье при перемене белья.

И он не тяготился этим. Совсем наоборот: если бы его теперь пустили на свет одного, без епархиального начальства, без Марьи и без звона, то он очутился бы в самом жалком положении.

Уходя, доктор передавал свои полномочия Анне Ивановне, и о. Федор беспрекословно подчинялся жене. На него странно действовали крик, приказание даже лица, не имеющего над ним никакой фактической власти.

Но иногда доктор долго не показывался, тогда Федору Иванычу начинало приходить в голову, что, в сущности, доктора бояться нечего. «Ну, что он может сделать? Что он кричит да хлопает себя по карманам? Штука какая?» — говорил уже вслух Федор Иваныч.

И у него уже появлялся порыв: разрушить оковы, в которые какие-то Владимир Карлычи, Сидор Карпычи заковали его собственную свободную волю. Какое он имеет право распоряжаться моей личной жизнью? Мое «я» принадлежит мне и никому больше, и содержание моего «я» никого не касается.

Теперь, когда его посадили на жестокую диету, о. Федор стал почему-то излишне часто повторять эти слова, как это делают люди, когда впервые ознакомятся с содержанием какого-нибудь слова, нового в их обиходе.

— Да что он мне за указчик такой! Он сначала найми, а потом приказывай! — говорил взволнованно о. Федор. Он почему-то особенно часто употреблял это слово н а й м и в своем пастырском, апостольском обиходе. «Не желаю я, вот и все!» — И он сбрасывал с себя одеяло в знак того, что он разрушил оковы.

После одного такого бунта, выразившегося в нарушении режима, ему заметно стало хуже, так что все думали, что скоро конец.

Сам он первое время ничего не подозревал, так же спокойно, безмятежно лежал, водя глазами по потолку. Но потом, видя вокруг перемену в отношениях домашних к себе, он стал как-то странно изменяться.

X

Несмотря на полное отсутствие чуткости, о. Федор заметил что-то неладное: жена почему-то не бранила его, часто входила к нему с заплаканными глазами. А иногда он видел, что она, войдя в спальню, издали смотрела на него тем скрытым взглядом, каким смотрят на умирающих.

Один раз он встретился с ней глазами и, вдруг все поняв, почувствовал, как у него замерло сердце и под волосами стало горячо. Он не сказал ни слова, но как

только жена вышла из комнаты, Федор Иваныч с испуганным лицом и что-то шепчущими губами сел на кровати и стал пробовать ноги, живот, со страхом ища признаков, по которым о н а, очевидно, видела приближение к о н ц а.

Потом, как бы отчаявшись и не зная, что делать, он с мольбой оглянулся на образ. Губы его что-то пробовали шептать, но, вероятно, не находили что; тогда он, спохватившись, достал из-под подушки книжечку в кожаном переплете, лихорадочно читал что-то по ней и жадно смотрел на образ, униженно качая склоненной набок облезшей головой.

Если кто-нибудь входил в это время в комнату и заставал о. Федора с изможденным лицом, перекосившимся от страха смертного, то ему становилось неловко, точно он застал человека на чем-то унизительном и постыдном.

Потом Федор Иваныч стал спокойнее, сосредоточеннее. Как будто мысль его работала над чем-то, открывшимся его духовному взору.

Все чаще и определеннее появлялась у него на лбу морщинка сосредоточенной на чем-то мысли,— быть может, мысли о жизни, о предстоящей смерти, о конечном смысле всего его пребывания на земле,— кто знает, о чем он думал.

Но мысль была. Это несомненно.

Для жены, хорошо его знавшей, это было самым плохим признаком.

А у него все-таки была надежда, что он останется жить. Теперь, перед лицом холодной, бессмысленной смерти ему болезненно, страстно захотелось жить. Не потому, чтобы у него оставалось что-нибудь свое, недостроенное в жизни, а просто т а к — жить!

Теперь скоро настанет весна, будут разбухать и лопаться смолистые почки тополей, начнутся свежие росистые утра с длинными тенями, с блеском солнца. Бывало, в юности хорошо было пораньше встать и бежать на реку, где искрящаяся на раннем солнце гладь воды, как бы еще не проснувшись под легким утренним туманом, манит своей бодрящей прохладой и свежестью.

Хорошо было с разбега броситься в эту свежую прохладу, переплыть, с силой вымахивая руками, на другой бок и походить по берегу, чувствуя холодную, свежую крепость тела и беспричинную радость при виде знакомых с детства картин: спускающихся к реке городских

огородов, церквей и летающих над крышами голубей. Потом переплыть обратно, обтереться до красноты полотенцем и идти с полотенцем на плече по каменистой тропинке домой. Впереди целое свободное лето, а еще впереди — целая жизнь, из которой в этом состоянии утренней бодрости, кажется, можно сделать все, что угодно.

В тишине ночей, когда его мучила бессонница, он давал кому-то горячие клятвы и обещания все начать по-новому. Если бы эта жизнь, которую он прожил, была выдана ему начерно! Если бы еще получить беловую жизнь, во что бы он ее превратил! Каким стал!..

Вся орава процессов в эти дни что-то примолкла совсем, очевидно, смекнув, как бы их владыка не выкинул самой последней глупости, то есть не отправился бы в селения горния и не потащил бы их туда за собой.

XI

К удивлению всех домашних, а в особенности доктора, не знавшего случаев, чтобы выживали после таких припадков, Федор Иваныч стал выздоравливать.

Он-то сам, конечно, относил это не к докторской помощи, а к тому, что господь услышал его горячие молитвы и дает ему отсрочку.

Выздоровление было заметно по многим признакам: он перестал молиться через каждые пять минут, а молился только когда установлено — перед сном, перед едой и после еды.

Та подозрительная работа мысли, которая была у него заметна в последнее время, к утешению домашних, стала исчезать, не оставив даже заметных следов на его лбу.

Старушки из пасомых приходили проведать своего пастыря и, умиляясь, рассказывали потом всем, что он, как ангел, лежит.

— Уж как хорошо выболел-то! — говорили они.— Худенький стал; ручки, как восковые. Сподобил господь!

А прежде сами же радовались, что он у них гладкий был.

Те обещания, те мысли о жизни, какие у него появились из неведомых глубин его личности в опасный период болезни, как-то постепенно забывались. Но это не было

с его стороны лживой уловкой; обещал, отсрочку вымолил, а там — обещания побоку, и опять за свое. Дело с обещаниями сошло на нет, потому что оно было ненормальным явлением, только свидетельствовавшим о сильном потрясении и перемещении душевных элементов. Благодаря этому потрясению то, что было скрыто глубоко и лежало в нем без употребления в продолжение всей жизни, всплыло вдруг наверх, а что лежало наверху, зарылось на время вниз.

Через неделю Федор Иваныч в первый раз после долгого перерыва сел к своему окну и лицом к лицу встретился с Васькой, который неслушающимися глазами водил по окнам.

— Ну ты, что же, приятель, все по-старому! — сказал Федор Иваныч.

— По-старому,— грустно сказал Васька, остановив взгляд на своем пастыре и тупо моргая глазами.

— Плохо! — сказал Федор Иваныч.— Пора бы начать по-новому. А то жизнь-то у тебя пройдет, и останется неизвестным, зачем ты собственно существовал. А ведь в твоем распоряжении, слава богу,— не один год. Есть время одуматься, на себя оглянуться. Хорош ты будешь, когда явишься вот в этаком виде, об одной штанине к престолу господню. «Что это,— скажет господь бог,— за образина такая, откуда вы его выкопали? Дайте-ка посмотреть, что он в своей жизни сделал, что после него на земле осталось?» Возьмут книгу записей, посмотрят, а там твоя страница и не начата, только вся водкой залита и перепачкана. Ну, иди, безнадежное создание!

Для заполнения времени Федор Иваныч купил новую книжку ребусов, кроме того, разрешил себе в виде закуски свежих карасиков, которые кушал, сидя у окна, чтобы не томиться бездействием и в то же время не подорвать здоровья, так как эта пища была совершенно безвредна.

Настала весна, разбухали и лопались смолистые почки тополей, начались свежие росистые утра с длинными тенями. И Федор Иваныч, вставая теперь на целый час раньше, чем обыкновенно, взяв карасиков, садился с самого утра к окну и в этой бодрой утренней прохладе начинал свой день.

Под окном опять стали толочься свиньи, подбирая бросаемые о. Федором головки карасей, и жевали: они внизу, он — наверху.

РУССКАЯ ДУША

Этюд

I

Профессор московского университета, Андрей Христофорович Вышнеградский, на третий год войны получил письмо от своих двух братьев из деревни — Николая и Авенира, которые просили его приехать к ним на лето, навестить их и самому отдохнуть.

«Ты уж там закис небось в столице, свое родное позабыл, а здесь, брат, жива еще русская душа»,— писал Николай.

Андрей Христофорович подумал и, зайдя на телеграф, послал брату Николаю телеграмму, а на другой день выехал в деревню.

Напряженную жизнь Москвы сменили простор и тишина полей.

Андрей Христофорович смотрел в окно вагона и следил, как вздувались и опадали бегущие мимо распаханные холмы, проносились чинимые мосты с разбросанными под откос шпалами.

Время точно остановилось, затерялось и заснуло в этих ровных полях. Поезда стояли на каждом полустанке бесконечно долго,— зачем, почему,— никто не знал.

— Что так долго стоим? — спросил один раз Андрей Христофорович.— Ждем, что ли, кого?

— Нет, никого не ждем,— сказал важный обер-кондуктор и прибавил: — нам ждать некого.

На пересадках сидели целыми часами, и никто не знал, когда придет поезд. Один раз подошел какой-то человек, написал мелом на доске: «Поезд № 3 опаздывает на 1 час 30 минут». Все подходили и читали. Но прошло целых пять часов, никакого поезда не было.

— Не угадали,— сказал какой-то старичок в чуйке.

Когда кто-нибудь поднимался и шел с чемоданом к двери, тогда вдруг вскакивали и все наперебой бросались к двери, давили друг друга, лезли по головам.

— Идет, идет!

— Да куда вы с узлом-то лезете?

— Поезд идет!

— Ничего не идет: один, может, за своим делом поднялся, все и шарахнули.

— Так чего ж он поднимается! Вот окаянный, посмотри, пожалуйста, перебаламутил как всех.

А когда профессор приехал на станцию, оказалось, что лошади не высланы.

— Что же я теперь буду делать? — сказал профессор носильщику. Ему стало обидно. Не видел он братьев лет 15, и сами же они звали его и все-таки остались верны себе: или опоздали с лошадьми, или перепутали числа.

— Да вы не беспокойтесь,— сказал носильщик, юркий мужичок с бляхой на фартуке,— на постоялом дворе у нас вам каких угодно лошадей предоставят. У нас на этот счет... Одно слово!..

— Ну, веди на постоялый двор, только не пачкай так чемоданы, пожалуйста.

— Будьте покойны...— Мужичок махнул рукой по чехлам, перекинул чемоданы на спину и исчез в темноте. Только слышался его голос где-то впереди:

— По стеночке, по стеночке, господин, пробирайтесь, а то тут сбоку лужа, а направо колодезь.

Профессор, как стал, так и покатился куда-то с первого шага.

— Не потрафили...— сказал мужичок.— Правда, что маленько грязновато. Ну, да у нас скоро сохнет. Живем мы тут хорошо: тут прямо тебе площадь широкая, налево — церковь, направо — попы.

— Да где ты? Куда здесь идти?

— На меня потрафляйте, на меня, а то тут сейчас ямы извезочные пойдут. На прошлой неделе землемер один чубурахнул, насилу вытащили.

Профессор шел, каждую минуту ожидая, что с ним будет то же, что с землемером.

А мужичок все говорил и говорил без конца:

— Площадь у нас хорошая. И номера хорошие, Селезневские. И народ хороший, помнящий.

И все у него было хорошее: и жизнь и народ.

— Надо, видно, стучать,— сказал мужичок, остановившись около какой-то стены. Он свалил чемоданы прямо в грязь и стал кирпичом колотить в калитку.

— Ты бы потише, что ж ты лупишь так?

— Не беспокойтесь. Иным манером их и не разбудишь. Народ крепкий. Что вы там, ай очумели все! Лошади есть?

— Есть...— послышался из-за калитки сонный голос.

— То-то вот,— есть! Переснете всегда так, что все руки обколотишь.

— Пожалуйте наверх.

— Нет, вы мне приготовьте место в экипаже, я сяду, а

вы запрягайте и поезжайте. Так скорее будет...— сказал Андрей Христофорович.

— Это можно.

— А дорога хорошая?

— Дорога одно слово — луб.

— Что?

— Луб... лубок то есть. Гладкая очень. Наши места хорошие. Ну, садитесь, я в одну минуту.

Андрей Христофорович нащупал подножку, сел в огромный рыдван, стоявший в сарае под навесом. От него пахнуло пыльным войлоком и какой-то кислотой. Андрей Христофорович вытянул на постеленном сене ноги и, привалившись головой к спинке, стал дремать. Изредка лицо его обвевал свежий прохладный ветерок, заходивший сверху в щель прикрытых ворот. Приятно пахло дегтем, подстеленным свежим сеном и лошадьми.

Сквозь дремоту он слышал, как возились с привязкой багажа, продергивая веревку сзади экипажа. Иногда его возница, сказавши: «Ах ты, мать честная!», что-то чинил. Иногда убегал в избу, и тогда наступала тишина, от которой ноги приятно гудели, точно при остановке во время езды на санях в метель. Только изредка фыркали и переступали ногами по соломе лошади, жевавшие под навесом овес.

Через полчаса профессор в испуге проснулся с ощущением, что он повис над пропастью, и схватился руками за край рыдвана.

— Куда ты! Держи лошадей, сумасшедший!

— Будьте спокойны, не бросим,— сказал откуда-то сзади спокойный голос,— сейчас другой бок подопру.

Оказалось, что они не висели над пропастью, а все еще стояли на дворе, и возница только собирался мазать колеса, приподняв один бок экипажа.

Едва выехали со двора, как начался дождь, прямой, крупный и теплый. И вся окрестность наполнилась равномерным шумом падающего дождя.

Возница молча полез под сиденье, достал оттуда какую-то рваную дрянь и накрылся ею, как священник ризой.

Через полчаса колеса шли уже с непрерывным журчанием по глубоким колеям. И рыдван все куда-то тянуло влево и вниз.

Возница остановился и медленно оглянулся с козел назад, потом стал смотреть по сторонам, как будто изучая в темноте местность.

— Что стал? Ай, заблудился?

— Нет, как будто ничего.

— А что же ты? Овраги, что ли, есть?

— Нет, оврагов как будто нету.

— Ну, так что же тогда?

— Мало ли что... тут, того и гляди, ссунешься куда-нибудь.

— Да осторожнее! Куда ты воротишь?

— И черт ее знает,— сказал возница,— так едешь — ничего, а как дождь, тут подбирай огузья...

II

Николай писал, что от станции до него всего верст 30, и Андрей Христофорович рассчитывал приехать часа через три. Но проехали 4—5 часов, останавливались на постоялом дворе от невозможной дороги и только к утру одолели эти 30 верст.

Экипаж подъехал к низенькому домику с двумя выбеленными трубами и широким тесовым крыльцом, на котором стоял, взгромоздившись, белый петух на одной ноге. Невдалеке, в открытых воротах плетневого сарая, присев на землю у тарантаса, возился рабочий с привязкой валька, помогая себе зубами и не обращая никакого внимания на приезжего.

А с заднего крыльца, подобрав за углы полукафтанье и раскатываясь галошами по грязи, спешил какой-то старенький батюшка.

Увидев профессора, он взмахнул руками и остался в таком положении некоторое время, точно перед ним было привидение.

— Ай ты приехал уж? Мы только собираемся посылать за тобой. Почему же на целый день раньше? Ай, случилось что?

— Ничего не случилось. Я же телеграфировал, что приеду 15, а сегодня 16.

— Милый ты мой! Шестнадцатое — говоришь?.. Это, значит, вчера листик с календаря забыли оторвать. Что тут будешь делать! Ну, здравствуй, здравствуй! Какой же ты молодец-то, свежий, высокий, стройный. Ну, ну-у...

Это и был младший брат Николай.

— Пойдем скорей в дом. Что ты на меня так смотришь? Постарел.

— Да, очень постарел...

— Что ж сделаешь, к тому идет... Ниже, ниже голову,— испуганно крикнул он,— а то стукнешься.

— Что ж ты дверей себе таких понаделал?..

— Что ж сделаешь-то...— И он улыбался медлительно и ласково.— Да что ты все на меня смотришь?

Андрей Христофорович, раздеваясь, правда, смотрел на брата. Полуседые нечесаные волосы, широкое доброе лицо было одутловато и бледно. Недостаток двух зубов спереди невольно останавливал внимание. А на боку было широкое масляное пятно, в тарелку величиной. Должно быть, опрокинул на себя лампадку. Сначала, наверное, ахал и прикрывал бок от посторонних, а потом привык и забыл.

— Вот, братец, затмение-то нашло,— сказал он, кротко моргая и с улыбкой потирая свои вялые, пухлые руки.

— Какое затмение?

— Да вот с числом-то.— И он опять улыбнулся.— Отроду со мной ничего подобного не было.

— А где же Варя и девочки?

— Одеваются. Врасплох захватил. А, вот и они...

В дверях стояла полная, такая же, как и Николай, рыхлая женщина, со следами быстро прошедшей русской румяной красоты. Теперь все лицо ее расплылось, и сама она как-то обвисла. У нее тоже недоставало передних зубов.

Андрей Христофорович поздоровался и невольно подумал: «Как это можно так разъесться?» Но у нее были такие хорошие, невинные детские глаза, и она так трогательно, наивно взглянула на гостя, что профессору стало стыдно своей мысли.

— Вот вы какой,— сказала она медленно и улыбнулась так наивно, что Андрей Христофорович тоже улыбнулся.— Я думала, что вы старый.— И, не зная, о чем больше говорить, прибавила:

— Пойдем чай пить.

К обеду пришла старушка со слезящимися глазами — тетя Липа. Она заслонила рукой глаза от света и долго рассматривала племянника.

— О, батюшка, да какой же большой ты стал! — сказала она и засмеялась, засмеялась так же, как Николай, как Варя, так наивно и по-детски радостно, что Андрей Христофорович опять невольно улыбнулся.

Обед состоял из окрошки с квасом и щей, таких горячих и жирных, что от них даже не шел пар, и стояли они, как расплавленная лава. Жаркое потонуло все в масле.

— Что ж это вы делаете? — сказал Андрей Христофорович.

— А что? — испуганно спросил Николай.

— Да ведь это надо луженые желудки иметь,— жиру-то сколько.

Николай успокоился.

— Волков бояться — в лес не ходить,— сказал он.— Нельзя, милый, нельзя, для гостя нужно получше да пожирней. А ты гость.— И он, ласково улыбнувшись, дотронулся до спины брата.— А кваску что же?

— Нет, благодарю, я квасу совсем не пью.

— Вот это напрасно. Квас на пользу,— сказал Николай.

А Липа добавила ласково:

— Если с солью, то от головы хорошо, ежели с водкой, то от живота. Вот Варечку этим и отходила зимой.

— А что у нее было?

— Живот и живот,— сказал Николай, сморщившись и махнув рукой.

— У меня под ложечку очень подкатывается,— сказала Варя.— Как проснешься утром, так и сосет и томит, даже тошно. А слюни вожжой, вожжой.

— Что? как? — переспросил Андрей Христофорович.

— Вожжой,— сказал Николай.

— Умирала, совсем умирала,— сказала Липа, горестно глядя на Варю.

— Так это у нее и есть катар. Ей ничего жирного, ни кислого нельзя,— умереть можно.

— Нет, бог милостив, квасом с водкой отходили,— сказала Липа.

— Тебе бы нужно ее в Москву свозить,— сказал Андрей Христофорович, обращаясь к Николаю.

— Что вы, что вы, бог с вами! — воскликнула Варя.

— Еще вырезать что-нибудь начнут,— сказала Липа.— Она вот тут обращалась к доктору, а он ей воду прописал, боржом какой-то... Пьет и хоть бы что,— все так же.

·Ели все ужасно много и больше всех Липа. Так что даже девочки останавливали ее.

— Бабушка, довольно вам, перестаньте, Христа ради.

После холодного кваса, который наливали по целой тарелке, по две, ели огневые жирные щи, потом утку, которая вся плавала в жиру, потом сладкий пирог со сливками. Потом всех томила жажда, и они опять принимались за квас. А Варя, наклонив горшочек с марина-

дом, нацеживала в ложку маринадного уксуса и пила.

— Ну, что вы делаете, Варя? — крикнул Андрей Христофорович.

Варя испугалась и уронила ложку на скатерть. Все засмеялись.

— К нечаянности...— сказала Липа.

— Да она уж привыкла к маринаду,— сказал Николай,— это жажду хорошо унимает. Ты попробуй, немножко ничего.

Он подставил свою ложку, выпил и, весь сморщившись, крякнул, посмотрев на брата одним глазом. Все смотрели то на него, то на гостя и улыбались.

Варя ела все и всего по целой тарелке. После этого пила уксус из маринада, а после уксуса боржом.

И опять все рассказывали, как в прошлом году она умирала от живота.

III

После обеда Николай повел брата отдохнуть в приготовленную для него комнату.

— Вот окошечко тебе завесили. Варя и кваску поставила на случай, если захочется.

— У вас день как распределяется? — спросил Андрей Христофорович.

Николай не понял.

— Как распределяется? Что распределяется?

— Ну, когда вы встаете, работаете, обедаете?

— Ага! Да никак не распределяется. Как придется. Живем неплохо и стеснять себя незачем. И ты, пожалуйста, не стесняйся. Я вот нынче встал в три часа: собаки разбудили, пошел на двор, посмотрел, а потом захотелось чаю, сказал Варе самовар поставить, а в 8 часов заснули оба. Так и идет. Ну, спи, а мне надо тут съездить версты за три.

И Николай, мягко улыбнувшись, ушел, осторожно ступая на носки, как будто Андрей Христофорович уже спал. А потом ходил по всему дому, натыкался на стулья и искал шляпу. Только и слышалось:

— Где же она? Вот чудеса. Отроду со мной ничего подобного не было.

Когда Николай вернулся, Андрей Христофорович не спал и, стоя поодаль от кровати, смотрел на нее, как будто там обнаружилось что-то живое.

— Что ты? — спросил с тревогой Николай.

— Не знаю, как тебе сказать... У тебя тут столько клопов...

Николай освобожденно вздохнул.

— Фу-ты! Я уж думал, какая-нибудь неприятность... Что же, кусались? Ах, собаки! Нас что-то не трогают.

— Никогда,— подтвердила подошедшая Варя.— Это они на свежего человека полезли. А вот суток трое пробудете, они успокоются. Я их, пожалуй, помажу чем-нибудь.

После чаю все сидели на крыльце и смотрели, как гасли вечерние облака на закате и зажигались первые звезды.

— Какой воздух! — сказал профессор.

— Воздух? Да ничего, воздух хороший. У нас, милый, и все хорошо.

— Что ж так сидеть-то, может быть, яблочка моченого принести? — сказала Варя, которая никогда не могла сидеть с гостями без еды.

Профессор отказался от моченых яблок.

— Ты для деревни надел бы что-нибудь попроще, а то смотреть на тебя жалко,— сказал Николай, посмотрев на воротнички и манжеты брата.— У нас, милый, тут никто не увидит.

— Зачем же, я всегда так хожу.

— Всегда? Господи! — удивилась Варя.— Вот мука-то.

— Да,— сказал Николай,— каждый день одеваться да чиститься,— это с тоски помрешь. Это ты, должно быть, за границей захватил.

— Право, мне не приходило в голову, откуда я это захватил.

— Нет, это оттуда,— сказал Николай и стал смотреть куда-то в сторону. Потом повернулся к брату и сказал: — И сколько ты, милый, исколесил на своем веку?

— Да, я много путешествовал. В прошлом году был в Италии.

— В Италии! — сказала Варя.

— Потом во Франции, в Англии.

— В Англии! — сказала Варя.— Господи!

— И как тебе это не надоело? — сказал Николай.

— Он вот не любит,— подтвердила Варя.— Мы как к отцу на именины поедем на три дня, так он по дому скучает, ужас!

— Отчего же надоест? Посмотреть, как живут другие люди...

— Ну, чего нам на других смотреть!

— Как чего? Разве не интересно вообще узнать что-нибудь новое?

— Узнавай не узнавай, все равно всего не узнаешь, как говорила Варина бабушка,— сказал Николай.

— Дело не в том, чтобы все узнать, а чтобы приобщиться к иной, более высокой жизни. Я, например, говорил по телефону за две тысячи верст и испытывал почти религиозное чувство перед могуществом ума человеческого...

— Пошла прочь, шляется тут,— шепотом сказала Варя кому-то.

Андрей Христофорович оглянулся.

— Это соседская гусыня повадилась к нам.

— Ну, ты уж напрасно так этим восторгаешься,— сказал Николай, положив нога на ногу.— В этом души нет, духовности, а раз этого нет, нам задаром его не нужно,— заключил он и, запахнув полу на коленке, отвернулся, но сейчас же опять повернулся к брату.

— Ты вот преклоняешься перед машинкой, тебя восхитило то, что ты за две тысячи говорить мог, а это, голубчик,— все чушь, внешнее. Русскую душу, ежели она настоящая, этим ничем не удивишь.

— Да что такое,— внешнее?

— То, в чем души нет. Ясно.

— Я, по крайней мере, думаю, что душа есть там, где работает человеческая мысль,— сказал Андрей Христофорович.

— Так то — дух! — сказал Николай.— Это же дух,— повторил он с улыбкой.— Ты не про то говоришь совсем.

— Нет, пойду орешка принесу, а то скучно так,— сказала Варя.

Она ушла, братья замолчали. Ночь была тихая и теплая. Андрею Христофоровичу не хотелось идти в комнаты, где, он помнил, были клопы, которые пронюхали в нем свежего человека.

Прямо перед домом было огромное пространство, слившееся с ржаными полями и уходившее в безграничную даль. Но его все досадно загораживали выросшие целой семьей какие-то погребки, свинарники, курятники, расположившиеся перед окнами в самых неожиданных комбинациях.

— Что, на наше хозяйство смотришь? — сказал Николай.— Удобно. Все на виду. Это Варина мысль.

Андрей Христофорович и сам так думал.

— Ну, что ты тут делаешь, когда нет службы? — спросил он.

— Мало ли что...— отвечал Николай.

— Значит, дела много? А я думал, что тебе все-таки скучновато здесь.

— Нет,— сказал Николай,— не скучно.— И прибавил: — Чего же дома скучать? Дома не скучно.

— Ну, а все-таки, что поделываешь?

— Да как сказать... мало ли что? Весной, еще с февраля семена выписываем и в ящиках сеем.

— Какие семена?

— Огурцы да капусту.

— Потом?

— Потом... ну, там сенокос.

— Подожди, как сенокос? Сенокос в июне, а от февраля до июня что?

— От февраля до июня?.. Ну, мало ли что, сразу трудно сообразить. Всякие текущие дела. Да, а попечительство-то! Попечительство, комитет, беженцы,— вдруг вспомнил Николай.— Совсем из головы выскочило. У нас дела гибель! Как же, нельзя,— такое время.

— Сколько же ты времени на него тратишь?

— На кого?

— Фу-ты, да на это дело.

— Ну, как сколько? Разве я считаю? Трачу, и только. Да что это тебя интересует так?

— Просто хотелось уяснить себе, как вы тут живете. За литературой, наверное, перестал следить?

— ...Нет, слежу,— не сразу ответил Николай.

— Много читаешь? Ах, как нам нужно научиться работать, не тратить даром ни одной минуты, чтобы наверстать упущенное время. А времени этого — целые века.

— А что ж не наверстаем, что ли? — сказал Николай,— придет вдохновение, и наверстаем.

— Нате орешка,— сказала Варя.

— Нет, спасибо. Зачем же ждать вдохновения?

— А без этого, голубчик, ничего не сделаешь,— сказал Николай, махнув рукой.

— Так его и ждать?

— Так и ждать.

— А если оно не придет?

— Ну, как не придет? Должно прийти. Это немцы корпят и все берут усилием, а мы, брат...

— Да, именно, нужно постоянное усилие,— сказал профессор,— усилие и культура.

— А душу-то, милый, забываешь,— сказал ласково Николай.

— Сейчас на кухню солдатка Лизавета приходила,— сказала Варя,— говорит, мужа ее ранили. И когда это кончится? А потом, говорит, будто крепость какую-то взяли и всю дочиста взорвали, а с ней сто тысяч человек.

— Кто у кого взял?

— Не спросила. Пойдемте ужинать.

— Вот поговорили, а теперь хорошо и закусить,— сказал Николай, ласково потрепав брата по плечу и провожая его первым в дверь.

IV

Андрей Христофорович испытывал странное чувство, живя у брата.

Здесь жили без всякого напряжения воли, без всяких усилий, без борьбы. Если приходили болезни, они не искали причины их и не удаляли этих причин, а подчинялись болезни, как необходимости, уклоняться от которой даже не совсем и хорошо.

Зубы у них портились и выпадали в сорок лет. Они их не лечили, видя в этом что-то легкомысленное.

— Ей уж четвертый десяток, матушке, а она все зубки свои чистит,— говорила про кого-нибудь Липа.

— А уж мать четверых детей,— прибавлял кто-нибудь.

Если у них заболевали зубы, они обвязывали всю голову шерстяными платками, лезли на стену, стонали по ночам и прикладывали, по совету Липы, к локтю хрен.

А сама Липа ходила следом и говорила:

— Пройдет бог даст. Ему бы только выболеть свое. Как выболит, так конец. Хорошо бы индюшиный жир к пяткам прикладывать.

— Против природы не пойдешь,— говорил, идя следом, Николай.

— Как не пойдешь — сказал один раз Андрей Христофорович, возражая на подобное замечание.— Что ты вздор говоришь? Вот мне пятьдесят лет, а у меня все зубы целы.

У Николая на лице появилась добродушно-лукавая улыбка.

— А в сто лет у тебя тоже все зубы будут целы? Ага! То-то, брат. Два века не проживешь. От смерти,

батюшка, не отрекайся,— сказал он серьезно-ласково и повторил таинственно: — не отрекайся.

И в лице его, когда он говорил о смерти, появилась тихая сосредоточенность. Казалось, что от лица его исходил свет.

— Смерть, это такое дело, милый...

Николай, несмотря на свои 44 года, был совсем старик, с животом, с мягкими без мускулов руками, без зубов.

И когда Андрей Христофорович по утрам обтирался холодной водой и делал гимнастику, Николай говорил:

— Неужели так каждый день?

— Каждый. А что?

— Господи! — удивилась Липа

— И зачем вы себя так мучаете? — говорила Варя.— Смотреть на вас жалко.

— Правда, напрасно, брат, ты все это выдумываешь. Ты бы хоть пропускал иногда по одному дню,— говорил Николай.

День здесь у всех проходил без всякого определенного порядка: один вставал в 6 часов, другой — в девять. Дети, которых родителям было ж а л к о будить, спали иногда до 12 часов.

Обедали то в два часа дня, то в одиннадцать утра. А то кто-нибудь подойдет перед самым обедом к шкафчику, увидит там вчерашнюю вареную курицу и приберет ее всю. А там отказывается от обеда, жалуясь на то, что у него аппетита нет. К вечернему же чаю, глядишь, тащит себе тарелку холодных щей.

Потом кто-нибудь после вечернего чаю прикурнет на диване и, смотришь, промахнул до самого ужина.

— Что это Варя спит? — спросил Андрей Христофорович.

— Отдохнуть после обеда легла, да заспалась,— ответил Николай. А когда уж все легли, она бродит ночью по дому, натыкаясь на стулья, и бормочет, что наставили всего на дороге. Утром же, по обыкновению, жалуется на бессонницу.

— Сушеной мяты под подушку хорошо от бессонницы класть,— говорила Липа.

— Сколько верст от тебя до Москвы? — спросил один раз профессор.

— Верст двести, не больше. Пять часов езды,— отвечал Николай.— Почему ты спрашиваешь?

— Так, просто захотелось спросить.

— Близко. К нам все в тот же день приходит.

Памяти ни у кого не было. Если нужно было купить что-нибудь в городе, то писали все на записку с вечера, и весь платок завязывался узелками. Но Николай каждый раз ухитрялся платок оставить дома, а записку потерять.

Один раз он собирался на почту. Андрей Христофорович попросил его отправить срочное заказное письмо.

— Пожалуйста, не забудь,— сказал профессор.

— Ну, вот, что ты, слава богу, на плечах голова, а не котел.— А через три дня полез к себе зачем-то в карман и выудил оттуда засаленный конверт.

— Что такое? — бормотал он в недоумении.— Да еще как будто на твой почерк похоже, Андрей.— И тут его осенило. Он хлопнул себя изо всей силы по лбу.

— Братец ты мой, да ведь это твое! Что же это? Отроду со мной такой истории не было.

Конверт был уже настолько грязен и замусолен, что пришлось писать другое письмо и еще радоваться, что он не отправил его в таком виде.

Перед домом была неудобная земля, кочкарник, и Андрей Христофорович, как-то посмотрев на него, сказал:

— Что же это ты?

— А что? — спросил Николай.

— Да раскопал бы кочки-то, а то прямо неприятно смотреть, вместо хорошей земли перед глазами какие-то волдыри.

— А зачем тебе непременно сюда смотреть, мало тебе другого места. У нас, брат, вон сколько его!

— Некрасиво же.

— Не ищи, батюшка, красоты, а ищи доброты,— говорила ласково Липа.— Так-то!

— Во всех этих прикрасах, милый, толку мало. Природа, уж если она природа — красивей ее не сделаешь. А натуральней русской природы нету, хоть весь свет обойди.

— Да ведь ты не видел.

— И видеть не желаю,— отвечал Николай. Он помолчал, потом прибавил: — Все от своих коренных заветов подальше уйти хотим, а это-то и плохо.

— Да в чем они, эти заветы? Отдай, пожалуйста, себе хоть раз ясный отчет.

— Как в чем? Да мало ли в чем...— сказал Николай.

И никто ни разу не спросил профессора о чужих краях, о его путешествиях. Только один раз племянница по-

интересовалась узнать, правда ли, что в Италии живут на крышах.

— А тебе зачем это понадобилось? — сейчас же строго крикнула на нее Липа.— Себе на крышу хочешь залезть, бесстыдница?

— Слушай, что бабушка говорит,— сказала Варя и прибавила: — И куда нелегкая носит, скоро на стены полезут!

V

— Ну, а как живет Авенир? — спросил один раз Андрей Христофорович, соскучившись у Николая.

— Авенир, брат, живет хорошо.

— А сколько у него детей?

— Восемь сынов.

— Как много! Ему, должно быть, трудно с ними.

— Нет, отчего же трудно... на детей роптать нехорошо, это дар... И он все такой же горячий, проворный. Умная голова.

— У него всегда было слишком много самоуверенности,— сказал Андрей Христофорович.

— Да, ум у него шустрый, это правда,— сказал Николай, покачав опущенной над коленями головой, и вдруг поднял ее.— Вот, брат, настоящий человек.

— То есть как настоящий?..— спросил профессор, почувствовав какой-то укол, точно в этом была косвенная мысль о том, что сам Андрей Христофорович не настоящий...— Как настоящий? — повторил он.

—Да так,— сказал Николай,— вот ты говорил, что ценишь людей, у которых мысль постоянно работает. Вот тебе Авенир. У него, милый, мысль ни на минуту без работы не остается.

— Может быть,— сказал профессор,— но вопрос: над чем и как?

— Мало ли над чем,— сказал Николай.

— А местечко у него хорошее?

— Ничего. Но все-таки, конечно, не то, что у нас. И потом,— продолжал Николай,— это человек — весь без обмана.

— Как без обмана?

— Ну, как тебе сказать... вообще природный. Душа настоящая русская.

— Да что же у меня-то не настоящая, что ли? — спросил, почти обидевшись, профессор.

Николай сконфузился.

— Ну, что ты... бог знает, что выдумал.— Но профессор чувствовал, что в его словах не было уверенности. И к тому же Николай сейчас же переменил разговор.

— Он приедет сюда, как только получит мое письмо, как узнает, что ты здесь, так и прискачет. Вот, брат, кому расскажешь!..

И правда: один раз, когда все сидели в саду за чаем, со стороны деревни послышался отчаянный лай собак и дребезжание колес. Видно было, как на двор влетела взмыленная лошадь, запряженная в тележку без рессор. Сидевший в ней человек в мягком картузе и короткой сборчатой поддевке на крючках как-то особенно проворно соскочил на землю, продернул и привязал вожжи в кольцо под навесом. А сам, отряхнув полы, посмотрел на свои сапоги, потом вопросительно на окна дома.

— Да ведь это Авенир! — сказал радостно Николай, и, как показалось Андрею Христофоровичу, более радостно, чем при его приезде.— Я говорил, что прискачет... Ну, и молодец, вот молодец!

Обнялись.

— Европеец, европеец,— сказал Авенир, поцеловав брата. Он отступил на шаг со снятым картузом на отлете в руке и оглядывал профессора.

— Ну, брат, ты того... совсем, так сказать...

— Что? — почти с тревогой спросил Андрей Христофорович.

Но Авенир ничего не ответил. Он сейчас же забыл об этом и стал рассказывать, как он ехал, что с ним случилось.

Варя с его приездом повеселела и оживилась.

Целый вечер говорили, потом спорили о душе. Десять раз Авенир говорил Андрею Христофоровичу:

— Ну-ка, расскажи, брат, как вы там, европейцы, живете.— Но с первого же слова перебивал брата и пускался рассказывать про себя.

Было уже 10 часов вечера, потом 11, 12, а они все еще говорили, вернее, говорил один Авенир. Говорили о политике, о воздухоплавании, о войне, и Авенир нигде не отставал и никогда не сдавался.

Он имел такой вид, как будто только что приехал с места, где он все видел и изучил, а Андрей Христофорович сидел в глуши и ничего не знает.

— Наши аэропланы, брат, самые лучшие в мире.

В три раза лучше немецких. У них неуклюжая прочность и только, а у нас!..

— Откуда ты это знаешь? — спросил Андрей Христофорович, которому хоть раз хотелось найти основания их суждений.

— Как откуда? Мало ли откуда? Это даже иностранцы признают. А ты, значит, не патриот?

— Кто же тебе это сказал?

— По вопросу, брат, видно, и вообще по холодности. В тебе нет подъема. Это нехорошо, брат, нехорошо.

— Да постой, голова с мозгом!

— Что же мне стоять? У тебя холодное, рассудочное отношение, разве я не вижу.

— Мы слишком много говорим вместо дела,— сказал Андрей Христофорович.

— Где же много,— сказал Авенир,— ты бы послушал, как мы... И потом про разговоры ты напрасно... В слове мысль, в мысли — дело. И теперь мы уже совсем не те, что были раньше; ты это особенно заметь,— сказал Авенир, поднимая палец. И повторил: — Особенно!

— А какие же? — спросил Андрей Христофорович.

— Ну, вот, ты даже спрашиваешь, какие? У тебя скептицизм.— И ответил: — Совсем, брат, другие.

— Вот и я тоже говорю ему,— сказал Николай, запахивая свою масленую полу.

— Совсем другие! — повторил еще раз Авенир.— Было время, да прошло.

— Может быть, ужинать пойдете? — сказала Варя, которая уже томилась оттого, что долго не ели.

VI

— Ну, что же, поедем теперь к нам,— сказал на третий день Авенир.

— Хорошо, а как ехать?

— Со мной на лошадях поедем, чем тебе кружить полтораста верст по железной дороге. Я, брат, всегда на лошадях езжу.

— А сколько до тебя на лошадях?

— Восемьдесят верст.

— Да, на лошадях лучше,— сказал Николай.— А то там изволь каждый раз поспевать вовремя.

— На одну минутку опоздал, и весь день пропал к черту,— прибавил Авенир.

— И звонки эти дурацкие,—сказал Николай.

Пошли смотреть экипаж. Это была тележка без рессор, тарантас, как называл ее Авенир. Сиденье у этого тарантаса было такое низкое, что колени у сидящих в нем подходили к самому подбородку.

— Сидеть-то не особенно удобно,— сказал Андрей Христофорович.

— А что? — спросил Авенир и живо вскочил в тарантас.

— Как, *что*? Сиденье очень низко.

— Ну, уж это так делается, брат; кузнец при мне делал другим.

— Как *так делается*, если это неудобно?

— Нет, это правда, Андрей,— в тарантасах сиденье высоко не делается. У кого ни посмотри.

— Ну брат,— сказал Авенир (он даже опечалился),— тебя, милый мой, Европа, я вижу, подпортила основательно.

— Чем подпортила?

— Об удобствах уж очень заботишься.

— Нет, я все-таки поеду по железной дороге, да и грязь, я вижу, порядочная.

— На колеса смотришь? Это еще с Николина дня. Тогда грязь была, правда. А теперь все высохло.

— У нас, милый, места хорошие,— сказал Николай.

Кончили на том, что Авенир подвязал потуже живот, перецеловался со всеми, похлопал себя по карманам и покатил один. Профессор поехал по железной дороге. Когда приехал, Авенир сам выехал за ним на станцию.

— У нас, брат, отдохнешь. У нас воздух здоровый, не то, что у Николая. У тебя, должно быть, от этой учебы да от книг голова порядком засорилась... Ну, да, толкуй там, как будто я не знаю. Это ты там закис, вот и не замечаешь. Прочищай тут себе на здоровье. Я тебе душевно рад и скоро от себя не выпущу... И брось ты, пожалуйста, все это. Живи просто,— проживешь лет сто. Живи откровенно. Все, брат, это чушь.

— Как живи откровенно? Что — чушь? — спросил озадаченный профессор.

— Все! — сказал Авенир.— Вот моя хижина,— прибавил он, когда подъехали к небольшому домику в сирени.

— Входи... Пригнись, пригнись! — поспешно крикнул он,— а то лоб расшибешь.

— Как это вы себе тут лбы не разобьете,— сказал Андрей Христофорович.

— Я, и правда, частенько себе шишки сажаю. А вот

мои сыновья,— сказал Авенир.— После познакомишься, сразу все равно не запомнишь. Катя! — крикнул он, повернувшись к приотворенной двери.

Вышла Катя, крепкая, в меру полная и красивая еще женщина с родинкой на щеке, очевидно, смешливая. Она, забывшись, вышла в грязном капоте и вдруг, увидев профессора, вскрикнула:

— Ах, матушки! — засмеялась и убежала.

— Врасплох захватил,— сказал Авенир так же, как Николай.

Все комнаты, с низенькими потолками, оклеенными бумагой, были завешены сетями — рыболовными, перепелиными, западнями для мелких птиц, насаженными на дужки из ивовых прутьев. А над постелями — ружья и крылья убитых птиц. И везде валялись на окнах картонные пыжи, машинки для закручивания ружейных гильз.

Нравы были несколько грубоваты. В особенности у старшего сына Петра, который травил деревенских собак и ел сырую рыбу.

Больше всех профессору понравилась Катя. Она была всегда ясная, приветливая и только необычайно смешливая, что, впрочем, удивительно шло к ней. Смех настигал ее, как стихия, и она уже ничем не могла сдержать его, убегала в спальню и хохотала там до слез, до колик в боку.

VII

С самого раннего утра, едва только солнце встало над молочно-туманными лугами и зажгло золотой искрой крест дальней колокольни, как в сенях уже захлопали двери и раздался голос Авенира:

— Захватил весло? Бери удочки... да не нужно эту чертову кривую! Что же ты крыло-то не зачинил, тюря? Собирай, собирай, господи благослови. К обеду приедем.

И наступила тишина, как будто уехала толпа разбойников или людоедов.

Часов в двенадцать приехали с рыбной ловли, и Авенир прислал младшего сына за Андреем Христофоровичем. Он должен был непременно идти и посмотреть улов.

Связанные вместе две лодки были причалены к берегу и привязаны одной цепью за столб с кольцом. На одной из них сидел Авенир в широкой соломенной шляпе, в рубашке с расстегнутым воротом. Рукава у него были засучены выше локтя. И он, опустив в садок обе красные руки, водил ими по дну.

— Иди сюда, Андрей! Смотри, вот улов!

— Да я вижу отсюда.

— Нет, ты сюда подойди. Вот гусь! Хорош?

И он на обеих ладонях разложил огромного карпа, который, лежа, загибал то хвост, то голову.

А сыновья — огромные, загорелые, тоже с засученными рукавами и вздувающимися мускулами под мокрой прилипшей рубашкой — развешивали сети на шестках вдоль берега.

Потом отбирали рыбу на обед; Авенир, отгоняя мух и отирая сухим местом засученной руки пот со лба, только покрикивал:

— Клади большого, клади его, шельмеца. Так! Стой! Это на жаркое. Доставай теперь налима... Смотри, Андрей, князь мира грядет.

Профессор смотрел. Из садка показывались огромная коричневато-зеленая голова и скользкое туловище.

И князя мира опускали головой в мешок.

— Это на уху.

Потом долго купались, причем сыновья плавали молча или лежали под солнцем на воде, раскорячившись, как лягушки, а Авенир каждую минуту окунался с головой и кричал:

— Боже, как хорошо! Вот чудо-то! Лезь, Андрей, наплюй на докторов. Все это, брат, ерунда!

Наконец он оделся, сидя на зеленом бережку, и они пошли по узенькой каменистой тропинке в гору к селу, мимо огородов, где на полуденном, знойном солнце желтели за частоколом подсолнечники.

Авенир остановился, посмотрел на реку, где еще продолжали купаться сыновья, и крикнул:

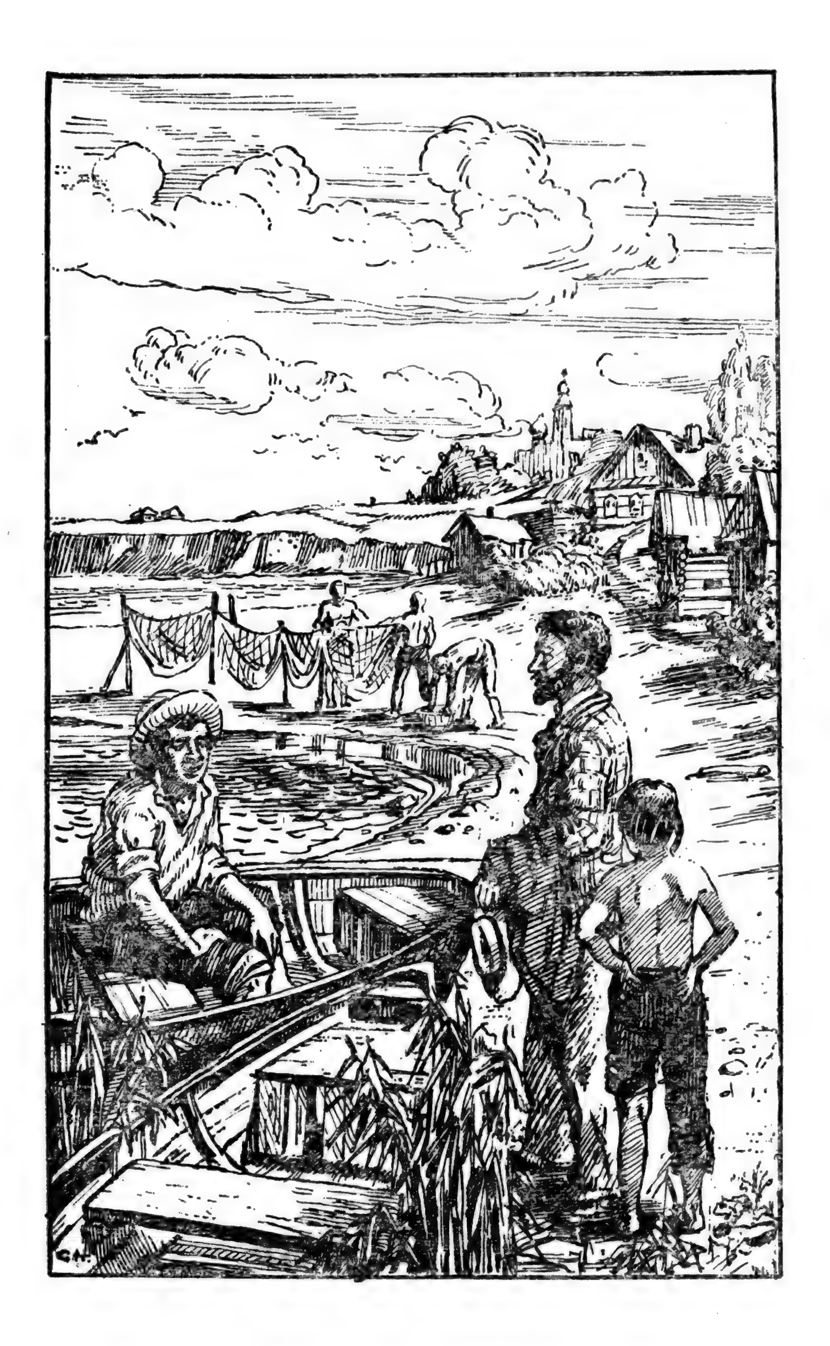
— Не отставай, не отставай, Петр! Чище работай. Эх, рано вылез. Ну, делать нечего. Огурец зацветает. Ну и лето! А земля-то: нигде такой земли не найдешь. Что ни посади, все вырастет. Захочешь дыни — дыни будут расти, винограду — и виноград попрет.

— А у тебя и дыни есть?

— Нет, только огурцы да капуста пока, а если б захотеть!.. Стоит только рукой шевельнуть!

Дома уже был готов обед. Ели здесь еще больше, чем у Николая. Сыновья ели молча, а отец говорил, не переставая:

— В три часа выехали нынче. Заря была — чудо! Поедем, Андрей, как-нибудь с нами. Катя и то ездит, она — молодец!



Катя улыбалась.

— Я люблю это,— если бы только меня зубы не мучили.

— Разве мучают? — спросил Андрей Христофорович.

— Зубы и зубы! — сказал Авенир, махнув рукой.— Мы все от них на стену лезем. Ешь, пожалуйста, капусту, Андрей. Это, брат, удивительно полезная вещь. У меня, брат, система, чтобы все было по-настоящему, то есть попростому. Вот Николай в неметчину ударился, воды какие-то пьет. Видал?

Только под конец обеда заметили, что Петра за столом нет, да и тетка Варвара исчезла куда-то.

— А где же Петр? — спросил Авенир.

— Он закупался. Его бабушка рассолом поит,— сказал Павел, наливая себе вторую тарелку окрошки.

— Редкий человек тетка Варвара,— сказал Авенир,— без нее было бы плохо.

— А что он чувствует? — спросил Андрей Христофорович.

— Да его мутит,— сказал Павел,— как до дома дошел, так и начало мутить.

— Ну, иди теперь отдыхай. Тебе никто не помешает. У нас в этом отношении...

И, проводив брата до его комнаты, Авенир исчез.

Андрей Христофорович постоял, вынул часы, положил их на стол, потом поискал чего-нибудь почитать, но ничего не нашел.

Минут через пять дверь приотворилась, и в нее просунулась голова Авенира.

— Андрей, ты не спишь? — спросил он шепотом.

— Нет еще.

— Ну, давай поговорим.

— Как бы не забыть,— сказал Андрей Христофорович,— мне нужно в город послать. Это можно?

— Сколько угодно, Павел живо скатает. И ты, пожалуйста, не стесняйся, как что нужно — говори. Я очень рад.

— Ну, отправь, пожалуйста, вот это сегодня же.

Перед вечером Авенир повел брата на курган показать красивый вид.

— Пойдем, пойдем. Вот вы там все по Швейцариям ездите, а своего родного не замечаете.

— Что же, в город поехали?

— Ах, братец ты мой! Из ума вон! Где Павел? —

спросил Авенир, оглянувшись на сыновей, которые молча следовали за ними.

— Он от живота катается,— сказал Николай.

По дороге на курган Авенир вспомнил, что он когда-то был большим любителем театра.

— Я, брат, всем интересуюсь. Ты небось думаешь, что мы живем тут в глуши и ни бельмеса не смыслим. Ну, кто теперь в Малом играет?

— Садовская — бытовых комических старух,— сказал профессор.

— Бытовых комических,— повторил Авенир,— так, знаю теперь.

— Ермолова — драматическая.

— Драматическая? Так.

— Ну, Рыбаков играет стариков, конечно.

— Стариков... А Чацкого кто играет?

— Чацкого недавно играл Яковлев.

— Ну, довольно, а то перезабуду. Вот и курган. Закат-то отсюда как виден. Вот картина! А то ваши художники что-то, говорят, завираться стали. Становись сюда, отсюда виднее,— говорил Авенир, втаскивая брата за рукав к себе, так что тот от неожиданности едва не упал.

— Оглянись кругом, какова высота. Что, брат!.. На реку-то глянь, на реку! Ручейком отсюда кажется. Вот отсюда бы читать стихи. Вот стать бы сюда, а слушатели там, где река. Все эти актеры ваши — дрянь. Нужно что-нибудь могущественное. Простор-то какой. Куда ж они к черту годятся.— Потом, помолчав, добавил: — Да, лучше наших мест все-таки нигде не найдешь. Один простор чего стоит.

— Ну, милый, одним простором не проживешь. Нужна работа.

— Да над чем работать-то?

— Как над чем?! Теперь и ты спрашиваешь, над чем работать? Так я тебе скажу, что, помимо всего прочего, нам нужно работать над тем, чтобы выработать в себе потребность знания и деятельности. Это — первая ступень.

— Ну, от добра добра не ищут, как говаривал Катин дедушка,— сказал Авенир.

— Я пол-Европы объехал, и никто даже не спросил меня ни разу, как и что там. А все отчего? — От самоуверенной косности. Ты не обижайся на меня, но мне хотелось наконец высказаться.

— Ну, за что обижаться, бог с тобой! — горячо сказал Авенир.

— Ты живешь тут и ничего не видишь, не видишь никаких людей, никакой другой жизни и заранее ее отрицаешь. Все эти две недели мы только и делаем, что говорим и все ниспровергаем, а между тем я не могу добиться пустяка: послать в город.

— Завтра пошлем, Андрей, ей-богу, пошлем. Это вот некстати у Павла живот заболел.

— Дело не в том, что ты з а в т р а пошлешь, я говорю сейчас вообще... Но самое главное, что у вас нет ни малейшего стремления к улучшению жизни, к отысканию других форм ее. И все это от страшной самоуверенности. Вы не верите ни знаниям, ничему. Я приехал сюда,— слава богу, человек образованный, много видел на своем веку, много знаю, а я чувствую, что вы не верите мне. У вас даже не зародилось ни на минуту сомнения в правильности своей жизни...

— Сядь, сядь сюда на камешек,— сказал Авенир.

— Спасибо, я не хочу сидеть. Ты знаешь, я — профессор старейшего в России университета,— приехав сюда, чувствую, что у тетки Варвары гораздо больше авторитета, чем у меня. Ты ни разу, положительно ни разу, ни в чем со мной не согласился. А подрядчика, который и грамоты, наверное, не знает, ты вчера слушал со вниманием, которому бы я позавидовал.

— Жулик, мерзавец, каких мало,— сказал Авенир.— Он сорок тысяч тут на одной постройке награбил. Его давно в тюрьму пора.

— Ну, вот, а у тебя к нему доля какого-то уважения есть.

— Ну, что ты, какое может быть уважение,— сказал Авенир. Потом, помолчав и покачав головой, прибавил:

— А все-таки умница! Это уж не какая-нибудь учеба, а природное, настоящее. Нет, ты напрасно, Андрей, думаешь, что я тебя не слушаю, не ценю, я брат...— Он встал и крепко пожал руку брату.

— Ты знаешь,— продолжал Андрей Христофорович,— когда оглянешься кругом и видишь, как вы тут от животов катаетесь, а мужики сплошь неграмотны, дики и тоже, наверное, еще хуже вашего катаются, каждый год горят и живут в грязи, когда посмотришь на все это, то чувствуешь, что каждый уголок нашей бесконечной земли кричит об одном: о коренной ломке, о свете, о дисциплине, о культуре.

Авенир кивал головой на каждое слово, но при последнем поморщился.

— Что о н а тебе далась, право...

— Кто о н а ?

— Да вот культура эта.

— А что же нам нужно?

— Душа — вот что.

VIII

Уже давно прошел тот срок, который профессор назначил себе для отъезда. Каждый день он просил отвезти его на станцию, и каждый день отъезд почему-нибудь откладывался.

То лошадей не было. То Авенир забыл сказать с вечера малому, чтобы он утром пригнал лошадь из табуна. И в последнем случае Авенир хватался за макушку и восклицал:

— Ах, братец ты мой! Как же это я забыл.

Несмотря на живость характера, он так же все забывал, как и Николай.

И все у них было так же, как у Николая. Так же, как и там, говорили не своими словами, а пословицами и поговорками. Были те же приметы, те же средства от болезней. Там ими пользовала всех Липа, а здесь тетка Варвара.

— Да что вы часто бываете друг у друга, что ли? — спросил один раз профессор, думая в этом найти причину такого сходства.

— Пять лет друг друга не видели. Когда Катиного дедушку хоронили, с тех самых пор,— сказал Авенир,— а что?

— Так, пришло в голову. И, пожалуйста, дай мне завтра лошадей.

— Все-таки завтра?

— Что значит «все-таки», когда я у тебя каждый день прошу.

— Не выйдет завтра,— сказал Авенир.

— Отчего?

— Тарантас сломан.

И еще раз убеждался Андрей Христофорович, что эти люди совершенно не могли жить в каких-либо определенных сроках. Все определенное, заключенное в какие-нибудь рамки, не укладывалось в их натуре. Если Андрей

Христофорович говорил, что ему нужно ехать к 15 числу, Авенир возражал на это:

— Не все ли равно тебе к шестнадцатому? Эка важность — один день.

Накануне отъезда, когда все сидели за ужином и ели квас и таранку, кто-то стукнул в окно. Авенир вышел в сени и через минуту вернулся с письмом.

— От Николая,— сказал он.

Распечатали конверт. Там было короткое извещение: Липа умерла. Отчего — неизвестно. Пришла с пасеки, съела две тарелки окрошки, а к вечеру и померла.

Все удивились. Катя перекрестилась и долго утирала слезы. И все вспоминали, какая была хорошая старушка — Липа.

— Теперь без нее плохо будет Николаю,— сказал Авенир,— заболеет кто—лучше ее никто не знал, как помочь.

— И отчего умерла,— сказала Катя,— хоть бы болезнь какая была...

— Ну, да смерть окладное дело, все туда пойдем. А жаль, заговоров одних сколько знала.

А потом заговорили о другом и через полчаса уже забыли про Липу.

— Ну, вот хорошо, что побывал у нас, освежился, по крайней мере,— говорил Авенир брату, когда наконец у крыльца стоял добытый у кого-то вместо сломанного тарантаса рыдван, обитый внутри полосатым ситцем.

— Ты пиши, кто в театрах будет играть в следующем сезоне. Я, брат, всем интересуюсь. Так как бишь? — Ермолова — драматическая, Садовская — трагическая.

— Комическая.

— Да, комическая. Помню, помню ты сказал: комическая.

— А Рыбаков, значит, Чацкого.

— Да какого Чацкого! Рыбаков — старик!

— Тьфу, старик! Ну, конечно, старик. Я это запишу. Пиши о событиях. До нас немцы, положим, не дойдут. Кланяйся, брат, Москве, скажи ей, что за нею стоит сила. Вот она! — И он с размаху ударил по плечу Петра, который даже не пошатнулся.— Уж она себя покажет в случае чего. А, Петух?

Петр повернул свою огромную на толстой шее голову и вдруг, не удержавшись, усмехнулся так, что профессору стало жутко. Такая усмешка появлялась у Петра, когда Павел рассказывал про него, как он один с своим «Белым» травил десяток деревенских собак.

— Ну, с богом!

Андрей Христофорович простился с Авениром, который заключил его в свои объятия и троекратно поцеловал. Потом простился с Катей и, пожав огромные кисти своих племянников, сел в рыдван.

Лошади тронули. Его сейчас же толкнуло в затылок, потом подбросило вверх и пошло перебрасывать с боку на бок.

Андрей Христофорович точно в лодке в бурю держался обеими руками за края экипажа.

— Заваливайся и спи! — крикнул ему Авенир, стоя без шапки посредине дороги.— Дай бог!

АЛЕШКА

I

— Алексей Петров, куда забельшил доверенность? Вчера вечером тут была?

— Да я не знаю.

— Ты брось это свое «не знаю». Тут тебе не деревня. Раз ты служишь у присяжного поверенного, значит, должен быть точен, аккуратен и все знать. Понял? Двенадцать лет, слава тебе господи, стукнуло малому, а он — не знаю да не знаю. Руку от носа убери! В гроб ты меня уложишь...

Присяжный поверенный только что встал и, говоря это, рылся в бумагах, стоя без пиджака, с незавязанным галстуком. А субъект, называвшийся Алексеем Петровым, или просто Алешкой, стоял животом у стола и едва сдерживал руки, которые так и лезли то в нос, то в затылок. На нем была синяя рубашка, подпоясанная лаковым облупившимся ремнем и торчавшая сзади пузырем. Острижен он был гладко машинкой и оттого имел вид мышонка, в особенности, когда оправдывался в чем-нибудь и обиженно поднимал вверх брови.

— Вот где очутилась. Конечно, это твоих подлых рук дело.

— Ей-богу, вот вам крест! — сказал Алешка.

— Не лезь животом на стол! Я тебя, дурака, уму-разуму учу, а ты не понимаешь.

Присяжный поверенный был славный малый, простой. В нем чувствовался свой брат. Он любил пошутить, дать щелчка по Алешкиному животу.

И теперь он, завязывая перед зеркалом галстук, по привычке говорил с Алешкой.

— Не такое время, брат, чтобы зевать. А вашему брату теперь и вылезать на свет божий. Малый ты хороший, только разгильдяйничать не надо, да в носу ковырять бы поменьше.

— Я — ничего.

— То-то, ничего! Ну, тащи самовар.

Алешка бросился в кухню, насмерть перепугал кошку, умывавшуюся на лежанке, и, смахнув рукавом с самовара золу, потащил его, открывая по дороге двери локтем и придерживая сзади ногой.

Теперь, когда они переехали от хозяина на отдельную квартиру из двух комнат, Алешка работает и за горничную и за канцеляриста. Ставит самовар, бегает за булками в очередь, чистит платье, на уголке стола записывает входящие и исходящие и говорит по телефону с клиентами. Дела — пропасть. Но хорошему человеку и приятно служить. Он знает, что хозяину нелегко в последнее время. От жены ушел.

Все дело вышло из-за этой красивой дамы в шляпе с пером, к которой хозяин ездил. На прежней квартире она не бывала, а здесь бывает раз в неделю. И часто видит он ее на бульваре с двумя девочками в одинаковых шубках. Какая из этих женщин лучше — Алешка не знает. Пожалуй, новая лучше, красивее. Она такая ласковая и печальная, печальная, в особенности, когда говорит о своих девочках.

У хозяина тоже девочка, она осталась на прежней квартире у матери. Иногда нянька Никитична потихоньку приводит ее к хозяину, он сажает ее на колени и долго целует. Нянька стоит в уголку и украдкой утирает глаза. Потом хозяин долго крестит девочку и, провожая их, насильно сует няньке в руку бумажку и хлопает ее по плечу. Он всегда ровен и добр с Алешкой. И Алешка уже знает, что сейчас хозяин наденет черную жилетку, фрак с двумя хвостами сзади и, выправив рукава, скажет:

— Ну, Алексей Петров Сычев, давай, видно, чай пить. Хороший ты малый, только живот поменьше наедай,— и даст щелчка по Алешкиному животу.

— Ну, садись.

Алешка садится, ерзая, подвигается дальше на сиденье, скрещивает под стулом ноги. Хозяин наливает в стакан чай. А он давно уже присмотрел себе в сухарнице булку с маком и только ждет разрешения взять

хлеб. У него непобедимая жадность к еде, с которой он не может бороться. Вид белого хлеба гипнотизирует его и сводит с ума. Он знает все булочные, все столовые в своем районе. И, несмотря на то, что хозяин кормит его хорошо, он никогда не наедается.

Иногда хозяин скажет ему:

— Ну, скажи по совести, наелся?

Алешка сначала выпустит дух, а потом уже скажет:

— Наелся.

Полчаса после еды он еще сыт, но потом опять мечтает без конца о булках с маком.

— Ну, собирай да поставь чайник на комод. Знаешь, Алексй Петров, кто этот комод делал?

Алешка, разинув рот, смотрит то на комод, то на хозяина.

— Чего глаза таращишь? Его мой дед делал. Был такой же, как и ты, деревенский малый, гусей гонял. А я вот, видишь, каким стал, оттого что грамоте учился. Вот и ты смотри в оба. Уложи-ка дела; чьи мы нынче защищаем? Посмотри в блокноте.

— Вахромеева и Карпова.

— Ну, и клади их.

Присяжный поверенный кончил чай, встал и стряхнул крошки с жилета.

— Тушинская предлагает мне вести ее дело о наследстве. Как ты к этому относишься, Алексей Петров?

Рука Алешки полезла было в нос, но сейчас же вернулась.

— Да я не знаю,— сказал он.

— О, мякинная твоя голова! Тут нечего знать или не знать. Ты должен иметь свое мнение и говорить: отношусь, мол, положительно... или отношусь отрицательно. Когда я тебя выучу! Ну, давай пальто и шляпу. Да, если кто-нибудь зайдет без меня, скажи, что приеду сам сегодня,— и на лицо ложится тень заботы.

Алешка знает, про кого говорит хозяин. И ему нравится быть участником той части жизни хозяина, которая скрыта от других.

— Ладно,— говорит он,— скажу.

— Кто же так отвечает, медведь косолапый!

Сейчас хозяин уйдет, и Алешка останется до самого вечера хозяином целой квартиры.

Алешка, хоть и любит своего патрона, но ждет с нетерпением, когда тот уйдет. Без него можно свободно отдаваться своим мечтам. И поэтому он с особенным

старанием и усердием смахивает до самой двери что-то невидимое со спины и с рукава пальто хозяина.

— Печку не упусти.

Дверь мягко щелкает английским замком, на лестнице слышен раскатистый гул закрываемых дверец лифта, и наступает тишина.

Алешка хозяином возвращается в кабинет. Чаю он напился, его живот уже давно пришел в такое состояние, что по нему хочется щелкнуть, как по арбузу,— но он все-таки наливает себе еще стакан. Потом, разговаривая с чашками, убирает посуду и бежит в очередь за сахаром, задирая по дороге всех встречных собак.

II

На улице хорошо, морозно. Иней опушил деревья на бульваре. И даже железная решетка стала с одной стороны седая. Если приложиться к ней языком, то на железе останется вся кожа. Снег весело скрипит и свистит под каблуками, напоминая Алешке деревню, Рождество, святки... По улице торопливо идут пешеходы с поднятыми воротниками и, оглядываясь на извозчиков, перебегают улицу. Хорошо теперь дома...

Алешка с сахаром уже под вечер возвращается домой, затапливает печку, садится на диван и, глядя на огонь, отдается мечтам. Думает обо всем сразу: и о деревне, и о хозяине, и о котлетах в «Русском хлебосольстве».

Чудно, кажется ему, живет хозяин. Сняты у него две квартиры, а дома он не живет: уходит утром, а приходит поздно ночью. Придумал бы себе такое помещение, чтобы только ночевать, а то целый день зря пропадает квартира.

И никогда он не видел, чтобы у хозяина все было ладно. На той квартире жена все плакала, а он или у себя в кабинете запирался, или уходил до поздней ночи. Все они люди очень хорошие. А просто, значит, насчет жен — тут хуже, чем в деревне; там было спокойнее: если живут, так уж с одной. Тут же для этого квартиры приспособлены. Не хочет с женой жить — сейчас новую квартиру: у них чуть что, сейчас первое дело квартира; а там не снимешь. Вот и живут. В деревне только дерутся, а тут руками никогда: скажет слово,— а то и ни слова не скажет — так молчат и мучаются,— жалко смотреть! Хозяин новую барыню все о чем-то просит,

должно быть, насчет переезда на новую квартиру, она не соглашается и все плачет и поминает своих девочек.

А теперь зимою хорошо в деревне! Конечно, там плохо тем, что не наедаешься,— там булок с маслом не дают. Но как хорош первый снег.

Проснувшись утром, неожиданно видит, бывало, в окно Алешка, что все покрылось белым пухлым слоем снега. Воробьи и галки на ракитах распушились и утонули в инее. Воздух по-новому, по-зимнему, неподвижен, свеж и пахнет легким морозом. Вниз по селу уже проложили по молодому снегу дорогу. Взвороченный на раскате край ее белеет, как сахар. Два ряда изб с соломенными застрехами забелены с одной стороны снежной пылью. Топятся печи. И пахнет на морозе дымом. У ворот Игнат, поправляя рукавом съезжающую на глаза шапку, переделывает водовозку с колес на сани.

Нужно вести мерина на водопой. Алешка берет уздечку с деревянного крюка у палатей, надевает обтерханную снизу шубенку с шарфом, наматывает его вокруг шеи и выходит на двор.

Пахнет соломой, навозом. Гнедой, замухортившийся к зиме, трется головой о рукав и мешает взнуздать себя.

— Стой, неладный! — говорил Алешка нарочно грубым мужицким голосом.

Он дружит с Гнедышкой, но считает не лишним быть с ним посерьезнее.

Из кучи соломы, сваленной у ворот, вылезает рябой Каток, потягивается на задние ноги, зевает и, взвизгнув, бежит вперед по дороге с круто завороченным, пушистым хвостом.

Гнедышко, радуясь снегу, заиграл на длинном поводу. Алешка побежал бегом с ним. Они нагнали Катка, который испуганно поджал бы хвост, но увидев, что это свои, ласково взмахнул хвостом и пустился вперед. А потом идут с водопоя на бугор. Каток всегда нарочно отстает, внимательно обнюхивая собачьи следы; следами испещрен уже весь молодой снег на бугре. Потом нажмет, вихрем пронесется мимо своих и испугает Гнедого, который, всхрапнув, рванется на поводу головой назад.

А придут сумерки, на гору потянутся с подмороженными скамейками, салазками ребята. Сядут около церкви и, заправляя ногами в лаптях, понесутся вниз по про-

улку: с одной стороны — плетень, на который навален с гумен омет соломы, с другой — заиндевевший черный сад помещицы Иванихи.

Передние не направили на повороте и всей кучей полетели в снег; где руки, где ноги — смех, визг! Задние не удержались, сшиблись и посыпались тоже. Смех еще больше.

А потом, отряхнувши себя и друг друга рукавами и шапками, идут домой вереницей.

Уже солнце село, и сквозь белые пушистые от инея, перепутанные ветки сада мутно-розовая заря гаснет в белизне снега. Уж месяц взошел над селом и, как стеклышко, ясно засветился над церковью, и мороз сильнее стал щипать за носы и уши, а уходить все не хочется. И только когда звезды зажгутся на морозном небе, и заискрится от месяца синими огоньками снег, тогда потянутся по домам все в снегу, с розовыми щеками и носами ребята, а за ними собаки.

Звонок... звонит телефон. Алешка подходит, одной рукой берет трубку, а другой зажимает ухо, чтобы лучше слышать.

— Квартира Баранова... что? Мы принимаем от семи часов. Хорошо, передам.

Не успел сесть, опять звонок.

— А, черти вас носят! — говорит он, подходя.— Аль-ле!.. Слушаю.

Говорит, очевидно, полная барыня, потому что тяжело дышит, и Алешка даже в трубке слышит ее дыхание. Алешка любит говорить по телефону потому, что его принимают за помощника присяжного поверенного и часто даже говорят заискивающим голосом. Алешка все это учитывает, меняет голос и отвечает с избалованной небрежностью.

«Ладно! Болтай...» — думает он, слушая полную даму, и водит пальцем по стене. Потом вспоминает, что хозяин говорил о доверенности, и звонит Сотниковым.

— Аль-ле!.. Будьте добры, Александр Степанович просит прислать доверенность. Пожалуйста, а то мы беспокоимся.

Он кладет трубку, мешает в печке дрова, бьет по головешке кочергой, смотрит на искры и угли, от которых румянцем разгораются щеки, ворочает и думает, что в вегетарианской хуже кормят, чем в «Русском хлебосольстве» (там не наедаешься). Думает о новой барыне. У нее необыкновенно причесаны волосы, лицо у нее белое,

тонкое, с черными бровями и родинкой с шерсткой на щеке. Когда она снимает шубку, то всегда шумит шелком, и от нее пахнет духами. И в квартире долго после нее остается тонкий аромат. Алешка всегда чувствует какое-то сладкое волнение, когда вдруг на какой-нибудь вещи — ручке, пресс-папье — улавливает запах ее духов. Может быть, и у него, Алешки все это будет. Ведь хозяина дед так же, как и его, гусей пас. Только бы постигнуть всю эту механику городской жизни, не ошибиться дорогой, как хозяин говорит:

— Не ошибешься — в люди выйдешь, а ошибешься — лакеем будешь.

Но он, кажется, постиг эту механику: надо не зевать во всех смыслах; угождать высшим и быть дерзким с низшими, уметь отличать достоинства «Русского хлебосольства» от вегетарианской.

Алешка чувствует, что в нем самом уживаются в неизъяснимо близком соседстве то лакей, то барин. Если входит какая-нибудь большая персона, ноги его помимо его воли бросаются к вошедшему, юлят около него, руки тянутся помочь раздеться, снять калоши с него. Если появляется не персона, а бедно одетый человек, в Алешке просыпается барин: у него — без всякого усилия с его стороны — все барское: шаг медленный, движения ленивые, тон небрежный. Так же изменяют его психологию деньги и безденежье. Если он при деньгах, т.е. в кармане у него есть трехрублевка, то он фертом входит в «Русское хлебосольство» и чувствует внутри себя ледяное спокойствие, небрежно заказывает девушке блюда. Если в кармане ничего нет, он робко жмется где-нибудь у окна булочной. Все время точно два Алешки: один барин, другой холоп. И Алешка любит барина и ненавидит холопа за его жалкий вид, когда даже голос куда-то пропадает.

Звонок... Алешка вскакивает. Неужели хозяин так скоро? Нет, он входит без звонка, у него ключ есть. Алешка открывает, и сердце у него сначала совсем останавливается, потом бьется так, что темнеет в глазах.

— Александр Степанович еще не приходил?

Это она. Ее рука в крошечной перчатке лежит на ручке двери. Вуаль с инеем от дыхания закрыла лицо до половины подбородка, так что сквозь сетку неясно видны ее румяные накрашенные губы.

— Нет, его... еще не было́,— сказал Алешка, чувствуя лакейский голос и лакейский выговор.

Она, с небрежной лаской дотронувшись теплой душистой перчаткой до его щеки, в шубке и шляпке проходит в кабинет.

— Я напишу ему записку.

Молодая женщина присела в кресло перед столом, приподняла вуаль до половины носа и задумалась, держа карандаш в руке; об Алешке она забыла. Взгляд ее куда-то ушел, хотя она смотрит на бумагу. Вся ее фигура — в распахнутой черной бархатной шубке и черной небольшой шляпе — прекрасна. Ее глаза наполнились слезами, и она быстро провела по ним тонким белым платком. И Алешке кажется высшим счастьем смотреть на нее, ждать машинального прикосновения ее руки к щеке.

Потом он видит, как она быстро, порывисто написала несколько слов своими тонкими в кольцах пальцами, запечатала в конверт и поставила его на видное место, прислонив к чернильнице.

Она ушла, и после нее остался легкий знакомый запах ее духов. А он глядел на тлеющие угли печки, забыв о том, что пора закрывать, и думал о том, что господа богато живут, наедаются всегда досыта, а все у них что-то неладно и жить им не легко.

— Эге, брат, опять мечтаешь! Печку закрывай.

Хозяин в распахнутой шубе и калошах проходит в кабинет и, увидев записку, разрывает конверт. Лицо его, сначала удивленное, становится радостным. Он весело оглядывается.

— Ну, Алексей Петров, крестись!

Алешка удивленно раскрывает рот.

— Переезжаем на новую квартиру, на большую, тебя мажордомом сделаю.

Алешка уже догадался, в чем дело, но ему хочется почему-то притвориться удивленным.

— Опять на новую? — говорит он и, разинув рот, стоит с кочергой около печки и смотрит на хозяина.

— Что рот разинул, как ворона?

— И новая барыня с нами? — говорит он.

— Ты почему знаешь? — хозяин смеется.

— И она с нами. И она с нами.

Алешка видит, что хозяин весел, счастлив. Давай бог! Только надолго ли? Ведь квартир в городе много.

— Ну, слава богу, слава богу,— говорит хозяин и долго ходит по комнате.— Да как же я забыл позвонить, чтобы доверенность Сотниковы прислали?

— Я уже звонил, сказали, пришлют,— говорит Алешка, мешая кочергой в печке. Хозяин удивленно оглядывается.

— Сказал, чтобы завтра к девяти часам, а то ихнее дело не выгорит.

— Ай да Алексей Петров Сычев!.. Молодец! На тебя, брат, как нападет; иной раз тебя хоть в деревню отправляй, а иной раз — ты парень хоть куда. Где же ты нынче обедал?

— В «Русском хлебосольстве»,— говорит Алешка, гремя вьюшками в трубе.— Да плохо наелся.

— Так; ну сейчас наешься. Вот я, кстати, получил предложение на новое дело в три тысячи рублей... Одно к одному. Как ты к этому относишься?

— Положительно...— говорит Алешка, утирая нос и подбирая от печки веник и совок.

— Гм!.. Положительно. Губа у тебя не дура. Давай чай пить. Видно, возьмем тебя на новую квартиру. А если завтра придет дед да скажет: давайте мне моего Алексея Петрова Сычева землю пахать да навоз возить — к этому как ты отнесешься?

— Отрицательно...— хрипит Алешка и бежит ставить самовар.

В ТЕМНОТЕ

В разбитую парадную дверь восьмиэтажного дома вошли старичок со старушкой. Столкнувшись с каким-то выходившим человеком, старичок спросил:

— Скажи, батюшка, как пройти к швейцару бывшему Кузнецову?

— Идите на пятый этаж, считайте снизу пятнадцатую дверь. Только по стенке правой стороны держитесь, а то огня по всей лестнице нет и перила сломаны.

— Спасибо, батюшка. Старуха, не отставай. Права держи. О господи, батюшка, ну и темень...

Некоторое время было молчание.

— Да не лети ты так! Чего понесся, постой, говорю!

— Что ты там?

— Что... запуталась тут где-то...

— Вот еще наказание. Говорил — сиди дома. Куда нечистый в омут головой понес? Ой, мать, пресвятая богородица, и чем это они, окаянные, только лестницу поли-

вают? Начал по дверям стучать, поскользнулся и спутался. Вот и разбирайся теперь, сколько этажей прошли...

— Да куда ты все кверху-то лезешь?

— А ты думаешь, на пятый этаж взобраться все равно, что на печку влезть? Черт их возьми, нагородили каланчей каких-то, чисто на Ивана Великого лезешь. Что-то даже голубями запахло.

— Ты смотри там наскрозь не пролезь.

— Куда — наскрозь? Ой, господи, головой во чтой-то уперся... Что за черт? Куда ж это меня угораздило?.. Даже в пот ударило. Хоть бы один леший какой вышел. Прямо как вымерли все, окаянные...

Бывший швейцар, переселившийся из своего полуподвала в пятый этаж, садился вечером пить чай, когда на лестнице послышался отдаленный крик. Через минуту крик повторился, но уже глуше и где-то дальше.

— Кого это там черти душат? Выйди, узнай,— сказала жена,— еще с лестницы сорвется. Перила-то, почесть, все на топливо растаскали.

Швейцар нехотя вышел на лестницу.

— О господи, батюшка,— донеслось откуда-то сверху,— уперся головой во чтой-то, а дальше ходу нет.

— Да куда тебя нелегкая занесла! — послышался другой голос значительно ближе.

— Должно дюже высоко взял. Уперся головой в какой-то стеклянный потолок, а вниз ступить боюсь. Замерли ноги да шабаш. Уж на корячки сел, так пробую.

— Кто там? Чего вас там черти носят? — крикнул швейцар.

— Голубчик, сведи отсюда! Заблудились тут в этой темноте кромешной. Стал спускаться, да куда-то попал и не разберусь: где ни хватишь — везде стены.

— К кому вам надо-то?

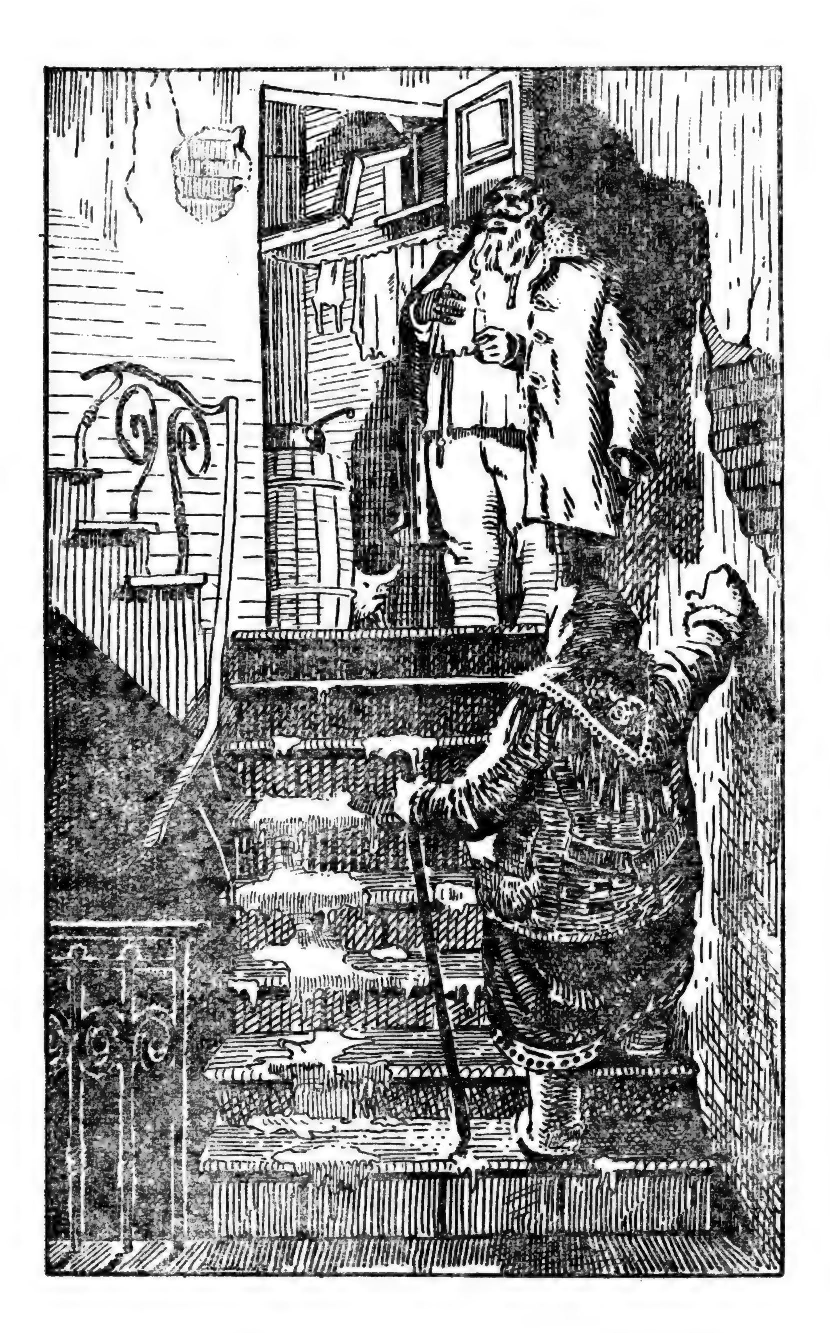
— К швейцару, к бывшему.

— Да это ты, что ли, Иван Митрич?

— Я, батюшка, я! К тебе со старухой шел да вот нечистый попутал, забрел куда-то и сам не пойму. Чуть вниз не чубурахнул. А старуха где-то ниже отбилась.

— Я-то не отбилась. Это тебя нелегкая занесла на самую голубятню.

Швейцар сходил за спичками и осветил лестницу. Заблудшийся стоял на площадке лестницы, в нише, лицом к стене и шарил по ней руками.



— Фу-ты, черт! Вон куда, оказывается, попал. Все правой стороны держался. Лестница-то вся обледенела, как хороший каток... того и гляди.

— Воду носим,— сказал швейцар,— да признаться сказать, и плеснули еще вчерась маленько, а то, что ни день, то какая-нибудь комиссия является,— кого уплотнять, кого выселять. Тем и спасаемся. Нижних уплотнили, а до нас не дошли — так вся комиссия и съехала на собственном инструменте.

— Надо как-нибудь исхитряться.

Все спустились в квартиру.

— Ну и страху набрался,— говорил гость,— думал: ума решаюсь: где ни хвачу рукой — везде стенка...

— Спервоначалу тоже так-то путались,— сказала жена швейцара,— зато много спокойней. Сами попривыкли, а чужому тут делать нечего.

— Это верно. А то какой-нибудь увидит, что чисто, сейчас тебя под статью подведет, и кончено дело.

— Не дай бог...

— А вот хозяин мой этого не понимает, все норовит чистоту навести.

Швейцар молчал, а когда жена вышла на минуту в коридор, сказал:

— Наказание с этими бабами... Перебрались сюда, думал, что получше будет, чем в подвале, а она тут как основалась, так и пошла орудовать. Из кресел подушки зачем-то повытащила. Теперь у нее в них куры несутся. Тут у нее и поросенок, тут и стирка, тут и куры, а петуха старого вон между рамами в окно пристроила.

— Отдельно? — спросила старушка гостья.

— Да, молодого обижает. Это они с невесткой тут орудовали, когда я за продовольствием ездил. Из портьер юбок себе нашили. Не смотрит на то, что полоска поперек идет, вырядилась и ходит, как тигра, вся полосатая.

За дверью послышалась какая-то возня и голос хозяйки:

— Ну, иди, домовой, черти тебя носят!

Дверь открылась, и из темноты коридора влетел выпихнутый поросенок, поскользнулся на паркете и остолбенел; остановившись поперек комнаты, хрюкнул.

— Это еще зачем сюда?

— Затем, что у соседей был. Спасибо, хватилась, а то бы свистнули.

— Ты бы еще корову сюда привела,— сказал угрюмо швейцар.

— А у тебя только бирюльки на уме... Вот хозяина-то бог послал...

— Ну, старуха, будет тебе...

— Да как же, батюшка: барство некстати одолело. Первое дело из подвала сюда взгромоздился. Грязно ему, видите ли, там. Умные люди на это не смотрят, а глядят, как бы для хозяйства было поудобнее. Теперь вон на нашем месте, что поселились,— у них коза прямо из окна в сад выходит. А тут поросенка сама в сортир носи. А лето подойдет, погулять ему,— нешто его, демона, на пятый этаж втащишь. И опять же каждую минуту выселить могут. Это сейчас-то отделываешься: лестницу водой поливаешь, а летом, брат, не польешь...

На лестнице опять послышался какой-то крик и странные звуки, похожие на трепыханье птицы в захлопнувшейся клетке.

— Что это там, вот наказанье. Пойди посмотри.

Швейцар вышел, и хозяйка продолжала:

— Вон соседи у нас — какие умные люди, так за чистотой не гонятся. Нарочно даже у себя паркет выломали, чтоб никому не завидно было, два поросенка у них в комнате живут, да дров прямо бревнами со снегом навалили. А окно разбитое так наготове и держат — подушкой заткнуто,— как комиссия идет, они подушку вон и сидят в шубах. Так у них не то, чтоб комнату отнимать, а еще их же жалеют: как это вы только живете тут? А они — что ж, говорят, изделаешь, время тяжелое, всем надо терпеть. Вот это головы значит, работают.

— Верно, матушка, верно.

— Тоже теперь насчет лестницы: освещение было сделал, мои матушки! Ну, лампочку-то хоть на другой день какие-то добрые люди свистнули. Я уж говорю: что ж ты, ошалел, что ли? Сам в омут головой лезешь. Теперь кажный норовит в потемочках отсидеться, а ты прямо на вид и лезешь. Вот теперь темно на лестнице, сам шут голову сломит, зато спокойны: ни один леший за комнатой не лезет, от всякого ордера откажется. Намедни комиссия приходила, чуть себе затылки все не побили: поскользнется, поскользнется, хлоп да хлоп!

Вдруг на лестнице послышался голос швейцара, который кричал на кого-то:

— Куда ж тебя черти занесли? Не смотрите, а потом орете. Вот просидела бы всю ночь тут, тогда бы знала.

Швейцар вернулся в свою комнату и с досадой хлопнул дверью.

— Что такое там? — спросила жена.

Швейцар повесил картуз на гвоздь, потом сказал:

— Старуха какая-то не разобралась в потемках, вместо двери в лифт попала да захлопнулась там.

СПЕКУЛЯНТЫ

На вокзале была давка и суета. Около кассы строилась очередь. И так как она на прямой линии в вокзале не умещалась, то закручивалась спиралью и шла вавилонами по всему залу.

В зале стоял крик и плач младенцев, которые были на руках почти у каждой женщины и держались почему-то особенно неспокойно.

А снаружи, около стены вокзала, на платформе стоял целый ряд баб с детьми на руках. Бабы в вокзал не спешили, вещей у них не было, товару тоже никакого не было. Но около них толокся народ, как около торговок, что на вокзалах продают яйца, колбасу и хлеб.

— Вы что тут выстроились? — крикнул милиционер.— Билеты, что ли, получать — так идите в вокзал, а то сейчас разгоню к чертовой матери.

Бабы нерешительно, целой толпой, пошли на вокзал.

Плача в зале стало еще больше.

— Да что они, окаянные, прорвало, что ли, их! — сказал штукатур с мешком картошки, которому пришлось встать в конце очереди, у самой двери.

У одной молодой бабы было даже два младенца. Одного она держала на руках, другого положила в одеяльце на пол у стены.

— Вишь, накатали сколько, обрадовались... в одни руки не захватишь. Что встала-то над самым ухом?

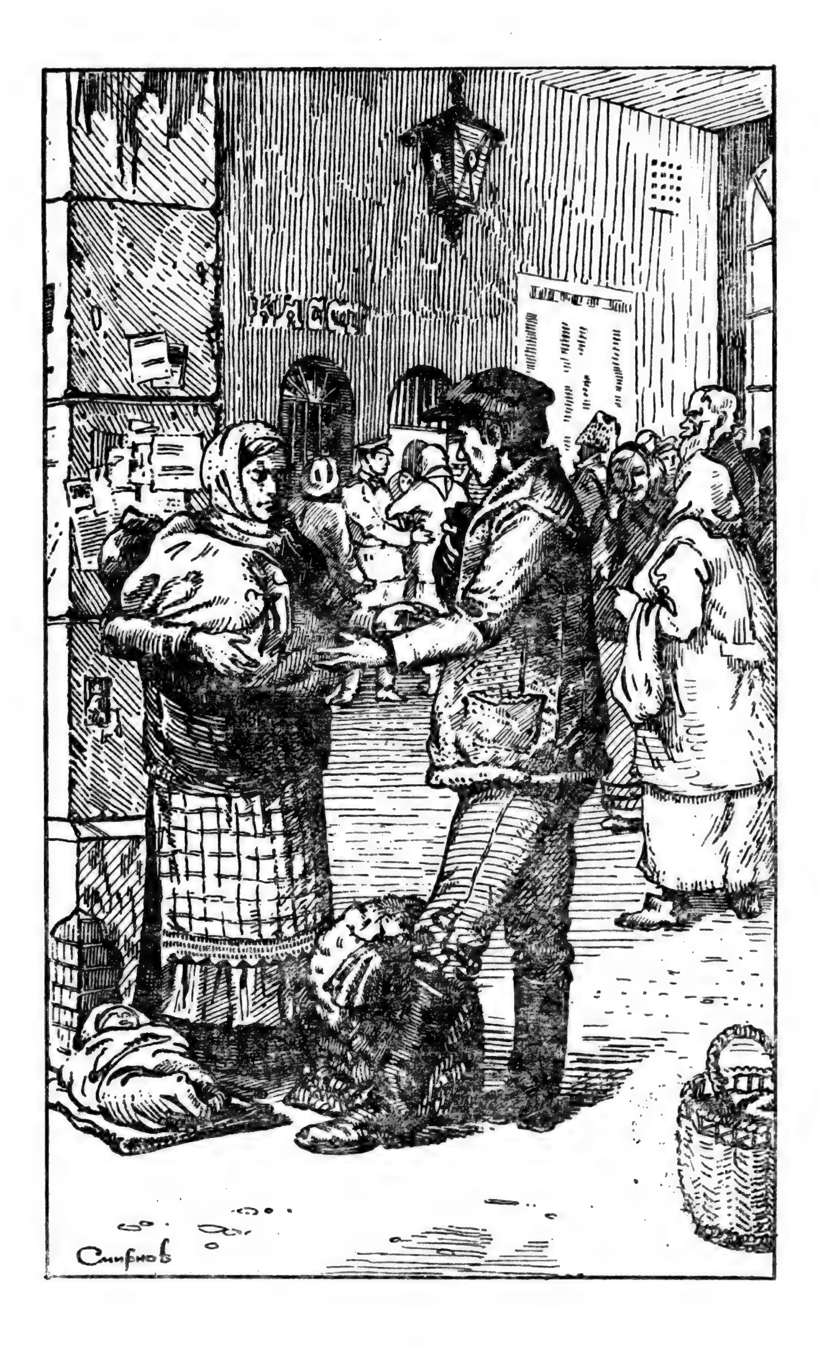
— А куда же я денусь? Да замолчи, пропасти на тебя нету! — крикнула баба на своего младенца.

— Прямо как прорвало народ, откуда только берутся. Вот взъездились-то, мои матушки.

— И все с ребятами, все с ребятами. Еще, пожалуй, билетов на всех не хватит.

— Очень просто. Глядишь, половина до завтрашнего дня останется. Вот какие с младенцами-то, те все уедут,— без очереди дают.

— Ах, матушки, если бы знала, своего бы малого прихватила,— сказала баба в полушубке.


Смирнов

— Попроси, матушка, вон у тех, что у стены стоят.
— А дадут?..
— Отчего ж не дать? За тем и вышли.
— За деньги, брат, нынче все дадут,— проговорил старичок в серых валенках.
Баба подошла к стоявшим у дверей и, вернувшись, сказала:
— Четыре тысячи просят...
— Креста на них нет, вчера только по три ходили,— сказала старушка.
— Кошку в полушубок заверни и получай без очереди, за младенца сойдет.
— Не очень-то, брат, завернешь, щупают теперь.
— Я тебя только что видел, никакого малого у тебя не было,— кричал около кассы милиционер на бабу,— откуда ж он взялся?
— Откуда... откуда берутся-то? — огрызнулась баба.
— Ну, кто с ребенком, проходи наперед.
— Вон их какая орава поперла. Вот тут и получи билет. И откуда это, скажи на милость? После войны, что ли, их расхватило так? Прямо кучи ребят. Там карга какая-то старая стоит,— тоже с младенцем. Тьфу! кто ж это польстился, ведь это ошалеть надо.
— Теперь не разбираются.
— Вот опять загнали к самой двери,— сказал, плюнув малый с мешком.
— Возьми, батюшка, ребеночка, тогда тебя без очереди пустят,— сказала баба, владелица двух младенцев.
— Черт-те что... придется брать. Что просишь?
— Цена везде одинаковая, родимый: четыре. А в базар по пяти будем брать.
— Что ж это вы дороговизну-то какую развели? — сказал штукатур, поставив свой мешок и отсчитывая деньги.
— А что ж сделаешь-то...
Штукатур отдал деньги и взял ребенка на руки.
— Головку-то ему повыше держи.
И баба взяла запасного младенца с пола.
— Ай у тебя двойня? — спросила соседка.
— Нет, это невестки. Она захворала, так уж я беру. Две тысячи ей, две мне.
— Исполу работают...— сказал старичок, подмигнув.
— Почем ребята? — шепотом спрашивали в толпе.
— По четыре ходят.

— Обрадовались!.. Все соки готовы выжать, спекулянты проклятые. Ведь вчера только по три были.

— По три... а хлеб-то почем?..

— Прямо взбесились, приступу нет. Неделю назад мы со снохой ехали, за пару пять тысяч платили, а ведь это что ж, мои матушки...

— Да, ребята в цену вошли,— сказал старичок, покачав головой,— теперь ежели жена у кого хорошо работает, только греби деньгу.

— Страсть... в десять минут всех расхватали.

— Это еще день не базарный, народу едет меньше, а то беда.

— А вон какая-то кривая с трехгодовалым приперла. Куда ж такого лешего взять?

— Возьмешь, коли спешить нужно.

— Это хоть правда.

— Опять чертова гибель народу набралась,— говорил в недоумении милиционер,— вне очереди больше, чем в очереди. Куда опять кольцом-то закрутились. Черти безголовые! Раскручивай! Эй, ты, господин хороший, что не к своему месту суешься! — крикнул он на штукатура,— ступай взад, тут бабы стоят.

— Я с ребенком...

— А черт вас возьми... ну, стой тут.

— Что ж ты его вниз головой-то держишь, домовой! — закричала молодка, подбежав к штукатуру.— Вот ведь оглашенные, ровно никогда ребят в руках не держали.

— Что ж ему, деньги заплатил, он уж и думает...

Открылась касса. Народ плотной толпой, всколыхнувшись, подвинулся вперед. Пробежала какая-то торговка с жестянкой, посовалась у кассы и пошла искать конец очереди. К ней подбежала кривая баба с трехгодовалым ребенком. Торговка прикинула его на руках и отказалась было, но потом, махнув рукой, завернула мальчишку в шаль с головой и пошла наперед.

— Сбыла своего? — сочувственно спросила старушка в платке у кривой.

— Только и берут, когда ни у кого ребят не останется,— сказала с сердцем кривая баба.— В базарные дни еще ничего, а в будни не дай бог.

— Тяжел очень. С ним час простоишь, все руки отсохнут.

— Матушки, где же мои ребята?! — крикнула молодка, владелица двух младенцев.

— Теперь гляди в оба. Намедни так одну погладили.

— Вот он, я тут стою! — крикнул штукатур, приподнявшись на цыпочках из толпы.

— А другой там?

— Оба целы. Мы сами семейные.

— Старайся, старайся, бабы,— на Красную армию! — крикнул какой-то красноармеец, посмотрев на бесконечную очередь баб с младенцами.

— Да, бабы взялись за ум.

Штукатур, получив билет, пришел сдавать ребенка.

— А чтоб тебя черти взяли!.. Весь пиджак отделал.

— Оботрешься, не велика беда.

— Тут и большой-то, покуда дождется, того гляди... что ж с младенца спрашивать.

— Чей малый? — кричала какая-то женщина, тревожно бегая с ребенком на руках.— Провалилась, окаянная!

К кривой бабе подбежала торговка и, с сердцем сунув ей малого, сказала:

— Лешего какого взяла, не выдают с таким. Только очередь из-за тебя потеряла.

Старичок в валенках посмотрел на нее и сказал:

— Ты бы еще свекора на руки взяла да с ним пришла.

РЫБОЛОВЫ

— Получен приказ вернуть все взятое из экономий и передать в советское хозяйство,— сказал член волостного комитета Николай-сапожник, придя на собрание,— утаившие будут преданы суду.

Все стояли ошеломленные, не произнося ни слова.

Только Сенька-плотник не удержался и сказал:

— Вот тебе и красные бантики...

— Велено проверить по описи, кто что брал из живого и мертвого инвентаря.

— Да для чего ж это?

— Рассуждать не наше дело. А раз сказано, значит должон исполнить.

— А ведь говорили, что все народное?

— Мало что говорили. Было народное, а теперь хотят сделать государственное. Ну, языки-то чесать нечего. Надо проверять.

— А что без описи взято, тоже отбирать будут? — спросил кузнец.

Все затаили дыхание.

— Постой, дай хоть по описи-то проверить,— сказал Николай, отмахнувшись от кузнеца, как от докучливой мухи.

Стали проверять.

— Двадцать дойных коров с молочной фермы роздано беднейшим и неимущим... налицо только пять. Куда ж остальные делись?

— Куда... ко двору не пришлись,— недовольно сказал кто-то сзади.

— Что значит ко двору не пришлись? Ты куда свою корову дела? — строго спросил Николай у Котихи.

— Издохла, куда ж я ее дела,— сердито огрызнулась Котиха, стоявшая в рваной паневе, с расстегнутой тощей грудью.— Навязали какого-то ирода, до морды рукой не достанешь, нешто ее прокормишь.

— Вот черти-то,— сказал Николай,— заплатишь, больше ничего.

— Накося...

У других коровы тоже исчезли. Кто продал прасолу на мясо, у кого околела.

— Готового не могли сберечь,— сказал Николай.— Ну, а мертвый инвентарь? Поделено десять телег, десять саней, плуги и прочее... все доставить.

— Да откуда ж их взять-то? — крикнул печник.— Мне, к примеру, и пришлось-то от этих телег два задних колеса, а передние еще у кого-то гуляют. Черт их сейчас найдет!

— Вот ежели кажный принесет, все колеса и сойдутся.

— Ни черта не сойдется...

— Да куда же вы все девали-то? — крикнул в нетерпении Николай.

— А кто ее знает,— сказали все.— Промеж народа разошлось...

— Да ведь народ-то весь здесь?

На это никто ничего не ответил.

— А что без описи... тоже отбирать будут? — спросил кузнец.

— Будут. Обыскивать надо,— отвечал Николай, просматривая какие-то бумаги.

Все опять насторожились, а несколько человек юркнули на задворки...

— То разбирай, то опять собирай, прямо задергали совсем, нет на них погибели.

— Не дай бог, в голове помутится от такой жизни.

— Главное дело, врасплох захватили. Куда теперь все это денешь? Деревянное что,— пожечь еще, скажем, можно, а железо,— куда его?

— Закапывать. Слободские все закапывают.

— Или в пруде топить,— сказал кто-то.

— Что утопишь, а над чем и помучаешься,— проворчал кузнец.

— А у тебя что?

— Мало ли что...ведра есть, жбаны молочные, болты от машины, половинка этого... сепаратора, что ли, чума его знает. Потом нож от жнейки.

— Это утопишь.

— А когда доставлять-то? — спросил кто-то.

— Нынче надо,— отвечал Николай, просматривая бумаги и думая о чем-то.

— Ну, где уж тут успеть?

— Небось записывать будете...

— Что записывать?

Никто не отозвался. Еще несколько человек отделилось от толпы и тоже юркнули на задворки. Остальные беспокойно посмотрели им вслед и переглянулись.

— Куда это они?

— Умные люди, знают куда,— сказал кузнец и, что-то вспомнив, сам заторопился.— Ах, черт, надо мерину корму дать,— сказал он.

Николай все о чем-то думал. Когда он оглянулся, около него стояли только человека три.

— Где ж народ-то? — спросил он.

— А черт их знает. Ну, что ж, надо по дворам идти?

— Да, надо,— сказал Николай. Но вдруг, что-то вспомнив, торопливо сказал: — Подождите маленько, у меня корова не поена,— и быстро юркнул в избу.

* * *

Минут через пять у пруда неожиданно столкнулись Николай и кузнец. Кузнец — с большими молочными жбанами из белой жести, Николай — с нанизанными на веревку гайками, петлями, подсвечниками. Кузнец присел было за куст со своими жбанами. Николай сделал такое же движение, но потом махнул рукой и сказал:

— Ну, черт ее... все равно. Только не болтай никому.

И, закинув в пруд на веревке свои гайки и подсвечники с прикрепленным к ним поплавком, стал прятать у берега конец веревки.

В это время, запыхавшись, с колесом от жнейки и какой-то мелочью, прибежал печник и, наткнувшись на кузнеца, словно обжегшись, присел было, но, увидев с другой стороны Николая, махнул рукой и, сказавши: «Не болтайте никому!» — вышел на плотину.

Еще минут через пять стал прибывать новый народ.

— Полезли!.. И все к одному месту, как черт их догадал...

Кузнец закинул свои жбаны, но они повернулись вверх горлами и никак не хотели тонуть, сколько он ни водил по пруду за веревку.

— Вот черти-то окаянные! Говорил, не утопишь. Вишь, вишь, задирают морду вверх, да шабаш. Тьфу!

Пришел Сенька с экономическими ведрами. Афоня с какой-то машинкой, которой даже все заинтересовались и, оставив на время работу, стали рассматривать ее.

— Яблоки, что ли, чистить, не разберешь,— сказал Фома, посмотрев сначала на машинку, потом на ее владельца.

Тот и сам рассматривал машинку, вертя ее в руках, как будто в первый раз увидел ее.

— А кто ее знает,— сказал он наконец,— я взял, думал ручка на веялку годится, а она и туда не подошла.

— Ну буде языки-то чесать,— сказал строго Николай,— кончай дело, да — к месту!

Все, как поденщики после сурового окрика хозяина, принялись за дело, работа вокруг пруда закипела, только слышалось:

— Куда ты накрест-то через мою веревку кидаешь, чертова голова! — кричал один.

— А ты отведи свои поплавки. Один уже весь пруд занять хочешь...

— Куда ж я их отведу, когда тут мостики, есть у тебя соображение об деле?

А жбаны кузнеца все плавали горлами вверх.

— Вот дьяволы-то навязались. Хоть сам лезь в воду и топи их, оглашенных. Вишь, носятся!

— Куда ты, черт, со своими кубышками тут! Что за наказание такое! — кричал Афоня, торопливо дергая свою веревку.— За мои зацепил!

— Ну, не дай бог, что в середке пустое,— говорили в толпе.— Это вот сейчас еще хоть время есть, а как наспех придется, так совсем замотаешься.

— Я свой граммофончик закинул, и — без хлопот,— сказал Андрюшка, потирая руки, как купец после удачной торговой операции.

— Граммофон-то хорошо, — там нутро тяжелое. А вот эти кубышки...

— Я был в слободе, когда туда обыскивать пришли,— сказал Федор,— так что там было!.. У них у всех, почесть, эти жбаны. Сыроварня там работала. Как расплылись по всему пруду,— ну, беда чистая, измучились.

— Измучаешься,— сказал Захар, переводивший свои поплавки, и крикнул на кузнеца: — Да куда тебя черти несут, ты уж и сюда припутался!

— Что ж я сделаю, когда ветром гонит. Давеча туда гнало, теперь назад, пропади они пропадом.

А с деревни, увидев народ у пруда, бежали ребятишки с кувшинами и ведрами.

— Вы куда еще, чумовые, разлетелись! — крикнули на них мужики.

— Рыбки...

— Рыбки!.. Только одни бирюльки на уме.

Ребята озадаченно остановились.

Когда кто-нибудь, размахавши на руках и сказавши «Господи, благослови», бросал далеко от берега свой груз, мальчишки с кувшинами бросались туда и останавливались в недоумении; глядя озадаченно то на воду, то на бросившего.

— Что вы суетесь под ноги! — кричали на них со всех сторон.

— Только начни какое-нибудь дело, так эта саранча и заявится.

— Утопил!..— закричали с плотины.

Мальчишки бросились туда. Это кузнец ухитрился наконец шестом пригнуть к воде горла жбанов, и они, побулькав, пошли ко дну.

— Уморился? — спросил Федор, глядя с состраданием на него.

— Уморишься...— ответил кузнец, утирая обеими руками фартуком пот с лица, как он утирался в кузнице, когда, кончив ковать раскаленное железо, совал его опять в горн и отходил к двери.

— Ну, буде, буде! Кончай,— сказал Николай.

Когда все, мокрые, усталые, возвращались вереницей от пруда, встречные останавливались и, посмотрев на мокрых мужиков и ребятишек с кувшинами, спрашивали:

— Много поймали?

— Много...— угрюмо отвечал кузнец,— чтоб тебе так-то пришлось!

ДОМОВОЙ

Уже восьмой день по утрам и в обед по всей деревне стоял бабий крик и галдеж. Кто-то распорядился, чтобы пастух гонял стадо не на ближнее поле, как до этого, а в дальний лес. Поэтому бабы в обед должны были ходить за две версты по жаре с подойниками доить коров.

Откуда вышло такое распоряжение, было совершенно неизвестно.

— Вот дурная голова-то, ногам покою не дает,— кричали все,— целую неделю бегаем, прямо измучились, как собаки.

— Да кто это выдумал-то?

— Собака его знает. И пастух-то сам не знает. Вякнул, говорит, ктой-то. А кто — неизвестно.

И как только приходило время гнать скотину, так со всех концов кричали:

— Чтоб у него ноги отсохли, у окаянного!

— Да у кого — у него?

— А лихая его знает.

— Не гонять коров совсем, вот и все! — говорили бабы, идя сзади коров и подгоняя их по грязным от навоза бокам хворостинами.— Что это за мученье такое! А то — кто приказал,— неизвестно, зачем приказал — тоже неизвестно, а они все прут...

— А сама-то зачем идешь?..

— Что ж я одна изделаю...

На девятый день бондарь, все время молчавший, вдруг выскочил из избы и с налитыми кровью глазами закричал на свою бабу:

— Не гоняй корову!!! Я его, сукина сына, измочалю. Кто это выдумал?!

— Кто его знает,— сказал сосед, сидевший перед своей избой на завалинке; — может, Семен-плотник, у него корова недойная, ему, конечно, все равно. Он что-то с председателем намедни шел.

— Где он, черт?.. Я его сейчас отчитаю.

И бондарь, как был в фартуке и в валенках, побежал к плотнику. Тот стоял около строящегося амбара над бревном и тесал его по отмеченной мелом черте.

— Ты какого же это черта умничаешь! — крикнул бондарь.— Только об себе и думает, а об людях не надо?

Плотник воткнул топор и сел на бревно верхом, потом высморкался в сторону, утер полой нос и только тогда поднял голову.

— Ты что? Ай лихая укусила?

— Меня-то не укусила, а вот ты распоряжения дурацкие даешь.

— Какие распоряжения?

— Какие... У тебя корова недойная?

— Ну, недойная.

— Ты с председателем намедни шел?

— Шел. Что дальше будет?

— Говорил?

— Говорил...

— Так какого же ты черта!

— Да об чем говорил-то? Черт! — крикнул плотник.

— Об чем? — спросил в свою очередь бондарь.

— Лесу просил.

— Лесу?..

— Ну, да.

— А коров в лес на весь день не ты приказывал гонять?

— Что ж я, начальство, что ли?..

— Так какой же это домовой исхитрился? — спросил озадаченно бондарь.

— Черт их знает... это, должно, шорник. Он что-то на жену намедни кричал, когда она коров доить шла.

— Так бы и говорил... Умники чертовы! — кричал бондарь, еще издали увидев шорника, который распялил на кольях горожи шлею и мазал ее дегтем из баклажки.

Шорник, перестав мазать, оглянулся.

— Умники чертовы, что ж у вас голова-то работает? Раз она у вас не так затесана, значит, нечего соваться, куда не спрашивают.

Шорник воткнул помазок в баклажку.

— Об чем разговор?..

— Ты на жену намедни кричал?

— Я, может, каждый день на нее кричу. Тебе-то какое дело? Да бить еще буду, ежели захочу... И то ты мне не указ.

— За что ты на нее кричал?

— А ты что, начальство?

— Не начальство, а беспорядок из-за вас получается.

— Прежде били — не получался, а теперь только крикнешь — и получится? Ты еще придешь и скажешь, что я сплю с ней не так... С чего ты привязался-то, скажи на милость?

— С того, что из-за вас, чертей, коров за пять верст в лес гонят, бабы с ног сбились, бегамши доить туда.

— Я-то при чем?

— Как при чем ты?

— Да так... Я сам всю глотку ободрал, кричамши, чтоб туда не гоняли.

— Так кто же это исхитрился?

— Черт их знает. Небось, какой-нибудь домовой с нижней слободы.

Бондарь побежал на нижнюю слободу, и через несколько времени оттуда послышалась его ругань:

— Настроили этих советов чертовых, вот все дуром и идет.

Потом, хмурый и недовольный, он вернулся и на вопрос шорника, кто дал такое распоряжение, только махнул рукой и сказал:

— Никто не знает. Все отказываются. Прямо чисто домовой подшутил.

— Что за оказия такая?..— говорили мужики в недоумении.

— Значит, какая-нибудь собака вякнула, вот и пошло дело.

На утро бабы сгоняли к околице коров в сторону леса и, увидев бондаря, который стоял у порога своей избы, кричали:

— Дядя Прокофий, куда ж гнать-то?

— А я почем знаю...

— Ах, оглашенные, они опять туда гонят! — кричала какая-то баба.

— Дядя Прокофий, куда гнать? — спросил пробегавший мимо бондаря пастух.— В лес, что ли?

— Гоните в лес, ну вас к черту,— сказал бондарь,— какой-то умник выдумал.

— Говорят, в лес опять велено,— сказал пастух, подойдя к бабам.

— Вот господь, казнь-то египетскую послал. Чтоб у него ноги отсохли, у окаянного... Только бы дознаться, кто это выдумал.

СВЯТАЯ ЖЕНЩИНА

Беднейшие с начала переворота испытали три совершенно различных превращения.

В первое время только и делали, что носились с ними: что ни начнут делить, сейчас десяток голосов с разных сторон кричат:

— Беднейших-то не забудьте! В первый черед наделить.

— Знаем без тебя,— говорят комитетчики,—затем и взялись.

— Вот, вот, ведь не для себя берем.

— На что нам, очень нам нужно.

— Нам только бы их-то на ноги поставить.

И беднейшие сначала только скромно предоставляли всем желающим ставить себя на ноги.

У Захара Алексеевича крыша давно прохудилась, и каждый раз после дождя он, выходя из избы, прежде всего попадал ногою в лужу в сенцах, а потом на пороге долго осматривал, промочил лапоть или нет. Но крыши не поправлял, а садился на завалинку и все о чем-то думал, опустив голову над коленями.

— Что ж крышу не чинишь, Захар Алексеич? — говорил кто-нибудь, проходя мимо.

Захар Алексеич поднимал голову, сначала смотрел на спрашивающего, потом на крышу.

— Что ж ее чинить-то, она вон уж старая,— говорил он,— вот как комитет...

Спрашивающий уходил, а Захар Алексеич отходил на середину улицы, чтобы лучше видеть, и, прикрыв рукой глаза от солнца, долго смотрел на крышу, потом снова садился на завалинку и опять о чем-то думал.

В первое время беднейшие сами даже могли и не ходить на собрания и не напоминать о себе: о них все помнили.

Степанида, не имевшая земли и кормившая пять человек детей и никогда о себе не напоминавшая, ничего не просившая, и та не могла пожаловаться: и лошадей ей в кредит дали, и корму воз, и даже два передних колеса от телеги при разделе инвентаря.

— Не все ж людям маяться. А то при старом порядке маялись да еще и теперь майся,— говорили мужички.

Потом, когда помещичий корм беднейшие лошади поели, так как одного воза хватило только на месяц, беднейшим пришлось напоминать о себе. Но время тут по-

дошло горячее: руки у всех тянулись ко всему не с прежней нерешительностью и совестливостью, а с лихорадочной спешкой, и голосов беднейших было почти не слышно.

Иван Никитич спешил сбыть по мешочку в город доставшуюся муку на случай нового передела, чтобы не сказали, что у него много, и у него уже началась дрожь в руках от нечаянных барышей.

Ему было не до беднейших.

Огородник то и дело водил носом: не взяли ли где фабрику или завод на учет. Ему при такой спешке и вовсе было не до беднейших.

И чем больше беднейшие напоминали о себе, тем меньше получалось результатов. Все были заняты делом, и они только мешали на каждом шагу.

Захару Алексеичу уже пришлось переменить место для размышлений, и он вместо своей завалинки сидел все дни и вечера на крыльце чайной, где заседал комитет. И когда какой-нибудь запоздавший член комитета спешил на заседание и вдруг глазами натыкался на фигуру Захара Алексеича в зимней шапке, с палкой, то сейчас же, почему-то плюнув, повертывал за угол и заходил с другого крыльца.

Тогда беднейшим пришлось уже более настойчиво требовать внимания к себе, пуская в ход различные средства, удобные для этого случая.

И на них уже стали смотреть, как на какую-то кару господню.

— Вот навязались-то на нашу душу.

— То по экономиям весь век клянчали, а теперь нашу кровь хотите пить,— тонким голосом кричал огородник.

— Почему вот Степанида не надоедает,— говорили все,— она и больная лежит, а не лезет, ей всегда всякий с удовольствием поможет...

— Хлебца бы ей, что ли, снести, Степаниде-то, говорят, целый день не ела.

— Кто на чужую собственность смотрит,— говорил Иван Никитич,— у того и свое отнимется, потому что не по закону.

— У тебя-то вот, однако, не отнялось,— говорили беднейшие,— набил карман-то. Мы вот тебе закон покажем, порастрясем. Лучше добром давай. Мы не чужого требуем, а своего. Все — наше.

И это было второе превращение.

Беднейшие превратились в ненавистных вымогателей. Пора осыпания их цветами прошла. Их только ненавидели и боялись.

— Донянчились!..— говорил прасол.

— Их бы с самого начала в бараний рог гнуть надо.

— Только одна Степанида... Вот святая женщина, больная, пятеро детей, хлеба нет, а все не лезет. Хлебца бы, что ли, ей снести, Степаниде-то, а то, говорят, другой день не ела.

И так как все устали от требований беднейших, от их угроз, то всегда отводили душу, вспоминая о Степаниде.

А беднейшие уже стали кричать о новом переделе всего: у кого много, отнять и опять разделить поровну.

— Только уж теперь промеж нас одних,— кричал Андрюшка.— Все — наше. Мы их расчешем.

Но время проходило, а они все не расчесывали: после большого подъема дух беднейших постепенно ослабевал. И Захар Алексеич в свободное от сидения на завалинке время своими средствами добывал себе что-нибудь по соседству: забытую хозяином охапку дров, завалившуюся у чужой завалинки оглоблю.

Андрей Горюн, прицепив себе суму на спину и взяв в руку длинную палку, отправился куда-то; помаячил в тумане за околицей и скрылся за поворотом.

— Открыли кампанию,— сказал Сенька, подмигнув.

— Наконец-то за разум взялись,— сказал Иван Никитич.

Одна Степанида все лежала и не могла устроиться так же удобно, как остальные. И когда о ней вспоминали, то лавочник говорил:

— Вот уже кому, знать, на роду написано: как при старом порядке мучилась, бедная, так и при новом...

— И все молча терпит,— прибавлял кто-нибудь.

— Святая женщина. Хлебца бы ей снести, что ли, Степаниде-то. Третий день, говорят, не ела.

ГЛАС НАРОДА

Разнесся слух, что комитеты будут уничтожены и вместо них организуются Советы. Из Москвы с завода приехал Алексей Гуров и каждый день собирал около себя молодых солдат, вернувшихся с фронта, и говорил с ними о чем-то.

Старые члены комитета, в особенности лавочник, ходили встревоженные. Лавочник, поймав кого-нибудь на дороге, говорил:

— Что делается!.. Только было начали налаживать, а они теперь все насмарку пустят. Ведь эта голытьба окаянная сама никогда ничего не имела и других теперь хочет по миру пустить.

Прежде, когда лавочник был председателем, он был строг и недоступен, и у мужичков уже начало накопляться недовольство им. Но теперь он стал такой хороший и разговорчивый, что все растрогались и говорили:

— От добра добра не ищут. Нам новых не надо.

— Ведь они все разбойники,— говорил лавочник,— ведь у них ни бога, ничего нет.

— Это верно, о боге теперь не думают.

— И потом, нешто они дело тебе понимают! — продолжал лавочник.— На кажное дело нужна особая специальность, а они, кроме того, что глотку драть, ни на что больше не годны.

— Это что там...

— Мы трудились для вас, можно сказать, все начало положили, они хочут готовенькое подцапать, а нас долой. Правильно это?..

— Кто там хочет! — послышались голоса.— Мы выбирали вас, значит — наша воля. Нам нужны дельные, одно слово, чтоб человек основательный был. А это что... Голытьба! Так она и всегда голытьбой будет не хуже этого Алешки. В пальто ходит и думает... Когда только этот корень окаянный выведется!

— Значит, поддержите? — спрашивал лавочник.

— Не опасайтесь. Мы за вас, как один человек, поднимемся... Глас народа, брат, одно слово. Раз уж мы выбирали, на вас положились, значит, крышка.

— А то придут какие-то голодранцы, у которых материно молоко на губах не обсохло, и пожалуйте, выбирайте их.

— Силантьич просит того... чтобы поддержать его,— говорили мужики тем, которые не присутствовали на беседе.

— Это можно.

— Ну видишь, все, как один человек, за тебя стоят. Ставь брат, магарыч. Не выдадим! Хоть иной раз и прижимал нашего брата, ну, да что там, без этого нельзя.

— Ведь обязан был, на основании,— говорил лавочник.— Ежели бы моя воля, так я бы со всеми, как с брать-

ями. А ежели иной раз за дело, так ведь сам понимаешь — нельзя.

— Правильно! — говорили мужики.— А что строг бывал, так с нашим братом иначе и нельзя; ты с ними хочешь по-благородному, а они тебе в карман накладут.

— Значит, буду надеяться?..— спрашивал лавочник.

— Сказано уж, чего там! Прямо как один человек встанем.

В воскресенье около школы толпились мужики. Все сидели на траве, на бревнах, курили, говорили и поглядывали на дверь школы, куда пошли молодые солдаты с фронта с высоким человеком в пальто с барашковым воротником.

— Что-то они дюже долго разговаривают-то там?

— Хочут умными себя показать.

Из школы вышел солдат и позвал всех на собрание.

В передней части школы, где обыкновенно заседал президиум комитета, за столиком сидел Алексей Гуров, и около него два молодых солдата в шинелях и в шапках.

— Шапки-то можно бы и снять,— сказал кто-то негромко в задних рядах.

— У них головы воздуху не терпят,— ответил насмешливый голос.

Лавочник стал на виду у окна передней части школы и водил глазами по лицам. Все ему подмигивали. Степан, товарищ председателя, кротко сидел на подоконнике. Николая-сапожника не было видно,— очевидно, опоздал на собрание.

Сидевший за столом Алексей Гуров, так же, как и лавочник, тоже смотрел на все, как бы следя, чтобы не было лишней толкотни и чтобы все скорее расселись. Лицо его было серьезно. Он не узнавал знакомых, как будто совсем не тем был занят.

— Словно начальство какое... Сел себе за стол, никто его не просил... Чего же это Силантьич-то молчит?

— Нахальный человек, и больше ничего,— кому охота связываться.

— Все равно. Раз против него все, тут сколько ни нахальничай, толку не будет,— говорили в разных углах.

— Сели? — раздался голос сидевшего за столом.

— Сели...— сказали недовольно сзади.

— Ну, вот и ладно. Вы прежним президиумом довольны?

— Довольны! — сказали дружно голоса, и многие посмотрели при этом на лавочника.

Лавочник опустил глаза.

— Хорошо. Теперь по декрету комитеты отменяются. На их место приказано организовать Советы. Президиум можете оставить старый, можете выбрать новый.

— Думали, нахальничать будет, а он — ничего, по-благородному,—послышался после некоторого молчания голос из угла.

— Малый как будто ничего...

— А чем вы довольны старым президиумом? — спросил Алексей.

Все молчали.

— Землю они вам разделили?

— Насчет земли разговор был,— сказал нерешительный голос.

— А дележа не было еще?

— Подождать велели,— ответил тот же голос.

— Значит, ждете по собственному желанию?

— По собственному... чтобы по порядку все было,— сказал Иван Никитич,— а не зря.

Он хмуро сел, взглянув при этом на лавочника. Тот тоже посмотрел на него.

— А еще насчет чего разговор был?

— Мало ли насчет чего...— ответил опять неохотно голос сзади.

— Насчет хлеба был. Хлеб и скотину уже поделили.

— А у кого она, эта скотина-то? — спросил Алексей.

— К прасолу в гости пошла...— сказал Семен-плотник,— она богатых дюже любит.

— Вот, вот,— послышалось несколько голосов,— бедным дали, а она опять к богатым прибежала.

— Так...— сказал Алексей; он все сидел за столом и держал в руках карандаш, повертывая его за рубчики.— А сеять на помещичьей земле будете?

— Велели подождать. Как там порешат...

— Так вы довольны?

— Вот черт-то, исповедовать пошел. Крючком за губу поймал и ведет,— сказал недовольно Иван Никитич и прибавил громко: — Чем довольны-то?

— Да вот, что подождать-то велели...

— Чем уже тут быть довольным? — отвечал хмуро Иван Никитич, но взглянул на лавочника и еще более хмуро сказал: — Известно, довольны, потому — порядок.

— Так... А ежели сейчас такой закон выйдет, что бери землю и — никаких!

Все переглянулись.

— Чем скорей, тем лучше,— сказал Иван Никитич, не взглянув на лавочника, который быстро поднял голову.

Все посмотрели на лавочника.

— Как бы Силантьича не обидеть...— сказал кто-то.

— А чем его обидишь. Ему-то что? Он, что ли, отвечает? Раз такой закон вышел... выберем его в совет, только и дело.

— Что ж, ежели такой закон вышел, отчего и не брать, ежели по шапке за это не попадет! — сказало уж несколько голосов.

— А то прежде ждали и теперь опять жди.

— Правильно!

— Им-то хорошо, они залезли себе в комитет и гребут, а мы, дурачки, ждать будем?

— Чего вы, черти! Силантьич услышит,— послышались негромкие голоса.

— А пущай слышит. Он карманы-то себе набил!

Лавочник водил глазами по всем скамьям, но никак не мог ни с кем встретиться взглядом. Все смотрели мимо него или так водили глазами, что за ними невозможно было угоняться.

— Нечего глаза-то таращить...— сказал кто-то, видимо, по адресу лавочника,— денежки-то все себе загребли...

— Николка хоть по глупости много распустил по ветру, а этот, черт, лапы-то загребущие... прежде все время сок жал и теперь тоже. Мы «подожди», а он себе в карман... У, сволочь!..

— Да, Николай — это все-таки человек с совестью.

— Ну да, тоже Николай твой языком только молоть здоров, а что от него? Степан вот, правда,— святой человек.

— То-то этот святой корову у меня взял да на нижнюю слободу ее отдал... Святой начнет стараться — хуже дурака выйдет...

— Все они хороши, дьяволы.

Алексей, что-то писавший, поднял голову и сказал:

— Так вот, товарищи: власть теперь ваша и земля ваша. Берите землю, берите хлеб, чтобы этих чертовых гнезд тут больше не было. Кто против этого, прошу встать.

Все сидели. У лавочника упала шапка и покатилась.

— Шапка уже в руках не держится!..— сказал чей-то голос.

— Разъелся, вот и не держится!.. Ишь, черт... Когда только корень этот окаянный выведется!..

— Предлагаю произвести перевыборы в совет,— сказал Алексей.— Сейчас будут объявлены два списка: в одном старый президиум, в другом — новый. Огласи...— обратился он к секретарю, подавая ему два листочка.

Все выслушали молча.

— В новом-то он и эти двое с фронту? — спросил передний мужичок.

— Выходит, так,— ответил сосед.

— Кто за старый состав... прошу поднять руки.

Все сидели неподвижно.

— Кто за новый?..

Все подняли руки.

Лавочник взял шапку и пошел, ни на кого не глядя, к двери.

— Что тут? — спросил запоздавший Николай-сапожник, войдя в школу и тревожно оглядываясь.

— Новых выбрали,— сказал задний мужичок в лохматой шапке.

— Кто же это?

— Все. Прямо, как один человек, поднялись.

— Глас народа, брат...

ВОСЕМЬ ПУДОВ

Мужики стояли целой толпой в усадьбе около сеновала и уже два часа говорили, кричали и спорили по поводу дележа сена...

Сначала условились все делить поровну. Рожь разделили поровну, вышло хорошо. Стали делить телеги, тоже поровну, получалась нескладица: кому пришлась ось, кому колесо. И когда поделили, то оказалось, что инвентаря нет и телег ни у кого нет,— ездить опять не на чем. Коров решили в таком случае поровну не делить, а дать сначала неимущим. Но, когда начали давать, стало вдруг жалко, и все оказались вдруг неимущими.

— Дай вот молодые с фронту придут! — кричали беднейшие, у которых отобрали назад коров.

Теперь с сеном: как ни прикидывали, все-таки оставался кто-нибудь недоволен.

— Ну, думай, думай, ворочай мозгами,— сказал прасол в синей поддевке — надо разделиться, пока молодые

с фронту не пришли, а то эта голытьба окаянная заведет тут свои порядки.

— Вот что! — крикнул кузнец.— Клади всем по восьми пудов, а что останется, отдать беднейшим. И нам не обидно, и они в накладе не останутся.

— Правильно!

— Теперь можете быть спокойны,— сказал Сенька беднейшим,— коров не дали, зато сена вволю получите, давай только подводы.

— ...Чтобы отвечать, так уж всем...— сказал сзади неизвестно чей голос.

Это слово было услышано в первый раз за все время.

— Кто это народ мутит!..— крикнул сердито прасол, оглядывая задние ряды.

Все тоже оглядывались, и никто не знал, кем это сказано.

— Ну, вали за подводами.

Все бросились по дворам, остались одни беднейшие, которые не имели подвод, у них были только доставшиеся от дележа оси, оглобли, которые они с досады в первый же день пожгли.

Через полчаса весь двор заставился санями. Кузнец был возбужден больше всех. Он бегал и кричал, как на пожаре. Лавочник и прасол прикатили на двух санях. Огородник был тоже возбужден: он то подбегал к своим саням, у которых стоял его малый в больших сапогах с кнутом, то убегал к сеновалу, как бы проверяя, хватит ли сена.

Прежде всего все захватили по большой охапке подстелить в сани и дать лошади, не в счет.

— Эй, больше двух охапок не брать! — крикнул председатель, стоя с вилами у сеновала, так как видел, что иные вместо саней запихивали куда-то за сарай.

— Мы и две хороши накрутим,— сказал кузнец, натягивая веревку на огромной вязанке и наседая на нее коленом.

И, правда, накрутил такую, что когда пошел с ней к саням, то самого было не видно, а только двигалась какая-то копна на двух палочках.

Бабы, приехавшие без своих мужиков, выбивались из сил, чтобы побольше захватить в две охапки. Столяриха связала свои вязанки, вцепилась в них, но поднять не смогла. Заплакала с досады и, оглядываясь на сеновал, где со всех сторон мужики, как муравьи, тащили сено, причитала:

— Господи, батюшка, силы нету.

— Прямо кишки все себе повыпустят, — говорили мужики, глядя, как мучаются бабы.

— Эй, по восьми пудов, больше не брать! — кричал председатель.

— Чего стоишь, зеваешь! — закричал, подбегая к сыну, весь потный огородник, нырявший уже несколько раз за сарай и весь обсыпанный мелким сухим сеном. — Накладывай.

— Успеется, не уйдет, — сказал малый.

— У дурака успеется, а умный за это время два воза свезет. — И сам, схватив лошадь за вожжу, оглядываясь на нее и попадая в снег, бегом повел ее к сеновалу.

— Гони скорей, — торопливо говорил он сыну, когда тот ехал уже на возу в ворота.— Сам дома оставайся, скажи, чтобы заместо тебя Митька ехал, да чтоб твою шапку не надевал, чертенок, а то ходите в одной, за десять верст видать, что из одного двора.

Около сеновала шла горячая работа. На самом сеновале работали человек десять дюжих мужиков, сваливая оттуда в несколько вил валом сено на возы, как будто спасая его от пожара. Не попавшее на воз и свалившееся на землю сено мгновенно исчезало куда-то, точно проваливалось сквозь землю.

— Да ты что же это накручиваешь-то! — кричал председатель на кузнеца, который наваливал столько сена, что сани у него трещали, и сам он сидел, как на каланче. — Сколько это у тебя выйдет?

— Восемь пудов...— хрипло и не оглядываясь, весь в поту и в мелком сене, отвечал кузнец, подхватывая новую охапку и уминая ее ногами.

А в ворота скакали уже те, кто успел один раз свезти.

— Глянь! Эти-то, окаянные, опять прискакали...

— Вы зачем сюда опять заявились?

— Да мы посмотреть...

— Братцы, старайтесь, чтоб по совести! — кричал своим тоненьким голоском Степан.

— В лучшем виде будет, — отвечал кузнец, наступая ногой на конец веревки и укручивая воз.

Навившие воза гнали домой лошадей так, что в воротах на раскате, стукнувшись о столб, только гокали и терли потом себе под ложечкой.

Кончили сено, на двор прибежали беднейшие — Степанида, Захар Алексеич, которые бегали по деревне и просили подводу, так как той же Степаниде при разделе

инвентаря достался тележный передок с двумя старыми колесами.

Захар Алексеич, поспешивший, должно быть, первый раз в своей жизни, прибежал в своей большой овчинной шапке на двор с таким видом, с каким прибегает хозяин на пожар своего дома, когда уже все сгорело, он и ахал, и хлопал по полам полушубка руками, и оглядывался — то на сеновал, то на выезжавшие со двора воза.

— Иван Никитич, сделай милость, дай сани...

— Нет у меня саней... — торопливо сказал Иван Никитич и сейчас же заторопился куда-то.

И к какой кучке беднейших ни подходили, кучка редела, и через минуту они оставались одни и с озлоблением взглядывали друг на друга, так как каждую минуту встречались нос к носу.

— Да чего вы беспокоитесь-то? Раз сказано — по восьми пудов... Ай уж в самом деле?

— По восьми-то по восьми, а ты захватывай скорей! — сказал какой-то мужичок, только что навивший свой второй возок и торопливо проводивший мимо лошадь.

— Кончили, что ли? — крикнул председатель.

— Кончили.

— В рабочую пору так не работал, — сказал кузнец, сдвинув со лба назад шапку и утирая фартуком пыль и пот с лица. — Восемь пудов, а взопрел так, что полушубок мокрый.

— А нам-то что же?! — сказали беднейшие.

— Остальное все — ваше, — отвечал Сенька, — делите. Старайтесь, чтоб по совести.

ЗНАЧОК

На улице, около дверей домового комитета, уже с шести часов утра толпился народ. Какой-то человек стоял с листом и вписывал туда фамилии подходивших людей.

Проходивший мимо милиционер с револьвером на ходу крикнул:

— Вы своих гоните на площадь, а там укажут. После работы всем работавшим будут выданы значки.— И ушел.

— Зачем-то, миленькие, народ-то собирают? — спросила, подходя, старушка лет семидесяти.

— Ай ты не записывалась еще? — сказал малый в сапогах бутылками, в двубортном пиджаке.

— Нет, батюшка...

— Что ж ты зеваешь! Сейчас уж погонят. Записывайся скорей.

— Господи, чуть-чуть не опоздала,—говорила старушка, отходя после записи,— голова, как в тумане, совсем заторкали.

— Скоро ли погоните-то? — кричали нетерпеливые голоса.

— А куда иттить-то?

— Чума их знает. Таскают, таскают народ...

— Не таскают и не чума их знает,— сказал бритый человек в солдатской шинели,— а предлагают всем сознательным гражданам идти на праздник труда.

На него все испуганно оглянулись и замолчали. Только какая-то торговка, в ситцевом платье, с платочком на шее, сказала:

— Взять бы сговориться всем и не ходить, что это за право такое выдумали.

— А добровольно идти или обязательно?

— Добровольно, — отвечал человек с листом: — с квартиры по одному человеку.

— А ежели не пойдешь, что за это будет?

— Черт ее знает... Говорят, значок какой-то выдавать будут.

— А у кого не будет значка, тому что?

— А я почем знаю, что ты ко мне привязалась, у коммунистов спрашивай. Гоняй их, чертей, да еще объясняй все. И так голова кругом идет,— проворчал человек с листом.

Торговка в ситцевом платье задумалась, а потом сказала:

— Взять бы сговориться всем да не ходить.

— Ты тут сговоришься, а на другой улице не сговорятся, вот и попала,— сказал бывший лавочник в старых лаковых сапогах.

— А тут значок еще,— говорили в толпе.— Черт его знает, может быть, он ничего не значит, а может, без него никакого хода тебе не будет. Вот теперь калоши, говорят, выдавать скоро будут... Придешь получать,— значок ваш предъявите. Нету? — Ну и калош вам нету.

— Это-то еще ничего: а как вовсе тебя вычеркнут? — сказал кто-то.

— Откуда?

— Там, брат, найдут откуда.

— Ну, кончайте разговоры и айда на площадь. — В ряды стройся!

— Чисто как на параде,— сказал чей-то насмешливый голос.

— Это еще что... А в прошлый раз нас коммунист гонял, так песни петь заставляли, вот мука-то.

— Равняйся! — крикнул человек с листом, задом отходя на середину улицы, как отходит командир, готовящийся вести свой полк на парад.

— Старуха, что ты тыкаешься то туда, то сюда! Раз командует равняйся, значит, должна становиться. По улице идите; куда на тротуар залезли?

— О господи батюшка!..

— Шагом!.. Марш!.. Куда опять на тротуар полезли? Что за оглашенные такие!..

— Да я беременная...

— Так что ж ты затесалась сюда. Усердны, когда не надо. С квартиры по одному человеку сказано, а их набилась чертова тьма.

— Без калош-то оставаться никому не хочется,— сказал чей-то негромкий голос.

— Домой иди, ведь сказано тебе...— говорили беременной.

— Значка, боюсь, не дадут.

— Вот окаянные, разум помутили этим значком. Бабка, не отставай!

Когда подходили к площади, навстречу показался еще отряд с оркестром музыки и с красными знаменами. Встречные шли переговариваясь, с веселыми лицами и даже приветственно помахивали платками и шапками.

— Этих уже окрестили,— сказал бывший лавочник.

Вдруг передние остановились.

— Чего стали? — кричали задние, поднимаясь на цыпочки.

— Не знают, куда дальше гнать. Пошли спрашивать.

— Тут бы лопаток с вечера наготовить, работу загодя придумать, и отделались бы все в два часа,— проговорил какой-то волосатый человек.— А теперь жди, стой.

— Пусть руки отсохнут, ежели лопатку возьму,— сказала торговка в ситцевом платье.

— Знаем мы, как они лопатки выдают,— привезут по одной лопатке на пятерых и ладно.

— И слава богу, по крайней мере руки не поганить об такую работу.

— Не очень-то слава богу. Скажут, не работала — без значка и останешься.

Торговка сердито замолчала, потом, немного погодя, сказала:

— Я не виновата, что у них лопаток нету, а раз я была, значит, должны значок дать.

— С ними пойди потолкуй. Скажут: в очередь бы работала.

— Лопатки везут. Разбирай, не зевай,— торопливо крикнул кто-то.

Все бросились к телеге. А впереди торговка в ситцевом платье. Она схватила за конец метелки, которую держала другая женщина.

В воздухе замелькали руки, лопатки, метелки. Слышались голоса испуганных и прижатых к телеге людей.

— Чего вы! Ай одурели? Эй, баба, что ты, осатанела, что ли! Ты ей так руки выдернешь,— кричали на торговку.

Милиционер, схватив двух женщин сзади за хвосты и оттягивая их назад, говорил:

— Успеешь! Обожди! Обожди!

— Совсем взбесился народ! Ктой-то еще про калоши тут вякнул. Наказание, ей-богу.

Бритого человека в солдатской шинели в первую же минуту сбили с ног, и он, чтобы не быть раздавленным, залез под телегу и выглядывал оттуда.

— Так его, черта, не проповедуй,— крикнул кто-то.

Торговка в ситцевом платье отвоевала лопатку, а другая вырывавшая у нее, сорвав себе руку, грозила ей из-за телеги кулаком и кричала:

— Я те дам, как из рук вырывать, паскуда поганая. Взбесилась совсем, с руками рвешь.

— А ты не цапайся раньше других. Одна уж готова все ухватить.

— Шагом марш!

— Вот и отмеривай улицу,— говорил какой-то трубочист с метелкой на спине,— до сорока лет дожил, троих детей имею.

Минут через пятнадцать опять остановились около площади.

— Что опять стали?

— На место пришли. Пошел спрашивать, да что-то опять, знать, не так.

Все смотрели на площадь, которую, переговариваясь и смеясь, с вспотевшими лицами мели мужчины и женщины.

— Празднуют,— иронически сказал лавочник.— Заместо того, чтобы сговориться всем и уйти, гнут себе спину. Эх, лошадиное сословие!..

— Куда ж ты их пригнал сюда? — крикнул стоявший на площади высокий человек с лопаткой в руке.

— А я почем знаю?.. Мне сказано сюда...

— Что, у них там шарики, что ли, в головах не работают,— уж третью партию ко мне присылают. Я и с этими-то чертями не знаю, что тут делать.

— Что, ай назад? — спрашивали у провожатого.

Тот нахмуренно подходил, ничего не отвечая. Потом вынул платок, отер им вспотевший лоб и, оглянувшись зачем-то по сторонам, хмуро и неопределенно махнул платком вдоль улицы:

— Пошел туда!..

— С вечера бы надо придумывать работу,— сказал опять длинноволосый человек.

— Мы прошлый раз так-то помучились. Народу нагнали пропасть, не найдем никак, что делать, да шабаш. Все заставы обошли. До шести вечера ходили. Спасибо, провожатый хороший попался,— все-таки выдал значки.

— Что ж вы бродите до двенадцати часов, как сонные мухи! — крикнул какой-то военный, быстро проезжавший на лошади, как ездит управляющий, осматривая в поле работы,— пристанища себе нигде не найдете?

— А что ж, когда отовсюду гонят,— сказал угрюмо провожатый.

— Голова-то не работает ни черта, вот вас и гонят. Поворачивай назад. Идут молча, словно утопленники...

— Вот к этому ежели бы попали, беспременно петь заставил бы,— сказал лавочник.— Из этих самых, должно.

— Как же, так и повернул,— проворчал провожатый, когда военный скрылся за поворотом. И продолжал вести дальше.

Увидев на углу пустыря разваленный дом, он остановился и крикнул:

— Перетаскивай кирпичи к забору да засыпай ямы. Только проворней, а то ежели до трех часов не кончите, значков не выдам.

— Слава тебе господи, наконец-то определились.

— Да, спасибо, домишко этот подвернулся, а то бы до вечера ходили.

Все лихорадочно принялись за дело. Один рыл лопатой, а пятеро стояли сзади него в очереди и поминутно кричали на него:

— Да будет тебе, не наработался еще!

— Уж как дорвется,— не оттащишь. Бабушке-то дайте поработать, уважьте старого человека...

А проходившие мимо говорили:

— Усердствуют... Вот скотинка-то...

Когда кончили работу и стали выдавать значки, оказалось, что старушке не хватило значка.

— Какой же тебе значок, когда тебе больше шестидесяти лет, могла бы совсем не приходить.

— Господи, батюшка, ведь вы ж меня записали. Вот все видели.

— Не полагается. Поняла? Свыше пятидесяти лет освобождаются от работы. А тебе сколько?

— Семьдесят первый, батюшка.

— Ошалела, матушка, приперла.

— Стоит в голове туман какой-то, ничего не поймешь,— сказала старушка.

— По тротуару теперь можно идти?

— Можно...

— А значок на грудь прикалывать или как? — спрашивала беременная.

— Это ваше личное дело.

Все возвращались веселой толпой со значками на груди и смотрели недоброжелательно на встречающихся прохожих, шедших без значков.

— Все прогуливают, ручки боятся намозолить,— сказала торговка,— и чего с ними церемонятся? Хватали бы их на улице да посылали.

А старуха спешила сзади всех и бормотала:

— Вот стоит в голове туман,— ничего не поймешь...

НЕРАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ НАРОД

Какой-то человек в картузе и с плетеной сумкой, с которыми ходят на базар за провизией, подошел к запертому магазину. Загородившись ладонями, чтобы не отсвечивало, он постучал в грязное запыленное окно, пробитое пулей и заделанное деревянной нашлепкой.

Из двери выглянул другой человек в кожаной куртке и сказал:

— Подожди немножко, пианино кончу чистить, тогда вместе пойдем.

Дверь опять закрылась, человек с сумкой остался ждать и, поставив сумочку на порог, стал свертывать папироску.

Шедшая по другой стороне улицы старушка с веревочной сеткой, в которой у нее болталось несколько морковок, увидев стоявшего перед магазином человека, вдруг остановилась, посмотрела на вывеску, потом по сторонам на другие вывески и торопливо, точно боясь, как бы ее не опередили, перебежала через улицу. Присмотревшись из-под руки на человека, стоявшего у магазина, она пристроилась стоять сзади него с своей морковью.

— Давно стоишь, батюшка?

— Нет, сейчас только пришел,— ответил неохотно и недовольно мужчина.

Старушка хотела еще что-то спросить, но только посмотрела и не решилась.

— О, господи, батюшка, вот до чего довели, ничего-то нигде нету. Бегаешь, бегаешь от одной очереди к другой. Вчера шла так-то мимо одной, не стала, а там, говорят, мыло выдавали. Сейчас уж бегом бежала.

— Теперь становись, не зевай,— сказал какой-то старичок с трубкой, подошедший вслед за старушкой.

— Вот то-то и дело-то... Вишь, двух минут не простояли, а уж трое набежали. Вот и четвертый.

— Теперь пойдут.

— Что выдавать-то будут?

— Сами еще не знаем.

— Что-нибудь выдадут. Зря не стали бы народ собирать.

Прибежала какая-то растрепанная женщина с мешком из дома напротив. Она хотела было занять пятое место, но проходившие мимо двое мужчин опередили ее.

— Набирается народ-то...

— Наберутся... вчерась около нашей лавки до самого бульвару протянулись. Последним даже товару не хватило.

— Вот из-за этого-то больше всего и боишься.

— На что очередь? — спросила запыхавшись, полная дама в шляпе.

На нее недоброжелательно посмотрели. Никто ничего не ответил.

— А ты, матушка, становись лучше, а то покуда будешь расспрашивать, другие заместо тебя станут, а под конец попадешь, и не достанется ничего.

— Спрашивает, ровно начальство какое...— проворчала про себя растрепанная женщина,— люди раньше пришли — молчат, а этой сейчас объявляй.

— Вот видишь, я и правду говорил,— заметил старичок, когда вслед за дамой встали еще три человека.

Пришедший раньше всех мужчина с сумкой оглянулся на выстроившихся сзади него и спросил:

— На что стоите-то? Что выдавать-то будут?

— Бог ее знает,— ответил старичок,— там объявят.

Мужчина с сумкой посмотрел на старичка, ничего не сказал и, повернувшись, приложился к замочной щелке и посмотрел внутрь магазина.

— Вот это так — «сейчас»,— сказал он сам с собой, посмотрев на часы,— уж двадцать минут прошло.

— Теперь, батюшка, везде так-то долго.

— Что вы весь тротуар-то загородили,— через вас, что ли, ходить,— кричали прохожие, набежав на очередь, и озадаченно останавливались.

— А куда ж нам деваться?

— Куда... по стенке становись, а то, вишь, всю улицу заняли.

— О, господи, батюшка, и откуда ж это столько народу берется?

— Прямо как чутье какое.

— Один узнал, а за ним и все идут,— сказал старичок.

— Какие это умники выдумали. Бывало, пошел купил, что надо, и никаких. А теперь стоим, а зачем стоим, неизвестно. Когда отопрут, тоже никто не знает.

— Ай спросить пойтить.

— От этого скорей не будет.

— Нет, ежели надоедать начнут, все, может, поскорей повернутся.

— Раз в какой час положено, в такой и отпирать будут.

— А в какой положено-то?

— Я почем знаю, что ты ко мне пристал?

— Эй, ты, дядя передний, спроси-ка, когда отпускать нас начнут, у самой двери ведь стоишь.

— Мне-то какое дело,— сказал тот угрюмо,— вам нужно, вы и спрашивайте.

— Вот черти-то, для себя не могут постараться. Будет стоять два часа, а пойтить спросить толком — силком не прогонишь. А ведь раньше всех приперся.

— Что ж, ему бы только пораньше местечко захватить.

— И чего, окаянные, в самом деле измываются над народом, соберут с утра, а выдавать к обеду начинают.

— Не напирайте там, что вы очередь-то спутали, теперь и неизвестно, где кто стоял.

— Нарочно путают. Ведь теперь задние наперед пролезут.

— Списки бы надо делать или еще как. А то, вишь, народа набилось сколько, разве уследишь, кто где стоял. Раз знают, что народа в этом месте много, значит надо списки какие-нибудь или еще как.

Подбежала какая-то запыхавшаяся женщина, вся исписанная меловыми цифрами: на спине стояла большая цифра пять, а на груди и на рукавах другие цифры.

На нее все молча посмотрели. Только барыня посторонилась и, отряхнув рукав, сказала: «Пожалуйста, не прислоняйтесь».

— Не начинали еще выдавать? — спросила женщина.

— Нет...

— А вы что ж немеченные стоите?

— Нет.

— Новый магазин значит. Мы сначала тоже путались, до драк доходило. А теперь заведующий прямо выходит и подряд на всех проставляет. В одной очереди пометили, в другую идешь.

— Сейчас устроим,— сказал какой-то здоровенный малый, вынув из кармана штанов кусок мелу.— Без заведующего управимся.

— Спасибо, умный человек нашелся. Покрупней, батюшка, ставь.

— В лучшем виде будет; получай,— сказал малый, выводя у старухи во всю спину цифру 20.

— Сразу дело веселей пошло.

— Как же можно, порядок.

— Что ж это тебе размалевали-то так? — спросил старичок у женщины с цифрами.

— Это у меня на сахар, пятнадцатым номером иду, это на керосин десятый вышел, это на мануфактуру...— говорила женщина, глядя себе на грудь и водя по цифрам пальцем.— Господи, как бы по этому номеру не пропустить.

— Ну, где ж тебе написать, когда на тебе живого места нету,— сказал малый, подходя с мелом к женщине.

— А на спине, батюшка, местечка не осталось?

— Спина — свободная.

— Ну пиши, родимый, там.

— Если бы заведующие-то были с головами,— сказала дама в шляпе,— распределили бы как-нибудь по алфавиту, каждый бы свое время и знал, не метили бы, как арестантов, мелом и не стояли бы целыми часами.

— Опять не понравилось,— сказала растрепанная женщина, подставляя свою спину малому и недоброжелательно из-под низу выглядывая на даму в шляпе.

— Ждать не привыкли,— сказал из толпы насмешливый голос.

— Тут в одной кофтенке стоишь, жмешься, и то ничего не говоришь, а она целый магазин на себя напялила и то уж ножки простудила.

— Куда вы, черт вас... Дугой на середку улицы выперли... Отвечай за вас! — крикнул солдат с ружьем.— Так вот прикладом и поддам. На что стоите-то? — спросил он, посмотрев на вывеску магазина.

Все только молча испуганно оглянулись на него. Никто ничего не ответил.

— Языки проглотили. По стенке становись.

— О, господи, батюшка!

— Кабы народ-то был распорядительный, сейчас пошли бы, расспросили толком, когда отопрут, что выдавать будут, и не стояли бы зря целый час.

— Да, порядка нету. И за что, черти, мотают, мотают народ, нынче в одном месте выдают, завтра в другом. Я что-то никогда и не видал, чтобы тут выдавали. Там музыка какая-то стоит.

— Они этим не стесняются.

— Что за черт, провалился, что ли, в самом деле,— сказал передний мужчина с сумкой и постучал в дверь.

— Сейчас, сейчас,— послышался голос из магазина.

— Осенило, наконец,— сказали сзади из толпы,— целый час простоял, прежде чем постучать догадался.

— Это еще милость, мы вчера шесть часов так-то стояли,— сказал старичок с трубкой.

— Отпирают. Номера гляди. Женщина, куда полезла!

— Черт ее разберет, она вся размалевана.

— Да куда ж вы прете-то. Цифры эти по пол-аршину накрасили, обрадовались, как прислонится, так и отпечатается. Наказание.

Дверь открылась и все, забыв про номера, сплошной лавиной двинулись к дверям. А передние, оттолкнув мужчину с сумкой, ворвались в магазин, где человек в кожаной куртке чистил пианино.

— Чтой-то?.. Куда вы, ай очумели!..

— Проходи, проходи в середку, там скорей до дела доберешься.

Но человек в кожаной куртке уперся коленом в живот дамы в шляпе и вытеснил всех назад.

— Чумовой какой-то народ стал,— сказал он, выйдя из магазина к роптавшей толпе. Он запер на замок магазин и пошел по улице с дожидавшимся его человеком.

— Куда это они?..

— Эй, куда пошли-то? Что вы, смеетесь, что ли?

— А вы чего тут выстроились? Обалдели.

— Вот мучают, проклятые, народ, да, на пойди,— сказала растрепанная женщина.— Час целый постояли, все номера проставили, а они вышли и, как ни в чем не бывало, пошли себе.

— Народ нераспорядительный. Тут бы с самого начала пойтить и толком расспросить, почему держат народ, когда отпускать начнут.

— А то час целый простояли, вымазались все, как оглашенные, а они вильнули хвостом и до свиданья.

— Это еще милость, час-то,— сказал старичок,— мы вчерась в одном месте целых шесть простояли.

КОЗЯВКИ

На верхней слободе в трех семьях заболело сразу несколько человек. Совет послал в город за доктором, а домашние заболевших за коновалом, который никогда не отказывался от практики и не затруднялся никакими болезнями, будь его пациент лошадь или человек.

Двое больных оказались в семье портного. На завалинке его избы сидели — он сам, старушка Марковна и печник, когда пришел коновал.

С заросшей до глаз седой бородой, с кожаной сумочкой на поясе, на которой было изображение лошади из белого металла, весь обвешанный какими-то ремнями, коновал прошел молча и мрачно мимо сидевших прямо в избу, не поздоровавшись ни с кем.

Портной пошел за ним.

— Вот в городе один доктор на человека, другой на лошадь, третий еще на что-нибудь, а наш Петр Степаныч не разбирает — и лошадей, и людей, всех валяет.

— Молодчина.

— Голова очень работает. И строг.

— Без этого нельзя. Ежели доктора не бояться, это уж последнее дело,— сказал печник.

В избе портного лежало двое в жару. Коновал подошел к ним и несколько времени строго смотрел на них. Портной несмело выглядывал из-за его плеча.

Коновал бросил смотреть на больных и недовольно, подозрительно обвел взглядом стены. Они были только что выбелены, в избе было подметено.

— Когда белили? — спросил коновал, поведя заросшей шеей в сторону хозяина.

— Вчерась побелили.

— Зачем это?

— Почище чтоб было.

— Что — почище?

— Да, вообще, чтобы... Доктор в прошлом годе говорил, чтоб первое дело — чистота.

— Уж нанюхались... Чистотой, брат, не вылечишь.

— Вылечишь не вылечишь, а приостановить...— сказал несмело портной,— чтобы *эти* не разводились.

— Кто *эти*?

— Кто... Что от болезни разводятся.

Коновал только посмотрел с минуту на хозяина, ничего не сказал и, отвернувшись, стал на столе раскладывать свои лекарства, доставая их из кожаной сумочки.

— Что ж, лекарство-то одно и то же, что вчерась корове давали, Петр Степаныч? — спросил портной.

— А тебе какого ж еще захотелось?

Лечебные средства у него одни и те же; что для лошадей, то и для людей. Поэтому, если лошади молчат при его лечении, то люди кричат не своим голосом или лезут на стены; при разных болезнях одни и те же средства. Но чем болезнь сильнее, тем доза больше. Причем если со здоровыми он суров, то к больному подходит с выражением палача, у которого есть личные счеты с преступником. Пронизавши его, как следует, взглядом, коновал засучивает рукава на своих узловатых жилистых руках и принимается мазать мазью. А когда больной начинает пересчитывать всех святых и поминать родителей, коновал отойдет, опустит засученные руки, посмотрит на него и скажет: — Взяло... Кричи, кричи больше, с криком боль выходит.

Докторов он ненавидит какою-то острой ненавистью, смешанной с презрением, во-первых, как конкурентов по практике, во-вторых, как явных и наглых обманщиков.

Вдруг сидевшие на завалинке прислушались: из избы послышался крик и причитания, как будто у кого-то добрались до живого места.

— Взяло...— сказал печник, послушав еще немного.— Сейчас должно выйти. Скажи, пожалуйста, как дерет, словно шкуру с него спущают.

— А ведь уж без памяти совсем лежал и голоса не подавал.

— Тут, брат, мертвый в память придет.

— Да, уж этот работает без обману.

Из избы вышел портной и, махнув рукой, сел на завалинку.

— Не приведи бог,— сказал он,— болеть плохо, а уж лечиться вовсе — другу и недругу закажешь.

Через минуту вышел и коновал. Но не как врач, окончив лечение, выходит, чтобы успокоить родственников, а как строгий обвинитель. В руках у него был какой-то пузырек с больничным ярлыком.

— Это что у тебя? — спросил он у портного.

— Да это так... Прошлый раз в город ездил, в больнице дали.

— Что ж, там всем дают, кто и не просит? — спросил иронически коновал.

— Нет, да ведь как сказать-то... все думается.

Коновал ничего не сказал, только поболтал лекарство, посмотрел его на свет и забросил далеко в крапиву.

— Теперь думаться не будет,— сказал печник. И прибавил: — Это верно, что доктора не могут, фасон один.

Коновал долго молчал, потом сказал нехотя:

— Какие доктора... Есть доктора, которые помогают. А только теперь их нету. Одно жулье да шантрапа осталась. Нешто он тебя может понимать? У этих, как чуть что — за чистотой смотреть или хуже того — в стекла рассматривать.

— Отвод глаз,— сказал печник, набивая трубку.

— Чистоту соблюдают, чтобы э т и не разводились,— сказал нерешительно портной.

Коновала даже передернуло, как будто дотронулись до больного зуба:

— Кто э т и?

— Козявки,— сказал портной.— У каждой болезни свои козявки.

Коновал плюнул и стал мрачно себе набивать трубку. Этим дуракам, что ни скажи — все ладно. Вот и ломают


Смирнов Н.

перед ними комедию: ручки помоют, фартучек наденут и про козявок наговорят с три короба.

— Насчет чистоты это верно,— сказал печник, улыбнувшись, и покачал головой.— Был я в городе в больнице, рассадил себе на базаре руку вилами. Пошел... Так они — первое дело — мыть. Один раз вымоет, ваткой оботрет, потом опять давай сначала.

— А себе руки мыл? — спросил коновал.

— Мыл, мыл, как же. И перед этим и после этого,— сказал печник,— ровно ты не человек, а обезьян какой-нибудь.

— Ну, вот. Прежде лечили — очков этих не втирали. Бывало, фершел Иван Спиридонович,— с боком или поясницей придешь к нему,— так он рук мыть не станет или ваткой обтирать, а глянет на тебя, как следует, что мороз по коже пройдет, и сейчас же, не говоря худого слова,— мазать. Суток двое откричишься и здоров. А ежели рано кричать перестал, опять снова мазать.

— Здорово драло?

— Здорово...— неохотно отозвался коновал,— ежели бы такого вот стрикулиста, что теперь в городской больнице орудует, промазать как следует, двух дней бы не выжил. Уж на что мы крепки были, а и то...

— Да, это здорово.

— Прежде денег даром не брали.

— А вот глухой у нас был,— сказал печник,— вот работал-то страсть. Не слыхал ни черта. Это что ты ему там про свою болезнь говоришь,— как в стену горох. Да он, если бы и слышал, так все равно бы слушать не стал. У него своя линия. Все, бывало, шепчет что-то. И столько ж он всякой чертовщины знал, заговоров этих! Ты что-нибудь ему поперек дороги пошел, а там, глядишь, по всей деревне червяк сел на капусту или саранча полетела. Бывало, молебнов двадцать выдуем всей деревней, покамест остановим. Либо выйдет ночью за околицу, шепчет что-то, а наутро лихоманка начинает всех трясти. Вот какие люди были.

— Да, не осталось уж такого народу,— сказала со вздохом старушка Марковна.

— Верить перестали.

— В одно верить перестали, их на другом поймали,— отозвался коновал.— Им бы теперь только чтобы все по-ученому было, а что там в середке, об этом разговору нет. Заместо лекарства капсульки какие-то пошли. Хоть ты их горстями глотай,— ничего не почувствуешь.

— Верно, верно,— сказал печник.— Да вот далеко ходить незачем: моя старуха намедни пошла в больницу, ей там каких-то каточков дали. Так, маленькие — с горошину. Разгрызешь его, а там вроде как зола с чем-то.

— Небось все поела? — спросил, покосившись, коновал.

Печник осекся.

— Нет, штуки три съела и выбросила. Ни шута толку. «Лучше бы,— говорит,— я к Петру Степанычу добежала».

— А отчего же не добежала? На чистоту позарилась?

— Нет, побоялась, от мази кричать дюже будет.

— Нежны очень стали. Хочут, чтоб я лечил и чтоб без крику обходилось. Через что у тебя болезнь-то будет выходить, коли ты кричать не будешь? Об этом ты не подумал?

— Да, это хоть правильно...

— То-то вот — правильно. Покамест с тобой говоришь, у тебя правильно, а как отвернулся, так опять черт ее что. За больницу кто руку в совете тянул?

— Да это что ж, не я один, там все поднимали,— сказал печник.

— Значит, и все дураки непонимающие. Прежде ребят крапивой драли до самой свадьбы, а теперь они над вами командуют. Оттого у вас и козявки разводятся. Прежде об них и слуху не было. А как только вот эти стрикулисты в фартучках да в очках появились, так и козявки откуда-то взялись. Фартучки да очки есть, а лекарства настоящего нету. Прежде какие мази были! Человека с ног валили, а не то что козявок. А теперешние и козявки не свалят. Какое же это лекарство, когда в нем силы нету? А уж туману, туману...

— Уж это покуда некуда,— сказал печник.— Намедни кузнец ходил в больницу, кашлял дюже. Пришел. «Плюнь»,— говорят; «хорошо, отчего же, можно»,— плюнул. А они потом давай в стекла рассматривать.

— Козявок искали,— негромко сказал портной.

Коновал подавился дымом.

Все некоторое время молчали.

Потом портной спросил:

— Ну, а насчет наших как, Петр Степаныч, поправятся?

Коновал в это время выколачивал о бревно трубку; выколотив и почистив ее гвоздиком, он сказал:

— Как кричать кончут, тогда еще приди.

ВРЕДНАЯ ШТУКА

Около шалаша в бывшем помещичьем саду сидели мужики, арендаторы нынешнего урожая, и варили себе кашу с салом в закопченном котелке, висевшем в ямке над огоньком.

— Новым хозяевам мое почтенье! — сказал проходивший по дороге мужичок с палочкой, останавливаясь и снимая лохматую шапку.

Все тоже сняли шапки.

— Что, в собственность к вам отошел? — спросил прохожий, кивнув головой на сад и садясь на перевернутый яблочный ящик.

— Нет, в аренду взяли,— отвечал мужичок, набивавший трубочку.

— Собственность эту теперь прикончили,— сказал другой, сидя на корточках перед котелком с ложкой наготове, чтобы снять накипающую пену, когда начнет уходить через край.

— Довольно, побаловались. Вишь, черти, огородились. Бывало, только ходишь да поглядываешь на него, на сад-то. Сторожей сколько нагнато было. Все боялись, как бы кто яблочком не попользовался. А то они обеднеют от этого.

— Жадность. Не хочется из рук соринки одной упустить.

— Да, держались крепко,— проговорил мужичок с трубочкой. Он закурил от уголька и, сплюнув в огонь, утер рот рукой, в которой держал трубку.— Бывало, за лето человек десять в волость сволокут. Собаки какие были,— по проволоке бегали. А он себе выйдет, прогуляется с папироской и опять пошел газету читать. Спокойно жили.

— Потому священно и неприкосновенно...— проговорил молодой малый, сидевший босиком на обрубке и чинивший рубаху.

— Теперь эту неприкосновенность-то здорово тряхнули.

— Да... вредная штука. Ведь вот, братец ты мой,— сказал мужичок с ложкой,— пока у человека ничего нету, он тебе все понимает, к чужому горю отзывчив, из-за копейки не трясется. А как сюда попало, так кончено дело.

— Это верно. У кого два гроша в кармане, тот не задумается половину отдать. А у кого две тысячи, тот ско-



рей удавится, чем тебе десятую долю отдаст. Намедни кум просит рублевку, а у меня у самого две. Что ж, дал... А попроси у богатого...

— Да, штука вредная, это что и говорить. И до чего человека она портит... пока бедный — хорош, а как собственностью обзавелся, набил карман — он хуже собаки.

— Верно, верно.

Все помолчали.

— А яблочек-то порядочно...— сказал прохожий, поводив глазами по деревьям.

— Яблоки есть...

— Мужики-то вас не обижают? Не трясут?

— Нет, малость... у него не обтрясешь,— отвечал мужик с трубкой, кивнув на малого, чинившего рубаху.

— Ядовит, значит? — спросил прохожий, улыбнувшись и подмигнув на малого.

— Ядовит не ядовит, а за свое кишки выпущу,— сказал малый, кончив рубаху и встряхивая ее.

Он встал от костра, потянулся, но вдруг, не докончив движения, быстро присел и посмотрел под яблони в сторону забора. Потом, не говоря ни слова, бросился в шалаш, выхватил оттуда ружье и понесся босиком куда-то по траве, пригибаясь под ветки.

— Ай-яй-яй! Держи!

Затем раздался выстрел и испуганный крик бабы на деревне:

— Чтобы вам подохнуть, сволочи! В малого из ружья стреляют! А! Что ж это делается!

— Ух, и лют! — сказал, улыбнувшись и покачав головой, мужичок, варивший кашу.— Ну, что, попал? — спросил он, когда малый вернулся и повесил ружье в шалаше на сучок.

— На бегу стрелял,— ответил тот мрачно,— выше взяло.

После тревоги разговор возобновился.

— Эх, ежели бы господь дал — ни граду бы не было, ни бури,— уж и сгребли бы денежек, мать твою!.. Прямо бы из нищих капиталистами изделались. Мы бы тогда показали...

— Да деньжонок сгребете,— заметил прохожий, опять посмотрев на яблони.

— Сами того не ждали. Обчество нам с весны за пустяк отдало, думало, что урожая не будет, а она потом как полезла, матушка, из-под листьев, как полезла!.. Они уж теперь кричат, что мало с нас взяли.

— Глядели бы раньше. Шиш теперь с нас возьмешь,— сказал мужик с трубкой, сплюнув в огонь.

— А как силком заставят?

— Попробуй, заставь,— угрюмо сказал малый,— я уж тогда ружье не горохом буду заряжать... да еще спалю их всех, сукиных детей.

— Были бы деньги,— с деньгами все можно сделать, сунул председателю, вот и ладно. Деньги и виноватого правым сделают. Главное дело, штука хорошая: вот лето посидим, похлебку помешаем, а там по 2 рубля за меру будем гладить.

— Еще больше возьмете,— сказал прохожий.

— О!.. Ну, по четыре.

— По-питерскому?

— Безразлично...

— Нет, не безразлично,— сказал малый,— надо еще в городе узнать, почем там будут. По четыре еще в прошедшем году торговали.

— О?.. Ну, по шесть.

— Денег — уйма...

На дорожке в глубине сада показался какой-то человек. Все замолчали. А малый сделал движение к шалашу за ружьем. Но потом остановился. Это оказался мужичок в рваном кафтанишке. Он шел и, прикрывая рукой глаза от солнца, приглядывался к яблокам.

— Эй, ты чево там шляешься? Что тебе надо? — крикнул на него малый.

— Мне, батюшка, на луг тут поближе где-нибудь пройтить,— ответил мужичок, остановившись и не сразу поняв, откуда ему кричат.

— Проходи, проходи, да в другой раз не попадайся... Вишь черти,— на луг ему пройтить. Он пройдет, а на утро — глядишь, яблоня обтрясена.

— Вот из-за этого не дай бог,— сказал мужичок, варивший кашу; он, сморщившись, попробовал с ложки горячей жижи и, выплеснув остатки на траву, продолжал: — из-за этого и, не дай бог, ночи не спишь, а днем только и знаешь, что по сторонам смотришь да всего боишься: то, думаешь, как бы град не пошел да мальчишки не забрались. Он, может, и украдет-то всего десяток, а у тебя все сердце перевертывается, удавить его готов.

— За свое всегда так-то трясешься,— сказал прохожий, постукивая палочкой по лаптю.— Иначе и нельзя. Потому ты сидишь, вот, пот льешь, а другой спины не гнул, поту не лил, а придет и сграбастает.

— А у самих, у окаянных, руки отсохли — посадить яблоню или, скажем, сливу. Ведь дело нехитрое: сунул в землю прививок, глядишь, через три года на нем уж яблоки. А то все готовое да чужое подцапать.

— А оттого, что все потакают. Стащишь его в волость, сутки там продержат и отпускают,— его бы сукина сына в остроге сгноить, чтобы к чужому рук не протягивал,— сказал мужик с трубочкой.

— А вот подойдет съемка,— продолжал кашевар,— ведь сколько эти черти окаянные пожрут! Он налопается, это мало, да еще пойдет надкусывать да бросать.

— А там еще всякие кумовья будут приходить. Тому дай, другому дай, пропади они пропадом. У тебя, говорит, много. Из чужих рук всегда много кажется. У, сволочи, чтоб они подохли, господи, батюшка, прости мое согрешение.

— Теперь чем ближе к съемке, тем хуже,— сказал мужик с трубочкой.— Забор плоховат. При помещике, конечно, народ не такой разбойник был, а теперь нешто так надо огораживать? Вот капиталу нету. Мы уж гвоздей набили. Все какой-нибудь брюхо распорет, тогда другой раз не полезет.

— Да и собак хороших надо бы достать. Вот кабы таких раздобыть, как прежнего барина, вот тут и кумовья бы задумались в сад иттить яблок просить.

— Собака родства не знает,— отозвался прохожий, подмигнув.

— Пустить бы на проволоке через весь сад да в голоде держать, чтобы лютей зверя были,— вот бы тогда...— говорил кашевар с мечтательной улыбкой, грозя кулаком в пространство.

— Первый сорт был бы... Ну, прощевайте пока,— сказал прохожий и пошел.

Сначала около шалаша было тихо. Потом послышался крик:

— Ай-яй-яй, держи!..

За криком выстрел и бабий голос:

— Злодеи! Ироды! Когда на вас чума, на окаянных, придет, чтоб вы околели!

И голос малого:

— Все кишки вам, дьяволам, выпотрошу. Охотники на чужое лезть.

А потом уже около шалаша:

— На бегу стрелял — ниже взяло...

ЛЮБОВЬ

I

Венчаться они решили, как только продадут старинные канделябры и венецианские стаканы, которые были единственным приданым невесты.

Они оба происходили из честных буржуазных семей. Она, со своими большими детскими глазами, была наивна и чиста душой, и в ее маленькой золотистой головке остались в неприкосновенности все предрассудки предков. Каждое утро и вечер она горячо молилась у своей белой девичьей постельки и боялась всяких грехов.

А он гордился тем, что сбросил все это с себя, ходил в высоких сапогах и косоворотке, говорил развязно грубым тоном и, казалось, делал все то, чтобы не походить на людей той среды, из которой он вышел. Но он не был энтузиастом. Несмотря на свои двадцать лет, он был трезв, положителен и практичен.

Трудно сказать, что их соединило. Может быть, привычка детства, может быть, ее беззаветное обожание его, как сильного человека, и в то же время жертвенное желание спасти его огрубевшую, безбожную душу.

А может быть, то, что она — слабая, наивная, беспомощная во всем — была исключительно тверда в одном — в сохранении своей невинности.

Она поставила своему жениху условие, что будет ему принадлежать только после свадьбы. Эта нелепая идея так прочно обосновалась в ее хорошенькой, завитой головке, что выбить ее оттуда нельзя было никакими доводами. Он пробовал уходить от нее. Она убегала в сад, ходила там с опухшими от слез глазами, но все-таки оставалась при своем.

Это случается довольно часто, что у маленьких и наивных женщин воля бывает тверже, чем у больших и сильных на вид мужчин.

— Ты не любишь меня,— говорил раздраженно жених,— это для меня совершенно ясно.

— Милый, как тебе не грех,— говорила она, сжимая руки на груди, как у детей на картинках во время молитвы.— Но ты знаешь, что любовь для меня, это такое высокое, такое...

— Э, ерунда!..

Они приехали в Москву, захватив с собой канделябры

и стаканы. Их скромной, но заветной мечтой было — получить за них двадцать червонцев.

Жених остановился у своих родственников, невеста — у своей подруги.

II

В первое утро жених пошел продавать канделябры. Главную надежду они возлагали оба на клеймо, которое было на их товаре: герб прежнего владельца, указывавший на древность и аристократичность вещей.

Причем он имел в виду древность, а она — аристократичность.

В первые два дня продать не удалось. Оказалось, что это знаменитое клеймо, на которое они так надеялись, служило главным препятствием.

«Корона и крест не по времени, да еще подумают, что краденое».

Она вернулась от подруги чем-то озадаченная и все время была задумчива и сосредоточена.

— Поедем отсюда...— сказала она наконец.

Жених удивился.

— Куда? Зачем?

— Я ничего здесь не понимаю... Я не узнаю Мариэтт. Она была такая скромная, религиозная... Неужели так можно измениться? Она служит, живет одна, как мужчина. Для нее ничего не стоит... изменить... или, как это сказать, когда она свободна и изменять некому? Ну, понимаешь?.. И для нее никакой святости в этом, никакого греха...

— Ведь это только ты так смотришь на вещи, словно не в двадцатом, а в шестнадцатом веке живешь, считаешься моей невестой и до сих пор не принадлежишь мне,— с досадой сказал жених.

Но девушка, сидя на диване, поглощенная своей мыслью, которая, казалось, придавила ее своей неразрешимостью, сказала:

— Ты представь, она недавно встретилась в трамвае с каким-то незнакомым мужчиной, и у нее там с ним произошло что-то вроде романа, т. е. не произошло, а началось. А потом он пришел к ней. И она рассказывает об этом как о чем-то веселом и интересном.

— Молодец! Живет самостоятельно и весело,— сказал молодой человек, пожав плечами.

— Но, милый мой, не только весело, а и... понимаешь?.. И при этом нет никакого чувства священного в этом, нет даже любви и нет ревности. Это ужас!

— Теперь не шестнадцатый век и никакого ужаса в этом нет.

Но девушка не слушала.

— Он пришел при мне и поцеловал ее. Потом пришла ее подруга, он поцеловал и ее, точно они просто друзья и товарищи, и в этом для них нет ни страшного, ни неловкого. Я спрашиваю ее: «Что же, он жених твой?» Она говорит: «Нет, не жених,— разве для этого непременно нужно быть женихом?»

— Ты немножко смешна со своим ужасом.

— Милый, я хочу сказать, что все стало просто и ничего не осталось священного в этих отношениях.

— Э, да какое там священное! Физиологический процесс — и только. Если бы ты на это смотрела так же просто, было бы гораздо лучше, а то...

— Ах, милый мой, как мне доказать, что я люблю тебя? Но люблю не так, как тебе хочется, а готова чем угодно для тебя пожертвовать.

— Неужели ты совсем ничего не чувствуешь, когда я с тобой сижу вот так близко?..

Она испуганно отодвинулась.

Она была настолько целомудренна, что всегда обрывала такие разговоры и переводила их на другое. У нее даже не было любопытства в этой области, свойственного ее возрасту. И то, что она сейчас говорила об этих вещах, указывало на то, как сильно повлиял на ее воображение образ жизни ее подруги.

— Милый, лучше поедем отсюда,— только сказала она и содрогнулась спиной, точно от какой-то неприятной мысли.

— Сначала надо продать.

III

— Ну, что же, не продал еще? — спросила она, придя от подруги на следующий день.

— Да нет! Все из-за проклятого клейма никто не берет.

— Боже мой, как досадно. И тебя мне бедного жаль, каждый день ходишь, мучаешься. И... так долго ждешь меня.

— Придется уехать,— сказал жених.

Она несколько времени молчала, потом нерешительно проговорила:

— Нет, зачем же уезжать, надо еще подождать. Может быть, найдется покупатель.

Она некоторое время походила по комнате, кусая ноготки своих прозрачных пальчиков, потом остановилась перед женихом, как бы желая ему что-то рассказать и не решаясь.

— Я хочу у тебя спросить одну вещь...— сказала она наконец.

— Что именно?

— Меня интересует и мучает один вопрос... Вчера там было что-то вроде пирушки. Было несколько человек — ее подруга с мужем и еще там... Много пили. Потом лежали все на ковре около камина... Я не могу понять, что можно испытывать, когда до тебя дотрагивается посторонний мужчина?.. Мне ужасно интересно понять, что они чувствуют? Я вчера забилась в уголок и оттуда смотрела на них. Мне очень стыдно, но... можно спросить у тебя одну вещь?

— Конечно, можно,— сказал жених,— слава богу, пора бросить эти церемонии.

— Вот что... нет, не могу. Значит, я такая глупая. Но все равно, так и быть... Ведь прежде девушка страшно берегла... как это сказать?.. Ну, вот то, что я берегу. А теперь они относятся к этому совершенно безразлично. Неужели теперь вам, мужчинам, это не дорого?

Жених посмотрел на нее и сказал:

— Можно говорить откровенно? Вполне откровенно?

— Конечно, милый. Я затем и спрашиваю,— ответила она, покраснев.

— Ну, так вот: теперь мужчина это не ценит. И, конечно, не сделает никакой трагедии, если окажется, что девушка жила с кем-нибудь до него.

— Какое ужасное слово «жила»,— сказала она, содрогнувшись плечами.— Но почему же, почему?

Жених пожал плечами.

— Развитие другое... Ну, я не знаю, почему.

— Ужасно странно. Мне так стыдно говорить с тобой об этом, но мне страшно интересно. Но что меня удивляет,— я сама стала воспринимать это с меньшим ужасом. Точно привыкла. Я думала, что им будет стыдно после этой пирушки. Но когда я, уходя сюда, спросила Мариэтт, как она себя чувствует, она сказала, что прекрасно,

Ведь так свободно жили прежде только известные женщины...

— И все мужчины,— прибавил жених.— Что ж удивительного: эти женщины, в силу экономических причин, раньше других женщин стали свободными, а теперь все женщины свободны, и потому могут жить, как хотят.

— Свободными?..— машинально повторила девушка, глядя на жениха взглядом, в котором видна была поглощавшая все ее маленькое существо какая-то новая мысль.— А что я хочу у тебя спросить... Ревность всегда есть у мужчин или ее может и не быть, когда есть развитие, как ты говоришь?

— А что?

— Вчера на этой пирушке была одна молодая пара, подруга с мужем, и они, кажется... совсем не ревновали друг друга. Жена сидела на ковре очень близко с другим мужчиной, и муж — ничего...

— Но он тоже, вероятно, не один сидел?

— Вот в том-то и странность!.. Ведь есть же у них любовь друг к другу, как же они... с другими так держат себя, да еще на глазах друг у друга?..

— Опять могу повторить тебе, что никакой таинственной и высокой любви не бывает, а есть просто физиологический процесс. А кроме того, затем и пьют.

— Физиологический процесс? А когда пьют, то все кажется по-другому. Ты тоже это испытал?

— Что же тут необыкновенного?

— Как мерзко! Как тебе не стыдно,— сказала она и заплакала слезами обиженного ребенка,— такое высокое чувство любовь, и ты так...

— Любовь, любовь...— сказал с раздражением молодой человек,— вот они, твои подруги, знают, что такое любовь, а тебе никогда ее не узнать. Ну, что ты все от меня отстраняешься, точно я тебе противен!

— Милый мой, я не знаю, почему... Это совершенно безотчетно... ты не думай...

Она торопливо вытерла слезы, покорно села на диван, с которого было испуганно вскочила, и, вздохнув, сказала:

— Вот этот их знакомый... Он сел на диван, обнял их, Мариэтт и ее подругу, и сидел с ними так, они — ничего. А я не могу. Может быть, к этому надо стараться привыкнуть?

— Просто надо иначе смотреть на это. А не так, как смотрела твоя бабушка. А главное — хоть немного что-нибудь чувствовать.

— Чувствовать? — машинально повторила она.— А что, и они чувствуют это так же, как мужчины, или у женщины это по-другому?

Жених пожал плечами и сказал:

— Я думаю, что ощущения мужчины и женщины ничем не отличаются.

Она несколько времени смотрела на молодого человека:

— Я в глубине души много знаю...о многом думала, даже все понимаю... Ну, конечно, меньше тебя, но все-таки много, несмотря на то, что я невинна. У меня тоже бывали всякие... желания, но я не знала, что это бывает у всех и что это можно...

IV

На пятый день молодой человек был в отчаянии: канделябры все еще не были проданы. И все из-за клейма.

— Ну, как дела? — спросил, встретив его, знакомый.— Продали?

— Нет. Клеймо проклятое! Так на него надеялись, и оно же подвело.

Он пришел такой убитый, что глаза молодой девушки наполнились слезами, когда она на него смотрела, чувствуя себя бессильной помочь ему.

— Я бы все, все сделала для тебя. Милый, как я тебя люблю! И вот сейчас тебе плохо, а я от этого еще больше тебя люблю.

— Э, оставь, пожалуйста.

— Милый, ты не веришь мне? Ведь все мои мысли о тебе. Знаешь... мне только не хотелось бы тебе говорить, пока не выяснится. Я тоже им там продаю. И, может быть, тот знакомый, с которым она... встретилась в трамвае, купит. Для тебя я готова все, все сделать, только у меня масса мыслей... Вот той молодой паре, про которую я тебе говорила, что у них нет ревности, нужно переменить место, т. е. ему нужно, мужу, а этот человек, трамвайный — влиятельное лицо и, ты понимаешь, жена очень многое ему позволяет, как я заметила... и муж — ничего.

— Молодец! Вместе делают дело, только и всего.

— Главное, что это всем кажется вполне естественным.

— Смотри на это не с своей «духовной», а с физиоло-

гической точки зрения, и для тебя будет так же естественно.

Девушка задумалась, потом сказала, вздохнув:

— Ах, если бы так... А тебе приятнее было бы, если бы я иначе смотрела на вещи?

— Конечно, приятнее. Мне даже приятно, что ты, наконец, заговорила об этих вещах. В наши годы, естественно, хочется говорить о том, что имеет отношение к этой стороне жизни. Это так просто, что только ты можешь не понимать.

— Ты не жил с ними, а рассуждаешь точно так же, как они.

— Одинаковое развитие...— сказал жених, пожав плечами.

— Боже мой, как бы я хотела помочь тебе. Нет, ты не знаешь, как я тебя люблю! Не знаешь! Иногда я лежу ночью, смотрю в темноту и думаю, чем бы я могла пожертвовать?.. А вчера даже увидела во сне, что принесла тебе деньги. Как раз двадцать червонцев.

— Лучше бы наяву, чем во сне. А то из-за этого идиотского клейма и твоей глупой морали я никогда ничего не дождусь.

Она несколько времени смотрела на него, потом вдруг, точно на что-то решившись и как бы просияв, сказала:

— Нет, милый, ты дождешься. Я верю, я уверена, что канделябры будут проданы.

V

На шестой день молодой человек пришел, молча бросил на диван канделябры и, отвернувшись к окну, ничего ей не сказал.

А она стояла, смотрела на него с лучистой радостью и с выражением какой-то победы и освобождения. Потом молча вынула двадцать червонцев и подала ему.

— Что это? Откуда?

— Я продала.

— Как? Кому?.. Значит, заветная мечта исполнилась? Двадцать?

— Даже с излишком исполнилась: ведь за одни канделябры двадцать, а у нас есть еще стаканы.

— Кто же купил?

— Тот самый господин, про которого я тебе говорила.

— Несмотря на клеймо?

— Несмотря на клеймо...

— Да ты у меня золото!..

Она покраснела и, опустив глаза, сказала:

— Я, милый, решила, что мой долг — помочь тебе.

VI

— Расскажи же, как это вышло так удачно? — спросил молодой человек, когда они, счастливые, сидели в вагоне, и она уже не запрещала ему потихоньку целовать себя.

— Ну... мы сидели и пили...

— Прогресс!

— Потом все лежали на ковре у камина.

— Уже?..

— Нет, это не сразу так вышло. Ты, пожалуйста, не подумай...

— Да уж представляю себе...

— Я сказала, что ни пить, ни лежать с ними на ковре не буду, если мне не найдут покупателя на канделябры. Я все время помнила о тебе и о деле.

— Ну, а все-таки потом, когда стала пить,— оказалось не так страшно?

— Я думала только о том, что я делаю это для тебя. И чем было для меня это страшней и неприемлемей, тем большую любовь к тебе я чувствовала. Если бы это было для меня не страшно, а вполне обыкновенно, то в этом никакой жертвы не было бы. А я сказала себе, что для тебя я готова на всякую жертву. Но... правда, когда сама начинаешь делать то, что делают другие, то оказывается, все это менее страшно.

— Все страшно только в теории. Ну, а что ты чувствовала?

— Я все-таки была, милый, строга, очень строга...

— И всем портила настроение своей строгостью?

— А разве тебе было бы приятно, чтобы я была не строга? — спросила она.

— Конечно. Мне гораздо приятнее, когда ты вот такая, как сейчас.

Она испуганно отстранилась от него.

— Не надо так... ради бога. Мне кажется, я сейчас не должна быть близка к тебе...

— Почему?

— Я не знаю, как объяснить... Ну, постой, а что, если бы он... поцеловал меня!

— Что же такого, тебя от этого меньше не станет. Даже наоборот, больше.

— Как больше?

— Да так. Женщина, которая таким образом относится к этим вещам, имеет тот опыт и то содержание, которого не имеет такая, например, щепетильная девушка, как ты. Она, в сущности, бережет физиологию в ущерб душевной сложности, которую она могла бы иметь от соприкосновения с мужчинами.

— Слава богу, слава богу, что ты так думаешь. Я нарочно сначала спросила тебя. Если бы ты ответил иначе, я бы ни за что не решилась рассказать тебе, что я перечувствовала. Боже, как все запутано и непонятно,— прибавила она, смущенно краснея и как бы не замечая руки жениха, которой тот обнимал ее за талию и тихонько прижимал к себе.

И так как, когда она говорила, то становилась доступнее,— как бы всецело поглощенная своей мыслью или новыми, неизвестными ей прежде ощущениями,— молодой человек сказал поспешно, очевидно, более занятый своей рукой, чем ее словами:

— Конечно, расскажи, мне очень интересно, что ты чувствовала.

— Совсем? Совсем? Все?

— Конечно, чего стесняться! Каждому человеку все свойственно чувствовать и ничего в этом позорного или неприличного нет. Факт. А факта не изменишь.

— Меня очень поразило то, что ты сказал: «Тебя от этого меньше не станет». И, конечно, теперь я вижу, что это так. Все это вздор в сравнении с настоящим чувством, какое у меня к тебе есть. Оно только увеличилось...

— И ты стала заметно добрее...

— Нет, милый, милый... не надо так... Я сейчас тебе расскажу.

VII

Она торопливо уселась поудобнее на лавке и, набрав дыхание, как перед чем-то решительным, сказала:

— Ну, вот... когда мы сидели на ковре, я пила и у меня кружилась голова, но очень приятно. Я никогда не испытывала такого ощущения. Все как-то кружится, плывет, и так все легко и просто кажется.

— Это тебе иллюстрация к твоим понятиям о какой-то душе: выпила, и все сразу стало просто — и мораль и все.

— Да... Ну, а потом мы... нет, мне стыдно ужасно!

— Глупости, глупости,— сказал молодой человек, и точно ее признания давали ему больше прав на нее, он все ближе и теснее прижимал ее к себе.

Они сидели на последней скамейке у стены, не видные для других пассажиров. И эта уединенность еще больше увеличивала между ними ту интимность, волнующую близость, какая возникала от этого непривычного для них разговора.

— Ну, хорошо, я все расскажу... Потом мы пошли с тем знакомым в другую комнату. Он стал целовать меня. Я помнила только о нашем деле. И говорила только о канделябрах, кажется. И о клейме. Он же все твердил, что клеймо для него неважно, что он выше предрассудков. А потом я не знаю... как это случилось.

Она вдруг почувствовала что его рука, обнимавшая, сразу перестала двигаться и остановилась. Потом он вскочил.

— То есть, что случилось? — спросил он тоном, от которого у нее остановилось сердце и закололо в кончиках пальцев.

— Что?.. Милый, не думай... Я помнила только о тебе и о нашем деле...

— Что он потом с тобой делал?!

И в его глазах, которые были видны в тусклом свете дрожащей вагонной свечи из фонаря, она уловила что-то жестокое, злое и чуждое

— Я не знаю, милый... я не поняла... Я все хотела его остановить, и никак не могла найти момента и боялась, что он откажется от канделябров. Я думала, что для тебя это почти все равно, а это даст нам наконец счастье. Сама же я готова была пожертвовать для тебя всем. Я так боролась с собой, так страдала, прежде чем убедить себя, что это предрассудок, что я должна побороть себя.

Молодой человек крикнул, побледнев:

— Да ты что, ошалела?!. Ты...

Он вдруг не договорил и пересел от нее далеко к окну.

VIII

Минут пять прошло в молчании. Она с тревогой и испугом смотрела на него, потом робко подошла к нему.

— Ну, милый, скажи хоть слово... Ну, что же ты?

Но тот, не отвечая, смотрел мимо ее умоляющих глаз в окно.

— Скажи же...

— Пойди к черту... Ты мне больше не нужна. Между нами все кончено.

Глаза девушки расширились от испуга и отчаяния. Она онемела.

— Милый, бог с тобой...

— Какой тут к черту бог! Оставь меня.

Он со злобой и омерзением сунул руку в карман и достал пачку червонцев.

— Вот твоя цена... ты понимаешь это? Гадость!.. Мне противно прикасаться к этой мерзости.

И он, взяв пачку денег обеими руками, сделал движение, как бы готовясь перервать пачку пополам и бросить под лавку. Но потом остановился, нервно постучал пачкой по щиколотке большого пальца и с еще большим омерзением сунул деньги обратно в карман.

Они долго молчали. Она — убитая, растоптанная, любящая, ждущая малейшего его жеста к ней; он — раздраженный, взбешенный, с гадливостью отстраняющийся от нее. От нее, к которой он всего пять минут назад так льнул.

Но, видимо, его тронул ее беспомощный, детский вид. И когда она робко, умоляюще, не сводя с него испуганных, молящих глаз, дотронулась до его рукава, он уже без злобы, а только с досадой и презрением оттолкнул ее руку.

В глазах ее блеснули слезы благодарности, и она, не решаясь касаться его открыто, села безмолвно и тихо около него, наслаждаясь теми моментами, когда его плечо от качки поезда прикасалось к ее плечу...

Когда поезд остановился, он, не оглядываясь, сказал:

— Бери свой чемодан.

И пошел вперед, совершенно не заботясь о ней, когда она, как покорная рабыня, несла за ним свой чемодан, не утирая катившихся по щекам крупных детских слез.

Идя к дому, они все время молчали в темноте. Он с поднятым воротником шагал впереди. Но видно было, что его мучил какой-то невыясненный вопрос. Наконец, он отвернул от лица воротник и, не взглянув на девушку, спросил с остывающим раздражением:

— А стаканы никому там не нужны?

Она торопливо утерла слезы и проговорила кротко:

— Стаканов я не предлагала.

ДОМ № 8

К двухэтажному дому с каменным низом и деревянным верхом подъехали на санях какие-то люди с ломами и топорами.

— По всей улице чисто Мамай прошел,— сказал один в овчинной шапке и в нагольном полушубке, оглянувшись назад вдоль улицы, на обеих сторонах которой то там, то здесь виднелись разломанные на топливо старые деревянные дома.

Приехавшие остановили лошадь и, отойдя на середину улицы, стали смотреть на дом и о чем-то совещаться.

Прохожие, посмотрев на совещавшихся, тоже останавливались, пройдя некоторое расстояние, и тоже смотрели на крышу, не понимая, в чем дело.

— Чего это они выглялись-то? — тревожно спросила женщина, выбежав в платке под ворота из сеней.

Ей ничего не ответили.

— Черт ее знает,— тут и дров-то два шиша с половиной, ведь только один верхний этаж деревянный,— сказал человек в нагольном полушубке и высморкался в сторону, сняв с руки рукавицу.

— Чего вы смотрите-то? — крикнула опять женщина беспокойно.— Вот ведь окаянные! Подъехали ни с того ни с чего и вытаращились. На крыше, что ли, что делается?..

И она, выбежав на середину улицы, тоже стала смотреть на крышу.

— Что-нибудь нашли,— сказал старичок из прохожих,— зря не станут смотреть, не такой народ.

— Крыша как крыша,— говорила женщина в недоумении,— и бельмы таращить на нее нечего.

— На наших соседей так-то смотрели, смотрели, а потом — хлоп! Да всех в Чеку.

— Очень просто.

— Да что у них, окаянных, язык, что ли, отсох? — крикнула опять женщина,— у них спрашиваешь, а они, как горох к стене, ровно ты не человек, а какой-нибудь мышь.

Приехавшие докурили папироски и еще раз с сомнением посмотрели на дом.

— Какие только головы орудуют,— сказал человек в теплом пиджаке,— живут себе люди, можно сказать, и во сне не снится, вдруг — хлоп — пожалуйте на мороз для вентиляции.

— Ну, рассуждать не наше дело. Зря делать не будут. Инженеры небось все обмозговали. Наше дело — вали да и только.

— Против этого не говорят. А я к тому, что все-таки головы дурацкие: — ведь вон рядом-то пустой стоит, разломан наполовину, а он свежий давай разворачивать. Вот к чему говорят.

— А что тебе жалко, что ли? — сказал человек в пиджаке.— Наше дело поспевай ломать, а думать пущай другие будут.

— А как же с этими быть, что живут?

— Это уж их дело.

— Да, вот какие дела,— сказал человек в нагольном полушубке и пошел к воротам, в которых, кроме женщины в платке, стояло еще человек десять жильцов.— Вот что, вы собирайтесь, а мы пока над крышей тут будем орудовать.

— Что орудовать?.. Над какой крышей?..

— Над вашей, над какой же больше.

— Я говорил, даром смотреть не будут,— сказал старичок.

— А мы-то как же, ироды! — закричала женщина.

— Об вас разговора не было. Поэтому можете свободно располагать,— сказал, подходя, человек в пиджаке.

— Да чем располагать-то?

— А без задержки можете перебираться, вам задержки никакой, и ничего вам за это не будет.

— Какой номер дома велено ломать? — крикнул человек в рваном пальто, выбежавший из дома.

— Третий номер,— ответил человек в пиджаке и посмотрел на номер дома у ворот.

— В точку попал, как есть,— проговорил старичок, тоже посмотрев на номер и покачав головой.

— В общем порядке, ввиду топливного кризиса приказано разобрать на дрова.

— А вы помещение нам приготовили?

Человек в пиджаке сначала ничего не ответил, потом, помолчав, проговорил:

— Это ежели всем помещение приготовлять, то дело делать некогда будет.

— Молчите лучше,— сказал негромко старичок, обращаясь к женщине,— а то хуже засудят. На нашей улице как только такие подъезжают, так все — кто куда.

Дома, мол, нету. А там, когда выяснится, что ничего, объявляются.

К говорившим подошел еще один из приехавших в теплом пальто с порванными петлями и в валенках.

— Ну, чего ты, старуха, ну, пожила и довольно. Об чем толковать.

— Да куда же нам деваться-то? Как у вас руки на чужое-то поднимаются? Креста на вас нет.

— Да, неловко получается,— сказал человек в нагольном полушубке.— Мы, говорят, жильцов в другое помещение перевели. Вот так перевели: они все тут живьем сидят.

— А может, пройтить спросить?

— Ни к чему. Жалко, что вот ты уж очень набожная старуха-то,— сказал человек в пиджаке, обращаясь к женщине,— на чужое рука у тебя не поднимется, а то бы я тебя устроил.

— А что, кормилец? — встрепенулась женщина.

— Кто внизу у вас живет?

— Генерал бывший...

— Помещение просторное?

— Просторное.

— Ну, занимай, а там видно будет.

— Захватывай помещение! — торопливо шепнул женщине старичок, которая стояла неподвижно, как стоит курица, когда у нее перед носом проведут мелом черту.

Женщина вдруг встрепенулась и бросилась в дом.

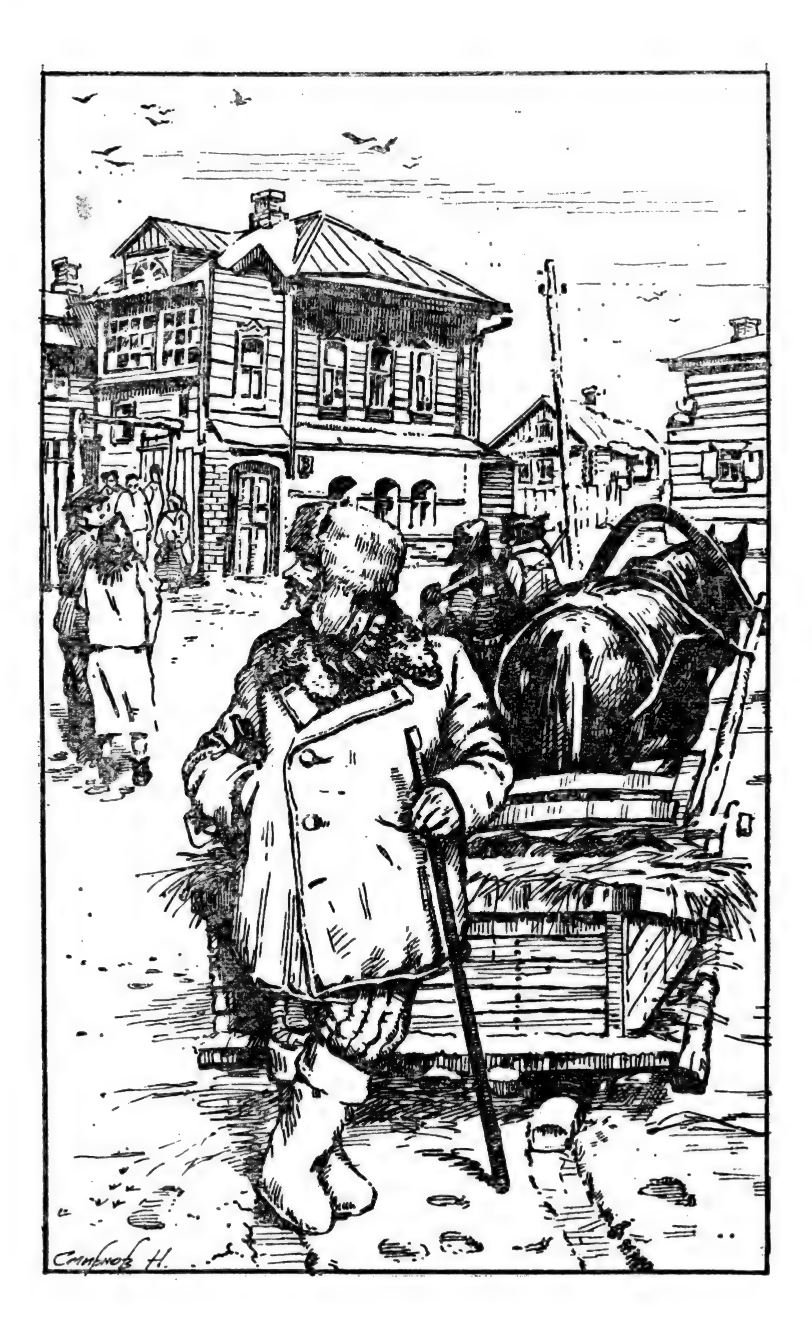
— Что сказали? В чем дело? — спрашивали ее другие жильцы, но она, ничего не видя, пролетела мимо них наверх и через минуту скатилась вниз с иконой и периной в руках.

— Перины-то после перенесешь,— крикнул ей старичок,— полегче бы взяла что-нибудь, только чтоб место свое заметить.

Через полчаса приехавшие поддевали ломами железные листы на крыше, которые скатывались в трубки и, гремя, падали на тротуар. А внизу шла спешная работа: бросались наверх за вещами и скатывались вниз по лестнице в двери нижнего этажа мимо перепуганных, ничего не понимающих владельцев.

— Карежишь, Иван Семенович? — крикнул проезжавший по улице ломовой, обращаясь к работавшим на крыше.

— Да, понемножку. Из топливного кризиса выходим; умные головы начальство наше; вот хороший дом и свежуем.


Смирнов Н.

— Ну, давай бог. Может, потеплей изделаете. А то эдакий холод совсем ни к чему.

— Черт знает что,— говорили мужики на крыше, работая ломами,— жили все по-хорошему, как полагается, и вдруг, нате, пожалуйста... А где людям жить, об этом думать — не наше дело. Ну-ка, поддень там конец, мы его ссодим сейчас. Ох, и крепко сколочен, мать честная, он бы еще лет сто простоял.

— Построить трудно, а сжечь дело нехитрое.

Когда крыша была свалена, какой-то человек в санях, с техническим значком на фуражке, подъехал к соседнему старому пустому дому, вошел во двор, кого-то поискал, посмотрел, потом опять вышел на улицу и плюнул.

— Этим чертям хоть кол на голове теши! Ведь сказал, к двенадцати часам быть на месте.

Потом его взгляд остановился на сломанной крыше другого дома. Человек озадаченно замолчал и полез в карман за книжкой. Посмотрел в книжку, потом номер дома! И еще раз плюнул, пошел к работавшим.

— Вы что ж это делаете тут, черти косорылые! — закричал он на крышу.

Мужики посмотрели вниз.

— А что?..

— А что?.. Глаза-то у вас есть? Вы что же это орудуете? Какой номер вам приказано ломать?

— Какой... Третий,— ответил мужик в полушубке и полез в карман.

— Читай! — крикнул на него человек с техническим значком, когда тот вытащил из кармана полушубка бумажку и долго с недоумением смотрел на нее.

— Ну, третий, а тут какая-то буковка сбоку подставлена.

— То-то вот — буковка. Вот этой буковкой тебя... Сказано номер три-а, а ты просто третий полыхнул?

— Ах ты, мать честная...— сказал мужик в полушубке, еще раз с сомнением посмотрев на бумажку,— два часа задаром отворочали. А я было и глядел на нее, на буковку-то, думал, ничего, маленькая дюже показалась. Вот ведь вредная какая,— скажи пожалуйста. Ну, делать нечего, полезай, ребята, на следующий.

— Лихая их возьми,— выдумали эти буквы,— сказал старичок,— они вот так-то потрутся, да всю улицу и смахнут. Такое время, а они буквы ставят.

ДРУЖНЫЙ НАРОД

Дня через два после храмового праздника пришла бумага из волостного совета с приказом возить дрова на государственный завод.

— Каждый гражданин должен свезти по шести возов,— сказал председатель на собрании.

Все переглянулись и молчали.

— А ежели не повезешь, что за это будет? — спросил кто-то из задних рядов.

— Отсидишь, а потом вдвое свезешь.

— Так...

— Это, значит, на манер барщины выходит? — сказал еще один голос.

— Не на манер барщины, а на манер повинности.

— Не в лоб, а по лбу...— подсказал Сенька-плотник.

— Граждане, надо головой работать! — крикнул председатель.— Раз государство об вас старается... (он взял линейку в руку и стал махать ей в такт своим словам) предоставляет вам по силе возможности, значит, должны вы понимать или нет?

— То-то вы много предоставили..— послышались голоса с задних скамеек.

— Не много, а по силе возможности... школа у вас есть.

— Да в школе-то этой ничего нету...

— Больница у вас есть? — продолжал председатель, не слушая возражений,— народный дом у вас есть?

Поднялся шум.

— Я вот сунулся как-то намедни в больницу, а с меня — пять миллионов,— кричал, надрываясь, рябой от оспы мужичок, поднимаясь с своей лавки и выставляя вверх обмотанный грязной тряпкой палец.

— Граждане, тише! После поговоришь. Что рассовался с своим пальцем. Не видали мы твоего пальца,— кричал секретарь, став около стола рядом с председателем.

— Граждане, предлагаю выполнить наряд... в такое тяжелое время сознательные граждане...

— Что там? Какой еще наряд?

— Нарядили уж и так. Довольно. А то дальше будете наряжать, и вовсе без порток останемся,— кричали уже со всех сторон.

— Слушай... Что за дьяволы, не угомонишь никак! Предлагается возить дрова...

— То наряд, то дрова...
— Это все одно и то же, черти безголовые.
— Нипочем не вези.
— Дружней взяться,— ни черта не сделают.
— Им только поддайся, они потом все жилы вытянут.
— Да кто они-то, черти?
— Вы, кто же больше.
— А кто нас выбирал-то?.. Итак, граждане...
— Дружней...— торопливо сказал кто-то вполголоса, как регент на клиросе дает знак певчим, чтобы они неожиданно грянули многолетие.
— Не повезем. К черту. Баб своих запрягай! — заревели голоса.
— К порядку!!
— Еще раз...
— Не повезем. К дьяволу... баб своих запрягай!
— Ох, ловко,— дружный народ.

Председатель зажал уши, плюнул и отошел к окну от стола.

— Ты в больницу, говорят, иди,— рассказывал кому-то рябой мужичок,— прихожу, а с меня пять миллионов — цоп! Да я, говорю, весь палец-то тебе за три продам.

— В последний раз предлагаю собранию везти...
— Дружней...
— Сами везите, мать... Насажали на шею.
— В таком случае объявляется, что каждый отказавшийся должен будет свезти вдвое.— Председатель закрыл книгу и пошел к выходу.

Все зашевелились, поднялись, надевая шапки и застегиваясь.

— Что-то у вас кричали-то дюже? — спросил проходивший мимо сапожник с хутора, когда мужики вышли из школы.

— Хотели веревочку было нам на шею накинуть...
— Они, что ли?
— А то кто же...
— Ну?
— Ну и ну, видишь, вылетел как ошпаренный.
— Тут, брат, так подхватили...— сказал рябой мужичок,— что надо лучше, да некуда.
— Значит, дружный народ.
— Страсть... аж сами удивились. Это ежели бы спервоначалу схватились, так ни разверстки, ни налогов ни-

каких нипочем бы не платили. Мол, мы знаем свое, а вы там, как хотите.

— А больниц ваших нам, мол, тоже не нужно. Премного вами благодарны,— подсказал рябой мужичок, затягивая зубами узел на пальце.

— И что же, значит, ничего теперь против вас не могут? — спросил сапожник.

— Да ведь вот, видишь, чудак-человек.

— А ничего за это не будет?..

Тот, у кого спрашивал сапожник, полез в карман за кисетом и ничего не ответил. Все затихли и смотрели на него с таким выражением, как будто от него зависело все.

— ...Говорит, что вдвое свезти придется,— ответил, наконец, спрошенный.

— Ах, черт,— значит, гнут все-таки?

— Три года еще гнуть будут,— сказал чей-то голос.

— Кто сказывал?

— На нижней слободе считали.

— Меньше и не отделаешься.

— Да...

— А по скольку возов-то отвозить?..— спросил шорник.

— По шести.

— А ежели не повезешь,— значит, по двенадцати?

— По двенадцати.

— Премия...— сказал Сенька.— А ежели опять не повезешь,— двадцать четыре. Так чередом и пойдет.

— А наши дураки все повезли,— сказал сапожник.

— Народ недружный.

— Ежели бы мы спервоначалу на больницы не польстились,— сказал рябой мужичок,— мы б теперь — ни налогу, ничего...

Наутро шорник встал раньше обыкновенного. И прежде всего выглянул из сенец сначала в одну сторону улицы, а потом — в другую. Но через избу он увидел еще чью-то голову, которая также выглядывала из сенец.

Шорник спрятался.

— Черт ее знает, шесть да шесть — двенадцать, двенадцать да двенадцать — двадцать четыре... мать пресвятая богородица, подохнешь...

— Свези полегонечку, чтоб никто не видел,— сказала жена.

— Там ктой-то смотрит.

Жена вышла и увидела две головы, которые спрятались в тот момент, как только она стукнула дверью.

— Что, как уж там запрягают,— сказал шорник,— нешто на этих окаянных можно положиться.

— А как вчерась порешили-то?

— Порешили, что б ни боже мой, нипочем не везти.

— Ну, ты запряги на всякий случай, а там видно будет,— сказала жена,— распрячь всегда можно.

— Запрячь можно. От этого худа не будет. Надо только через сенцы пройтить, а то со двора увидят.

И он пошел на двор. Но сейчас же остановился, прислушиваясь.

— Но, черт, лезь в оглобли-то, куда тебе нечистый гне...— крикнул кто-то на соседнем дворе, и послышался такой звук, как будто крикнувший спохватился и прихлопнул себе рот рукой.

— Ах, дьяволы, не иначе, как запрягают,— сказал шорник и стал лихорадочно искать шлею и уздечку. Надел уздечку на лошадь, выправил ей уши и потянул за повод к оглоблям. Но лошадь, вытянув за уздечкой шею, не переступала оглобель:

— Но, черт, лезь в...

И шорник, испугавшись, прихлопнул рот рукой.

— Куда запрягаешь? — крикнули с соседнего двора.

— ...За водой.

— А я уж думал...

— А ты?..

— ...За травой... лошадям.

Вдруг кто-то пробежал по улице и крикнул.

— Ах, дьяволы,— с нижней слободы-то поехали...

— Кто?

— Да все. Сначала Захарка-коммунист, а потом один по одному еще человек пять. А тут как увидели, что они уж к мостику подъезжают, у всех ворота растворились и прямо на запряженных лошадях все и выкатили, словно лошади так в запряжке и родились. Словом, не хуже хороших пожарных. Теперь все поскакали.

— Ах, сволочи...

И в этот же самый момент ворота всех дворов на верхней слободе, растворившись на обе половинки, хлопнули с размаха об стенки и, как на параде, голова в го-

лову, выкатили лошади, запряженные в дровяные дроги, и понеслись догонять нижнюю слободу.

— Спасибо, запряг,— говорил шорник своему соседу, погоняя свою лошадь,— а то бы попал, вишь вон,— какой народ.

— Беда...

— Куда всей деревней едете? — спросил у мостика встречный мужичок, придержав лошадь и оглядывая бесконечную вереницу подвод.

— За дровами на казенный завод...

— Вот это здорово взялись. Зато в один день кончите. А у нас один едет, пятеро не едут. А тут вытянулись, любо глядеть.

Ах, дружный народ.

НАХЛЕБНИКИ

Дворник сидел на табуретке среди набросанных на полу обрезков кожи и чинил сапоги. На другой табуретке сидел его приятель, истопник из соседнего дома, в старом пальто и с черными от сажи руками.

— К тебе из 30 номера приходила жена музыканта этого,— сказала, войдя в комнату, жена дворника, маленькая старушка в теплом большом платке, завязанном под плечи на спине узлом. Христом богом просил помогнуть дровец ей расколоть.

Дворник ничего не ответил, с сомнением посмотрел на кусок кожи, который он взял из ящика, и, бросив его обратно, стал рыться, ища более подходящего.

— Ну, прямо смотреть на них жалко,— сказала старушка, уже обращаясь к истопнику: — дров наколоть у ней силы нет, а мужу — музыка, говорит, не позволяет. Белье стирать не умеет, хлебы ставить тоже. Уж намедни сама пришла ей поставила.

— Вот нахлебники-то еще, наказал господь,— сказал дворник.

— Да, уж кто с мальства к настоящему делу не приучен, тому теперь беда,— сказал истопник, покачав головой.

— Прямо несчастье с ними,— продолжала старушка, размотав с головы платок и бросив его на стол.— Это у нас знаменитость, говорят.

— Теперь знаменитостью этой никого не удивишь,— сказал дворник.

— Не очень, стало быть, нуждаются?..

— Да, теперь дело подавай. А то коли дров колоть не умеешь, знаменитостью своей не согреешься.

— Господи батюшка, в квартире у них холод, грязь... живут в одной комнате, так чего только у них в ней нет: и корзины, и сундуки, и посуда; прямо, как морское крушение потерпели.

— А что ж музыкой-то — не зарабатывает?

— Теперь зарабатывает тот, кто работает. А у них всю жизнь только финтифлюшки да тра-ля-ля.

— Отчего ж не позабавиться,— сказал истопник мягко,— господь с ними. Вреда ведь никакого от них...

— Играй себе, пожалуйста, против этого никто не говорит, да для всего надо время знать. А то вот теперь сурьезное время подошло, а они...

Истопник хотел что-то возразить, но дворник перебил его:

— Намедни еще горе: труба у них в железной печке развалилась. Опять прибежала. Подмазывай им трубу. Вот то-то, говорю, кабы муж работать умел, тогда бы лучше было, а то и себе плохо и людям вы в тягость. Так что ж ты думаешь,— разобиделась. Он, говорит, всю жизнь работает, его вся Европа знает. Затряслась вся, да и в слезы.

— А сама, сердешная, все на мясо смотрит, обедали мы, муж из деревни свинины привез. Я говорю: — что это вы смотрите? Она покраснела вся, завернулась и ушла.

— Уж очень их трогает, что прежде на них чуть не молились, а теперь дрова заставляют колоть,— заметил дворник.— Кто работает, тот и сейчас сыт и тепел. Возьми хоть прачку, какие деньги зарабатывает.

— Потому дело нужное.

— Вот то-то и оно-то...

— Вот у нас тоже в нашем доме актриса...— сказал истопник, улыбнувшись и покачав головой,— забыл, как ее... Тоже, говорят, в свое время на всю Европу была. Так бывало, господи... Иностранцы к ней приезжают, цветов одних сколько... В газетах печатали, как пошла, как села...

— Теперь, брат, цветы отменили...

— Под категорию не подходят?

— Вот, вот...

— Они осенью добивались в одну категорию с рабочими попасть. Чтобы хлеба больше выдавали.

— Работа трудная?..

— Это-то они знают...— сказал дворник,— нет, ты сначала пойди поработай, а то все в нахлебники норовят.

— Господи, да ведь есть-то хочется,— сказала старушка.

— Ежели теперь без работы всех кормить, так и дельные которые все с голоду подохнут.

— Вон, опять сюда идет,— сказала старушка, посмотрев в окно.

— Э, черт, полезут теперь. Не пускай, скажи, что дома нету.

Жена дворника, растерявшись, вышла в переднюю.

Из передней послышался женский голос, взволнованно говоривший: — ради бога, хоть немного, а то мужу нельзя колоть, у него сегодня вечером концерт. Замерзаем положительно.

— По музыкам бы не ездили, вот бы не замерзали,— проворчал дворник.

— Да ведь для вас же, дикари, звери, о боже мой,— крикнул из передней женский голос, и наружная дверь хлопнула.

Старушка, расстроенная до слез, вошла в комнату.

— Говорил, не пускай,— крикнул сердито дворник.

— Да она только в переднюю и вошла-то...

— И в переднюю пускать не надо. «Для вас же»...— сами навязываются, а потом попрекают.

— Вон, вон, сам вышел с топором.

Все подошли к окну и стали смотреть.

Из подъезда вышел с топором седой господин с длинными волосами, в шляпе. В руках у него был топор и толстое березовое полено.

— Ну-ка, господи благослови, в первый раз за дело взяться,— сказал дворник.

Седой господин поставил полено около порога и, зачем-то посмотрев на свои руки, стал колоть.

Дворничиха вздохнула и сказала:

— Ну, беда тому чистая, кто с малых лет к настоящему делу не приучен.

ПРОБКИ

В комнату, занимаемую водопроводным слесарем, постучали. Вошла полная дама в накинутой на плечи шубе и, очевидно, не зная, кто здесь хозяин, обратилась к сидевшим за столом монтеру и истопнику:

— Пожалуйста, будьте добры придти, у нас вода течет из крана. Там, вероятно, пустяки, только винтик какой-нибудь подвинтить.

— Вон хозяин.

Слесарь, рывшийся в стенном шкапчике, сначала ничего не ответил, потом недовольно сказал:

— Некогда сейчас.

— Пожалуйста, будьте добры... может быть, потом, когда освободитесь.

— Ладно, там посмотрим.

— Ну, так я буду ждать вас. А вы уж, пожалуйста, сегодня...

Когда полная дама ушла, монтер подмигнул ей вслед и сказал:

— Обращение какое: «Вы, пожалуйста». Вот и мы в господа попали.

— Нужда всему научит,— сказал хозяин.

— Зарабатываешь-то хорошо?

— Да зарабатываю ничего. Надоедают только очень. Сами ни черта не умеют и лезут со всякой ерундой. Работа все пустяковая.

— Ежели у человека голова с мозгом, — пустяковой работы не будет, — сказал электрический монтер. — У меня брат тут недалече живет, так у него винтиков не бывает, он тоже водопроводчик — как позовут чинить,— а придет, посмотрит и скажет: воду запереть придется, потому что надо в котельное отделение идти. Да и то, кто ее знает. Завтра попробуйте, пустите воду. На другой день прибегают с благодарностью.

— У, черти безголовые, прямо смотреть противно,— сказал угрюмо слесарь.

— Вот возьми ты хоть эти пробки электрические, кажется, малый ребенок разберется, как и что; взял, проволочку вставил, и готово дело. А у них, как электричество потухнет, так за мной. Когда придешь, так всей семьей соберутся, ровно как на чудо какое смотрят, когда пробки меняешь. Сам барин тебе свечкой светит. А никогда не спросят, как это делается.

— Совестятся, подумаешь, что хлеб у тебя отбивать хотят, — сказал, усмехнувшись, истопник.

— Нет, это уж так... Теперь вот до чего напуганы: иной раз возьмешь для смеху, вынешь пробки и ждешь, что будет. Прежде, бывало, горничную пришлют: «прика-

зали исправить», а теперь сами прибегают: «пожалуйста, вы»...— не хуже этой барыньки.

— Верно, верно.

— Да иной раз, если некогда, еще скажешь, что, мол, так скоро нельзя, тут в котельное отделение надо идти, да винты на базаре покупать.

Истопник засмеялся.

— Какое ж тут котельное отделение с пробками-то?

— Все равно, им что ни скажи.

Даже слесарь усмехнулся и еще раз повторил — котельное отделение, ведь выдумает, ей-богу.

— Это верно,— сказал, усмехнувшись, истопник.

— Смирные уж очень стали. Куда что делось? Бывало, раз позвали, отправляйся немедленно, а сейчас скажешь: подождите,— и ждет в коридоре. Ну-ка, постой, сейчас попробуем...

Монтер вышел в коридор и через минуту вернулся.

— Закинул удочку,— сказал он, подмигнув.

— Ай вывинтил? — спросил истопник.

Электрический монтер только молча кивнул головой и, загородившись ладонями от света, стал смотреть в окно.

— Сейчас из 52 номера прибегут.

— Чудак...

Через минуту за дверью послышался шорох, потом грохот поваленной кадки.

— И в коридоре потушил,— сказал монтер.

Все засмеялись и стали смотреть на дверь и ждать.

Вошла пожилая дама.

— Пожалуйста, будьте добры, у нас электричество погасло.

— Давно? — спросил, нахмурившись, монтер, как нахмуривается доктор при заявлении пациента о болезни.

— Нет, только сейчас... мы ничего и не делали с ним, даже не дотрагивались... оно само... совершенно само.

— Само ничего не бывает. А ручкой с пером в него не совали?

— Какой ручкой... Что вы... нет, нет...

— Все лампы погасли или часть?

— Все, все, нигде не горит.

— Это дело плохо. Придется... в котельное отделение идти,— сказал, подумав, монтер.— Завтра приходите.

Дама ушла, поблагодарив.

Истопник упал животом на кровать, а угрюмый слесарь сказал:

— Смех смехом, а теперь только этим и зарабатываешь...

ТЕРПЕЛИВЫЙ НАРОД

По борьбе с грязью была объявлена неделя чистоты, и около советских бань стояла длинная очередь с узелками и вениками под мышками.

Ожидающие нахохлились под дождем и, топчась по грязи, чтобы отогреть ноги, стояли, ожидая, когда откроется дверь и впустят следующую партию.

— Теперь мыть еще всех затеяли, вот каторга-то,— сказал кто-то.

— Ведь это что за подлость: гонят народ силком да и только. Говорят, у кого расписки из бани не будет, тому обеда выдавать не будут.

— А мыло дают? — спросил обросший волосами человек, проходивший мимо и задержавшийся на минуту, чтобы в случае отрицательного ответа идти дальше.

— Дают,— сказал кто-то неохотно,— по восьмушке на человека.

Обросший человек поспешно стал в очередь.

— Замылись на отделку,— сказал грязный мужичок в рваном полушубке, поминутно почесывавшийся и все прислонявшийся спиной к высокому нервному господину. Тот раздраженно оглядывался на него и сторонился, каждый раз тщательно осматривая рукава пальто.

— Скоро ли пускать-то начнете? — Что вы их там дюже долго моете? Старуха, ты куда приперла?

— В очередь, батюшка...

— С мужиками в баню иттить?..

— А нешто это в баню?.. Тьфу! вот нечистый-то подшутил,— сказала старушка, быстро оглянувшись на вывеску.

— Эх, мозги курьи!..

— Неизвестно еще, у кого курьи. Они вот такие-то станут, потрутся, а у тебя белья, глядь, нету.

— Из-за этого больше всего боишься в баню-то ходить: воруют очень, и опять же вошь.

— Вошь замучила,— сказал, поводя плечами, мужичок в полушубке.

— Да что вы все прислоняетесь! — крикнул на него нервный господин.

Мужичок посмотрел на него, отодвинулся, ничего не сказав, высморкался в грязь и утер полой полушубка нос.

— Это правда, что замучила,— повторил он.

— А где мыло будут выдавать? — спросил обросший человек.

— Сейчас при входе.

— Весь город обегал, куска мыла достать не мог. Теперь придется мыться.

— Тоже, брат, за мылом пойдешь, глядишь — штаны тут оставишь. Баня теперь самое бедовое дело.

— Прошлый раз один так-то помылся: вышел одеваться, как есть тут: все! Даже порток нижних не оставили. Уж выпросил юбку у сторожихи. Так бабой и пошел.

— Вымыли... нету ни у кого, вот и воруют,— сказал мужичок в полушубке: — Ведь вот рубаха — четвертый месяц ношу.

Нервный господин, оглянувшись, еще дальше отодвинулся от мужичка.

— Плотней становитесь! Что вы там ворота оставляете! И так на середку улицы выпятились! — крикнули сзади.

Мужичок опять подвинулся к господину.

— Впускают! — торопливо крикнул кто-то.

Дверь открылась, и все, нажимая друг на друга, тесной толпой стали напирать на дверь.

— Мыло получай...

— А можно мыло получить, а в баню не ходить? — спросил обросший человек.

— Нет.

— Придется иттить... ах, головушка горькая.

— Опутали здорово. Не хочешь иттить, да идешь,— говорили в толпе.

— Да проходите вы скорей там! Сперлись, как бараны, а ходу нет. Да еще разговоры завели.

— Стоп! Довольно,— сказал служащий,— следующая партия, ожидай.

— Так и знали... О, господи, батюшка. А уйтить нельзя.

— Да уж отделался один раз, да и к стороне.

— И мыло, жалко, не получишь.

— Не очень-то к стороне. Они, говорят, кажные две недели будут теперь гонять.

— И народ все терпит... Господи, батюшка.

— Да, народ терпеливый. Наскочили бы на других, они бы показали.

— Следующая партия!

Все, давя друг друга, бросились в открывшуюся дверь.

В раздевальне копошилась масса раздевающихся людей...

— Вещи берегите! — крикнул банщик.

Все, приутихнув, оглядывались друг на друга, а некоторые что-то украдкой завертывали, повернувшись спиной к соседям.

— Черт ее знает,— сказал обросший человек, проходя в мыльню,— мыла дали столько, что только голову хватит помыть, а домой нести нечего.

— А ты, батюшка, только вид сделай, что моешься,— сказал грязный мужичок, а сам так-то. Я уж нынче четвертый раз тут.

— Тут, бывало, ванны, штуки всякие,— говорил волосатый парень, намыливая голову,— подойдешь, за ручку дернешь хорошенько, а на тебя вода, вроде, как дождь.

— Это-то и сейчас есть, вон, около стены.

— Что ты дергаешь-то из всех сил! — кричал банщик на здоровенного малого, который стоял под душем и обеими руками тянул за ручку.

— Не льется что-то ничего...

— Не льется,— значит, испорчено, а ты уж совсем своротить хочешь? Вот чертов народ-то!

Грязный мужичок сидел на своей лавке около налитой в шайку воды и что-то внимательно приглядывался к полу, потом сказал: — Вшей теперь, небось, сколько намыли, страсть!

— Чего сидишь, не моешься! — крикнул на него проходивший банщик.— Только место зря занимаешь.

Мужичок испуганно оглянулся и стал своими черными руками плескать горячую воду из таза на сухие спутанные волосы.

— Хоть для виду поплескаться,— сказал он, посмотрев сбоку из-под рук на обросшего человека, сидевшего рядом с ним.— А мыло домой старухе снесу рубахи постирать.

— Только из-за мыла и ходишь,— отвечал обросший человек, делавший вид, что намыливает голову, когда мимо него проходил банщик.

— Уж очень чистотой донимать стали, прямо житья нету. Прошлую неделю заставили дворы чистить.

— Народ терпеливый, вот и заставляют.

— За вами, чертями, не смотреть, так вы все навозом обрастете,— сказал, покосившись из-под рук, намы-

ливавших голову, человек с солдатскими усами, сидевший по другую сторону от грязного мужичка.

Грязный мужичок опасливо посмотрел на него, как бы стараясь определить, какое он положение может занимать, и ничего не сказал.

— От вшей, говорят, будто тиф разводится,— сказал кто-то.

— Слава тебе, господи, всю жизнь с ними ходили — ничего, а теперь, вдруг, на-поди, развелся.

— Это, хочь, правда.

— От вши — тиф, а от клопа холеру объявят,— сказал насмешливый голос.

Какой-то человек сидел весь обмазанный глиной и втирал её в волосы. На него долго и с интересом смотрели. Потом грязный мужичок нерешительно спросил:

— От болезни, что ли, от какой?

Из-под свисших мокрых волос посмотрели злые глаза.

— От какой болезни, что ты брешешь!..

— Глиной хорошо застарелую грязь берет,— сказал тощий человек с синяком на ноге.— Я прошлый раз тоже мылся.

— Мойтесь скорей, дома поговорите! — крикнул банщик.— Следующую партию пускать надо.

Все усердно принялись полоскаться.

— Да, совсем запаршивел народ.

— Плохо смотрят,— сказал человек с солдатскими усами.— С таким народом строго надо: агитацию хорошую расклеить, а потом смотреть, как кто месяц в бане не был, так хлеба не давать да в холодную. Это особо.

— Что ж, это, значит, каждую неделю белье менять да стирать? Ловки другими распоряжаться,— крикнули сзади.

— Они об этом не думают. Благо народ терпеливый. Вошь с лапками нарисуют, расклеют по стенам, а каково рабочему человеку...

— Ах, чтоб тебя черти взяли!..— вскрикнул обросший человек.— Только горячей водой на него плеснул, а оно все и расползлось, как масло коровье. Вот тебе и раздобыл мыльца. Только мылся задаром.

— Кончайте скорей! — крикнул банщик.— Люди ждут, а вы тут лясы точите! Что ж ты, в бане был, а ноги, как у лешего,— грязные,— сказал он, остановившись перед грязным мужичком.

— Что-то не отмываются, батюшка; в другой раз глину захвачу.

И, когда банщик отошел, грязный мужичок прибавил, обращаясь к соседу:

— Мало того, что силком тут полчаса продержали, а еще смотрят, какие у тебя ноги. И народ все терпит...

КУЛАКИ

Мужики сидели на бревнах, ничего не делая и лениво разговаривая. Некоторые слонялись около задворок с таким видом, как будто томились от безделья и не знали, что придумать, чтобы занять себя.

Крыши многих изб были раскрыты и оставались непоправленными. В стороне на бугре виднелся начатый и брошенный на половине стройки кирпичный завод: стояли поставленные стропила, зарешеченные орешником, и лежала сваленная солома для покрышки, которую уже наполовину растащили.

К мужикам подошел приехавший из Москвы на побывку столяр и, оглянувшись по сторонам, сказал:

— Что ж это вы так живете-то?

— А что? — спросили мужики.

— Как «а что»!.. Ровно у вас тут мор прошел: крыши раскрыты, скотины у вас, посмотрел я в поле, мало, да и та заморенная. А сами сидите и ничего не делаете. Праздник, что ли, какой?

— Нет, праздника, кажись, никакого нет...— ответили мужики.

— По лохмотьям вижу, что никакого праздника нет,— сказал столяр,— вишь — облачились.

Мужики молча посмотрели на свои старые рваные кафтаны. А крайний, с широкой русой бородой, как у подрядчика, сказал:

— Поневоле облачишься: из волости, говорят, нынче ктой-то приехал.

— Из какой волости?

— Из нашей. Ты что, чисто с неба свалился? Откуда сейчас-то? — спросил другой худощавый мужик, посмотрев на солнце.

— Из Москвы.

— А, ну тогда другое дело.

— Да черт ее знает, до каких пор это будет,— сказал третий, черный мужик, покачав над коленями головой.

— Покамест полоса не пройдет.

— Ведь это черт ее что: сидишь без дела, пропади ты пропадом.

— Что ж у вас дела, что ли, нет,— сказал столяр,— вы хоть крыши-то сначала покройте.

Никто ничего не ответил, даже не взглянул на крыши. Только черный мужик, не поднимая головы, сказал:

— Тут у кого покрыты,— и то хоть раскрывай.

Из соседней избы вышел длинный, худой мужик, босиком, почесал бок, стоя на пороге, посмотрел по сторонам, потом прошел через дорогу к кирпичному заводу, там зачем-то постоял и опять пошел в избу.

— Эй, дядя Никифор, ай не знаешь, куда деться? Иди, видно, в дурачки сыграм...

— ...Пока полоса не пройдет...— подсказал худощавый.— К кирпичу-то дюже близко не подходи, а то, говорят, из волости приехали,— увидят, запишут...

— Ничего чтой-то не поймешь,— сказал столяр.

— Чтобы понимать, для всего науку надо проходить,— ответил худощавый мужик.— Мы вот прошли, теперь понимаем. И что, братец ты мой, что значит, судьба окаянная: прежде сидели, ничего не делали, потому кругом все чужое было. Теперь все кругом наше, а делать опять ничего нельзя.

— А в чем дело-то?

— Да борьбу эту выдумали насчет кулаков. А тут на местах на этих так хватили здорово, что не то что — кулаков, а и мужиков скоро не останется. Приезжают — «Кто из вас кулак»? Говоришь: нету кулаков, мы их всех вывели.— «А кто самый богатый?» — Самых богатых нету.— «А кто лучше других живет»? — Такой-то...— «А говоришь,— кулаков нету»?..

— Вздумали кирпич с кумом жечь на продажу; а они приехали — цоп!.. В кулачки, говорят, себе метите? Пчел было развели, они приехали, опять — цоп!

— Тут лапти новые наденешь, и то они уж на тебя во все глаза смотрют, норовят в кулаки записать,— сказал худощавый.

— А сначала было плуги завели, веялки эти, чтоб им провалиться.

— Обрадовались?..

— Да,— сказал черный мужик,— теперь утихомирились: веешь себе лопаточкой,— оно и тихо и без убытку.

— И пыли меньше...— подсказал опять худощавый.

— Вот, вот... Ах ты, мать честная... Бывало, в поле выйдешь — урожай. Слава тебе, господи!.. А намедни я поглядел — рожь хорошая. Мать твою... думаю,—вот подведет. Такая выперла, что прямо хоть скотину на нее запускай, от греха.

К говорившим поспешно подошел мужичок с бородкой и опасливо посмотрел на столяра, потом узнал его, поздоровался и торопливо спросил у мужиков:

— Кто нынче кулак? Чей черед? Из волости приехали.

— Эй, Савушка! — сказал худощавый, обратившись к оборванному мужику, сидевшему босиком на бревне. Одна штанина на левой ноге у него совсем отвалилась ниже колена.— Эй, Савушка, твой черед нынче.

— Какой к черту черед, когда я без порток сижу, а вы в кулаки назначаете. Ни самовара, ничего нету.

Пришедший мужичок посмотрел на очередного и сказал:

— Не подойдет... Куда ж к черту, когда у него портки все прогорели.

— Мало чего,— прогорели. Все равно черед должен быть,— ответил черный,— самовар у Пузыревых возьмешь, а портки полушубком закроешь, оденешься.

— Он и полушубок-то такой, что через него только чертям горох сеять.

— Сойдет... Вот тоже моду завели...

— А что? — спросил столяр.

— Да все насчет кулаков. Уж им чтой-то представляться стало. Как приедут из волости или из города, так первое дело требуют кулаков, чтобы у них останавливаться. Ну, известное дело, и самовар, и яйца давай, и обедом корми, и на лошадях вези. Навалились на трех наших мужиков побогаче, каждую неделю раза по два с бумагами прискакивают. Мужики, конешно, волком воют. Теперь уж очередь кулацкую установили.

— Чтоб по-божески, значит?

— По-божески, не по-божески, а ведь они по одному так всю деревню переберут, всех с корнем выведут, а ежели по очереди,— все еще как-нибудь, бог даст, продержимся. А главное дело, работать не дают. Крышу на сарае покрыл — сейчас к тебе два архангела: «В богатеи, голубчик, пробираешься?»

— Что ж это по декрету, что ли, так требуется?

— Какой там — по декрету! По декрету — все правильно: и работать можешь смело и хозяйство даже улучшать.

— А может *там* один декрет для нас, а другой для *них* пишут и инкогнито его присылают?

— ...Навряд... А там, кто ее знает.

Из совета вышел какой-то человек и крикнул:

— Эй, куда провожать? Сейчас выйдет. Избу готовьте.

— Мать честная, пойтить похуже что надеть. Спасибо, хоть по будням ездят. А то в праздник бабы разрядятся, ну беда с ними чистая. Иная на две копейки с половиной настряпает, а издали думаешь, у нее золотые прииска открылись.

— Ну, Савушка, беги, беги. Сначала сыпь за самоваром, потом яиц и молока у моей старухи возьмешь. Да коленки-то прикрой, черт!

— Дали бы ему хоть портки-то надеть.

— Ничего, скорей из кулаков выпишут.

Савушка сбегал за самоваром и яйцами. Потом пошел к совету.

Приезжий в кожаном картузе с портфелем вышел на крыльцо и, узнав, что кулак уже дожидается его, посмотрел на него и сказал про себя:

— Кажись, доехали сукиных детей. Дальше уж некуда.

НЕПОНЯТНОЕ ЯВЛЕНИЕ

I

В пятницу на следующий день после пожара в кооперативе было созвано собрание по вопросу о причинах полного краха предприятия.

Всю жизнь деревня Пронино ездила за покупками в город за двадцать верст.

— Трубку закурить — за спичками в город скачи, ведь это никаких сил не хватит,— говорили мужики.

Пользуясь таким положением дела, Прохор Фомичев, толстый мужик в жилетке и в ситцевой рубахе навыпуск, открыл свою торговлю и стал доставлять необходимые предметы, накидывая пятачок на фунт.

Все были довольны.

Но когда подсчитали, сколько они всей деревней несут этих пятачков Фомичеву, то пришли к выводу, что они круглые ослы. Если есть головы на плечах, то отчего не устроить так, чтобы пятачки были целы?

Сорганизовались. Сложились и выписали товару, открыв потребительскую лавочку против лавки Фомичева, через дорогу.

— Смерть кулаку и частному предпринимателю! Не брать у частного торгаша!

Заведующим лавкой выбрали Афоньку гармониста, инвалида гражданской войны. Выбрали из тех соображений, что, во-первых, он парень на все руки — гармошки чинит, часы, керосинки; бенгальский огонь даже зажигать может. А во-вторых, у него хозяйства нет, все равно он дома сидит; ему немножко приплатить, он и будет торговать.

— Можешь торговать? — спросили его мужики.

— Вот г...! Что тут мудрость, что ли, какая,— сказал Афонька; — часы-то чинить позамысловатей дело, и то справляюсь.

На другой же день после открытия около потребительской сидела на траве и на завалинке целая толпа.

— Мать честная, народу-то собралось,— говорили проходившие.— Что это вы сидите?

— Дожидаемся.

Все сидели с баклажками для дегтя, с бутылями для керосина, курили и водили глазами то в одну, то в другую сторону.

— Ай, заперто? — спрашивали вновь подходившие.

— Заперто.

— А где ж Афонька-то?

— Керосинку, говорят, попу понес, в починке была.

— Да не керосинку, а заводную игрушку.

— И игрушки чинит?

— Чинит.

— Ну, и голова... А когда он в лавке-то бывает?

— Да ведь это как придется. Вчерась, говорят, прямо с утра был.

— Когда починки нету, он, почесть, все время тут. Вчерась моя старуха хорошо попала, так в пять минут вернулась, а нынче, вот, не угадали — так третий час сидим.

— Эй, что вы там? Идите, отпущу,— кричал с порога своей лавки Фомичев.

— Подыхай там. На черта ты нужен,— отвечали мужики, даже не оглянувшись, и когда показался в конце деревни на своем костыле Афонька без шапки, с вихрами нечесаных волос, мокрых от пота, точно он только что купался, на него закричали в десять голосов:

— Эй, что же ты! Не успели тебя за дело посадить, а ты уж собак гоняешь. Вот будем у частного торговца брать, тогда посвистишь.

— А черт с вами, берите, мне-то что,— отвечал Афонька: — давно бы уж дома сидели, чего ж вы ждете-то тут?..

— Затем тебя, осла, и посадили, чтобы у него не брать.

— А коли затем посадили, так терпи,—отвечал Афонька.—Что ж я вас целый день должен караулить, да по одному отпускать? По крайней мере вот набралось сразу, всех гуртом и отпущу.

— Да, черт этакий, ведь мы уж третий час тебя, лешего, дожидаем, на дворе скотина не поена стоит.

— Потерпит...

Афонька выше всего ставил свое мастерство механика. Когда ему приносили в починку гармонику или часы, он долго осматривал, сидя на завалинке с отставленным в сторону костылем, раздвигал и сжимал около уха мехи гармоники, как бы пробуя, не идет ли где воздух. Клал на завалинку и смотрел на нее так, как смотрит ветеринар на лежащее больное животное, потом опять брал в руки.

И видно было, что для него самые блаженные моменты были те, когда он исследовал причину порчи, а против него стоял в молчаливом и напряженном ожидании владелец, стараясь по лицу мастера угадать, какой будет приговор.

И самое большое удовольствие для Афоньки было сказать равнодушным и тем сильнее действующим тоном:

— Кончилась твоя музыка, нельзя починить...

Потом, когда обескураженный владелец робко просил, чтобы он хоть не совсем починил, а так, лишь бы как-нибудь играла, Афонька говорил:

— Ладно, оставь, еще погляжу.

Тут он чувствовал себя жрецом, чувствовал свою власть над людьми и свою значительность, потому что умел то, чего, кроме него, не умел никто.

А торговлю он презирал, как свое унижение, потому что тут никакой мудрости не нужно: дурака посади — и тот торговать будет, а он, мастер, будет вкладывать в нее всю душу?! И он нарочно относился к ней так, чтобы видно было, что он выше этой торговли, что в ней не нуждается и не с его способностями тратить на нее целые дни. Да еще играть роль приказчика!

Его свободная натура никак не ладила с бухгалтерией, с своевременной доставкой товара. Он ничего не записывал, никакой отчетности не вел.

— Продал и продал, что ж его записывать. Когда товар в лавке, его записывать нечего, потому что он без

того тут. А когда он продан, его записывать нечего, потому что его все равно нету.

— Тогда ответишь. Взыщем.

— Взыскивай,— говорил Афонька и, повернувшись задом к собеседнику, наклонялся, показывая ему известную часть и прихлопывал по ней ладонью.

Собеседник взглядывал по указанному направлению и видел там одну заплату и две дыры до голого тела.

Эти дыры могли иметь два значения: с одной стороны, они служили доказательством честности, с другой — указывали на невозможность взыскания.

На порученное ему дело он смотрел спустя рукава и сам был полным бессребреником. Так что, когда через неделю после открытия лавки пришел один из членов правления и попросил осторожно в кредит товару, Афонька сказал:

— А мне что?.. Бери: мое, что ли?..

— Записывать-то будешь, что ли? — спросил член правления, сам насыпая себе белой муки.

— Чего там записывать...

— Ну, я тогда еще чайку с фунтик возьму.

— Вали.

На другой день пришли остальные два члена правления и довольно долго возились в лавке, насыпая и укладывая мешки.

А потом пришел мужичок — один из пайщиков, у которого была в кармане пятерка, но жаль было менять ее.

— В долг отпустишь?

— А что мне, жалко, что ли: лавка-то ваша, а не моя.

А там, узнав, что в лавке отпускают в долг, побежала и вся деревня.

— Держись, Фомичев,— говорили мужики лавочнику, который одиноко сидел в своей лавке,— видал, обороты какие делаем!

Главное свойство, самое ценное свойство Афоньки была его полнейшая бескорыстность. К деньгам он относился почти с презрением, и все знали, что ни одной общественной копейки у него не пристало к рукам. И когда кто-то недели через две после его определения на должность приказчика повернул его спиной к свету, заплата и дыры были на своем месте.

Особенностью Афоньки, как заведующего лавкой, было то, что он никогда не спрашивал долгов. Возможно, что при этом он рассуждал так:

— Они хозяева, их лавка, и ежели они берут, значит, знают, когда отдать.

А может быть, он и вовсе не рассуждал.

— Керосин есть? — спросил какой-то покупатель через три недели после открытия лавки.

— Нету керосина. Деготь есть.

— Деготь мне не нужен, я уж другую неделю за керосином хожу.

— Ну, и третью походишь, что ж из-за одного твоего керосина в город ехать? Возьми вон напротив, через дорогу.

На четвертую неделю после открытия лавка стояла пустая.

— Вот это так оборот,— говорили мужики,— а боялись, что сбыту не будет. Эй, что ж ты спишь, за товарами не посылаешь? — кричали Афоньке.

— Денег нету.

— Целую лавку расторговал, а денег нету? Придется ревизию делать.

Пришла ревизия. Но так как Афонька ни за кем не записывал, кто брал в долг, то ревизия не могла обнаружить тех, кто так бессовестно отнесся к общественному достоянию.

— Кто в долг брал? — спрашивает ревизор.

Все только стояли и оглядывались по сторонам и друг на друга, удивляясь, какой жулик народ пошел.

— Придется взыскать с тебя,— сказал ревизор, обращаясь к Афоньке.

И все увидели, как Афонька молча повернулся задом к ревизору и показал ему то, что обыкновенно показывал всякому, кто говорил о взыскании с него.

Ревизор машинально посмотрел на это место и увидел то, что все и раньше видели: заплату и две дыры.

II

Тогда решили, что уж лучше заплатить, как следует, но нанять правильного человека, который бы целый день сидел в лавке, в долг бы не отпускал и вел отчетность.

Выбрали Кубанова, бывшего председателя, которого по приказу из города сняли с места за превышение власти. Этот человек был рожден для власти и, побыв полгода председателем, нашел свое истинное призвание. Он верил, что без строгости и порядка не может идти

никакое дело. Был оскорблен, когда его сняли. А когда выбрали в заведующие, он только сказал:

— То-то, черти, поняли теперь...

Сделавшись заведующим, он показал во всей силе, что такое власть даже на таком посту, как заведующий потребительской лавкой. Когда покупатели подходили к лавке, у них зубы начинали стучать, как будто они шли не за товаром, а к прокурору, который вывернет им всю требуху наизнанку и вымотает кишки.

Кубанов всегда сидел и читал газету. При входе какой-нибудь старушки, не опуская газеты и не глядя на покупательницу, кричал:

— Что надо?

— Ась?

— Говори, зачем пришла?

— Я, батюшка... мне, батюшка...

— Что?! Говори проворней, чего мнешь! Что у тебя, язык отнялся? Ну?

— Хунт керосину...

— А откуда твой сын деньги берет? Я вот доберусь до вас, обнаружу. Все наружу вытяну. В церковь ходишь? Попа на дом принимаешь? Да ты, брат, не заикайся, а говори! Налог заплатила? Нет? А откуда же у тебя деньги? Я, брат, все знаю. В сберегательную кассу кто ходил? Мне отсюда все видно! Обо всем будет доложено. Вот твой хунт керосину. Получай и в другой раз не попадайся.

Старуха выкатывалась без памяти из лавки и всю дорогу крестилась и оглядывалась.

Кубанов смотрел на свое назначение, как на право вникать во все области жизни граждан, и относился к покупателям, как начальник к подчиненным, от которых требовал прежде всего проявления страха.

Самое большое удовольствие для него было видеть, как они трепещут от страха и как язык у них сразу делается суконным от одного его окрика.

Дело свое он тоже презирал, как и Афонька, ставил его на последнее место. А на первом у него была строгость и порядок. К потребностям покупателей относился тоже с презрением и на их требования смотрел, как на блажь.

— Что ж ты мне даешь, я чаю просила,— говорила какая-нибудь молодка.

— Бери, что дают. Нету чаю. Не ройся. Принуди-

тельно бери, а то плохо идет! Не разговаривать, а то будет доложено. А тебе чего?

— Керосину.

— Напротив, через дорогу.

У этого заведующего ревизия нашла полный порядок в отчетности, но и полный застой в торговле. Товару никто не брал, несмотря на то, что правление снизило цены на 20% против Фомичева.

— Фомичев, а ты жив еще? — спрашивал кто-нибудь.

— Живы-с,— отвечал Фомичев, стоя на пороге и снимая картуз.

— А как же ты торгуешь-то? Там на 20% сбавили.

— Бог помогает.

— Ну, что за черти окаянные, это кулачье! Прямо черная магия какая-то,— говорил, покачав головой, спрашивающий.— Чем же тебя доконать, Фомичев?

— Вам видней,—отвечал Фомичев.

И когда официально, в ударном порядке, была объявлена война частной торговле, стало очевидно, что Фомичеву приходит конец.

На него наложили такой налог, что все ходили и говорили:

— Теперь крышка. Вот это борьба, так борьба. Теперь подрывать не будет. Если это заплатит, тогда еще столько же наложить надо.

— Что, не выдержишь, Фомичев? Конец, брат, тебе?

— Что ж сделаешь-то,— отвечал Фомичев.

А так как денег у него не хватало, то отобрали весь товар.

— Вот теперь поторгуем. Кого бы это в заведующие угадать, получше выбрать? Надо такого, чтобы операции мог производить.

III

Третьим заведующим выбрали Зубарева, бывшего заведующего волостным финотделом, который до того был доверенным какого-то магазина в Москве, но получил расчет за широту кругозора, по его объяснению.

Зубарев — человек с сильно зализанным бобриком и всегда тревожно-возбужденным лицом, которое он постоянно вытирал комочком платка, как будто пробежал без передышки верст десять, и поминутно задирал вверх бобрик маленькой щеточкой.

Войдя первый раз в лавку, он окинул полки глазами и бросил:

— Операций не вел. Это сиделец, а не заведующий был. Все дело в операциях. Помещение ни к черту! Строиться надо.

Строиться ему не дали, но отвели под лавку народный дом. Зубарев выломал стены, вставил цельные окна, завел стулья для посетителей, устроил несколько отделений и накупил таких товаров, каких прежде не видывали: шляп, картин в рамах, зонтиков. И даже зачем-то один цилиндр.

Когда у него спрашивали, зачем это, он отвечал:

— Вы бы посмотрели у Мюр и Мерилиза, там еще не то есть. А то вы сидите на одном керосине, больше ни черта не знаете. Вас обламывать надо.

— А что ж ты так размахался, откуда денег будешь брать?

— А операция на что? У вас операций не делали, вот товар и дорог был, да заваль целыми месяцами лежала.

Для операций потребовалась лошадь с экипажем на рессорах.

Часто на этом экипаже приезжали какие-то люди. Зубарев показывал им, сколько у него товара, а потом подписывал какие-то бумаги. Это был первый заведующий, который со страстью был предан самому делу. Но предан был не как делец, а как художник.

А когда пошли покупать, то увидели, что товар дороже, чем в городе.

— Что же это вы дерете-то так? — спрашивали мужики.

— Операция и накладные расходы,— отвечал Зубарев, задирая вверх свой бобрик щеточкой.— Ведь ваши, прежние-то, что селедками да керосином торговали, в городе все брали, а я за зонтиками нарочного в Москву гонял.

— Черт бы их побрал, эти зонтики,— говорили мужики,— брать их никто не берет, а денег на них уйма идет.

— Уж очень оборот мал,— говорил Зубарев,— нешто это оборот? Вот у моего хозяина в Москве, вот это было дело. А тут и мараться не из-за чего. Охоты работать нету никакой. Тут бы трест запустить. Вообще оживить надо.

И когда Зубарев начал оживлять, то оживлял он в одном месте, а результаты сказывались в другом.

Проходившие через неделю после этого мимо лавки Фомичева мужики разинули рты от удивления: лавка

была полна товара. А сам Фомичев сидел на табуретке около порога и поглядывал по сторонам.

— Ай, опять воскрес?! — восклицали проходившие.

— Извиняюсь, опять.

— Как же это ты?!

— Помощью божиею и нашего начальства.

— Откуда же товару столько взял? Из города?

— Нет, в городе дюже дорого, нам не по карману. В своем кооперативе по операциям пустили для оживления обороту.

— А почем торгуешь?

— На пять процентов дешевле, чем у них.

— Как так? Себе в убыток?

— Нет, убытку нету. У них очень накладные расходы велики и опять же операции эти. Они за зонтиками-то в Москву нарочного посылали, а мне к ним только через дорогу перейтить. Вот окрепну, тогда оптом у них и закуплю все. Всего-то мне, пожалуй, и не купить, зонтики-то пущай при них остаются, нешто только в бесплатное приложение пустят, а вот насчет бы керосину и мануфактуры.

— Как дела идут? — спрашивали у Зубарева.

— Дела — ничего. Совсем с пустяковым дефицитом кончаю.

— Как с дефицитом? Ведь товар-то продал весь?

— Весь дочиста. У меня не залежится. Только зонтики и задержались.

— Так где ж прибыль-то?

— Прибыли и не должно быть. Я на показательное веду,— отвечал Зубарев.

— Что на показательное?

— Да вот, чтобы другие пример брали,— отвечал Зубарев.— А что дефицит, так нешто без субсидии можно! Вот отпусти мне казна тысяч пятьдесят, вот я бы разделал! А то нешто можно с такими накладными расходами и без субсидии.

А через день он уже кричал на собрании:

— Граждане, поспешите с дополнительными взносами на предмет покрытия дефицита.

— О, чтоб тебя черти взяли!.. Ревизию надо! Взносы делаем, а керосину другую неделю нету.

— А, черти, об ревизии заговорили? — сказал тогда Зубарев, пряча в карман щеточку с зеркальцем: — я вам покажу ревизию. Не сумели оценить человека, а! Я бы вам горизонты открыл, а вы, сиволапые, только об

керосине думаете. Что вам дался этот керосин! Хамы! Керосин да керосин, прямо работать противно. И... подите к черту! Оборвали крылья, с самого начала оборвали! Все ночи не спал, думал горизонты открыть, а вы... Что ж, вам лучше Афонька-то был? Он об деле на грош не думал, только гармошки свои чинил. Или Кубанов?.. Он одной антирелигиозной пропагандой вам все кишки наизнанку выворачивал. А я молчу. Нешто не вижу я, что вы все в церковь ходите и опять же иконы у вас висят? Ведь ничего не говорю. Как будто и не мое дело. А дело возьми! Где такие окна найдешь? В губернском городе, болван,— больше нигде. А я вам в деревенской лавке устроил. Цилиндр вам, ослам, выписал. Вы, небось, его сроду не видали. Так бы и подохли, не видамши.

В лавку вошел обтерханный мужичонко, с кнутовищем в руках, утер нос, осмотрел и сказал:

— Керосинцу так-то не будет?

Зубарев только молча плюнул и ничего сначала не ответил. Потом ткнул пальцем в дверь и сказал:

— Напротив керосин... через дорогу. А ревизией меня, брат, не запугаешь. Ежели вы самое святое у человека не могли оценить, тогда мне на все наплевать. Вам деньги дороже человека. Ну, и черт с вами. Когда ревизия?

— На будущей неделе в середу.

В среду должна была состояться ревизия, а в понедельник сгорел кооператив.

— Туда ему и дорога,— сказали мужики,— развязал руки. Это у кого деньги жировые, тем можно с жиру беситься,— кооперацию устраивать.

— Да, видно, не ко двору. В чем, братец ты мой, тут дело?

— Явление непонятное на все сто процентов.

БЕЗ ЧЕРЕМУХИ

I

Нынешняя весна такая пышная, какой, кажется, еще никогда не было.

А мне грустно, милая Веруша.

Грустно, больно, точно я что-то единственное в жизни сделала совсем не так...

У меня сейчас на окне общежития в бутылке с отбитым горлом стоит маленькая смятая веточка черемухи. Я принесла ее вчера... И когда я смотрю на эту бутылку, мне почему-то хочется плакать.

Я буду мужественна и расскажу тебе все. Недавно я познакомилась с одним товарищем с другого факультета. Я далека от всяких сентиментов, как он любит говорить; далека от сожаления о потерянной невинности, а тем более — от угрызения совести за свое первое «падение». Но что-то есть, что гложет меня,— неясно, смутно и неотступно.

Я потом тебе расскажу со всей «бесстыдной» откровенностью, как это произошло. Но сначала мне хочется задать тебе несколько вопросов.

Когда ты в первый раз сошлась с Павлом, тебе не хотелось, чтобы твоя первая любовь была праздником, дни этой любви чем-нибудь отличены от других обыкновенных дней?

И не приходило ли тебе в голову, что в этот первый праздник твоей весны оскорбительно, например, ходить в нечищеных башмаках, в грязной или разорванной кофточке?

Я спрашиваю потому, что все окружающие меня мои сверстники смотрят на это иначе, чем я. И я не имею в себе достаточного мужества думать и поступать так, как я чувствую.

Ведь всегда требуется большое усилие, чтобы поступать вразрез с принятым той средой, в которой ты живешь.

У нас принято относиться с каким-то молодеческим пренебрежением ко всему красивому, ко всякой опрятности и аккуратности как в одежде, так и в помещении, в котором живешь.

В общежитии у нас везде грязь, сор, беспорядок, смятые постели. На подоконниках — окурки, перегородки из фанеры, на которой мотаются изодранные плакаты, объявления о собраниях. И никто из нас не пытается украсить наше жилище. А так как есть слух, что нас переведут отсюда в другое место, то это еще более вызывает небрежное отношение и даже часто умышленно порчу всего.

Вообще же нам точно перед кем-то стыдно заниматься такими пустяками, как чистое красивое жилище, свежий здоровый воздух в нем. Не потому, чтобы у нас было серьезное дело, не оставляющее нам ни минуты свобод-

ного времени, а потому, что все связанное с заботой о красоте мы обязаны презирать. Не знаю, почему обязаны.

Это тем более странно, что ведь наша власть, нищая, пролетарская власть, затрачивает массу энергии и денег, чтобы сделать именно все красивым: повсюду устроены скверы, цветники, каких не было при правительстве помещиков и капиталистов, хваставшихся своей любовью к изящной, красивой жизни; вся Москва блещет чистотой отштукатуренных домов, и наш университет,— сто лет стоявший, как ободранный участок, при старой власти,— теперь превратился в красивейшее здание Москвы.

И мы... чувствуем невольную гордость от того, что он такой красивый. А между тем в нашей внутренней жизни, внутри этих очищенных нашей властью стен, у нас царит грязь и беспорядок.

Все девушки и наши товарищи-мужчины держат себя так, как будто боятся, чтобы их не заподозрили в изяществе и благородстве манер. Говорят нарочно развязным, грубым тоном, с хлопаньем руками по спине. И слова выбирают наиболее грубые, используя для этого весь уличный жаргон, вроде гнусного словечка: «даешь».

Самые скверные ругательства у нас имеют все права гражданства. И когда наши девушки — не все, а некоторые,— возмущаются, то еще хуже,— потому что тогда нарочно их начинают «приучать к родному языку».

Заслуживает похвалы только тон грубости, циничной развязности с попранием всяких сдерживающих правил. Может быть, это потому, что мы все — нищая братия, и нам не на что красиво одеться, поэтому мы делаем вид, что нам и плевать на все это. А потом, может быть, и потому, что нам, солдатам революции, не до нежностей и сентиментов. Но опять-таки, если мы солдаты революции, то, как-никак, прежде всего мы должны были бы брать пример с нашей власти, которая стремится к красоте жизни не ради только самой красоты, а ради здоровья и чистоты. И потому этот преувеличенно приподнятый, казарменно-молодеческий тон пора бы бросить.

Но ты знаешь, большинству нравится этот тон. Не говоря уже о наших мужчинах, он нравится и девушкам, так как дает больше свободы и не требует никакой работы над собой.

И вот это пренебрежение ко всему красивому, чистому и здоровому приводит к тому, что в наших интимных отношениях такое же молодечество, грубость, бесцеремонность, боязнь проявления всякой человеческой неж-



ности, чуткости и бережного отношения к своей подруге-женщине или девушке.

И все это из-за боязни выйти из тона неписаной морали нашей среды.

У тебя в консерватории все иначе. Я иногда жалею о том, что перешла в университет. И часто думаю, что если бы моя мать, деревенская повитуха, смотрящая на меня с набожной робостью, как на высшее существо, услышала бы, как у нас ругаются самыми последними словами и живут в грязи — что бы она подумала?...

Любви у нас нет, у нас есть только половые отношения, потому что любовь презрительно относится у нас к области «психологии», а право на существование у нас имеет только одна физиология.

Девушки легко сходятся с нашими товарищами-мужчинами на неделю, на месяц или случайно — на одну ночь. И на всех, что в любви ищет чего-то большего, чем физиология, смотрят с насмешкой, как на убогих и умственно поврежденных субъектов.

II

Что он собой представляет? Обыкновенный студент, в синей рубашке с расстегнутым воротом, в высоких сапогах. Волосы всегда откидываются небрежно рукой назад.

Он привлек мое внимание своими глазами. Когда он бывал один и ходил где-нибудь по коридору, в нем чувствовалась большая серьезность и большое спокойствие.

Но как только он попадал туда, где была молодежь, он становился, как мне казалось, преувеличенно шумлив, развязен, груб. Перед девушками он чувствовал себя уверенным, потому что был красив, а перед товарищами,— потому что был умен. И он как бы боялся в их глазах не оправдать свое положение вожака.

В нем как бы было два человека: в одном — большая серьезность мысли, внутренняя крепость, в другом — какое-то пошлое, раздражающее своей наигранностью гарцевание, стремление высказать презрение к тому, что другие уважают, постоянное желание казаться более грубым, чем он есть на самом деле.

Вчера мы в первый раз пошли в сумерки вместе. Над городом уже спускалась вечерняя тишина, когда все звуки становятся мягче, воздух — прохладнее и из скверов тянет свежим весенним запахом сырой земли.

— Зайдем ко мне,— я живу недалеко,— сказал он.

— Нет, я не пойду.

— Этикет?..

— Никакой не этикет. Это, во-первых. А во-вторых, сейчас так хорошо на воздухе.

Он пожал плечами.

Мы вышли на набережную и несколько времени стояли у решетки. Подошла девочка с черемухой, я взяла у нее ветку и долго дожидалась сдачи. А он стоял и, чуть прищурившись, смотрел на меня.

— Без черемухи не можешь?

— Нет, могу. Но с черемухой лучше, чем без черемухи.

— А я всегда без черемухи, и ничего, недурно выходит,— сказал он, как-то неприятно засмеявшись.

Впереди нас стояли две девушки. Шедшие целой гурьбой студенты обняли их, и, когда те вырвались от них, студенты, захохотав, пошли дальше и все оглядывались на девушек и что-то кричали им вдогонку.

— Испортили настроение девушкам,— сказал мой спутник,— без черемухи к ним подошли, вот они и испугались.

— А почему вам так неприятна черемуха?— спросила я.

— Ведь все равно это кончается одним и тем же — и с черемухой и без черемухи... что же канитель эту разводить?

— Вы говорите так потому, что никогда не любили.

— А зачем это требуется?

— Так что же вам в женщине тогда остается?

— Во-первых, брось эти китайские церемонии и говори мне — ты, а, во-вторых, в женщине мне кое-что остается. И, пожалуй, не мало.

— Ты я вам говорить не буду,— сказала я.— Если каждому говорить ты, в этом не будет ничего приятного.

Мы проходили за кустами сирени. Я остановилась и стала прикалывать к кофточке веточку черемухи. Он вдруг сделал быстрое движение, закинув мне голову, и хотел поцеловать.

Я оттолкнула его.

— Не хочешь — не нужно,— сказал он спокойно.

— Да, я не хочу. Раз нет любви, то ведь вам решительно все равно, какую женщину ни целовать. Если бы на моем месте была другая, вы бы также и ее захотели целовать.

— Совершенно правильно,— ответил он.— Женщина

тоже целует не одного только мужчину. У нас недавно была маленькая пирушка, и невеста моего приятеля целовала с одинаковым удовольствием как его, так и меня. А если бы еще кто-нибудь подвернулся, она и с тем бы точно так же. А они женятся по любви, с регистрацией и прочей ерундой.

Все мое существо возмущалось, когда я слушала, что он говорил. Мне казалось, что я уже не так безразлична для него, сколько раз я встречала его взгляд, который всегда находил меня, когда я была даже в тесной толпе университетской молодежи. И зачем нужно было портить этот необыкновенный весенний вечер, когда хочется не грубых, развязных, а нежных и тихих слов.

Я его ненавидела. Но в это время мы проходили мимо какой-то дамы, сидевшей в полумраке на скамеечке. Она сидела, закинув высоко ногу на ногу в шелковых чулках и поднимала всякий раз голову на тех, кто проходил мимо.

Мой спутник продолжительно посмотрел на нее. Она тоже взглянула на него. Потом он, отойдя на некоторое расстояние, еще раз оглянулся на нее. Я почувствовала какой-то укол.

— Давай сядем здесь,— сказал он, подходя к следующему диванчику. Я поняла, что он хочет сесть, чтобы взглядывать на нее.

Мне вдруг почему-то стало так нехорошо, что хотелось плакать, сама не знаю почему. Не зная, что со мной делается, я сказала:

— Мне не хочется идти с вами... До свидания, я пойду налево.

Он остановился, видимо, озадаченный.

— Почему? Тебе не нравится, что я так откровенно говорю? Лучше прикрашивать и врать?

— Очень жаль, что у вас нет ничего, что не нуждалось бы в прикрашивании.

— Что ж поделаешь-то,— сказал он, как бы не сразу поняв, что я сказала.— Ну, что же, в таком случае до свидания. Только зря,— прибавил он, задержав мою руку в своей...— Зря,— и, бросив мою руку, пошел, не оглядываясь, к своему дому.

Этого я тоже не ожидала. Я думала, что он не уйдет.

Я остановилась на углу бульвара и посмотрела кругом. Была одна из тех майских ночей, когда кажется, что все кругом тебя живет неповторимой жизнью.

На небе в теплом мглисто-желтом свете стояла полная луна с легкими хлопчатыми облаками. Неясные, при-

зрачные дали терялись в мглистом полусвете над крышами домов, дворцов и кремлевских башен. И редкие огни летних улиц точно были ослеплены светом луны.

И везде — в темноте под деревьями и на ясно освещенной площадке сквера перед собором — веселые группы молодежи, отдельных парочек, сидящих на решетчатых садовых диванчиках глубоко под низкими, кругло остриженными деревьями и кустами сирени.

Слышен говор, смех, виднеются вспыхивающие огоньки папирос, и кажется, что все эти люди заряжены, переполнены возбуждающей теплотой этой ночи, и нужно, не теряя ни одной минуты, с упоением вдыхать аромат ее.

И когда тебе нечем ответить этой ночи, когда в тебе пустота и унылое одиночество, когда все вместе и только ты одна,— тогда ничего не может быть хуже и тоскливее.

Всего несколько минут назад его присутствие было для меня безразлично. А с того момента, как я увидела, что он так смотрел на ту даму, я вдруг почувствовала какую-то боль, беспокойство, близость слез, потерю всякой воли, и мне уже не нужно было ничего, кроме того, чтобы он был со мной.

Одним словом — ты не осудишь меня,— мне было невыносимо чувствовать себя среди этого весеннего праздника природы какой-то отверженной, выброшенной из общего хора.

Не отдавая себе отчета, я повернулась и быстро пошла по направлению к его дому.

III

Я шла, все ускоряя шаги, с одной мыслью, что я опоздаю, он уйдет, и я останусь одна. А главное — наша встреча так нелепо оборвалась, и я почти грубо оттолкнула от себя человека, не сделав никакого усилия для того, чтобы повлиять на него в хорошую сторону.

Мне пришла в голову мысль, что я, прилагая усилия в этом направлении, поступаю точно так же, как мы поступаем с окружающей нас обстановкой, когда не делаем ничего для ее улучшения. Значит, я хочу получить лучшее без малейшей затраты энергии для этого.

Я вошла в темный подъезд старого каменного дома, откуда пахнуло, после теплого, точно гретого воздуха майской ночи, еще зимним холодом непрогревшихся стен.

Это такой подъезд, каких еще много в Москве и теперь: немытые много лет пыльные стекла входных дверей с остатками приклеенных объявлений, грязная затаскан-

ная лестница с пылью, окурками, с карандашными надписями.

Он совершенно не ожидал увидеть меня. И, видимо, готовился сесть за работу. У стены стоял сколоченный из тонких досок узенький стол, похожий на козлы-подмостки, которыми маляры пользуются при окраске стен. Над столом была электрическая лампочка на спускающемся с потолка шнуре, притянутая со средины комнаты и прикрепленная к гвоздю в стене над столом.

— О, да ты герой! — воскликнул он.— Передумала, видно? Тем лучше.

Он, засмеявшись, подошел ко мне и взял за руку. То ли он хотел ее поцеловать, то ли погладить, но не сделал ни того ни другого.

— Мне неприятно, что мы поссорились,— сказала я,— и мне захотелось это загладить.

— Ну, чего там заглаживать. Постой, я повешу записку на дверь, а то ко мне могут прийти.

Он, стоя у стола, написал записку и вышел, а я, оставшись одна в комнате, обвела ее взглядом.

Эта комната имела одинаковый характер с лестницей: на полу валялись неподметенные окурки, клочки бумаги, виднелись следы понатасканной со двора сапогами пыли, все стены исписаны номерами телефонов или росчерками карандаша. У стен так же, как и у нас в общежитии, смятые непокрытые постели, на окнах — грязная неубранная посуда, бутылки из-под масла, яичная скорлупа, жестяные чайники.

Я чувствовала себя неловко, никак не могла придумать, что я ему скажу, когда он войдет, а ничего не сказать было неудобно, так как это могло придать совершенно другой оттенок моему посещению.

И тут мне сейчас же пришла мысль, зачем он, в самом деле, пошел вешать записку на дверь? Что такого, если бы кто-нибудь и пришел?

Я вдруг поняла, зачем. У меня при этой мысли потемнело в глазах и перехватило дыхание. Я напряженно с бьющимся сердцем прислушивалась, подошла к окну. Хотела было убрать с подоконника бутылки и папиросные коробки, чтобы можно было сидеть, и увидела, что у меня дрожат руки. Но я все-таки сняла все и легла грудью на подоконник.

Сердце билось, уши напряженно ловили каждый звук за спиной. Во мне была неизвестная мне раньше взволнованная напряженность ожидания.

Мне было только неприятно, что лучшие минуты моей жизни, моего первого счастья, быть может, мой первый день любви — среди этих заплеванных грязных стен и тарелок с остатками вчерашней пищи.

Поэтому, когда он вошел, я стала просить его пойти отсюда на воздух.

На его лице мелькнули удивление и досада.

— Зачем? Ведь ты только что была там.

А потом изменившимся торопливым голосом прибавил:

— Я устроил, что сюда никто не придет. Не говори глупостей. Никуда я тебя не пущу.

— Мне неприятно здесь быть...

— Ну вот, начинается...— сказал он почти с раздражением.— Ну, в чем дело? Куда ты?

Голос у него был прерывающийся, торопливый, и руки дрожали, когда он хотел удержать меня.

У меня тоже дрожали руки, и билось до темноты в глазах сердце. Но было точно два каких-то враждебных настроения: одно выражалось в волнении и замирании сердца от сознания, что мы одни с ним в комнате и сюда никто не придет, другое — в сознании, что все не так: и его воровски поспешный шепот, и жадная торопливость, и потеря обычного вызывающего спокойствия и самообладания. Как будто он думал только об одном, чтобы *успеть* до прихода товарищей. А при малейшем упорстве с моей стороны у него мелькало нетерпеливое раздражение.

Мы, женщины, даже при наличности любви, не можем относиться слишком прямолинейно к *факту*. Для нас факт всегда на последнем месте, а на первом — увлечение самим человеком, его умом, его талантом, его душой, его нежностью. Мы всегда хотим сначала слияния не физического порядка, а какого-то другого. Когда же этого нет и женщина все-таки уступает, подчинившись случайному угару голой чувственности, тогда вместо полноты и счастья чувствуется отвращение к себе. Точно ощущение какого-то падения и острая неприязнь к мужчине, как нечуткому человеку, который заставил испытать неприятное, омерзительное ощущение чего-то нечистого, отчего он сам после этого становится противен, как участник в этом нечистом, как причина его.

Мне все уже мешало, и непокрытые постели, и яичная скорлупа на окнах, и грязь, и его изменившийся вид, и

уже отчетливое сознание, что все это происходит не так, как следовало бы.

— Я не могу здесь оставаться!..— сказала я почти со слезами.

— Что же тебе нужно? Хорошая обстановка? Поэзии не хватает? Так я не барон какой-нибудь...— ответил он уже с прорвавшейся досадой и раздражением.

Очевидно, мое лицо изменилось от этого его окрика, потому что он сейчас же торопливо, как бы стараясь сгладить впечатление, прибавил:

— Ну, будет тебе, что, правда... скоро могут прийти.

Нужно было решительно уйти. Но во мне, так же, как и в нем, было то противное чувство голого желания от сознания того, что мы одни с ним в комнате. И я, обманывая себя, не уходила, точно я ждала, что что-то может перемениться...

— Постой, я тебе сейчас устрою поэзию,— сказал он и погасил лампу.

От этого, правда, стало лучше, потому что не бросались в глаза постели, бутылки из-под постного масла и окурки на полу.

Я подошла к окну и с бьющимся сердцем и ничего не видящими глазами стала к нему спиной.

За моей спиной было молчание, как будто он не знал, что ему делать. Сердце у меня так билось, что отдавалось в ушах, и я с напряжением и волнением ждала чего-то.

Наконец он подошел ко мне, остановился сзади, обнял мою шею рукой и остановился, очевидно, глядя тоже в окно. Не оборачиваясь, я не могла видеть направление его взгляда. Я была благодарна ему за то, что он обнял меня. Мне хотелось долго, долго стоять так, чувствуя на своей шее его руку.

А он уже начинал выражать нетерпение.

— Ну что же, ты так и будешь стоять здесь? — говорил он, очевидно, думая о том, что скоро могут вернуться товарищи, а я без толку стою у окна.

И он потянул меня за руку по направлению к постели.

Но я испуганно отстранилась.

— Ну, будет, ну, пойдем сюда, сядем.

Я стояла по-прежнему спиной к нему и отрицательно трясла головой при его попытках отвести меня от окна.

Он отошел от меня. Несколько времени мы молчали. Я стояла, не обертываясь, и с замиранием сердца ждала, что он поцелует меня сзади в шею или в плечо. Но он не

поцеловал, а, подойдя, еще настойчивее и нетерпеливее тянул меня от окна.

— Ну, чего вы хотите? — сказала я, сделав шаг в том направлении, куда он тянул меня за руку. Я спросила это безотчетно, как бы словами желая отвлечь свое и его внимание от того, что я сделала шаг в том направлении, куда он хотел.

— Ничего не хочу, просто сядем здесь вместо того, чтобы стоять.

Я остановилась и молча смотрела в полумраке пустой комнаты на его блестевшие глаза, на пересохшие губы.

Этой голой ободранной комнаты я сейчас не видела благодаря темноте. Я могла вообразить, что мое первое счастье посетило меня в обстановке, достойной этого счастья. Но мне нужна была человеческая нежность и человеческая ласка. Мне нужно было перестать его чувствовать чужим и почувствовать своим родным, близким. Тогда бы и все сразу стало близким и возможным.

Я закрыла лицо руками и стояла несколько времени неподвижно.

Он, казалось, был в нерешительности, потом вдруг сказал:

— Ну, что разговаривать, только время терять...

Я почувствовала обиду от этих слов и сделала шаг от него. Но он решительно и раздраженно схватил меня за руку, сказав:

— Что, в самом деле, какого черта антимонию разводить!..

И я почувствовала, что он быстро схватил меня на руки и положил на крайнюю, растрепанную постель. Мне показалось, что он мог бы положить меня и не на свою постель, а на ту, какая подвернется. Я забилась, стала отрывать его руки, порываться встать, но было уже поздно.

Когда мы встали, он прежде всего зажег лампу.

— Не надо огня! — крикнула я с болью и испугом.

Он удивленно посмотрел на меня и, пожав плечами, погасил. Потом, не подходя ко мне, торопливо стал поправлять постель, сказавши при этом:

— Надо поправить Ванькино логово, а то он сразу смекнет, в чем дело.

Я молча отошла и без мысли и чувства смотрела в окно.

Он все что-то возился у постели, лазил по полу на четвереньках, очевидно, что-то искал, бросив меня одну.

Потом подошел ко мне. У меня против воли вырвался глубокий вздох, я в полумраке повернула к нему голову, всеми силами стараясь отогнать что-то мешавшее мне, гнетущее. И протянула к нему руки.

— Вот твои шпильки,— сказал он, кладя их в протянутую руку.— Лазил, лазил сейчас по полу в темноте. Почему это надо непременно без огня сидеть... Ну, тебе пора, а то сейчас наша шпана придет,— сказал он.— Я тебя провожу через черный ход. Парадный теперь заперт.

Я начала надевать свою жакетку, а он стоял передо мной и ждал, когда я оденусь, чтобы идти показать мне, как пройти черным ходом.

Мы не сказали друг другу ни слова и почему-то избегали взглядывать друг на друга.

Когда я вышла на улицу, я несколько времени машинально, бездумно шла по ней. Потом вдруг почувствовала в своей руке что-то металлическое, вся вздрогнула от промелькнувшего испуга, ужаса и омерзения, но сейчас же вспомнила, что это шпильки, которые он мне вложил в руку. Я даже посмотрела на них. Это были действительно шпильки и ничего больше.

Держа их в руке, я, как больная, разбитой походкой потащилась домой. На груди у меня еще держалась смятая, обвисшая тряпочкой, ветка черемухи.

А над спящим городом была такая же ночь, что и два часа назад. Над каменной громадой домов стояла луна с легкими, как дым, облачками. Так же была туманно-мглистая даль над бесчисленными крышами города.

И так же доносился аромат яблоневого цвета, черемухи и травы...

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

I

Вот уже другая весна, милая Веруша. Прошел целый год, как я написала тебе отчаянное письмо.

Я не писала до сих пор, потому что пережила много тяжелого. А в таком состоянии не хотелось подавать голоса.

Сейчас я пишу тебе потому, что неделю тому назад у меня произошла знаменательная встреча.

Ты помнишь того студента, о котором я тебе писала? Помнишь то моральное потрясение, которое я пережила тогда?..

И вот неделю назад мы встретились...

Он прошлой весной окончил университет, был на практике, и потому я с ним не встречалась столько времени.

У меня в жизни большая новость: трехмесячный ребенок. Я — молодая мать. Тебе странно это?.. Теперь я последний месяц работаю в клинике и скоро буду самостоятельной женщиной. А то, что я пережила за этот год, сделало меня как бы совсем другим человеком.

Началось это с одного страшного для меня момента. Это было, когда я впервые поняла, что готовлюсь быть матерью.

Прежде всего я представила себе, какой будет позор, когда я, девушка, покажусь в таком положении домой... Сколько будет злорадных взглядов, шушуканий со стороны соседок, и без того полных темного, злого недоброжелательства ко мне за то, что я выбилась на дорогу, менее всего подходящую для девушки подгородней слободы, и учусь в Москве, вместо того, чтобы возить молоко на базар.

Но когда я ехала летом к матери и на рассвете пересела из душного вагона в телегу, я как-то забыла обо всем.

Знаешь эти душисто-освеженные июньские утра, которые бывают после теплой ночной грозы? Кругом ярко и свежо зеленела омытая дождем, еще нежная листва. Небо было мягко-туманно. Не видно, где пели жаворонки. И поля высокой уже ржи стелились без конца.

Когда телега задевала на опушке кусты орешника, с них крупным дождем осыпались капли, мочило лицо и руки, и сильно пахло березой.

У меня было такое ощущение, как будто во мне самой в эту минуту была эта утренняя свежесть, чистота и бесконечность, какие были вокруг меня.

С этим чувством я смотрела на показавшуюся вдали крышу нашего домика со старой рябиной около него.

И въехав в слободу, как будто с радостью возвращения к детству, оглядывалась по сторонам.

На травянистой улице, около потонувших в крапиве и чистотеле старых, заплатанных и подпертых кольями заборов увидела знакомые с детства протоптанные гладкие тропинки к колодцу и обрадовалась им.

А показавшееся в этот момент из-за туманного полога солнце осветило ласковым утренним светом рывшихся на навозе кур, заборы и заискрилось в каплях росы на кудрявой низкой траве улицы.

В этот момент мне встретилась шедшая с ведрами к колодцу знакомая разбитная молодка, жена кузнеца. И я все с тем же чувством радости возвращения хотела ей помахать рукой.

Но вдруг увидела, что она, отведя торопливо глаза, усмехнулась скрытой, нехорошей усмешкой.

Ты знаешь эту усмешку? Что она выражает? Иногда даже совершенно неизвестно. Но в ней как будто собран весь яд тупой, злобной, мещанской ненависти и иронии над тем, что выходит за пределы его среды, возвышается чем-нибудь над ней.

И когда ловишь на себе такую усмешку, то невольно, даже без всяких на то причин — чувствуешь, как в тебе все съеживается и гаснет.

Тут я вдруг с мучительным толчком в сердце вспомнила, с чем я приехала.

И когда входила во двор своего трехоконного домика с земляной завалинкой, на которой виднелись, как всегда, нарытые в пыли курами ямки, оглянулась по двору, на траве которого валялось старое ведро без дна и виднелись разлитые от порога мыльные помои, я почувствовала безысходную тоску от чего-то, здесь навсегда остановившегося и застывшего. Те же помои и те же тряпки на гороже, что и десять, пятнадцать лет назад.

Стоявшая у печки, спиной ко мне, мать, в старенькой юбчонке, с засученными по локоть жилистыми старушечьими руками и с ухватом, не сразу увидела меня.

Обернувшись, она всплеснула руками от радости и уронила ухват.

А я, минуту назад стремившаяся с такой радостью и нетерпением ее увидеть, стояла перед ней и чувствовала себя так, как будто подхожу к ней с поцелуем, а за спиной у меня спрятан для нее нож.

От самого ненаблюдательного человека, с которым постоянно живешь, нельзя скрыть того, что переживаешь. И мать уже через неделю стала украдкой пытливо и тревожно приглядываться ко мне.

И когда я, забывшись, бездумно стояла у окна или сидела, глядя в одну точку, она, проходя мимо, останавливалась и смотрела на меня с материнской тревогой. Когда же я оглядывалась, она, сделав вид, что ищет что-то, торопливо уходила. Но я слышала ее глубокий, осторожный вздох.

А потом, уже недели через две, готовясь куда-то идти, она в беленьком платочке от солнца присела около ме-

ня, и начались осторожные наивно-хитрые разговоры о том, что мне уже 25 лет, и не лучше ли бросить это ученье и выйти за хорошего человека, который обеспечит.

— Мало ли теперь сбиваются с толку и треплются не хуже всяких... Видала я таких. Они готовы на все наплевать, а каково матерям глазами светить? Все ночи об тебе думаю...

И вдруг ее старческие губы задрожали, сморщились, и она стала по-старушечьи сморкаться в свой фартук.

Я, сжав губы, молчала. А она, остро, испытующе взглянув на меня, продолжала:

— Негодяев много. Опозорят на всю жизнь... а люди не простят.

Я сейчас же вспомнила усмешку жены кузнеца. Как она тогда будет усмехаться?..

И однажды я подумала: «А что если я скажу ей, моей матери? Не выглянет ли из-за ее материнского лица другое лицо,— страха и ненависти ко мне за тот позор, который я выплю ей на голову? Не отречется ли она от меня? И какими словами она встретит ту новую жизнь, которую я ношу в себе?»

И я решилась.

Когда она один раз все с тою же тревогой и настороженностью подсела ко мне, я сказала, прямо глядя ей в глаза:

— Мать, я беременна...

Она в первый момент как-то нелепо-жалко улыбнулась, как улыбается человек, когда над ним заносят топор и он думает, что, может быть, это еще шутка. Потом лицо ее побелело, и она тихо сказала:

— Обрадовала, матушка... гостинца привезла?.. Спасибо... Дотрепалась-таки...

Не сказав больше ничего, она встала и пошла из комнаты, при выходе ударившись плечом о притолку.

— Девай его, куда хочешь, но меня не позорь,— услышала я ее голос уже из-за перегородки.

Мне вдруг вспомнилось, как она лет пятнадцать тому назад сказала те же самые слова. Брат, которому было тогда лет 12, приютил заблудшую собаку. Мать была очень недовольна этим из-за лишнего расхода. А когда он однажды, запыхавшись, прибежал и с торжеством сообщил:

— У Цыганки родились дети! — мать вышла из себя и закричала на него, чтобы он девал их, куда хочет, чтобы их духу не было.

После целого дня слез и ссор он взял мешок и пошел к Цыганке. Она забилась в угол конуры, покрыв щенят своим телом, и смотрела на подходившего брата такими глазами, которых я никогда не забуду: в них была беспредельная покорность и последняя мольба.

Потом брат, завязав мешок, со слезами на глазах, топил их в яме за двором, а собака, визжа, ползала около него, лизала ему руки, и глаза ее были полны слез, как у человека.

Я почувствовала, что теперь, после таких слов матери, у меня нет ни дома, не семьи. Родная мать отреклась...

Не будучи в силах переносить это, я уехала в Москву.

И помню другое утро, когда я возвращалась из родного дома. Был июль. Та жаркая пора, когда уже в 9 часов утра солнце начинает печь.

Москва показалась издали в синеватом тумане с дымом фабричных труб, с полыхающим утренним золотом на главах церквей, с трепетно блещущими окнами домов. И чувствовалась уже издали жара большого города. Но в окно вагона все-таки еще подувал прохладный ветерок с полей.

А когда я приехала и вышла из вокзала на пыльную площадь, меня сразу охватило душным жаром улиц, бензинным дымом автомобилей...

Всюду ремонт, пышущие жаром асфальтные котлы, в которых, надсаживаясь, мешали длинными железными палками люди с закопченными лицами.

В общежитии, куда я вернулась, оставались две девушки, которым некуда было ехать, и один товарищ. Их не было дома. И я, сев на свою корзинку, сидела несколько времени, глядя в одну точку.

Здесь тоже был ремонт. Пахло свежей краской, ходили штукатуры в фартуках, запачканных известкой, и на полу в коридоре все было прилито мелом, от которого натаскались белые следы и на пол нашей дальней комнатки, где мы могли приютиться.

Никогда не забуду я этого утра, когда я, решив избавиться от своего позора, пошла искать лечебницу.

Как это могло случиться, что я, чуждая, как мне казалось, всяких предрассудков, стала чувствовать свое положение, действительно, как позор, как несчастье?

А потом и пугала мысль о том, как это произойдет, что будет дальше, когда я, сама бездомная, среди обломков

ремонта и известки произведу на свет существо, обреченное на такое же бездомное существование.

И в этом состоянии я решила сделать то, что делается теперь многими...

Я встала, долго стояла, сжав голову руками. Потом пошла...

Улицы поливали водою, от этого становилось свежо, как-то бодро и на минуту прохладно. По тротуарам бежали поглощенные своими делами люди. И эта свежесть от политой воды отражалась на их лицах свежестью и бодростью. Каждый, занятый своим, сливался со всем этим человеческим потоком.

А я шла, чуждая всей жизни, с мучительным ощущением какой-то незаконности своего существования. Мне казалось, что все видят, зачем я иду. И в то время, как на лицах всех была утренняя бодрость и довольство своей жизнью, я, с мучительным ощущением презренности и позорности своего существования, шла и приглядывалась к эмалевым дощечкам у дверей. Точно я была больна нехорошей болезнью и чувствовала себя отверженной и заклейменной.

Наконец, я нашла лечебницу. Несколько раз я проходила мимо ее ворот с чугунными сквозными решетками, как бы желая еще и еще обдумать, но на самом деле для того, чтобы хоть на минуту оттянуть страшный момент.

И опять мне казалось, что все догадываются, зачем я здесь хожу, оглядываются на меня. И я делала вид, что не имею никакого отношения к этим воротам с чугунной решеткой.

Потом мне вдруг вспомнились слова матери: «Девай его, куда хочешь» — и вспомнились щенята в мешке, который еще не намокнув, все всплывал кверху, и брат его топил палкой. И вспомнила Цыганку.

Я вдруг безотчетно повернула и почти бегом побежала домой.

И тут я испытала ощущение, которого не забуду всю жизнь: я вдруг почувствовала внутри себя движение чего-то постороннего, живого, и в то же время узнала в этом с неизъяснимой радостью свое.

Я забилась в угол, точно прикрывая собой то, что уже жило во мне, и остановившимися глазами, в которых, вероятно, был только страх перед жизнью, которая требует убийства того, чему я дала жизнь, смотрела перед собой в одну точку.

Пришедшие подруги — Таня и Глаша — посмотрели на меня и тревожно стали расспрашивать, что со мной, почему я вернулась сюда из дома.

Я, уткнувшись им в колени, рассказала все.

— Так чего же ты плачешь? Ведь это замечательно! — вскрикнула более живая Таня и вдруг вскочила и убежала наверх. Она тащила оттуда кого-то и говорила торопливо с каким-то торжеством:

— Константин, у Сони ребенок!

Константин шел, ничего не понимая и, остановившись передо мной, спросил:

— Где ребенок? Какой ребенок?

— Он еще там, но будет...— сказал Таня, запыхавшись и глядя на меня.

Девушки смотрели на меня такими настороженными и возбужденными глазами, как будто во мне происходило какое-то таинство, которое наполнило их жизнь новым, большим значением, и они забыли о том, что кругом известка, ремонт и они живут без семьи, где-то одни, в большом городе, среди летней жары и пыли.

И тут я почувствовала с необычайной ясностью и какою-то новостью для себя, что власть семьи, власть грязной мещанской темноты для меня кончилась.

У меня есть другая, большая человеческая семья, слитность с которой я почувствовала впервые так ярко, так осязательно.

За все время я здесь не видела ни одного насмешливого или злорадного взгляда со стороны подруг или просто товарищей по университету.

Наоборот, они с тщеславием молодости были рады представившемуся случаю проявить себя стоящими выше обывательской морали и принимали мое положение, как совершенно для них «нормальное, способное, может быть, удивить только узколобого мещанина».

С другими девушками они по-прежнему были не особенно разборчивы в выражениях, но при моем появлении у них как-то само собой прекращались всякие непристойные шутки, как если бы входила их мать.

Мне кажется, что если бы у меня был муж, то в отношении ко мне товарищей не было бы той бессознательной бережности, какую я замечала теперь. Точно благодаря его отсутствию у них было ощущение какого-то коллективного обязательства передо мной.

И еще раз я почувствовала, что моя семья здесь, а не дома.

II

Ты ждешь от меня рассказа о самой встрече. Но я нарочно рассказала тебе все, что пережила, чтобы ты лучше поняла меня и то, почему эта встреча была такою, какою она была.

Неделю назад, взяв своего маленького из яслей, куда я сдаю его, когда иду на работу, я сидела с ним в Александровском саду и готовилась к следующему дню, читала, делала отметки на полях.

Было то начальное время весны, когда городской шум улиц впервые после тишины зимы поражает слух какой-то новизной. По мягким, влажным дорожкам бульвара мелькали тени галок, гудели на солнце проснувшиеся после зимней спячки мухи, визжали и хохотали от весенней радости дети, гулявшие в вязаных колпачках и в высоких за колено чулках, с крашеными деревянными лопаточками, которыми они рылись в песке.

И у меня было настроение радостной полноты, я чувствовала себя как бы живой участницей в этом весеннем празднике природы и жизни, когда смотрела на своего маленького, как он в беспричинной радости трепыхался своими ручонками, навстречу свету и солнцу.

Перевертывая страницу, я безотчетно подняла голову, и сердце у меня облилось горячей волной: я встретилась глазами с ним...

Я издали узнала его походку, его серьезность и спокойствие, которые меня привлекли к нему тогда, с самого начала. Узнала его манеру идти с опущенной головой, как он ходил по коридорам университета, и привычку взглядывать прищуренными глазами на встречных. Узнала его высокие сапоги, синюю рубашку под тужуркой.

Когда его глаза встретились с моими глазами, щеки у него залились грубым румянцем, который обыкновенно бывает на загорелых лицах здоровых молодых людей. Глаза приняли тревожное, неуверенное выражение, какое бывает у человека, застигнутого врасплох и не знающего, как себя держать — поклониться или пройти мимо, сделав вид, что не заметил или не узнал.

Это продолжалось одно мгновение.

В следующий момент он снял фуражку, а я кивнула ему несколько раз головой.

Его хватило только на то, чтобы поклониться. Подойти он все-таки не решился.

Но, очевидно, на него подействовало то, что я не остановила его, не набросилась с упреками, как на бесчестно скрывшегося должника. Пройдя несколько шагов, он оглянулся, и так как я тоже оглянулась на него в этот момент, он задержался и, подойдя ко мне, все с тем же румянцем смущения подал мне руку.

При этом я невольно заметила его скрытый и быстрый взгляд, какой он бросил на мой костюм, на мои башмаки, как бы безотчетно определяя, нуждаюсь я или не нуждаюсь. Точно этим хотел измерить степень своей возможной ответственности.

Я невольно подобрала ногу под диванчик, так как у меня была большая заплата на башмаке.

— Сколько времени не виделись... — неловко сказал он и прибавил: — Ты часто здесь бываешь?

— Каждый день, когда такая погода,— ответила я, глядя на него снизу против солнца и щуря глаза.

В его интонации была не развязность, а нерешительная проба дружеских отношений ничем, кроме этого, не связанных между собою людей.

— Ну, так до завтра, если будет хорошая погода,— сказал он неловко, — а то я сейчас очень спешу.

При этом я заметила, как его взгляд скользнул по моему малышу. Но он не сказал о нем ни слова, как будто делал вид, что не замечает его.

Я не думаю, чтобы он действительно спешил. Он, очевидно, не был уверен, что у него найдутся слова для более долгой беседы. И поэтому он как бы был рад, что все обошлось благополучно, он не скрылся от меня, а подошел и даже поговорил и поспешил уйти под этим впечатлением.

Когда он со мной говорил, я слушала его с оживленной улыбкой, с какою слушают своего хорошего знакомого, которого не видели много лет и рады узнать, что у него все хорошо.

О себе же я не сказала ни слова. Не жаловалась на жизнь, не говорила, что мне было трудно чувствовать себя брошенной. Ни одной минуты я не дала ему понять, что он имеет прямое отношение к этой родившейся новой жизни. И не стала его удерживать, когда он уходил.

Придя домой, я чувствовала в себе какой-то незнакомый мне раньше подъем всех сил. Мне почему-то особенно было приятно то, что я ни одним словом не намекнула, что между нами есть связь и что он является как бы дезертиром.

И с особенным удовольствием вспомнила, что в первый момент встречи покраснел и смутился он один. А я просто удивилась и даже, вопреки всякой логике, почти обрадовалась ему.

Мне невыразимо приятно было показать ему, что его тревога и очевидная боязнь, как бы я не сделала какого нибудь скандала, совершенно напрасны.

Он почувствовал это и, видимо, совершенно успокоился.

III

На следующий день он пришел опять. Проходя вдоль аллеи мимо диванчиков, он издали увидел меня и, улыбнувшись, подошел.

У него уже не было вчерашней неуверенности и настороженности. У него было полное успокоение на счет того, что я не предъявлю к нему никаких прав и не устрою неприятных сцен.

Мы говорили просто, дружески и совершенно спокойно.

Но в его обращении со мной еще проскальзывала некоторая официальность, как у человека, который был в чем-то виноват и еще не уверился в прощении настолько, чтобы взять совершенно спокойный тон близкого человека. А может быть, он боялся его взять, чтобы в нем не прозвучало оттенков близости, могущей повести к необходимости принять на себя долю ответственности.

Расспрашивая меня о моей работе, как студент одного факультета расспрашивает студента другого факультета, он поднял на меня глаза и встретился с моей улыбкой. И, как бы преодолевая что-то, на его лице появилась такая же улыбка.

— Ты — славная...— сказал он с оттенком легкого удивления, как будто он все еще никак не мог понять меня, моего действительного отношения к нему. И видел только, что у меня нет к нему никакого дурного чувства.

Но между нами лежал один вопрос, который оставался совершенно незатронутым. Это — вопрос о ребенке. О нем ни он, ни я не сказали еще ни слова.

Видно было, что его занимал больше всего этот вопрос, и в то же время ему об этом было, видимо, труднее всего заговорить. Я замечала, что его глаза часто против воли останавливались на нашем малютке. Потом он смот-

рел на меня украдкой таким взглядом, как будто что-то не укладывалось в его понимании.

У него был явный интерес ко мне, к моей жизни и к тому, что же я такое в конце концов? Имею я к нему отношение, как жена, как мать его ребенка, или не имею?... Кто я для него? К т о или никто?...

Всякий раз, когда я взглядывала на него в то время, как он останавливал взгляд на ребенке, он сейчас же делал вид, что смотрит мимо него. Как будто ему было стыдно, если я поймаю его взгляд.

И я делала вид, что не замечаю его взгляда, и говорила о том, что думаю поехать на работу куда-нибудь ближе к югу, где больше солнца.

Говорят, что у молодых отцов бывает вначале некоторая неловкость и как бы целомудренная стыдливость при виде собственного ребенка, когда они еще не привыкли к мысли, что это их ребенок.

Но у него, конечно, было не одно это. Этот ребенок был его «виною» передо мной и потому, может быть, у него не хватило духа заговорить о нем, даже когда выяснилось отсутствие неприятной для каждого мужчины ответственности.

Он просидел со мной целый час и ушел. Прощаясь, он положил мне руку на плечо, и, посмотрев несколько времени молча мне в глаза, сказал:

— Молодец ты!...

IV

Вчера, наконец, произошел разговор о том, что лежало между нами до сих пор непроходимой чертой — о ребенке.

Один раз я взяла мальчика на руки, и он, сжимая и разжимая свои пухленькие ручонки, опоясанные складочками около кистей, протянул одну из них к лицу Александра и неожиданно схватил его за нос.

— Нельзя так... дяде больно,— сказала я, отводя его руку.

И увидела, как Александр при слове «дядя» быстро оглянулся и несколько времени смотрел на меня сбоку, сощурив глаза.

Я сделала вид, что не замечаю его взгляда.

— Неужели это мой? — спросил он, усмехнувшись.

— Ну, конечно,— ответила я просто.

— Как-то чудно... ведь это гражданин,— сказал Александр, с каким-то преувеличенно-ироническим недоумением произнося это слово, точно за этим хотел скрыть свое смущение и неловкость.

Он, очевидно, думал, что я воспользуюсь таким трогательным обстоятельством и заговорю с ним, как с отцом нашего ребенка, как с мужем, вернувшимся ко мне. Но я положила маленького и, погрозив ему пальцем, заговорила о другом, о своих планах, о будущем малютки, совершенно не соединяя себя с ним, с Александром.

Он несколько времени сидел, опустив голову, и нервно покачивал носком сапога, как будто он вдруг почувствовал себя чем-то задетым.

— А ведь я все-таки ему не дядя,— сказал Александр, прикусив губы и не поднимая головы,— как-никак, я тоже имею к нему кое-какое отношение...

— Очень небольшое,— возразила я,— во всяком случае, не такое, о котором ему приятно будет узнать, когда он вырастет.

Он покраснел и, ничего не возразив, сухо спросил:

— Когда же ты думаешь уехать на свою новую (он замялся)... на новую работу?

— Недели через две, когда... зацветет черемуха,— ответила я, улыбнувшись.

В его лице что-то дрогнуло, как будто он не знал, что я хочу этим сказать.

— Ты, может быть, пришлешь мне свой адрес?—спросил он несмело. В ожидании ответа, не поднимая головы и опять прикусив губы, он чертил сапогом полукруг по песку.

Я ответила не сразу.

А он, истолковав, очевидно, мое минутное молчание, как отказ, сейчас же, покраснев, добавил торопливо:

— Мне просто не хотелось бы терять тебя из вида...

— Да нет, зачем же,— ответила я.

Мы распрощались, так как ему нужно было с первым же поездом уезжать к месту работы.

Я попрощалась с ним с искренней сердечностью, но почему-то даже не спросила, увижу ли я его еще раз.

А он, задержав мою руку в своей, испытующе близко смотрел мне то в один глаз, то в другой, как будто хотел найти во мне что-то, кроме той спокойной, дружеской улыбки, с которой я смотрела на него.

Наконец, он крепко, как мужчине, сжал мне руку и, ничего не сказав, медленно пошел, не оглядываясь.

А я вернулась домой.

Я жила целый вечер впечатлением этой встречи и все думала, хорошо ли я поступила. Я не знаю... Но я совершенно не чувствую беспокойной раздвоенности и тоскливой пустоты одиночества после его отъезда, а ощущаю необъяснимую крепость жизни в себе, внутреннюю полноту и свободу.

ХОРОШАЯ НАУКА

Этюд

В понедельник все были несколько взволнованы неожиданным событием: в соседней слободке в ночь на воскресенье зарезали в саду четырех человек.

— Прямо почем зря стали резать,— сказал кузнец, прибежавший из своей кузницы в фартуке и валенках послушать, что рассказывали два Митьки, как всегда первые принесшие это известие.

— Да за что же они их, ироды? — сказала, всплеснув руками, старушка Аксинья.

— Сад им общество сдало восьми человекам, да промахнулось,— сказал рыжий Митька,— взяли с них 300, а там яблок-то оказалось на большие тыщи, ну и испугались, что те много пользуются...

—...Надумались было отнять сад, либо надбавить цену,— вставил черный Митька, а те говорят: раньше чего глядели? И ружья наставили на них. Ну те отступились, а ночью пришли да четырех и прирезали.

— Ловко! — крикнул Андрюшка, сбив картуз назад с вьющегося расчесанного вихра.

На него оглянулись.

— Чего ты, домовой? Ай уж ошалел совсем, прости, господи...—сказала старушка Аксинья, держа на груди руки под холстинным фартуком и повернувшись к Андрюшке.

— А что ж!..— сказал Андрюшка и, сплюнув, отошел в сторону.

— До чего озверел народ, господи, батюшка.

— Прямо звери дикие. Ему теперь за копейку ничего не стоит человека зарезать.

— Мудрость какая,— сказал Андрюшка, сев в стороне на бревно.

На него не обратили внимания, только Аксинья повернулась к нему, что-то хотела сказать ему, очевидно, сильное, потому что у нее дрожали губы, но потом с гневом отвернулась, ничего не сказав.

— Прежде, бывало, человечью кровь пролить хуже, чем самому умереть,— сказал старик Софрон.

— Прежде — страсть,— кузнец старый нечаянно пристрелил человека и на суде его оправдали, а бывало, идешь мимо него, глянешь,— и даже жутко как-то станет: человека у б и л. И так с ним до смерти осталось: вроде, как печать какая...

— Да, да,— сказала старушка Аксинья, покачав головой,— и сделался он после того какой-то нехороший, вроде, как с лица потемнел и все больше молчал. Наша Марковна поглядела на него,— «не жить, говорит, ему,— думы замучают»... Так и помер.

— Смерть пришла, вот и помер,— сказал кто-то из молодых.

— То-то вот, страху перед кровью нет.

— Удивление,— сказал Фома Коротенький,— и ведь люди те же, а поди...

— Я про себя скажу,— заметил солдат Филипп,— прежде, можно сказать, боялся курицу зарезать. Как объявили войну, ну, думаю, пропал, кровь пролить придется.

— Об чем толкует...— проворчал опять Андрюшка и, усмехнувшись, сплюнул, сидя на бревне.

— Бывало на ученье,— продолжал Филипп, насыпая на оторванную бумажку табаку из кисета,— повесят чучело,— немца изображает,— коли, говорят, его... кричи ура и коли...

— Что ж немец-то не человек, что ли...— сказала старушка Аксинья.

— Да, вот закричишь ура,— продолжал Филипп, оглянувшись на Аксинью,— побежишь, двух шагов не добежишь, подумаешь, что живого человека будешь так-то колоть,— руки и опустятся. Народ в церковь идет, у людей праздник, а мы, как очумелые, бегаем, орем и штыком ткаем. Когда народу много, еще ничего, а когда один бежишь, а все смотрят, так словно стыдно чего-то.

— С непривычки...

— Кто ее знает... Ну, потом-то обошлись и ничего,— ткаешь за мое почтение, бывало.

— Приучили. Мы тоже так-то,— сказал Захар с нижней слободы,—стоя в распахнутой поддевке и сапогах,—уж на что я...и то спервоначалу страшно было, особливо, когда в атаку шли. А у нас ротный,— образованный такой был,— ну, дай бог ему здоровья, научил: ты, говорит, когда бежишь, к р и ч и , что есть мочи, и глаза выкатывай, как ни можно больше.

— Вот, вот. Это первое дело,— сказал Филипп, раскуривая от Федоровой трубки свернутую папироску.— Потом-то и мы доперли. Бывало, бежишь, а сам зенки выкатишь и орешь, что есть мочи, ура. Тут уж ничего не чувствуешь, вроде как самого себя заглушаешь.

— Что ж начальники-то ваши, из господ которые, неужто тоже людей убивали или командовали только?

— Ну, они первое время повострей нашего брата на этот счет были,— сказал Захар,— потому мы от сохи, а они хорошую, можно сказать, науку прошли.

— Образованные, как же можно,— сказал Федор, насасывая трубочку, которая плохо курилась.

— У нас в полку мальчики совсем были, офицерики, шейки тоненькие, беленькие, как у девочек, а мы спервоначалу против них, как старые бабы, были. Как-то наскочили на нас разведчики немецкие, поранили мы их маленько, и не знаем, что с ними делать, а тут наши барчуки подскочили и штыками их прямо в горло ткнут — и никаких... Те плачут, просят...

— Плачут? Ах, господи, батюшка, неужто нельзя было по-человечески, как...

— Значит, не полагается,— сказал Фома Коротенький, неуверенно оглянувшись.

— Верно, верно,— сказал Захар,— у нас тоже так-то.

— Ну, что же, когда таких-то раненых кололи, тоже кричали? — спросили старушки.

— Мы кричали, а барчуки нет. Они, бывало,когда свинью поймаем, так первое дело — тащи к ним,— любили их штыками колоть, особливо, когда боев долго не было.

— Это первое дело... На этот счет молодцы, смелые были.

— Бывало, еще смеются над нами, что у нас от человеческой крови руки трясутся.

— Теперь не затрясутся,— проворчал Андрюшка с своего бревна.

— Теперь... про это никто и не говорит,— сказал недовольно Захар, оглянувшись на Андрюшку.

— Теперь, можно сказать, тоже школу хорошую прошли,— сказал Филипп,— сами образованные стали. А прежде бывало...— он махнул рукой и усмехнувшись покачал головой,— даже перед мальчиками перед этими стыдно было, до чего крови боялись, особливо кто постарше, как подумаешь, бывало...

— Думать,— спаси бог... У нас молоденький офицерик был, так тот все нам говорил: первое дело не думай да ори покрепче. Вот тебе, говорит, вся наука.

— А все-таки господам небось трудней было,— можно сказать, головой приучены работать, а тут во всю войну не думай, а только ори во всю глотку.

— Привыкли... И наука тоже помогла небось.

— Конечно, когда охота есть, скоро привыкнуть можно.

— Вот священник с крестом тоже хорошо помогал; как выбежит, бывало, вперед, так прямо в голове помутится, летишь, как очумелый, только ищешь глазами, в кого бы штыком пырнуть.

— Да, с крестом здорово! Тут, кажется, отец родной подвернись, и того зарежешь,— сказал Захар.

— Ах, господи, какой народ стал,— сказала старушка Аксинья,— и отчего так? Батюшка в церкви уж прошлое воскресенье говорил: опомнитесь, говорит, вы сердцем ожесточились, хуже, говорит, зверей стали, образ божий, говорит, потеряли, неужто по-человечески-то нельзя? Потом вышел с крестом, а мне будто стыдно крест-то целовать, и с чего,— сама не знаю.

— С нами тоже встрелся наш ротный,— сказал Филипп,— добрый человек, тихий такой, только до немцев был — яд; тоже бывало, говорил, чтобы первое дело — не думать. Разговорились мы по душам; что же это вы, говорит, словно звери стали? Что это с вами сделалось? Отчего вы так обезумели, говорит, про крест-то забыли, что на шее носите? А нам тоже нехорошо стало, вроде как совесть заговорила. Хороший человек-то уж очень.

— Боялись прежде человеческую кровь лить, боялись,— сказал старик Софрон, стоя по-прежнему опершись грудью на палку и тряся седой головой, скорбно глядя куда-то перед собой вдаль.

— И отчего так повернулось? — сказал, недоумевая Фома Коротенький, поглядывая то на одного, то на другого, как бы ожидая, не скажет ли кто-нибудь.

Но никто ничего не ответил.

БУФЕР

(Шутка)

Посвящается
Ивану Михайловичу Москвину

I. Гражданин, вы обвиняетесь в том, что на станции Кашира среди бела дня украли буфер.

II. Чегой-то?

I. Украли, говорю буфер... часть вагона, предохраняющая от столкновения, такие чугунные тарелки на стержне.

II. ...А, да, да. Это точно было.

I. Значит, признаете?

II. Отчего же не признавать-то, что было, то было.

I. Вы чем занимаетесь?

II. Все тем же...

I. То есть как все тем же? Чем именно?

II. Рыбку ловим.

I. Так зачем же вы буфер-то украли?

II. А то с камнем дюже не способно.

I. Что с камнем не способно?

II. Это я про лодку. Мы теперь с лодки ловим. Без лодки по нашим местам неспособно.

I. Так при чем же все-таки тут буфер, не понимаю. Для грузила, что ли?

II. (смеется). Куда ж такое грузило... Это тогда целую свинью на крючок сажать нужно.

I. Так зачем же?

II. А с ним много способней. Господа у нас сейчас, какие там живут, так у них на лодках... как его... якорь этот. А мы до этого все с камнем обходились. Все портки об него обдерешь, вот поглядите, пожалуйста. Как зацепишь,— тррр! и готово. А бутер гладкий и за дно хорошо держится.

I. А раньше чем занимались?

II. Все тем же (утирает нос полой). Я лучше голодный просижу, а уж рыбки половлюсь. Охотник до ужасти...

I. А раньше, до этого, вы не судились?

II. Чегой-то?..

I. Вот тут за вами еще дела числятся, говорю. Гайку для грузила вы никогда от рельс не отвинчивали?

II. Какую гайку?.. А, энту-то? Давнишнюю? Это Иван Михалыч Москвин меня ославил. Он такого наблаговестил, что и половины того не было. Они у нас под Каши-

рой летом на даче живут. Они и Борис Борисыч Красин. Охотники, сейчас умереть! Ну, да у них и снасти... Им бутер воровать незачем. Известное дело — господа.

I. Теперь господ нету, пора, кажется, знать.

II. Как же это нету. Я вместо якоря этого с камнем езжу, на леску весь хвост у кобылы обдергал, а они, окромя того, что у них снасть первосортная, номерная, еще на пуколках ездят... Небось для меня не приготовили...

I. Так вы на этом основании народное достояние расхищаете? С гайки начали, а теперь уж за буфера ухватились. Скоро целыми вагонами таскать начнете?

II. Вагоны для нас не подходящи.

I. То-то вот — не подходящи... А что подходяще, то все сопрете?

II. Как придется.

I. То есть как это — «как придется»?

II. Да так, таскаешь-то не для воровства, а потому, что вещь нужная. А она иной раз лежит без пользы... не хуже этого бутера.

I. А у вас он с пользой?

II. А как же. Ведь вот целый месяц ловлю, портки-то целы.

I. Помолчите, мне нужно записать.

II. А ну, ну... (Некоторое время молчит, потом усмехается и качает головой). Для грузила... ведь скажет тоже, ей-богу. Это тогда целую свинью на крючок сажать нужно.

I. Замолчите вы.

II. Я ничего... Иконки-то нету, отменили, знать. А вот с рыбкой это не пройдет. Без молитвы ни шута не поймаешь. Господин, а вы все-таки запишите, что без бутера нам никак невозможно. Вообче тяжелое и гладкое что-нибудь, чтобы было, чтоб за дно цеплялось, а порток не рвало... А Иван Михалыч Москвин тоже охотники, сейчас умереть! Как приедет, так сейчас ребят наших себе прикомандирует; выползков ему все носят. Он, ежели для рыбы, всякое дело бросит...

I. Ну, вот что: я сейчас буду протокол писать, так чтобы у меня не врать, меня не проведешь, я, брат, тоже рыболов.

II. О?!! (Крестится). Наконец-то на своего брата попал. А то, верите ли, господин, бывало судишься, так это не судьи, а дрянь одна; ему говоришь про выползка, а он тебе не понимает, что такое есть выползок. Так это не

судья по-нашему, а просто дрянь. У вас-то на выползков ловят тут?

I. (Пишет). Ловят... А вы, значит, и еще судились кроме гайки?

II. Скрозь. И все из-за рыбы. Сколько я из-за нее потерпел,— перечесть невозможно. За кольцо судился, на станции вывернул (лески очень хорошо отцепляет). Потом за капусту. Ночью после дождя пошел к соседу в огород за выползками, да капусту потолок. Месяц опять отсидел. А все почему? Потому, что судьи в своем деле ни аза не понимают. Вы вот, как рыболов, все рассудите, а они что?

I. Один, братец ты мой, вред от тебя. Какой же ты гражданин, скажи на милость! Революция была, все кверху тормашками перевернулось, а ты, как сидел на своей рыбе, так и сидишь. В революции-то участия не принимал, небось?

II. Я тут лодку делал...

I. Опять глупость. Какой ты деревни?

II. Запишите Климовой, как раз супротив коровьего перехода. (Судья пишет). А у вас-то тут рыбка есть?.. (Молчание).

I. Вот ты по своей глупости делаешь черт знает что, а теперь приходится возиться с тобой, протокол писать. А это выходит по статье, не совсем для тебя приятной...

II... Уж вы смотрите так, как... Ох, и половились же мы в прошедчем году. Вот, братец ты мой, рыба шла, откуда что бралось!

I. Да подожди ты... (Говорит про себя). На месяц придется...

II. Чегой-то? (Молчание). Вы-то, что тут — на выползка или на простого червяка ловите?

I. Когда ты, наконец, угомонишься? Революцию проспал, обществу от тебя пользы — никакой, капусту чужую топчешь, гайки отвинчиваешь...

II. Да что вы все об гайке об этой!

I. Неужели тебе никогда в голову не приходило бросить это занятие, ведь сколько ты из-за него терпишь...

II. Придираются очень... Ведь из-за этой гайки чего только не наплели на меня: и злой умысел и кража. А там никакой кражи не было, не хуже этого... как его, бутера. Господа ловят—ничего, на пуколках разъезжают, а как мужичок себе полез, так не ндравится. Мне почесть все судьи говорили: брось да брось. Вот и вы тоже. Что ж, я много наловлю? Рыбы-то, слава тебе, господи,

на всех хватит. Рыбу жалко, вот и придираются. Конешно, ежели сам рыболов, вот и завидки и берут.

I. Вот что, приятель, твое дело плохо: ты рецидивист...

II. К-как?..

I. Рецидивист. Упорное расхищение народного достояния. Гайка там, капуста и прочее.

II. Так, так... Гайка эта, значит, теперь на всю жизнь пошла?

I. Да. А сейчас тебя придется отправить...

II. Опять сидеть?!

I. Опять. Иди в коридор, подожди там.

II. Покорно благодарю. Значит, нам одна линия: и при царе сидели и теперь сиди. Тоже рыболов... сволочь! Господи, когда ж это жить посвободнеет! (Уходит.)

НАСЛЕДСТВО

Поезд медленно взбирался на подъем. В стороне от полотна дороги виднелась усадьба с елками.

Посредине зеленой лужайки с бывшими когда-то цветниками возвышалась груда битых кирпичей и мусора. А по сторонам стояли с раскрытыми крышами амбары и сараи, с сорванными с петель дверями и воротами.

— Вон они, умные головы, что тут наработали,— сказал сидевший у окна вагона рабочий в теплом пиджаке и в шапке с наушниками.— Заместо того, чтобы народное добро сберечь, они по ветру его пустили.

— У нас тут везде так-то,— отозвался сидевший против него мужичок в полушубке, поминутно почесывавший то плечо, то под мышкой.— Я сторожем в саду был у нашего помещика,— вроде как садовник,— так все по бревну растащили. Дом был громадный, полы эти, как их... паркетные были, а в сенцах пол мраморными плитками весь выстелен был. Так их ломали, эти плитки-то, да таскали домой. Через месяц на этом месте только куча кирпичей осталась, не хуже этого. Вот ей-богу.

— Ну, вот,— сказал рабочий,— от большого ума.

— Потом сторожем меня от обчества к усадьбе приставили от разграбления,— продолжал мужичок.

— Что ж ты, сторожем был, а у тебя только кирпичи остались?

— Одна проформа,— сказал мужичок, махнув рукой и посмотрев в окно.— Им говоришь, а они: «Мы, говорят,

тебя поставили, значит, мы хозяева. А то, говорят, вовсе прогоним, если воровать мешать будешь». Ну, недели две всего и посторожил.

— А от кого сторожил-то? — спросил кто-то.

— ...От кого... А кто ее знает, от кого. Для порядка,— сказал мужичок.—Да мне и не платили ничего, только что сам утащишь, то и есть.

В это время вошел новый пассажир, малый в картузе с острыми краями и с причудливой тросточкой, так что все сначала посмотрели на тросточку, а потом уже на него.

— Можно сказать, в наследство богатство досталось,— сказал рабочий, бросив взгляд на тросточку,— и ежели бы люди с разумом да с образованием, так тут бы каких делов наделать можно. Небось, сами в свиных закутках живете, а какой домино своротили ни за что.

— Я тут ни при чем,— сказал мужичок,— я брал, что без лому. И другие бы ничего. А тут в соседней деревне, как стали тащить, поневоле себе... Там целыми возами возили.

— Целыми возами! — сказал старичок из мещан в пиджаке и с толстым шарфом на шее, придвинувшись поближе к говорившим.

— Умные головы...— сказал опять рабочий, угрюмо глядя в окно,— заместо того, чтобы с пользой употребить, они его по бревну...

— Покамест ты их с пользой-то будешь употреблять, от них щепки не останется,— сказало дружно несколько голосов.

— Нешто можно, время горячее,— отозвался старичок с шарфом.

— Сначала захвати, а потом будет что с пользой употребить,— сказал еще голос невидимого пассажира откуда-то сверху. Очевидно, он лежал на самой верхней полке и, свесив оттуда голову вниз, слушал, что говорят.

— У нас тоже иные умники так-то вот говорили, все ждали, не трогали, а на поверку остались без всего,— сказал мужичок в полушубке.

— Это что там говорить. Бобы-то разводить всякий...

Рабочий, на которого напали со всех сторон, казалось, был сконфужен и некоторое время не находил, что сказать. Потом вдруг обернулся к мужичку, который в это время свертывал папироску, положив на колени кисет с махорчиками по углам, и спросил его в упор:

— К какой партии принадлежите?..

Все замерли, повернувшись к мужичку и ожидая, что он скажет.

— Социалисты мы... ну? — ответил мужичок, глядя прямо в глаза рабочему, как будто он был готов сколько угодно выдержать вопросов.

— Социалисты... Нешто социалисты так должны поступать?

— А как же еще?

— Как...— угрюмо отозвался рабочий,— чтобы всем досталось, вот как.

— Кто не зевал, тем и досталось. Нешто мы запрещали. Я вон сторожем был и то ни слова никому. Вот кабы мы сами воровали, а другим не давали, вот бы тогда другое дело.

— Тогда б вы вовсе жулики были.

— А теперь кто?

— А черт вас знает.

— То-то вот и оно-то.

— Без обозначенья остались...— заметил старичок с шарфом, с улыбкой слушавший разговор.

— Без обозначенья, зато с добром,— сказал сторож, сматывая кисет и держа свернутую папироску в зубах.

— С каким добром?

— С хлебом, с каким же больше... А вон у нашего барина в саду куклы белые какие-то были, так их, конечно...

— Толку мало...

— Мы тоже так-то,— сказал парень с тросточкой,— когда своего разбирали, так думали — конца добру не будет: и хлеба, и всего, а как пошли, так, окромя цветочков, да картинок, да финтифлюшек разных, ни черта и нету.

— Не понимаешь ни черта,— вот и нету,— сказал рабочий.

— Да чего ж тут понимать,— сказал парень,— кабы люди делом занимались, а то он все баб срисовывал.

— А куклы белые были? — спросил сторож.

— Были.

— Ну, вот, до старости дожили, а на уме все куклы.

— Вот так наследство досталось! — сказал старичок с шарфом, засмеявшись.

— Кто век свой не работает, от того много не останется.

— Цветочки да картинки получай. А тут хлеба нету.

— Мы этими картинками и так уж горшки накрываем.

— Больше их и некуда.

— Опять же цветы эти... Вот себе только тросточку и сделал,— сказал парень.

Все посмотрели на тросточку.

— Из какого дерева? — спросил сторож, взяв в руки тросточку и осматривая ее.

— А чума ее знает. Высоченное какое-то стояло, листья в целый пирог... Это уж я из сучка сделал.

— Только всего и наследства получил? — спросил веселый старичок с шарфом.

— Наследство хорошее...— отозвалось несколько насмешливых голосов.

— Пойди поищи охотника, может, и тросточку твою купит. У них есть такие. Они всякую чепуховину покупают, ездят тут.

— Есть, есть,— сказал парень,— к нам приезжали, все кукол этих спрашивали, а мы им всем почесть носы поотбивали.

— И без носу возьмут.

— Что трудовому народу даром не нужно, они еще деньги хорошие заплатят.

— Очень просто. К нам все приезжали уж от начальства из Москвы, картины искали. А у нас только от них одни рамы остались, хорошие рамы были.

— Со стеклами?

— Стекла-то мы раньше выбили.

— Да... наследство...

Поезд остановился. Вошел еще пассажир, высокий худой мужик в старом оборванном лохматом полушубке с мешком на спине, под тяжестью которого он сгибался.

Все молча посмотрели на него.

Он, ни на кого не глядя, искал глазами по полкам места, чтобы положить мешок, который, видимо, оттянул ему все плечи.

— Тяжелый мешок-то? — ласково сказал старичок с шарфом.

— Тяжелый, чума его задави,— сказал мужик и с досадой ткнул мешок на лавку, в угол, придавив его руками, чтобы он не валился.

Он ответил с такой досадой, с какой отвечает мачеха, у которой спрашивают про мальчика, думая, что это ее сын.

— Что в мешке-то? — спросил старичок.

— Книги...— неохотно ответил мужик. Он снял лохматую баранью шапку и почесал спутанные волосы, оглядывая вагон, как бы не зная, стоять ему тут или идти дальше искать места, где можно сесть.

Рабочий быстро взглянул на мешок.

Сторож заметил его взгляд и, подмигнув соседу, спросил у мужика:

— Всем достались?

— Кто дурак был, тем и достались,— раздраженно ответил владелец мешка.

— Тоже наследство, значит? — спросил парень с тросточкой.

— Чего?

— Откедова, говорю, везешь?

— Вон, с экономии,— сказал недовольно мужик, ткнув корявым пальцем куда-то в угол через плечо.

Все помолчали.

— Что ж так плохо? Ничего не было больше-то?

— Быть-то было... Да мы схватились, когда умные люди все путное уж разобрали. Нам только одни книжки достались, отобрал какие потолще, да и сам не рад.

— А вам что надо-то было? — сказал парень с тросточкой.

— Хлеба искали...

— А куклы белые были? — спросил сторож.

— Были...— ответил угрюмо мужик.

— Значит, все, как полагается.

— Как человек умный, так он из всего пользу сделает, а как дурак — ему ни от чего проку не будет,— сказал долго молчавший рабочий, уже покинутый всеми.

— Пойди-ка вот, из этого пользу сделай,— сказал парень с тросточкой. Он достал из мешка самую толстую книгу, подержал ее на руке, как бы пробуя вес, покачал с усмешкой головой и развернул.

Все притихли и смотрели то на книгу, то на парня.

— Словарь ан...ан...глийский,— прочел он,— а дальше крючки какие-то. Тащи, брат, штука хорошая попалась.

— Горшки накрывать годится,— сказал с полки невидимый пассажир.— Это еще способней картинок.

— Куда,— тяжельше. Гнет тоже на творог хороший.

Мужик молча взял книгу, сунул ее в мешок и, наступая лаптями на ноги сидевших в проходе, пошел в своем прорванном кафтанишке обиженно искать другого места.

— Ай да наследник! — сказал ему парень вслед.

— Да, жили, жили целый век на трудовой шее, а пришел народ наследство получать — и нету ничего.

— Дураку никакое наследство в прок не пойдет,— сказал рабочий.

— А горшки-то накрывать зато есть чем,— сказал веселый парень.

Все засмеялись.

СУД НАД ПИОНЕРОМ

I

Один из пионерских отрядов захолустного городка был взволнован неприятным открытием: пионер Андрей Чугунов был замечен в систематическом развращении пионерки Марии Голубевой.

Было наряжено следствие, чтобы изобличить виновного и очистить пионерскую среду от вредных элементов, так как нарекания на молодежь приняли упорный и постоянный характер со стороны обывателей.

Говорили о том, что молодежь совсем сбилась с пути и потеряла всякие мерки для определения добра и зла. И, конечно, в первую очередь объясняли тем, что «бога забыли», «без религии живут».

Что касается бога, то тут возражать нечего, а что касается некоторых лиц, подобных Андрею Чугунову, решено было на общем собрании принять самые строгие меры. Если попала в стадо паршивая овца, она все стадо перепортит.

Устроен был негласный надзор и слежка за ничего не подозревавшим Чугуновым.

Преступление еще более усугублялось тем, что Мария Голубева была крестьянка (жила в слободе, в версте от города). Какого же мнения будут крестьяне о пионерах?

Выяснилось, что он часто гулял с ней в городском саду, потом иногда провожал ее до дома поздним вечером.

Слежку за ним решено было начать с четверга вечером, когда в клубе позднее всего кончались занятия и можно было вернее предположить, что он пойдет ее провожать.

В этот вечер весь отряд нервничал. Все были настроены тревожно, подозрительно, и глаза всех невольно следили за Чугуновым.

Он был парень лет пятнадцати, носивший всегда куртку внакидку. Волосы у него были необыкновенно жесткие и сухие и всегда торчали в разные стороны. Он их то и дело зализывал вверх карманной щеточкой. Лицо у него было бледное, прыщеватое. Он всегда ходил отдельно от всех, около забора на школьном дворе, и на ходу зубрил уроки. В его наружности, казалось, не было ничего, что могло бы заставить предположить возможность такого преступления.

А Мария Голубева производила еще более невинное впечатление: она была тихая, задумчивая девушка, едва переступившая порог шестнадцатой весны. С красненькой ленточкой в волосах, с красным платочком на шее. У нее была привычка: вместо того, чтобы расчесывать волосы гребенкой, она мотала головой в разные стороны, отчего ее стриженые волосы рассыпались, как от вихря, а потом она просто закладывала в них круглую гребенку.

Ее почти никто не осуждал, так как видели в ней несознательную жертву. На нее только смотрели с некоторым любопытством и состраданием, когда она проходила мимо.

Все негодование сосредоточилось на Чугунове.

В четверг, после окончания занятий в клубе, отряженные для слежки два пионера делали вид, что никак не найдут своих шапок, чтобы дождаться, когда выйдут Чугунов и Голубева. И всем хотелось видеть, что будет. Поэтому в раздевальне была толкотня. Шли негромкие, осторожные разговоры. И все посматривали на коридор. Вдруг кто-то подал знак, что идут, и все, давя друг друга, выбежали на улицу.

В приоткрытую дверь было видно, что делалось в раздевальне.

Все столпились около двери и жадно следили.

— Товарищи, идите домой,— двум товарищам поручено, они проследят и донесут, а вам тут нечего делать,— сказал вожатый.

Но все нервничали, волновались, и никто не двинулся с места. Потом вдруг бросились врассыпную и спрятались за угол: показался Андрей Чугунов с Марией.

Они не разошлись в разные стороны, как бы следовало им, жившим в противоположном друг другу направле-

нии, а пошли вместе, в сторону окраины города. Ясно было, что Андрей отправился вместе с ней до ее деревни.

Потом все увидели — в полумраке вечера, как Андрей перешел по жердочкам через ручей и подал Марии руку. Она перешла, опираясь на его руку.

Два следователя запахнули от ветра куртки и осторожно шмыгнули вслед за ушедшими.

Оставшиеся чувствовали себя взволнованными всей таинственной обстановкой и тем, что Андрей идет сейчас, ничего не подозревая, а между тем за ним неотступно будут следовать две тени.

В этот вечер все долго не ложились спать, так как ждали возвращения следователей, чтобы узнать от них о результатах.

Мальчики и девочки долго сидели в столовой вокруг стола, с которого убрали посуду, и говорили тихими голосами, всякий раз замолкая, когда мимо проходил руководитель.

Его они не захотели мешать в это дело, пока не выяснится полностью вся картина.

В одиннадцать часов ребята вернулись. Все бросились к ним и начали расспрашивать, что оказалось, подтвердились ли обвинения? Те принялись жадно за еду на уголке стола и хранили глухое молчание. Они заявили, что до суда не скажут ни слова.

— Будет дурака-то валять! — сказал кто-то.

— Нет, товарищи, они правы; они, как поставленные официально, не могут удовлетворять простое любопытство,— сказал Николай Копшуков, один из старших в отряде.

Ребята замолчали и, стоя в кружок около ужинавших, молча смотрели на их лохматые макушки и жадно жующие рты, набиваемые гречневой кашей.

Все с еще большим нетерпением ждали теперь суда, который назначили на третий день после слежки, в воскресенье.

II

В общежитии с утра был такой вид, какой бывает в улье, когда выломают мед. Все как-то возбужденно, без всякой видимой цели сновали взад и вперед.

Дежурные принесли чаю и булок. Все наскоро напились чаю и побежали в верхнюю спальню, оттуда — в зал, где был назначен суд.

Десятки глаз провожали Чугунова, когда он шел в зал по вызову вожатого, все еще ничего не подозревая.

Президиум суда сел за выдвинутый на середину зала стол.

Ребята сели на окна и на лавки. В зал вошла беременная кошка, которую звали почему-то «Мишкой», и стала тереться о ноги.

— Пионер Чугунов! — сказал председатель суда. Он при этом встал и, взлохматив вихор, покраснел, так как сидевший справа от него товарищ дернул его за рукав, чтобы он не вставал, а говорил сидя.

— Пионер Андрей Чугунов обвиняется товарищами в систематическом развращении своего товарища по отряду — Марии Голубевой.

— В чем дело? —сказал, поднявшись с лавки, Чугунов и, оглянувшись кругом, пожал плечами, как бы спрашивая всех — в здравом ли уме и твердой памяти заседающие за столом типы?

— Ты после дашь свои объяснения,— остановил Чугунова председатель.— Товарищи! — сказал он, повысив голос и вглядываясь в сторону окон, откуда слышались негромкие голоса переговаривавшихся ребят.— Прошу внимания. Да прогоните к черту эту кошку! Товарищи, в переживаемый момент, когда молодежь обвиняют в распущенности и в том, что недостойно пионеров, мы особенно должны высоко держать знамя. А такие элементы, которые дискредитируют, должны особенно преследоваться и изгоняться из отрядов.

Чугунов сидел в накинутой на плечи куртке и пожимал плечами, как бы говоря, что все это хорошо, но какое к нему-то имеет отношение?

— Замечания некоторых товарищей вынудили нас устроить расследование дела, и полученный материал вполне подтверждает прежние заявления отдельных товарищей. Теперь разрешите допросить товарища Андрея Чугунова.

Председатель погладил ладонью волосы, как бы соображая, какие задавать вопросы.

Но сосед справа опять что-то пошептал ему.

— Впрочем, нет,— сказал председатель,— я сначала прочту, что видели третьего дня два товарища, которым дано было поручение от отряда проследить поведение Чугунова. Вот оно:

«В одиннадцать часов, когда кончились клубные занятия, то все пошли одеваться, а мы как будто потеряли

картузы и задержались, чтобы все видеть. Вышел Чугунов вместе с Марией, и, когда она стала одеваться, он держал ее сумку и мешок, который она должна была нести домой, так как в нем была мука из кооператива.

Потом он пошел вместе с ней налево от школы, через ручей, где подал ей руку и перевел через этот ручей по бревну, как барышню. Потом пошли вместе дальше. Нам нельзя было идти близко во избежании того, чтобы они не заметили нас. И потому нам мало было слышно, о чем они говорили. Но слышно было, что о стихах. Причем осталось неизвестным, о своих стихах он говорил или о стихах известных поэтов. А потом взял у нее мешок и стал нести вместо нее. Потом долго стояли на опушке, и что они делали, было не видно, так как очень темно. Потом она пошла одна, а он вернулся, оставив нас незамеченными в кустах опушки».

— Вот. Картина ясна, товарищи. Перед нами налицо поведение, недостойное пионера, как позорящее весь отряд.

— Признаешь? — обратился он к Чугунову.

— Что признаю?

— Что здесь прочтено. Все так и было?

— Так и было.

— Значит, и через ручей переводил, и мешок нес?

— И мешок нес.

— А стихи чьи читал?

— Это мое личное дело,— ответил, густо покраснев, Чугунов.

— Нет, не личное дело. Ты роняешь достоинство отряда. Ежели ты свои стихи писал и читал их не коллективу, а своей даме, то это, брат, не личное дело. Если мы все начнем стихи писать да платочки поднимать (а ты и это делал), то у нас получится не отряд будущих солдат революции, а черт ее что. Это не личное дело, потому что ты портишь другого товарища. Мы должны иметь закаленных солдат и равноправных, а ты за ней мешки носишь, да за ручку через ручеек переводишь, да стихи читаешь. А это давно замечено — как проберутся в отряд сынки лавочников...

— Я не сын лавочника, мой отец слесарем на заводе! — крикнул, покраснев от позорного поклепа, Чугунов.

Но председатель полохматил волосы, посмотрел на него и сказал:

— Тем позорнее, товарищ Чугунов, тебя это никак не оправдывает, а совсем — напротив того. Сын честного

слесаря, а ухаживает за пионеркой. Если она тебе нужна была для физического сношения, ты мог честно, по-товарищески заявить ей об этом, а не развращать подниманием платочков, и мешки вместо нее не носить. Нам нужны женщины, которые идут с нами в ногу. А если ей через ручеек провожатого нужно, то это, брат, нам не подходит.

— Она мне вовсе не нужна была для физического сношения,— сказал Чугунов, густо покраснев,— и я не позволю оскорблять...

— А для чего же тогда? — спросил, прищурившись, сосед председателя с правой стороны, тот самый, который вначале дернул председателя за рукав.— Для чего же тогда?

— Для чего?.. Я почем знаю, для чего... Вообще. Я с ней разговаривал.

— А для этого надо прятаться от всех?

— Я не прятался вовсе, а хотел с ней один быть.

— Один ты с ней мог быть для сношения. Это твое личное дело, потому что ты ее не отрываешь от коллектива, а так ты в ней воспитываешь целое направление.

— А если она мне свое горе рассказала?..— сказал, опять покраснев, Чугунов.

— А ты что — поп?

— Я не поп. А она мне рассказала, а я ее пожалел, вот мы с тех пор и...

— Настоящая пионерка не должна ни перед кем нюнить, а если горе серьезное, то должна рассказать отряду, а не отделяться на парочки. Тогда отряды нечего устраивать, а веди всех к попу и ладно,— сказал председатель.

Сзади засмеялись.

— Вообще, картина ясна, товарищи. Предъявленное обвинение остается во всей силе неопровергнутым. Товарищ Чугунов говорит на разных языках, и поэтому нам с ним не понять друг друга. И тем больнее это, товарищи, что он такой же, как и мы, сын рабочего, а является разлагающим элементом, а не бойцом и примерным членом коллектива.

Ставлю на голосование четыре вопроса:

— Эй, ты, «Мишка», пошла отсюда — посторонним воспрещается,— послышался приглушенный голос с окна.

...1. Доказано ли предъявленное обвинение в систематическом развращении пионером II отряда Чугуновым пионерки Марии Голубевой?

2. Следует ли его исключить из списка пионеров?
3. Признать ли виновной также и Марию?
4. Следует ли также исключить и ее?

Голоса разделились. Большинство кричало, что если это дело так оставить, то разврат пустит глубокие корни и вместо твердых солдат революции образуются парочки, которые будут рисовать друг другу голубков и исповедываться в нежных чувствах. На черта они нужны. Такая любовь есть то же, что религия, т. е. дурман, расслабляющий мозги и революционную волю.

Любовью пусть занимаются и стихи пишут нэпманские сынки, а с нас довольно здоровой потребности, для удовлетворения которой мы не пойдем к проституткам, потому что у нас есть товарищи.

Меньшинство же возражало, что этак совсем искоренятся человеческие чувства, что у нас есть душа, которая требует...

Тут поднялся крик и насмешливые вопли:

— До души договорились! Вот это здорово! Ай да молодцы! «Мишка», а у тебя душа есть?

— У них душа стихов требует! — послышался насмешливый голос.

— Хулиганы!..

— Лучше хулиганом быть, чем любовь разводить.

— Товарищи, прекратите! — кричал председатель, махая рукой в ту сторну, где больше кричали, потом, нагнувшись к соседу с правой стороны, который ему что-то говорил вполголоса, он сказал: — Проголосуем организованным порядком. Артем, вышвырни кошку. И заприте дверь совсем, не пускайте эту стерву сюда.

При голосовании первого вопроса о виновности в систематическом развращении факт доказанности вины признан большинством голосов.

При голосовании об исключении некоторое незначительное меньшинство было за оставление. По постановлению большинства — исключен.

При голосовании о виновности Марии факт виновности признан большинством голосов.

По четвертому пункту большинство стояло за оставление, но с условием строгого внушения держать знамя пионера незапятнанным.

Чугунов молча снял свой красный галстук, положил его на стол и пошел из зала в своей накинутой на плечи куртке. Человек 10 пионеров сорвались с места и, крича

по адресу оставшихся: «Хулиганы! обормоты» — пошли вон из зала за Чугуновым.

Председатель взял красный галстук, свернул его, бросил в корзину для сора.

И сказал: «Ушли, ну и черт с вами».

ПРАВО НА ЖИЗНЬ, ИЛИ ПРОБЛЕМА БЕСПАРТИЙНОСТИ

I

«Если ты до сих пор существуешь на свете, значит, ты благополучно проскочил через революцию и теперь имеешь право на жизнь, так сказать, за давностью лет...»

Так думал и неоднократно говорил себе в последнее время беспартийный писатель Леонид Сергеевич Останкин.

Думал он так вплоть до того дня, когда в вагоне трамвая столкнулся с одним из своих товарищей писателей, и тот поторопился сообщить ему новость, которая и привела впоследствии к трагической развязке.

В это роковое утро Останкин чувствовал себя особенно хорошо. Он сидел в сквере и ждал трамвая, чтобы ехать в свою редакцию. Весеннее солнце, весенние легкие костюмы, женские лица — все это давало ощущение радости и легкости наладившейся жизни.

Сам он был одет в синюю блузку с отглаженными складочками, из хорошего дорогого материала, без воротника, а с вырезом, из которого виднелась чуть-чуть сорочка и мягкий воротник с галстучком в виде черного бантика.

Желтые туфли необыкновенно шли к синему, в особенности, когда он садился и вздергивал на колене брюки повыше. Он всегда их так вздергивал, чтобы видны были красивые модные носки квадратиками.

Этот костюм давал ему реальное ощущение того, что жизнь вошла наконец в спокойное русло, когда тебя уже никто не остановит и не спросит, почему так хорошо одет и из какого ты класса.

Если бы кто-нибудь спросил его, почему он таким щеголем ходит, Леонид Останкин с удовольствием ответил бы ему давно приготовленной на этот случай фразой:

— Я горжусь тем, что Республика Советов может так одевать своих писателей.

И было даже досадно, что к нему никто с такой фразой не обращался. А с другой стороны, если не обращались, то, значит, жизнь действительно крепко вошла в берега. И бояться уже нечего.

И только иногда у него мелькал испуг: вдруг что-нибудь может пошатнуться,— переменится политика по отношению к писателям или еще что-нибудь. Это жило в нем, как смутное ожидание. Хотя и оно все слабее и слабее проявлялось, так как никаких внешних толчков не было.

Но при малейшей тревоге у него все-таки каждый раз екало сердце.

Останкин увидел подходивший трамвай, хотел было сесть, но вовремя заметил тоже садившегося в трамвай знакомого писателя, Ивана Гвоздева, который все жаловался, что его «запечатывают», и имел привычку громко высказывать свои жалобы на власть; если это было на улице или в трамвае, то на него все оглядывались.

Поэтому Останкин сделал вид, что он опоздал сесть, и поехал в следующем трамвае. Кроме боязни, что на них будут оглядываться, когда Гвоздев начнет свои разговоры, у Останкина было к нему какое-то неуловимое презрение, как к писателю, печатавшемуся в более правых журналах. И хотя все журналы были советские и издавались тем же правительством, все же какие-то неуловимые оттенки правизны и левизны были. Они угадывались верхним чутьем. И хотя Леонид Останкин был и считал себя беспартийным, все же у него была внутренняя мерка левизны и правизны. И было это презрение к тем, кому приходилось печататься в правых журналах, какое бывает у человека устроившегося к неустроившемуся.

Пробираясь в вагон и глядя прищуренными близорукими глазами через очки несколько вкось, как он имел привычку смотреть, когда разглядывал дальние предметы, Останкин вдруг почувствовал, что его кто-то дернул за рукав.

Оглянувшись, он увидел знакомого писателя.

Тот поздоровался и громко на весь вагон спросил таким тоном, от которого у Останкина что-то екнуло в том месте, где у пугливых людей находится сердце:

— Читали?..

— Что? — спросил Останкин, почему-то наперед почувствовав себя виноватым.

— Да как же! О нашем брате... Кто из писателей не будет коммунистом, тем — крышка!

Останкин покраснел, точно его в чем-то поймали, он неловко, растерянно улыбнулся и сказал:

— Что так строго?

— Вот вам и строго.

Останкин сделал вид, что это к нему нимало не относится, нисколько его не беспокоит, и заговорил о другом. Но он почувствовал вдруг, как вся радость жизни исчезла и заменилась тягостным сосущим ощущением под ложечкой.

Ему хотелось спросить, в какой газете это напечатано, но не спросил, чтобы не подумали, что он испугался.

Но он, действительно, почувствовал такой испуг, как если бы он подделывал векселя и ему сказали бы:

— Читали? Обнаружена подделка векселей, принялись за тщательные поиски подделывателя.

Трудно было бы при таких условиях быть спокойным и благодушно взирать на божий мир.

Увидев в углу газетчика, Останкин сделал вид, что ему здесь нужно слезать, простился с знакомым и уже в дверях, как будто только что вспомнив, крикнул:

— А где это напечатано?

Знакомый назвал газету. Останкин соскочил. Выждав, когда скроется трамвай, чтобы знакомый не увидел, он купил и развернул газету на ограде гранитной набережной.

Сердце глухо, редко стучало, как будто он ждал найти сейчас приговор своей спокойной до сего времени жизни и даже увидеть свою фамилию.

Но когда он прочел статью, у него отлегло от сердца.

— До чего люди неспособны понять даже то, что написано черным по белому! — сказал он.

Действительно, в статье говорилось только о внутренней драме современного советского писателя. Автор статьи говорил, что, если писатель не проявит себя активной силой, не сольется органически с новой жизнью и не будет питаться ее соками, он неминуемо погибнет. А то писатели пишут, описывают, а кто стоит за этим описываемым — не известно. Ничего не видно. Человек без наружности. Вся и разница между ними в стиле да в манере.

Смысл статьи был вполне ясен. Ни о каких устрашающих мерах не было ни слова. Но, странное дело, в сердце Леонида Останкина, едва он сделал несколько шагов, стала закрадываться тревога, как будто он был действительно в чем-то виноват.

Но в чем же он виноват?

Он напрягал все свое соображение и не находил за собой никакой вины.

— Прежде всего, я занимаю штатную должность секретаря,— сказал себе Останкин,— и меня это не может касаться.

Но сейчас же внутренний голос возразил ему:

— А разве со штатной должности тебя сковырнуть нельзя? На твое место найдется немало таких, которые действительно несли революционную работу, а ты что делал?..

— Я ничего предосудительного не делал. Во всяком случае нет ни одного факта, который бы указывал на мою преступность.

— Мало, что нет факта,— ответил ему опять внутренний голос,— есть, брат, вещички потоньше фактов.

Какая-то неприятная тревога, такое ощущение, как будто все видят, что его дело — дрянь, охватывало его все больше и больше, несмотря на его упорное желание логически доказать себе, что эта тревога — вздор.

— Вот стоит какому-нибудь болвану вякнуть, и кончено,— настроение все к черту.

Это тем более было досадно, что сегодня он приготовился с одной интересной женщиной пойти в театр, а после, захватив бутылочку шампанского, посидеть у нее на ее мягком диване и показать ей свой новый рассказ, корректуру которого он сейчас получит.

Сделав над собой усилие, чтобы отделаться от навязчивых мыслей, он пошел в редакцию.

И здесь ждало его то, что совершенно опрокинуло все его спокойствие и уверенность в прочности своего существования...

II

Проходя по коридору редакции, Останкин услышал в комнате художественного отдела говор многих голосов и знакомый хохот критика Гулина, имевшего привычку смеяться над тем, в чем мало было смешного.

Сейчас Останкину этот смех показался особенно неприятен.

Он вообще не любил шумных людей. Сам он был всегда ровный, корректный и культурный человек, не производивший никакого шума. В редакции он большею частью сидел тихо за своим столом. Волосы у него надо лбом всегда были спутаны наперед, как будто он, сидя над работой, не раз лохматил свой вихор. Очки, которые у него постоянно спускались, он поправлял двумя пальцами правой руки, подпихивая их выше к переносице.

Когда его окликали, он поднимал голову и поворачивал ее несколько вбок, так что смотрел по своей привычке вкось через очки. Ответив, что нужно, он опять опускал голову и продолжал писать.

Он подумал с неприятным чувством о том, что Гулин, наверное, сидит на его столе и, болтая ногами, хохочет. Нужно будет просить его слезть, а он, конечно, придерется к случаю, пустит какую-нибудь дурацкую остроту.

Когда Останкин вошел, несколько сотрудников стояли перед столом и, опираясь на спины друг друга, что-то читали и обсуждали. В стороне, на окне, сидел унылый и хмурый Иван Гвоздев. Пролетарский поэт Звездин беззаботно закуривал папироску, сидя бочком на столе и покачивая одной ногой.

У него был такой вид, какой бывает у сына директора заведения при известии, что много учеников, его товарищей, предполагается уволить: это среди них вызывает переполох, но на нем никак не может отразиться.

— А! Мое почтение! Пожалуйста, пожалуйста, вас только и не хватает! — закричал Гулин, едва Останкин вошел в комнату и вкось через очки посмотрел на собравшихся.

Останкин почувствовал, что у него, по обыкновению, упало сердце, а на лице против воли опять появилась та же улыбка, какою обыкновенно хотят скрыть свое волнение.

— Читали? — крикнул Гулин.

— Читал и ничего особенного не нашел,— ответил Останкин.

— Ах, не нашли?.. С чем вас и поздравляем. А вот как выволокут вас за ушко да на солнышко, вот тогда найдете о с о б е н н о е.

— Я нашел особенное,— живо заговорил рецензент Юлиус, шершавя стриженый затылок и шагая по комнате,— но не в той плоскости, как вы понимаете. Вы пони-

маете это так, как будто мы, все пишущие, какие-то жулики, которых собираются уличить и прихлопнуть... Ничего подобного! Нам напоминают товарищи, чтобы мы ни на минуту не порывали связи с основным жизненным течением. Никто не требует от вас, чтобы вы были непременно коммунистами с партбилетом в кармане, но требуют, чтобы интересы революции были вашими интересами. Иначе — смерть. Смерть не в том смысле, как это понимает Гулин, а в том, что вы тогда просто окажетесь инородным телом... дойдете до ощущения пустоты в себе, которая...

— Нет, мистер Кукс, вы идеалист и поборник жизненных течений, поэтому на вашем языке все звучит прекрасно. Но мы смотрим в корень вещей. И ваша пустота, как вы изволите выражаться, означает то, что в одно прекрасное время производится учет направления духовной энергии страны, представителем чего являетесь вы, и находят, что в этом направлении нет никакого направления, и вам говорят: пойдите-ка вы к чертовой матери! У нас есть те, кто действительно представляет собой часть революционного организма. И мы в первую голову должны им дать папу-маму, сиречь кус ржаного или белого хлеба, а не кормить вас, трутней, из-за совестливости перед бело-желтой Европой. И ваша идеалистическая пустота станет тогда самой реальной пустотой: в кармане ни черта, жить нечем, никуда не принимают. И отовсюду провожают вас с вышеуказанным лозунгом с присовокуплением чисто национальных выражений. Правда, товарищ Останкин? — заключил Гулин и, извернувшись, ткнул его под ребро большим пальцем.

У Останкина было такое ощущение, какое было у него в трамвае: точно он делал постоянные усилия, чтобы другим не было видно, что он виноват. И он всеми силами старался делать вид, что это к нему не имеет никакого отношения.

Он вышел в коридор и спросил рассыльного:

— Корректуру мне из типографии не приносили?

— Ее еще вчера принесли после вашего ухода, ее товарищ Рудаков зачем-то взял с собой.

«Странно... Зачем редактору понадобилась корректура его рассказа?»

— Он не говорил, когда придет?

— Сейчас должен быть,— ответил рассыльный, изогнувшись и посмотрев на часы, висевшие за углом в коридоре над дверью.— Да вот и они!

Останкин почувствовал сосущую тоску под ложечкой, точно ему вдруг мучительно захотелось есть, и невольно подумал о том, насколько этот рассыльный, Иван, в более лучшем положении, чем он: ему нечего бояться. Он не знает страха. У него есть непререкаемое право на жизнь. А у него, у Леонида Останкина, это право настолько зыбко, что колеблется от малейшей причины.

— И когда они уйдут наконец отсюда! — подумал он и зашел в другую комнату, где стояли пустые столы, чтобы не присутствовать при их разговорах и не делать насильственно-беззаботного лица.

— Товарищ Рудаков вас просят, пожалуйста! — сказал Иван, всунувшись одним плечом в дверь и кивнув головой направо, в сторону редакторского кабинета.

Останкин при этом почувствовал то, что чувствует подсудимый, когда ему говорят:

— Пожалуйте в зал заседаний, суд пришел...

Редактор прошел через комнату, где велись дебаты около газеты. Там все притихли. Только Гулин сказал:

— А ведь, поди, ему тоже не очень по вкусу, как-никак, хоть и коммунист, но из эсеров. Тоже, брат, мементо мори[1]. — И прибавил, кинув в сторону проходившего Леонида Сергеевича: — Пойди, пойди, тебя поисповедуют.

Редактор снимал пальто. Молча повесил его в угол за дверь и, снимая кашне, сел за стол. Подал через стол руку Останкину и потер вспотевший лоб, как будто что-то соображая или припоминая, что ему нужно было сделать в первую очередь.

— Да!.. О вашем рассказе...

У Останкина заморгали почему-то глаза, как моргают, когда к носу подносят кулак, и стало горячо щекам.

Рудаков хлопнул себя по одному карману, потом, прикусив губы, глубоко залез в другой и вынул смятую корректуру.

Останкин издали уже увидел какие-то росчерки красными чернилами, знаки вопроса, как ученик, который надеялся за письменную работу получить пять и вдруг видит зловещие красные чернила, множество подчеркнутых мест, и в конце, наверное, стоит единица.

Редактор развернул перед собой корректуру, несколько времени смотрел на нее молча, потом взглянул на Останкина и сказал:

---

[1] Помни о смерти (от *лат.* Memento mori).

— Где ваше лицо?

Тот от растерянности машинально провел ладонью по щеке.

— Совершенно не видно лица! — продолжал Рудаков.— Все темы у вас только о революции и о рабочих, но когда не видишь вашего лица, то воспринимаешь это как фальшь, потому что теперь «так нужно» писать.

— Я пишу вполне искренно,— сказал Останкин, покраснев.

— Верю! Но чем искреннее вы пишете, тем больше читатель, не видя вашего лица, воспринимает это как подделку и подслуживание: почему это вдруг все шагу не ступят без того, чтобы о революции или о рабочих не написать?

Останкин стоял за креслом Рудакова и чувствовал, что не только щеки, а и уши начинают гореть у него, как от ветра. Он слушал, а сам думал о «точке» и о том, как он с такими красными щеками выйдет в ту комнату, где Гулин.

— Революционное художественное произведение можно писать, ни слова не упоминая о самой революции,— сказал Рудаков и посмотрел снизу на Останкина.

Останкин вдруг почувствовал какое-то холодное равнодушие и безразличие, какое чувствует человек, убедившийся в своем полном провале. Он слушал редактора и бездумно смотрел в завивающееся на его макушке гнездышко из волос.

Леонид Останкин и до революции делал то же, что и теперь,— писал. Но ему в голову никогда не могло прийти, что от его писания могут потребовать чего-то особенного; поставить вопрос о его лице... Если бы до революции его спросили: чему вы служите? Останкин с ясным лицом ответил бы:

— Я служу в о о б щ е культуре и удовлетворению эстетической потребности.

Наконец он просто мог бы сказать:

— Я занимаюсь литературой.

И все были бы удовлетворены. И он не чувствовал бы, как теперь, за собой никакой вины.

— Но все-таки в чем же моя вина?! — спросил себя с недоумением Леонид Сергеевич.— Я чувствую себя так, как будто меня действительно в чем-то уличили. Я решительно ни в чем не виноват.

Фактически он действительно не знал за собой никакой вины, никакого преступления перед Республикой Советов.

Но было несомненно, что он в чем-то виноват.

Иначе он не пугался бы так и не чувствовал себя точно раздетым от этого дурацкого восклицания:

— Читали?..

III

История жизни гражданина Останкина за все время революции была, в сущности, самая обыкновенная и для среднего человека вполне извинительная.

В 1918 году он сбежал из Москвы вследствие разкого уменьшения эстетических потребностей у населения. Поехал питаться в свой родной город Тамбов. Но там было одно неудобство: отец Останкина был инспектором народных училищ. И его там все знали. Это его почему-то испугало.

И он опять бросился в Москву.

Чего он хотел, когда с мешком за спиной, обмотанный старым башлыком, в своих очках, постоянно покрывающихся туманом от мороза, цеплялся за мерзлые ручки вагонов и, зажатый толпой в углу вагона, ехал в Москву?

Да просто одного: получить возможность жить. Только ж и т ь.

Приехав в Москву, Останкин устроился через своего знакомого в одном из детских домов вешать продукты.

И вот тут в первый раз допустил маленькую подтасовочку.

В одной анкете написал, что он сын народного учителя из крестьян... в другой — скрыл, что он человек с высшим образованием. Он сам не знает, почему он это сделал. Просто п о б о я л с я обнаружиться.

Вот и все его фактические грехи перед республикой. В сущности, какие пустяки, кто в этом не виноват? Всякий знает, что количество рабочего и крестьянского населения в первые же недели Октябрьской революции бешено возросло.

Почему? Да просто потому, что каждому хочется жить.

Просто ж и т ь. Дело обыкновенное.

Но смирный и тихий к у л ь т у р н ы й человек, Леонид Сергеевич Останкин, казался теперь каким-то пришибленным.

И когда мимо него проходили люди со знаменами и пением, он невольно испуганно сторонился, как бы боясь, что его ушибут или даже раздавят.

Когда же приходилось участвовать в процессиях и петь «Интернационал», то он чувствовал себя в высшей степени неловко. Никогда отроду он не пел, голоса у него никакого не было, и почему-то стыдно было увидеть себя поющим. Но не петь он боялся. И потому шел в рядах других и открывал рот, как будто пел.

У него было такое впечатление, как будто мимо него бешеным вихрем неслась колесница истории, а кругом нее бежали и скакали в неистовой радости толпы людей. И все дело было в том, чтобы уцелеть и не быть ими раздавленным.

Тут два способа спастись.

Первый способ — бежать со всеми в толпе.

Но при этой мысли его охватывало чувство какой-то необъяснимой неловкости и страха. Неловкости от того, что вдруг он, Леонид Останкин, вместе с другими, с толпой, бежит бегом во все лопатки.

Второй способ — это выждать в стороне; пока колесница умерит ход, и тогда на нее можно будет и самому взобраться.

Он, в сущности, был честный, культурно-честный человек, поэтому бежать за колесницей и орать во все горло, как делали многие из его знакомых, ему было как-то неловко.

А пафоса борьбы он, по своему характеру мирного, культурного человека, не чувствовал и не горел ею. Да и потом — против кого борьба-то?.. Против буржуазии, всяких генералов, чиновников... А на его совести как раз есть один чиновник — собственный отец. Положим, этот чиновник сам сын дьякона. А все-таки чиновник, почти генерал...

Останкин выбрал второй способ спасения: сидеть, ждать и делать какое-нибудь нейтральное общеполезное дело.

А что может быть нейтральнее вешанья продуктов? И в то же время это в некотором роде выполнение заказа эпохи.

Он сидел и каждую минуту ждал, что его спросят:

— С кем ты и против кого?

И логически правильно было бы ответить на этот вопрос:

— С вами и против себя.

И тысячу раз его уже спрашивали в разных анкетах:

— С кем ты? Кто ты?

И сколько было трудных минут, когда он придумывал, как ему написать анкету, чтобы его ответы почему-нибудь не бросились бы в глаза, чтобы на него не обратили внимания.

И обыкновенно после составления анкеты он целую неделю ходил как приговоренный. Ему все казалось, что сейчас прийдут из Чека и спросят:

— А где тут сын народного учителя, вдохновенный составитель фальшивых анкет?!

Или вдруг кто-нибудь утром скажет:

— Читали?.. Разыскивают почти генеральского сына, Останкина, скрывшегося из Тамбова. Уж не наш ли это Останкин?

— Нет,— ответит другой,— наш — сын народного учителя из крестьян.

Прошел год, другой, третий, колесница все скакала. И Останкину все время приходилось вести свой баланс так, чтобы не попасть под колеса и в то же время не быть уличенным в отсиживании. Да еще, не теряясь, бодро отвечать на вопросы:

— С кем ты и против кого?

IV

Наконец повеяло теплым ветром. Было обращено сугубое внимание на сохранение культурных ценностей, на облегчение жизни культурных деятелей. Леонид Останкин получил надежду на возвращение к жизни.

Пройдет еще года два, эстетические потребности возродятся, и тогда ему опять можно будет жить.

Он опять стал писать и поселился в одном из больших домов, где ему дали комнатенку по ордеру.

Население этого дома было приличное, все главным образом сыновья народных учителей.

Он познакомился с жильцами и всегда соглашался с ними в их отрицательных суждениях о колеснице, чтобы они не подумали, что он чужой, и не стали бы смотреть на него косо и с оглядкой.

А потом случилось так, что разговорился с комендантом дома, коммунистом. Комендант оказался тоже хорошим человеком. И Останкин высказывал суждения, которые соответствовали вполне суждениям коменданта, так что комендант чувствовал в нем своего человека.

Посмотрев как-то однажды на худые валенки и заштопанную куртку Останкина, комендант спросил:

— Вы, по-видимому, тоже из трудового сословия?

У Останкина не хватило духа обмануть ожидания приятного человека, и он, хотя и несколько нечленораздельно, но сказал, что из трудового.

И сын народного учителя, без всякого активного его желания, одной ногой уже очутился в дружной семье рабочего класса.

Но спокойствия он не нашел. Постоянно устраивались собрания, от которых он боялся уклониться, чтобы комендант не заподозрил его в равнодушии. А коменданта он почему-то безотчетно боялся, вопреки всякой логике.

И когда из домкома приходили что-то обмеривать в его комнате, он всегда с бьющимся сердцем открывал дверь и даже как-то особенно кротко и лояльно кашлял, пока обмеривали, хотя он был совсем здоров. Но почему-то боязно было показать, что он живет в полном благополучии и даже ни от каких болезней не страдает.

Когда же приходили обыскивать, не скрывается ли у него кто без прописки, Останкин сам показывал им те уголки, которые они по рассеянности пропустили. И когда обыскивавший извинялся за беспокойство, то Останкин чувствовал себя растроганным тем, что он чист, и тем, что его обыскивать приходили такие вежливые люди.

И ему даже было жаль, что у него всего одна каморка и в ней много показывать нечего.

А потом пришли наконец и совсем легкие времена. Петь «Интернационал» уже не заставляли, на работы не гоняли, собрания стали реже. Тут он получил в журнале штатную должность секретаря.

Леонид Останкин почувствовал, что день ото дня укрепляются его права на жизнь. И в тот же миг он почувствовал необыкновенную симпатию к революции. Совершенно искренно, до холодка в спине, почувствовал, что он любит революцию.

Когда в какой-нибудь революционный праздник шла процессия из представителей редакции, он с удовольствием нес знамя, чувствуя в себе должное и неоспоримое право по службе на это знамя.

Если же Гулин, по своему обыкновению, кого-нибудь пугал рассказами о предполагавшихся будто бы стеснениях, Останкин поднимал голову от корректур, смотрел

на него вкось через очки и всегда спокойно вставлял слова два против Гулина и в защиту существующих порядков.

И сам радовался, что он высказывает такие мысли вполне искренно и никто не удивляется его левизне, значит, считают это вполне естественным для него. Значит, он постепенно, сам того не заметив, взобрался на колесницу и едет так же, как и все, кто имеет на это неоспоримое право.

И еще больше для него было радости, совершенно бескорыстной радости, когда его принимали за коммуниста и говорили:

— Ну, да уж вы, партийные!

Значит, со стороны не заметно, что он не коммунист. Значит, он отсиделся.

Видя на дворе коменданта, он проходил теперь мимо него с ясными глазами, чтобы дать ему почувствовать, что он не боится ходить мимо него. Ему только иногда было обидно, когда он видел, что какой-нибудь заведующий отделом ехал на автомобиле, а он, писатель, шел пешком. И тут же шевелилась недоброжелательная мысль: «Конечно, для них умственный труд не важен, у нас цену имеет только тот, кто занимает административную должность, а писатель может и пешком пробежаться или в трамвае проехать».

Но это были мелочи на фоне общего благополучия.

А потом, как бы в довершение благополучия, произошла одна знаменательная встреча.

Останкин несколько раз встречал в коридоре квартиры недавно поселившуюся у них красивую женщину в мехах. Она служила в одном из музеев, как он узнал, и жила одиноко и замкнуто.

Ему никак не удавалось с ней познакомиться. Вернее, он не решался подойти к ней и заговорить. Потом наконец мечта его исполнилась. Он познакомился. Вышло это очень просто.

Он услышал стук в дверь коридора и пошел открыть.

Это оказалась она.

И так как они уже несколько раз встречались взглядами и все было готово к тому, чтобы заговорить, то сейчас при естественном предлоге у него как-то само собой сказалось:

— А я слышу, что где-то стучат, и никак не могу понять.

— Если бы не вы, мне пришлось бы ночевать на улице,— сказала она и улыбнулась. Улыбка ее показала, что она уже давно была готова к тому, чтобы заговорить и мягко, ласково, как своему, улыбнуться. Но мешало то, что они не находили предлога для разговора.

Через неделю он зашел к ней, а еще через неделю они решили пойти в театр. С этого момента Останкин стал особенно следить за своим туалетом. Появились галстучки, хорошие сорочки...

Здесь было только одно неудобство: что подумает про него комендант?.. Неудобно же было ни с того ни с сего подойти к нему и сказать:

— Я горжусь тем, что в Республике Советов писатели могут так хорошо одеваться.

А ходить мимо него без этого объяснения было както неудобно, неловко.

Поэтому, выходя из дома и видя на дворе коменданта в сапогах и синей рубашке, он обыкновенно выжидал некоторое время, чтобы дать ему пройти.

А когда натыкался на коменданта нечаянно, то вдруг краснел и, чувствуя себя в чем-то виноватым, проходил мимо него более поспешным и озабоченным шагом, ожидая, что сейчас его окликнут и что-нибудь спросят.

Утром того дня, когда они решили пойти в театр, Останкин подумал о том, что хорошо бы после театра захватить бутылочку шампанского, это даст ему большую свободу и естественность в обращении с Раисой Петровной.

Наутро, идя на службу, когда она еще спала, он подсунул ей под дверь записочку и, радуясь жизни, пошел к трамваю.

А через какие-нибудь полчаса он услышал это проклятое:

— Читали?

А еще через полчаса:

— Где ваше лицо?..

И было впечатление, что завоеванное с таким трудом, с такими лишениями право *жить* рухнуло. Вера в то, что революция кончилась, никаких *проверок* больше не будет и его место в колеснице *по праву* останется за ним,— эта вера рассеялась, как дым.

И вопрос о пересмотре его права на жизнь встал перед Останкиным во весь рост.

V

Останкин, после своего рокового разговора с редактором о лице, вышел из редакции вместе с писателем Иваном Гвоздевым.

Если он прежде избегал его, как устроившийся человек избегает неустроившегося, то теперь Останкину как раз нужен был такой человек, который был бы недоволен существующим порядком, ему можно было бы пожаловаться и найти у него полное понимание и сочувствие.

— Совершенно невозможно жить,— сказал Останкин, идя по улице и мрачно глядя себе под ноги.

— Невозможно,— отозвался Гвоздев.

— Только было стало налаживаться, все стали жить по-человечески, нет, опять к вам лезут в душу и смотрят, что у вас там. Ведь вы знаете, каких я левых взглядов, и все-таки им мало. Покажи еще им свое лицо.

— С лицом — беда,— сказал Гвоздев.

— Россия уж такая несчастная страна, что она никогда не увидит настоящей свободы. И как они не поймут, что, запечатывая мертвой печатью источники творчества, они останавливают и убивают культуру?.. Ведь, подумайте, нигде, кроме СССР, нет предварительной цензуры! Когда писатель не уверен в том, что ему несет завтрашний день, разве можно при таких условиях ждать честного, открытого слова? Все и смотрят на это так: все равно, буду что-нибудь писать, лишь бы прошло. Отсюда рождается цинизм, продажа своих убеждений за суп.

— Да, конечно.

— Прежде писатели боролись за свои убеждения, чтили их как святыню. Ведь прежде писатель смотрел на власть, как на нечто чуждое ему, враждебное свободе. Теперь же нас заставляют смотреть на нее, как на наше собственное, теперь сторониться от власти уже означает консерватизм, а не либерализм, как прежде. А каковы теперь убеждения писателя? Если ему скажут, что его направление не подходит, он краснеет, как сделавший ошибку ученик, и готов тут же все переделать, вместо белого поставить черное. А все потому, что запугали. Ведь мы друг друга боимся! Изолгались все вдребезги!..

Останкин вдруг оглянулся, вспомнив, что он говорит это на людной улице. За ним шли два рабочих, а за рабочими какие-то люди в военной форме.

У него пошли в глазах круги и похолодели уши. В припадке откровенности он совершенно забыл, что его могут услышать. Потом ему сейчас же пришла мысль, что Гвоздев ничего не говорит, а все только отмалчивается или ни к чему необязывающе поддакивает. Да и то только тогда, когда сзади него никого нет...

Теперь прийдет и расскажет все в редакции.

— Вот вам, скажет, и левого направления писатель, какие идейки проводит, рассказа его не похвалили, а он сейчас — в оппозицию!

«И зачем завел этот разговор...» — подумал почти с тоской Останкин и сказал вслух:

— Но у меня все-таки большая вера в мудрость вождей,— иногда вот так покипятишься, а потом уж после увидишь, что все так и нужно было.

Он нарочно сказал это погромче, так, чтобы шедшие сзади него рабочие могли услышать. А, может быть, они и не слышали, что он раньше говорил. Они не слышали, зато Иван Гвоздев слышал,— сейчас же сказал ему какой-то внутренний голос.

Останкин решительно не знал, о чем больше говорить с Гвоздевым. Весь поток мыслей сразу оборвался, пресекся, и присутствие Гвоздева вызывало в нем досаду, как будто он не знал, куда от него деться. А если его видел кто-нибудь из писателей, то пойдут еще разговоры, что дружбу с реакционером свел.

— Ну, мне налево, а вам?

— И мне налево,— сказал Гвоздев.

Полквартала шли молча.

— Да, вот какие дела,— сказал Останкин, потому что так долго молчать ему показалось неловко.

Гвоздев промолчал.

Еще прошли полквартала.

Останкин шел и напряженно думал, какой бы это еще вопрос задать Гвоздеву, но потом он сказал себе: «С какой стати я должен об этом беспокоиться, ведь он-то тоже молчит. Я хоть до этого говорил всю дорогу».

И приятели еще два квартала прошли молча.

Когда дошли до нового перекрестка, Гвоздев, в свою очередь, задал вопрос:

— Вам направо?

Останкин сам хотел задать этот вопрос, чтобы иметь возможность повернуть от Гвоздева в сторону, противоположную той, куда он пойдет, и потому замялся, как заминается человек, когда ему протягивают две руки с

зажатой в одной из них шахматной фигурой и говорят: «В правой или в левой?»

— В левой, то есть налево...— сказал Останкин, покраснев.

— Черт возьми, нам все время по дороге. Вы что, где-нибудь здесь живете?

— Нет, нет, я дальше.

Останкин сказал это как раз в тот момент, когда они проходили мимо ворот его дома. Но он, боясь, как бы Гвоздев не зашел к нему, шел за Гвоздевым, сам не зная куда.

Все это совершенно испортило настроение, и когда, пройдя целую версту лишнего, он повернул назад и вспомнил, что сегодня идет в первый раз с Раисой Петровной в театр, это ему не доставило никакого удовольствия. И если бы он знал, что ему придется пережить в театре, он сейчас бы, не раздумывая ни минуты, разорвал эти несчастные билеты и развеял бы их по ветру.

VI

Но прежде, чем идти в театр, нужно было успеть переделать возвращенный редактором рассказ.

Останкин пришел домой, наскоро пообедал и сел за рассказ.

Прежде всего в верхнем углу корректуры была надпись красными чернилами:

— Не видно лица...

И тут началось мученье.

Эта надпись приводила Останкина в полное отчаяние. Он сжал голову обеими руками и долго сидел так, глядя в корректуру.

— Какое же у меня лицо?.. Ну, ей-богу, нигде, кроме России, не могут задать такого идиотского вопроса!

— Вот и извольте с таким настроением идти в театр! А там еще какой-нибудь осел, вроде Гулина, привяжется и крикнет на все фойе:

— Читали?..

— Вы еще не готовы? — послышался оживленный женский голос в дверях.

— Я сию минуту. Пожалуйста, войдите.

Останкин распахнул перед Раисой Петровной дверь. Она вошла и остановилась, осматриваясь. Потом увидела на столе корректуру и живо спросила:

— Что это? Вы пишете?..

Она с таким радостным изумлением подняла брови, как будто для нее это было самой приятной неожиданностью.

Останкин покраснел и спрятал поскорее корректуру в стол.

— Нет, это только начало, мне не хочется показывать вам этих пустяков.

И сейчас же подумал о том, какой был бы позор, если бы она успела посмотреть рассказ, на котором стоит красными чернилами надпись:

— Не видно лица...

Она была уже одета для театра. На ней было строгое, глухое черное платье и высоко взбитая, завитая прическа. Глаза возбужденно мерцали, как бывает у женщин, когда они собираются на бал, только что напудрились на дорогу и чувствуют в себе праздничную приподнятость.

VII

Останкину стало приятно от мысли, что он пойдет в театр с такой красивой и так хорошо одетой женщиной.

Но в это время в конце коридора у выходной двери он увидел высокую фигуру коменданта в больших сапогах и в синей рубашке с расстегнутым воротом. И почувствовал, что пройти у него на глазах с хорошо одетой женщиной — неприятно, потому что он, наверное, подумает: вот это так пролетарский элемент, какую кралю в соболях подцепил да и сам прифрантился.

— Ах, платок забыл! — сказал Останкин,— вы одевайтесь и идите к трамваю, я догоню.

Он вернулся в комнату и стал смотреть в окно на двор, чтобы видеть, когда Раиса Петровна пройдет в ворота.

Он увидел ее во дворе и побежал догонять ее.

Ему вдруг до ощутимости ясно представилось, что что-то должно с ним случиться.

Пробегая около коменданта, который смотрел, как починяли электрические пробки, Останкин счел нужным остановиться, чтобы комендант увидел, что он идет один и не спешит.

— Когда будет собрание? — спросил он.

— В субботу,— отвечал комендант, посмотрев почему-то ему на ноги.

Останкин вышел из дома и взял Раису Петровну под руку.

— Что вам ценнее всего в писателе? — спросил он, когда они выходили на улицу.

— Как вам сказать... для меня лично ценнее всего за материалом чувствовать его самого, как невидимого судью жизни. Я не люблю новой литературы, потому что, когда читаешь, то такое впечатление, точно все пишут на заданные темы и не имеют своей темы.

— Что же, значит, вам дороже всего... лицо писателя? — спросил иронически Останкин.

— Вот, вот! Вы очень тонко это выразили. Именно лицо.

Леонид Сергеевич от этой похвалы своей тонкости почувствовал полный упадок духа и подумал о том, что хорошо, что он поторопился и сунул рассказ в стол.

— Почему вы, писатели, так не любите показывать его, и нас, простых смертных, не допускаете в свое «святая святых»? А ведь только лицо писателя делает вещь вполне ценной.

Останкин искоса посмотрел на Раису Петровну и ничего не сказал. «Кто ее знает, что она за человек»,— мелькнуло у него в голове.

Не напрасно ли он вообще-то пошел с ней, незнакомой женщиной, в театр, в общественное место, где его могут видеть с ней все?

Может быть, как раз предчувствие касается ее?..

Но какое предчувствие? Что с ним может случиться в театре? Что, на него покушение, что ли, будет? Просто развинтились нервы от глупого редакторского замечания. Да и это совсем не серьезно. Тот же редактор, наверное, давно уже и забыл, что у секретаря его не оказалось лица.

Но ему представлялось, что все только и думают о газетной статье и подсматривают, как-то он теперь чувствует себя.

Когда они вошли в театр, Останкин даже стал украдкой осторожно вглядываться в лица, стараясь угадать, знают ли эти люди что-нибудь или еще ничего не знают? Читали они статью или не читали?

Лица у всех были спокойны, как бывают обыкновенно в театре, когда публика только еще собирается, и все ходят от нечего делать по фойе, рассматривая по стенам картинки и лица встречных.

Коридоры и фойе наполнялись нарядной публикой, как всегда бывает на премьерах.

Раиса Петровна, оправлявшая у зеркала волосы, часто с улыбкой повертывала в его сторону голову и продолжительно взглядывала на него. Останкин, державший ее сумочку в руках, отвечал ей такой же улыбкой, но он заметил сзади на ее горжетке большую плешину и это разбивало все его настроение. Да и вся горжетка при свете электричества, а главное в сравнении с мехами нарядных дам, выглядела довольно потертой.

И ему было неловко оттого, что он держит в руках сумочку этой плохо одетой дамы, как будто она близкий ему человек. А она так празднично себя чувствует и так открыто перед всеми смотрит на него, не зная того, как она выглядит сзади с этой плешиной.

Мысль об этом и о том, что его что-то ожидает здесь, что вот-вот, может быть, сейчас что-то произойдет, сделала то, что ему начали против воли лезть в голову самые нелепые мысли, которые он мысленно выговаривал про себя, и не мог с этим бороться.

Раиса Петровна попросила его походить с ней по фойе. Она шла оживленная, возбужденно-ласковая, но ее ласковость производила обратное действие на Останкина, потому что ему казалось, что идущие за его спиной люди смотрят на ее плешину.

«Ай да пара — писатель без лица и дама с плешиной!..»

И чем больше Раиса Петровна проявляла по отношению к нему ласковость и даже заботу близкого человека, тем он становился угнетеннее, рассеянней, спотыкался на пятки впереди идущих, а один раз издал горлом какой-то странный звук, так что на него оглянулись.

Самое мучительное было то, что сзади них шли и смотрели, как она с своей плешиной интимно нежно идет с ним под руку.

Вдоль стены фойе стояли диванчики. Если на них сесть, то будешь спиной к стене и к публике лицом.

— Не хотите ли посидеть? — сказал Останкин.

— Нет, я так давно не была среди народа, что хочется немножко потолкаться,— ответила Раиса Петровна.— Ну, да, так мне хочется продолжить наш разговор... Почему же вы не показываете своего лица? Что это — скромность?

Две ближайшие пары оглянулись на них. Останкин поспешил повернуть...

Ему казалось, что ей было приятно, что другие слышат ее голос, ее интересные замечания и оглядываются на них. Как будто она говорит не только для него, а и для публики. И от этого было неловко.

А, кроме того, тут всякий народ, может быть, кто-нибудь из своих увидит его и скажет завтра в редакции: «Есть писатели, которые делают вид, что они — живая часть пролетариата, а какие знакомства они водят, спросите-ка их!..»

Поэтому как только кто-нибудь оглядывался на ее голос, так Останкин сейчас же повертывал в обратную сторону. И так был поглощен наблюдением над тем, кто оглядывается, что однажды повернул два раза на протяжении одной сажени, точно они танцевали кадриль.

Раиса Петровна удивленно оглянулась на него, а он покраснел.

В первом антракте, проходя с Раисой Петровной по фойе вдоль стен, он вдруг увидел какого-то военного с малиновыми петличками, с длинной рыженькой бородкой, который внимательно смотрел на него, как показалось Останкину.

Пройдя несколько шагов, он оглянулся, чтобы проверить себя: военный совершенно определенно провожал его внимательным взглядом. У Останкина загорелись уши. И сколько он ни делал беззаботный вид человека, у которого совесть чиста, и его не запугаешь внимательным выслеживающим взглядом,— чувство страха, связанности, неловкости и тоскливого ожидания охватывало его все больше и больше.

Сейчас кто-нибудь смотрит на него и, наверное, думает: «Что же у этого субъекта уши-то так покраснели?..»

Перед концом второго действия он сказал Раисе Петровне:

— Не будем сейчас ходить, посидим лучше, а то я устал.

Они остались в партере.

Останкин стал украдкой оглядываться и вдруг увидел, что военный стоит в дверях партера и кого-то ищет глазами. Он поскорее повернулся лицом к сцене и почувствовал неприятное ощущение в спине, как будто по ней проводили гвоздем.

Смертная тоска охватила его. Он старался собрать все усилие воли, чтобы не поддаваться страху. В конце концов, что они могут сделать с его свободной душой.

Он может уйти куда-нибудь в глухие места и жить там содержанием своей личности.

Чувствуя, что он никуда не может деться от своих мыслей, отвечает своей соседке невпопад, так что она уже начала на него тревожно коситься, он пошел покурить.

И вот тут-то, в табачном дыму, он увидел опять этого военного. Военный смотрел на него. Отступать было поздно.

Он стал закуривать, но в рассеянности, возросшей до крайних пределов, взял папиросу обратным концом в рот.

— Прошу извинения...— услышал он вдруг,— ваша фамилия не Останкин?

Леонид Сергеевич, не успев заметить своей ошибки с папиросой и не вынимая ее изо рта, испуганно оглянулся.

— Нет... то есть, да...— сказал он и так покраснел при этом, что человеку в военной форме только оставалось после этого сказать:

«Пожалуйте за мной, а то вы, кажется, уже в глухие места собираетесь?»

Но военный сказал совсем другое:

— Вы не из Тамбова?

— ...Из Тамбова...

— То-то я смотрю, лицо знакомое, в восемнадцатом году вас там видел. Папироску-то вы не тем концом взяли,— прибавил военный, улыбнувшись.

Леонид Сергеевич тоже хотел улыбнуться, но губы его вдруг одеревенели, точно замерзли, и вместо улыбки вышло так, как будто он передразнил своего собеседника.

— Нет-нет да и встретишь кого-нибудь из земляков,— сказал военный.— Ну, простите, пожалуйста, всего хорошего, уже звонок.

VIII

— Что с вами, милый друг,— спросила Раиса Петровна, когда он вернулся,— на вас лица нет?

Останкин вздрогнул и некоторое время остолбенело стоял.

— Так, все неприятности...— сказал он, оправившись через минуту.

Они вышли из театра.

— Что же, в чем дело?

Раиса Петровна при этом вопросе даже положила руку на рукав его пальто и заглянула ему в глаза при свете фонаря. Они шли одни по опустевшей улице. И ее ласка от этого имела какой-то интимный оттенок.

Теперь, когда сзади никто не шел и не видел ее плешины, Останкин вдруг почувствовал, что в его одиночестве — это единственно близкая душа, пожалевшая его и пригревшая своей нежной женской лаской.

И ему захотелось ей рассказать все... Рассказать ей, что его отсиживание, кажется, сыграло с ним дурную шутку: он потерял свою позицию и не знает, с кем он и против кого. Кажется, ни с кем и ни против кого.

Но он искоса подозрительно посмотрел на Раису Петровну и ничего не сказал.

— Какой-то незнакомый субъект сейчас все следил за мной и потом очень язвительно, как мне показалось, сказал: «Нет-нет да встретишь земляка...» А я даже не знаю, кто он,— проговорил он через минуту.

— Э, милый друг, стоит обращать внимание. Давайте хоть на сегодня забудем обо всем! Хорошо?

Она сказала это так энергично и весело, что Останкину тоже вдруг показалось море по колено. Он забежал в открытый еще кооператив и купил бутылку шампанского.

Они пришли прямо к Раисе Петровне. Ее небольшая комната с широким диваном была уютно увешана коврами, старинными гравюрами и репродукциями с картин старых итальянских мастеров.

На туалетном и угольном столике были расставлены вещицы музейной ценности.

И вся комната как бы имела один стиль с хозяйкой, у которой на глухом черном платье с кружевным воротничком висела длинная нитка из египетских амулетов.

Раиса Петровна, остановившись перед зеркалом, с улыбкой оглянулась на Останкина, оправляя сзади шпильки в пышных волосах, потом сказала:

— Это все, что у меня осталось,— и она провела рукой, указывая на вещи и ковры.— Ну, как же мы устроим?

Они решили к дивану придвинуть маленький столик и на нем поставить вино и закуски.

А еще через некоторое время Останкин положил ей голову на колени, лицом вверх и лежал так, чувствуя незнакомое ему блаженство.

Он лежал и тихо проводил своей рукой по нежному и тонкому шелку ее рукава выше локтя, в том месте, где шелк плотно облегает полную часть руки. Она не отстранялась. Останкин поднял руку выше и гладил ее по плечу. Потом взял за шею и стал тихонько наклонять к себе ее голову.

Она, поняв, чего он хочет, замолчала и, не сразу поддаваясь его движению, смотрела ему в глаза, голова ее все ниже и ниже наклонялась над ним. Черные блестящие глаза ее все больше и больше приближались к нему.

Вдруг в дверь постучали.

Останкин вскочил так поспешно, как будто он ждал этого стука, но в самый последний момент забыл о нем. Вскочил и почему-то прежде всего спрятал бутылку под диван.

— Кто там? — спросила Раиса Петровна и подошла к двери.

— Вас спрашивают,— сказала она.

Останкин, побледнев, пошел к двери.

За дверью стоял его сосед.

— Простите, что беспокою,— сказал он,— к вам два раза звонили и спрашивали, когда вы прийдете. А я не видал, что вы уже пришли.

— Кто звонил, не говорили?

— Упорно не говорят. Сказали только, что они до часу ночи еще раз позвонят.

— Мужской или женский голос? — спросил Останкин.

— Мужской.

Останкин вернулся в комнату с таким видом, как если бы ему сказали: «Приготовьтесь, в час ночи за вами прийдут и возьмут вас неизвестно куда».

Раиса Петровна уже сама подошла к нему и, взяв его руку, с тревогой спросила:

— Что там?

— Я сам не знаю, что-то непонятное...— ответил Останкин.

И кое-как простившись с Раисой Петровной, он ушел к себе. Она, стоя в дверях своей комнаты, провожала его тревожным взглядом близкой женщины, когда он шел по коридору.

IX

Останкин не спал почти всю ночь. Часов до трех он ходил по комнате, все ожидая звонка. Он был почти уверен, что звонил человек с малиновыми петличками.

Раз он знает его фамилию, то он так же знает, кто его отец. И вполне естественно, что он заинтересуется, как Леонид Сергеевич обозначил себя в анкетах?

А он служил в ГПУ. А там, наверное, у них все анкеты.

— Ну, это уж психоз? — сказал себе Останкин,— кто это ночью полезет рыться в анкетах! А в крайнем случае скажу, что описался. Велика разница, подумаешь: «народных училищ» или «народный учитель»... А вот почему в одной анкете написано, что образование высшее, а в другой — среднее? — спросят его.

— Написал так, вот и все; теперь вон у иного — никакого образования, а он пишет, что среднее,— скажет Леонид Сергеевич.— А если в этом есть преступление, тогда привлекайте к ответственности, а не пилите по одному месту!

— Нет, особенного преступления нет,— скажут ему,— а есть мелкое жульничество, и нам просто интересна психология этого жульничества, как будто человек всячески старается скрыться.

Он с тоской посмотрел на свой рассказ и, развернув его, долго сидел над ним. Потом осторожно оторвал уголок, на котором была надпись красными чернилами.

— Скажу, что нечаянно оторвал.

Вдруг его сердце замерло от новой пришедшей ему мысли:

— А мало ли попадают по недоразумению, например, найдут твой телефон у какого-нибудь подозрительного человека и начнут копаться.

— Кому я давал свой телефон? Кажется — никому...

И вдруг новый толчок в сердце:

— Писал записки Раисе Петровне! А что она за человек? Вдруг окажется что-нибудь такое... Вот тут твою позицию-то и выяснят...— Вы коротко знакомы были с этой дамой?

— Нет, не коротко.

— А шампанского так-то не пили с ней?

— Этого никто не мог видеть.

— Как же никто, а ваш сосед разве не приходил к вам в это время?

— Боже мой, какой вздор я говорю,— сказал себе вдруг Останкин,— ведь живут же настоящие преступники по нескольку лет, и их не могут обнаружить, а я разве преступник?!

И сейчас же его охватила сильнейшая радость жизни при этой мысли. Его комната показалась ему такой милой, приветливой, уютной, а работа над рассказом такой сладкой.

Конечно, все — чушь!

К пяти часам утра он одолел рассказ и остался им совершенно доволен. Он построил его на безоговорочной бодрости и вере в революцию.

— Так писать может только самый передовой коммунист,— сказал он себе.— И я написал это вполне искренно.

Проспав всего около трех часов, Останкин, бодрый и свежий, пошел было в редакцию. Но вдруг остановился, как бы что-то обдумывая, и повернул к двери Раисы Петровны.

— Все-таки так лучше, на всякий случай,— сказал он себе.

— К вам можно?

— Пожалуйста,— сказала Раиса Петровна, удивленная столь ранним визитом. Она была в капоте и держала его, запахнув рукой на ногах.— Куда вы так рано встали?

— Мне нужно в редакцию,— сказал Останкин и, покраснев, прибавил:—Не сохранились ли у вас мои записки: на одной из них у меня записан очень важный телефон.

— Сейчас посмотрю.

Раиса Петровна повернулась к туалетному столику и, придерживая локтем запахнутую полу капота, стала рыться в ящичке.

Останкин стоял сзади нее и смотрел на ее округлые бока, обтянутые тонким батистом капота, делавшего глубокую складку на талии, что означало полные бока и тонкую талию.

— Вот записки, но тут, кажется, ничего нет...

— Позвольте-ка... Да, здесь нет.

И, как бы машинально разорвав их, бросил в умывальник.

— Зачем! Зачем!.. Ну,— как дурной! — крикнула Раиса Петровна.

— Я совершенно машинально. И опять это вздор...

По лестнице Останкин бежал через две ступеньки, как будто от радости какого-то освобождения.

На дворе его остановил комендант.

— Товарищ, на минуточку!

Останкин почувствовал, что волосы у него под шапкой зашевелились. Он ждал, что комендант скажет: «Вчера ночью вас разыскивали и приказали дать о вас самые точные справки, кто вы и... вообще». Но комендант сказал совсем другое:

— Товарищ, вы спрашивали, когда будет собрание. Собрание в пятницу. И желалось бы ваше присутствие ввиду одного вопроса, так как вы у нас вроде как общественная величина.

— Непременно буду,— ответил Останкин.

Придя в редакцию, он подал рассказ редактору, и когда тот прочел, спросил его:

— Ну, а теперь как?

Редактор подумал и, почесав висок, сказал:

— Вы как-то уж очень повернули. То было полное безразличие, пребывание где-то в сторонке, а то уж сразу — ура.

— Да, но лицо-то теперь есть?

— Какое ж тут к черту лицо! Стертый пятак. Этак десятки тысяч пишут.

— Сейчас очень серьезно смотрят на этот вопрос,— сказал Рудаков, взяв карандаш и поставив его стоймя на стол, взглянув снизу вверх на Леонида Сергеевича.— Серьезно в том смысле, что ставится вопрос: чем должна быть литература? Писанием «кому что не лень» или серьезным общественным делом, таким же, как наука, где все обусловлено необходимостью, а не делается так себе.

Редактор бросил карандаш на бумагу, потер лоб и несколько времени сидел, как будто думая о чем-то. Потом, вспомнив, сказал:

— Да! вы ничего не будете иметь против, если я поручу рецензии писать товарищу Ломакину, он, кстати, марксист? А вы лучше возьмите на себя чтение рукописей побольше и... построже относитесь.

Собственно, тут не было ничего особенного. Отчего не дать, если можно, человеку излишек работы. Но для Останкина вся суть вопроса была в том, что этот человек, товарищ Ломакин, был, к с т а т и, марксист...

У него молнией пронеслась в мозгу мысль:

«Сводят на нет, выживают!»

Он почувствовал, что у него на лбу выступил холодный пот. А в следующий раз редактор позовет его и скажет:

— Вы ничего не будете иметь против, если мы вас пошлем к чертовой матери, а на ваше место возьмем товарища Жевакина, он, кстати, коммунист?..

Когда Останкин после этого разговора взялся за чтение рукописей, он с режущей ясностью видел одно:

Нет лица!..

Он теперь с каким-то сладострастием вчитывался в каждую строчку, чтобы увидеть, есть лицо или нет. И когда убеждался, что все это рассказы и рассказики, написанные для того, чтобы заработать, что этим людям совершенно нечего сказать, а они могут только описывать, давать картины быта, или видел, что автор становится вверх ногами для того только, чтобы хоть как-нибудь обратить на себя внимание,— Останкин злорадно делал в левом углу надпись:

«Где у автора лицо? Найдите сначала лицо, тогда пишите».

И чем больше было таких, у которых не было лица, тем больше у него оставалось оправдания: если среди людей так много брака, то отсутствие лица у него уж не такой большой позор.

Он теперь стал предметом страха и ужаса всех молодых авторов.

— Прямо не дает жить! — говорили все,— запечатывает и конец.

В особенности Останкина поразил один разговор, который он и прежде слыхал десятки раз, но не находил его странным.

Несколько авторов говорили в редакции о том, что такой-то едет туда-то. «Вот привезет материала!..»

Леонида Сергеевича это поразило. Значит, эти люди сами в себе не имеют ничего. Им нужно ездить за материалом. Это только безлицые рассказчики и развлекатели едущих на колеснице. И он сам точно такой же. И прежде этого он не замечал.

Но колесница едет не на прогулку, где нужны увеселители и развлекатели. Она едет по делу. По делу очень важному. Настолько важному, что от выполнения или невыполнения его зависит жизнь едущих. Они должны учесть все свои ресурсы, все необходимые траты. Они смотрят на каждого из едущих и определяют, кто он и на что нужен.

«Предъявите свое право на проезд».

В чем ваша плата? Не платите ли вы тем, что нам даром не нужно? Нам нужно то, что увеличивает наши

ресурсы, что освещает дорогу, что указывает нам на наши отклонения от взятого пути. Иначе мы не доедем. Веруете ли вы в нашу цель, стремитесь ли к ней вместе с нами или вы только случайный попутчик, едущий по своим надобностям?

Что он мог ответить на все это?

Он, собственно, мог ответить так:

— Я верю в вашу цель, но не верую в нее. Я не стремлюсь к ней всеми силами души, как вы, но я не брошу вас на половине дороги, как попутчик, едущий по своим надобностям, потому что у меня своих надобностей нет. Вся моя беда в том, что я могу существовать только при наличии вас или кого-нибудь другого.

Он сидел и каждую минуту ждал, что начнется самое страшное — проверка сидящих на колеснице, и его право измерят великой мерой его абсолютной, а не относительной нужности.

Наедине с самим собою, когда никто не видит и не слышит, можно быть честным. Останкин был честен настолько, чтобы признать, что он злостный безбилетный пассажир.

И вся его удача в том, что большинство людей не мудры настолько, чтобы мерить этой великой мерой. Они меряют малой мерой. А при этом условии у каждого пассажира всегда найдется какая-нибудь относительная ценность.

Благодаря этому он и цел сейчас.

А что, если начнут мерять великой мерой?..

Он все старался уловить, что нужно им. И потерял то, что нужно ему. И стал благодаря этому производить то, что не нужно никому. И потерял себя в человечестве, как целую единицу.

И в одно прекрасное время на него посмотрят и скажут, почему у этого пассажира лица нет? Посмотрите-ка, чем он занят и что нам дает. Если это окажется ерунда, то на том повороте пустите его кверху тормашками под откос...

X

Идя домой, Останкин вспомнил о собрании и ему пришла испугавшая его мысль:

«Если на собрании будет и Раиса Петровна, то ему придется сидеть с ней, все увидят, что он сидит рядом с женщиной подозрительного происхождения, и когда человек с малиновыми петличками пришлет запрос о нем, то про него напишут:

«Имеет определенное тяготение к буржуазии, а собственного лица нет, анкеты какие-то путаные, так что затрудняемся определить, за кого он и против кого».

Придя домой, Останкин лег на диван и стал думать о том, что не всех же меряют великой мерой. Иные живут всю жизнь спокойно, без всякого права на это. А у него теперь есть то, что вполне компенсирует ему этот недостаток — любовь к этой тонкой, прекрасной женщине, у которой он найдет ласки любовницы и теплое участие *матери*. На это-то сокровище он имеет право, как его ни перевертывай.

Останкин пошел на собрание. В большом помещении бывшего магазина были наставлены рядами деревянные некрашеные скамейки, толклись жильцы в шубах и шапках, дымили в коридоре папиросами.

На одной стороне, ближе к окнам, усаживались шляпки, котелки торговцев и интеллигентов, в другой, ближе к дверям и к столу президиума,— платочки, картузы, сапоги — пролетарская часть.

Останкин всегда испытывал неудобство, попадая в такое положение, когда ему нужно было на виду у всех выбирать место, с кем сесть.

Если сесть с пролетарской частью, то интеллигенты подумают: этот субъект подмазывается к пролетариату. Говорил с нами, как свой, а садится с ними. Уж не доносчик ли?..

Если же сесть с интеллигенцией, то комендант, приглашавший его, как своего, наверное, удивленно посмотрит на него или скажет про себя: «Хорош пролетарский элемент, нечего сказать. Надо будет посмотреть его анкету повнимательнее...»

Раиса Петровна тоже пришла и сидела в своей *собольей* горжетке и шляпке, подняв вуалетку на нос. Но Останкин сделал вид, что не заметил ее.

А чтобы она не подумала, что он *боится* подойти, он, став в дверях, обвел несколько раз взглядом всю комнату, как будто определенно искал кого-то. Но каждый раз обходил взглядом Раису Петровну, как бы не заметив. И видел, как она смотрела на него с нетерпеливым выражением легкой досады, что он водит около нее глазами и не видит ее.

Но он, сделав вид, что не нашел ее, ушел в коридор с тем, чтобы,— когда будет объявлено начало заседания, и все, затушив папиросы, бросятся садиться,— сделать вид, что он запоздал, и сесть на первое попавшееся место

ближе к двери. Тогда он будет сидеть на стороне пролетариата, и в то же время интеллигенты увидят, что это произошло благодаря его опозданию. А председатель истолкует это как принадлежность его к пролетарской группе.

Он так и сделал. Вышло даже удачнее, чем он предполагал: оставалось только одно свободное место, как раз в середине между пролетариатом и буржуазно-интеллигентской частью, прямо перед столом президиума.

И тут он, оглянувшись, сразу нашел глазами Раису Петровну и приподнял удивленно брови, как бы спрашивая:

«В шапке-невидимке, что ли, она сидела, что он не видел ее?»

Раиса Петровна, чуть заметно улыбаясь одними губами, смотрела на него тем взглядом, каким женщина смотрит в общественном месте издали на мужчину, и только один он понимает значение этого взгляда, безмолвно говорящего о их близости, никому, кроме них, не известной.

Она оглянулась вокруг себя, где густо сидел народ, и безнадежно пожала плечами, показывая, что ему негде около нее сесть.

Останкин ответил ей таким же жестом.

Началось заседание. Председатель в кожаном картузе сел за стол, нетерпеливо поглядывая на дверь, откуда все еще входил народ и теснился в дверях, заставляя всех рассеянно повертывать головы к дверям, а не в сторону стола президиума.

Около председателя сели еще три человека, с черными от нефти руками, и комендант.

Комендант, встретившись глазами с Останкиным, мигнул ему, приветствуя его этим, как своего.

Тот ответил ему таким же движением.

Заседание началось.

Сначала шли вопросы чисто хозяйственные. И когда голосовали, например, по вопросу о размерах ремонта дома, то не было ничего легче и приятнее поднимать руку за то или иное предложение, так как в этом вопросе на одном мнении могли сходиться и представители буржуазной и представители пролетарской группы.

Останкин даже пожалел, что он прежде уклонялся от всякого участия в общественной работе.

Но, когда хозяйственные вопросы кончились, он вдруг

услышал то, от чего у него сразу стало горячо под волосами... Председатель поднялся и сказал:

— Товарищи, мы организуем рабочую коммуну, чтобы рабочему человеку облегчить условия жизни. А то, что же мы видим: рабочие у нас ютятся в полуподвальных помещениях, а буржуазный элемент занимает лучшие помещения.

Мы разделили всех жильцов на три категории. Сейчас прочтем списки, а потом проголосуем.

Первой мыслью Останкина было: в какую категорию его отнесли? Второй — мысль о том, что этот вопрос не то, что вопрос о ремонте дома. Тут каждое поднятие руки будет говорить о твоей социальной физиономии.

И, как нарочно, сел впереди всех, на самом виду, где каждое движение его видно. А уйти некуда. И он вдруг вспомнил, что Раиса Петровна сидит сзади него, наверное, смотрит на него и будет следить за тем, как он будет голосовать. Он от этой мысли почувствовал в спине то же неприятное ощущение, какое чувствовал, когда в театре незнакомец стоял в дверях партера и искал его глазами.

— Так вот, товарищи! — сказал председатель, держа в обеих руках листы бумаги со списками и взглядывая то в один, то в другой,— так вот прежде всего три категории:

— К первой мы причисляем рабочих, пролетарский и вообще трудящийся общественно-полезный элемент. Ко второй — интеллигенцию.

— А разве интеллигенция не трудящиеся? — послышались голоса.

Председатель опустил листы и сказал:

— Мы разберем, какая она, трудиться всяко можно. Один трудится для того, чтобы общество облегчать, а другой для того, чтобы в шляпках ходить...

— Демагогия!

— Продолжаем... Вторая группа интеллигенция... с отбором и всякие свободные профессии. Третья группа буржуазия и вообще чуждый элемент.

— Первую группу мы должны поставить в лучшие условия целиком за счет третьей группы, которую частично выселим как чуждый элемент. А вторую группу попросим немножко потесниться, то есть кое-где уплотним. Оглашаю списки!

Председатель перевернул лист, посмотрел на обороте, потом отложил его и взял другой.

— Вот...

Останкин почувствовал то, что он обычно чувствовал во всех тревожных случаях жизни: у него начали гореть щеки и уши, а сердце билось так, что ему казалось, что сидящие близ него слышат.

Если сидеть, не оглядываясь, то все увидят, что он боится. Поэтому он делал вид, что спокойно рассматривает кого-то у двери.

Председатель стал читать пролетарский список, и чем дальше он его читал, тем сильнее билось сердце у Останкина: ему пришла мысль, что его поместят в списки буржуазии...

И вдруг... что это? Он ослышался?.. Его фамилия была прочтена в пролетарском списке.

Он едва удержал свое лицо от непроизвольных движений и не знал, какое ему принять выражение. Он сидел, как первый ученик после оглашения списка награжденных за отличные успехи и поведение.

Далее прочтен был список интеллигенции. Раисы Петровны в нем не было. Стали читать список буржуазии и чуждого элемента. Она оказалась в нем.

— Из этого списка предполагается исключить двоих, как чуждый рабочей среде элемент,— сказал председатель.— Первый Дмитрий Андреевич Штернберг. Живет неизвестно на какие средства, а балы задает каждый день. Кто за исключение, поднимите руки.

Вся пролетарская половина сразу подняла руки. Интеллигенция и буржуазия сидели молча. Только кое-кто поднял, но сейчас же опять опустил. Леонид Сергеевич остался в тени. Никто не заметил, что он не поднял руки вместе с пролетарской частью за исключение.

Он в это время оглядывался кругом, как будто заинтересовался количеством поднятых рук, а сам просто забыл поднять.

— Большинство за исключение!..

Тут поднялся возмущенный говор и крик многих голосов.

— Что же вы, уж с лица земли стираете?!

— Куда же им теперь деваться, в могилу живыми лезть?!

Председатель звонил в колокольчик. Его не слушали и перебивали.

Какой-то полный господин, вероятно, сам Штернберг, с покрасневшим лицом и в котелке на затылке, с толстой золотой цепью на жилетке, подошел к столу президиу-

ма и кричал, что это насилие, что он найдет управу, теперь не 19-й год.

— Гражданин, сядьте! Можете жаловаться куда угодно,— кричал председатель, махая на господина листом бумаги со списком.

Останкин в это время оглянулся на Раису Петровну. Она как будто ждала его взгляда и возмущенно пожала плечами.

Он в ответ ей точно так же возмущенно пожал плечами и покачал головой.

Но вдруг он почувствовал, что как будто скамейку выдернули из-под него, и пол поплыл под его ногами влево, а печка поехала вправо: председатель поставил на голосование вторую фамилию: Докучаеву Раису Петровну.

Останкин почувствовал, что сейчас его выволокут на свежую воду, когда вся пролетарская часть вокруг него поднимет руки, а он, зачисленный в их группу и сидящий с ними — не поднимет. И первое, что он услышит, будет вопрос председателя:

— Вы за кого и против кого? И кто вы такой?

Он боялся оглянуться назад, чтобы не видеть лица человека, да еще близкого ему, которого выбрасывают, лишают права жить. Помочь ей он все равно не сможет, даже если бы он стал громко протестовать, что он, конечно, и сделает.

— Кто за исключение? Граждане, голосуйте все и держите руки отчетливее. А то не разберешь ни черта, кто голосует, кто не голосует.

Значительная часть пролетарской группы подняла руки, и так как эта группа была больше, то голосов при подсчете оказалось ровно половина.

Останкин сидел впереди всех и не поднимал руки, тогда как все его соседи подняли.

Так как голоса разделились на равные две половины, то он с бьющимся сердцем ждал, что Раису Петровну оставят и тогда раньше времени не стоит поднимать скандала.

— Как же мы решим? — сказал председатель,— половина з а и половина п р о т и в.

Останкин от волнения взъерошил спереди волосы.

— Вы что, поднимаете руку или не поднимаете? — спросил председатель его в упор. И тот почувствовал, что пол под ним проваливается, он испуганно покраснел от того, что к нему обратились отдельно на глазах у всех,

и рука как-то сама собой поднялась выше его взъерошенного вихра.

— Большинством одного голоса — исключается,— сказал председатель.

XI

Во всем облике Леонида Останкина стала заметна разительная перемена. Его взгляд стал тревожен, пуглив. Он часто вздрагивал и оглядывался по сторонам. А когда выходил из своей комнаты, то, как вор, прежде всего бросал взгляд в сторону комнаты Раисы Петровны. И, если никого не было видно, он быстро выскальзывал из квартиры.

Раису Петровну оставили жить в рабочей коммуне. С внесением ее в списки буржуазии вышло недоразумение. И, когда он узнал об этом, его охватил ужас. Теперь вся его задача была в том, чтобы не встретиться с нею.

Поэтому он возвращался домой, стараясь дождаться темноты, как преступник, который знает, что его ищут и могут каждую минуту схватить. Это состояние было мучительно.

Останкин старался быть в редакции как можно дольше. Здесь он чувствовал себя сравнительно защищенным.

Сегодня он уже в сумерки подходил к своему дому. Дойдя до ворот, он нерешительно заглянул в них, нет ли там Раисы Петровны. И сейчас же покраснел от пришедшей ему мысли, что он, точно жулик, принужден теперь прокрадываться к месту своего ночлега.

Вот он у себя дома. На письменном столе лежит его и н с т р у м е н т — перо и бумага. Он, стоя посредине комнаты, обвел глазами стены. У него было такое чувство, что он окружен стенами в пустоте. И он стал ощущать страх этой пустоты.

Он подошел к окну и при свете лампочки на парадном увидел коменданта, который с кем-то разговаривал и изредка взглядывал на его окно. Останкин поспешно, совершенно безотчетно отошел от окна, как будто он боялся, что комендант на него смотрит.

И сейчас же возмутился сам на себя.

— Да ведь это настоящий психоз! — сказал он вслух.— Если этому поддаться, то просто можно свихнуться.

Он подошел к окну и стал смотреть вверх, на мерцавшие звезды. Ему пришла мысль, что вот перед ним сама бесконечная вечность, а сам он сын этой вечности,

один из моментов этой вечности, получившей в его лице реальное выражение. И он среди веков на какой-то короткий, в сущности, миг пришел в этот мир, и опять в свое время он уйдет из него туда, как часть вселенной, как часть мирового разума. И при этом он боится коменданта... Что может быть нелепее и недостойнее этого!..

Но сейчас же он опять встретился глазами с комендантом и опять почти бессознательно отошел за подоконник.

Вот если бы у него было лицо, тогда бы дело было другое. Если бы пришел комендант или тот человек, он мог бы тогда улыбнуться и сказать:

— Да, действительно, я допускал мелкие жульничества, чтобы попасть на колесницу, так как жить каждый хочет. Но во мне есть вечное лицо, отражающее в себе бесконечное количество лиц коллектива. Я живу за всех тем, чем люди сами в себе не умеют видеть. Я выражаю за них то, чему они сами не находят выражения, и потому остаются неосуществленными величинами. Вы сами понимаете, какая в этом огромная ценность. И, следовательно, анекдот с анкетами — пустяк. Я занимаю свое место в колеснице по праву. Я честно плачу за проезд.

Если бы у него было лицо, тогда бы он имел право и силу вступиться за Раису Петровну, потому что тогда он не побоялся бы, что его смешают с ней, примут его за человека ее категории.

Он тогда сказал бы:

— Она — безвредна, оставьте ее. Я плачу достаточно много, чтобы хватило из моей доли оплатить и ее проезд.

Всё, всё отсюда! Все идет оттого, что он потерял данную ему природой вечную сущность. Теперь он, как жалкий поденщик, всецело зависит от других и дрожит: если они дадут ему работу, он будет жить. А если не дадут...

Останкин почувствовал вдруг, что не может выносить одиночества. Он должен идти куда-то, где люди, где много света, движения. Он схватил фуражку и бросился из комнаты.

XII

Он пришел в Ассоциацию писателей и хотел было сначала зайти в библиотеку. Но стоявший у двери швейцар не пустил его.

— Сюда нельзя. Здесь партийное заседание.

Останкин посмотрел на него вкось через очки.

Что же, спрашивается, разве уж и швейцар видит, что он не партийный?..

Во всяком случае, он ясно почувствовал, что он — какое-то инородное тело. Еще недоставало, чтобы швейцар сказал ему:

— У вас нет лица, а вы лезете!..

Ничего не сказав швейцару, Останкин прошел в столовую.

Там сидели за пивом писатели. Увидев его, они переглянулись, и он услышал:

— Прямо запечатывает — и конец! Не дает жить совершенно. И никак не поймешь, чего он требует. Вот радовались, что беспартийного назначили. А он хуже всякого партийного.

Он понял, что это говорится о нем. Чем же он запечатывает их? Он только требует от них того, чего у него самого нет.

Потом писатели заговорили о своем, и он слышал:

— Нет тем! Не о чем писать. Вот если бы куда-нибудь проехать. Заводы бы, что ли, осмотреть.

Он слушал это и злорадствовал:

— Ага, голубчики! У вас нет тем? Нет, это значит, что в вас нет *того*, что давало бы вам темы. Вы только смотрите по сторонам, не удастся ли описать что-нибудь необыкновенное. А *обыкновенного* ваши глаза захватить не могут. Вас только и хватает на то, чтобы строчки расставить как-нибудь похитрее, чтобы читателя хоть типографскими средствами задержать около себя на минутку, чтобы он хоть по особенности расстановки строчек отличил ваше лицо от тысячи других.

Он спросил себе пива и стал пить стакан за стаканом. И чем больше он пил, тем больше чувствовал легкость и освобождение от угнетавших его ощущений.

Вдруг ему показалось, что все пустяки. Если бы он один был в таком положении, а то вон они все сидят такие. Вот они пьют, допиваются до белой горячки, скандалят и ведут себя не лучше бульварных хулиганов. Пожалуй, что они счастливы хоть тем, что не сознают, отчего они так живут. Пожалуй, для них это благо, что они просто сваливаются в пьяном виде с колесницы, и только.

Многие сваливают всю вину на бедность. О друзья мои, *только* бедность — это еще благо в сравнении с тем, что чувствует человек, потерявший право на про-

езд, хотя бы другие и не догадывались о том, что он едет зайцем.

Но алкоголь — это чудо! Он возвращает все п р а в а. Вот я сейчас сижу, пью, и мне уже хорошо. Я уже не чувствую перед собой пропасти. А что касается заказа, то тоже наплевать! Нет, вы хитрые. Я теперь понял, почему вы так легко переносите свою пустоту и ложь.

Около одного столика вдруг послышался повышенный разговор. Подошел один из молодых писателей и, пошатываясь, остановился у столика, потом сказал одному из сидевших:

— Ты жулик! Берешь деньги взаймы, проигрываешь их и не отдаешь.

Поднялся шум. Замелькали в воздухе руки, и оскорбителя с завернувшимися на голову фалдами пиджака потащили к двери, причем он, вытянув ноги вперед, очевидно, думая опереться ими, ехал на каблуках.

— Дуй его в хвост и в гриву! — воскликнул вдруг Останкин неожиданно для себя.

Когда он вышел из столовой Ассоциации, то почувствовал незнакомое блаженство: ноги шли как-то сами, и дома по обеим сторонам улицы неслись ему навстречу с необыкновенной быстротой, так что у Останкина было такое ощущение, как будто он шел со скоростью верст 30 в час.

— Здорово! — сказал он сам себе,— вот это развил скорость!..

Увидев двух проходивших рабочих, сказал себе:

— Вон мои хозяева идут. Сейчас подойдут и спросят: «Ваш билет!»

— К черту! Никакого билета. Еду зайцем!

Придя домой, он кое-как разделся и лег в постель на спину. Было такое ощущение, как будто все куда-то плыло и он плыл. И это было так хорошо, что, казалось, ничего больше не нужно.

— Ну, ошибся, не на ту дорогу попал. Вот важность, ведь в конце концов я только ничтожный миг вечности... Две жизни надо выдавать человеку. Мудрым он становится только тогда, когда может увидеть в ц е л о м свою, хотя и неправильно прожитую жизнь. А они, черт их возьми, выдали клочок какой-то, оглядеться как следует не успеешь. Ладно, все равно! — говорил он, лежа на спине и глядя вверх над собой, где мелькала тень от тыкавшейся в потолок большой мухи.

Он был озабочен тем, чтобы увидеть самое муху, но никак не мог увидеть.

Но и это его не огорчало. Ощущение одиночества исчезло. Было только ощущение сладкого, плывущего блаженства. Во всех членах точно струилось что-то теплое, горячее.

Он, не переставая, говорил сам с собой.

XIII

А наутро, когда он, как встрепанный, вскочил с постели, первая его мысль была о том, что в Ассоциации его видели пьяным. Куда же он идет? Неужели он дойдет до того, что его так же будут выставлять из Ассоциации, как того писателя, и он будет ехать каблуками по полу, пока не упрется в порог, и, переменивши положение тела с наклона назад на наклон вперед, вылетит за дверь?

— Нет, лучше смерть благородная, чем такой конец! — неожиданно для себя сказал Останкин.

Он сказал совершенно безотчетно и, как бы сам пораженный вырвавшимися у него словами, задумался.

С этого момента в нем произошла новая перемена, которую все заметили.

У него совершенно пропал прежний пугливый и застенчивый вид. Он все время казался поглощенным какою-то мыслью. Иногда он не ходил в редакцию и вместо этого уезжал за город. Он целыми часами просиживал на высоком берегу реки, глядя неподвижно вдаль.

Или медленно шел по дороге, глядя себе под ноги. Иногда он останавливался, с какого-нибудь возвышенного места смотрел на город, и ему приходила мысль о том, что там, в этом городе, дома которого издали кажутся крошечными коробочками, живет и он. И если бы он сам на себя мог посмотреть отсюда, то он показался бы не больше блохи.

И эта блоха там, среди этих коробочек, суетилась и беспокоилась за свою жизнь и за свое благополучие. И из-за этих хлопот и от трусости он потерял самое ценное,— то, что от расстояния не уменьшается. Все эти годы он растеривал то, что теперь собрать уже нельзя.

Но разве ему, кроме смерти, нет выхода? Очевидно, нет. Как только он возвращался домой, принимался за свою работу, так он чувствовал, что начинается опять незаметная мелкая безбилетная ложь. Сознание истины,

очевидно, еще не означало овладения истиной. Если истина не была практикой всей жизни, то никакие мгновенные озарения практически ничего не значат.

Все, что ему остается,— добровольно уйти с колесницы, чтобы прекратить это недостойное человека лживое существование. Смерть вернет ему хоть утерянное достоинство, потому что он сам подвел итог своей жизни, измерил ее великой мерой. Сознание истины еще годится для смерти, но для жизни мало одного сознания. Только прежде, чем уйти, он напишет свое последнее слово писателям. Он знает, что в каждом из них есть то, что есть в нем.

Назавтра в ночь он решил написать, а потом сделать это. У него был в пузырьке опиум, и он с любопытством смотрел на этот бурый порошок комками, который прикончит его...

Все, бывшие в редакции накануне того дня, заметили какую-то странность в Останкине: он говорил со всеми необычайно свободно, точно он знал, что-то большее, чем все, и говорил с каким-то грустно-покровительственным выражением. Причем чувствовалась некоторая загадочность иных фраз и интонаций.

Так, например, редактор, товарищ Рудаков, его спросил, сможет ли он просмотреть данную ему рукопись в три дня.

Останкин ответил, что три дня для него слишком большой срок. И какой, однако, богач товарищ Рудаков, что так беззаботно отсчитывает дни!

Рудаков посмотрел на него и спросил, что значит эта аллегория.

Останкин, забрав рукопись, сказал, что ничего.

Придя домой, он долго ходил по комнате, потом сел и стал писать.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Итак, товарищи, последний привет вам и несколько слов человека, которому уже ничего не нужно. Я кое-что познал, когда в последние дни посмотрел издали и со стороны на свое существование.

Я добровольно лишаю себя права на жизнь, добровольно схожу с колесницы. Хотя у меня милостиво даже не спрашивали права на проезд.

Близкая смерть дала мне право величайшего обнажения. Дала мне право сказать то, в чем вы даже перед самими собой не находите сил признаться. И делаете вид, что не замечаете в себе этого.

Я хочу говорить вам о тех одеждах, которыми вы плотно покрылись. Под ними умерло и сгнило то, что было вашей правдой, вашим лицом и подлинной вашей сущностью. Место ее заступила ложь.

Знайте же, что великие эпохи берут человека на ощупь, проверяют его и больше всего беспощадны к тем, которые лгут. Хотя бы они лгали от доброжелательства, от хороших чувств.

Хотя бы они лгали от восторга.

Великие эпохи требуют и великой правды.

Вы лжете по разным направлениям, по разным случаям и стараетесь, как безбилетные пассажиры, угождать, чтобы вас не спихнули с колесницы. В одном месте вы притворитесь, что горите тем делом, какое вам дали. А оно не имеет в действительности к вам никакого отношения, кроме одного: оно дает вам хлеб.

В другом вы сделаете вид, что горите теми идеями, которые сейчас господствуют, а на самом деле вы просто боитесь обнаружить собственное мнение.

Но самая главная ваша ложь в том, что вы из близорукой трусости перед эпохой отреклись от своего подлинного лица, от своей сущности, из боязни, что она «не подойдет».

И теперь вы безлицые, равнодушные поденщики, выполняющие за хлеб чужие заказы, не имеющие к вашей сущности никакого отношения.

Таков же и я.

Поняв это, я твердо решил, что лучше уйти с этим мгновенным лучом сознания, чем оставаться жить, так как вернуть своему лицу жизнь, сделать свою сущность основой жизни я все равно не способен. У меня хватило силы только сознать. А «сознание истины годится только для смерти. Для жизни же мало одного сознания».

Я удовлетворен. Я чувствую, что хотя ценою смерти...

В дверь постучали.

Останкин вздрогнул. Спрятал письмо в стол и крикнул:

— Войдите!..

Вошел комендант, за ним два человека с портфелями.

У Останкина екнуло и сжалось сердце, как с ним бывало всякий раз, когда в комнату входили люди, цели прихода которых он не знал. В особенности если с ними был комендант, и они были, как сейчас, с портфелями.

— Вот осматривают санитарное состояние дома. Мы вам не помешаем?

— Пожалуйста, пожалуйста,— сказал Останкин, почувствовав к ним вдруг почти любовь и приподнятую готовность служить им, чем можно, когда выяснилось, что они пришли не за ним и нечего ему худого не хотят сделать.

Когда они ушли, он стоял несколько времени посредине комнаты, потом горько усмехнулся.

— Они мне все испортили... Блоха не умерла. Ее не убили и те мысли, которые пришли мне, как откровение... Значит, я должен физически ее убить.

XIV

Леонид Сергеевич взял пузырек с бурым порошком и долго смотрел на него. Потом как-то странно внимательно обвел взглядом свою комнату, стол, за которым он работал столько лет. Зачем-то погладил рукой спинку стула, на котором он сидел все эти годы, как будто он прислушивался к ощущению прикосновения и хотел запомнить его навсегда.

Он держал в руках яд, но не чувствовал никакого страха и ужаса перед тем, что он хотел сделать. И даже не чувствовал трагедии своего положения. Как будто он больше хотел кого-то разжалобить или испугать и сам не верил в то, что он сделает это.

Отсыпав немножко порошка на бумажку, он согнул ее желобком. И это было не страшно, потому что это было такое же движение, какое он делал сотни раз, когда принимал порошки от головной боли.

Он высыпал с бумажки порошок в рот и запил водой, поперхнувшись при этом, так как порошок от воды не растворился.

Потом расширенными глазами посмотрел перед собой, точно прислушиваясь в себе к чему-то. Зачем-то посмотрел на бумажку и выронил ее из рук.

Неужели он в самом деле сделал это?..

Холодный пот уже несомненного ужаса выступил у него на лбу.

Он машинально опустился на стул и с полураскрытым ртом и остановившимися глазами, расширенными от ужаса, смотрел перед собой в стену.

Потом с каким-то прислушивающимся выражением обвел глазами стены комнаты.

Ужас непоправимости и напряженное ожидание чего-то совсем не соответствовало тому состоянию, какое, ему казалось, должно быть у человека, решившегося покончить с собой из высших соображений. Это же безумие, глупость! Его положение, при свете большой правды, которая блеснула в его уме, конечно, было ниже достоинства человека, сознавшего себя, пусть оно было даже трагично. Но ведь это все-таки порыв. Он не мог длиться долго. Перезжди он полчаса, ощущение безнадежности и трагичности своего положения прошло бы, и он, наверное, не сделал бы этого.

Да и, наверное, так бывает у всех самоубийц. Всегда это происходит сгоряча, и после неудачного покушения самоубийцы редко делают попытку второй раз. Они лечатся, становятся мнительны и надоедливо-заботливы о своем здоровье.

Останкин вдруг вскочил, на секунду остановился, поднеся дрожащую руку ко рту, потом выскочил из комнаты и почти бегом побежал по направлению к комнате Раисы Петровны. Он остановился у ее двери и постучал. Дыхание остановилось, и только сердце стучало, отдаваясь в висках.

Ему вдруг стало страшно при мысли о том, как он после того, что было, покажется ей на глаза. И сейчас же показалось странно, что в нем есть это чувство стыда и страха теперь, когда он, быть может, умрет через полчаса.

Послышался стук женских каблучков, сначала заглушенный — по ковру, потом звонкий — по полу у двери. И дверь открылась.

На пороге стояла она — такая, какою он любил ее видеть: в простом уютном домашнем платье, с легким газовым шарфом на плечах, один конец которого еще опускался, как паутина, когда она остановилась в дверях после быстрого движения.

Он ожидал всего: ожидал, что она побледнеет и выгонит его вон или презрительно молча выслушает его и попросит оставить ее в покое.

Но Раиса Петровна не сделала ни того ни другого. Она, всмотревшись в лицо Леонида Сергеевича, испуганно воскликнула:

— Что с вами, милый друг? Что случилось?

У Леонида Сергеевича был момент, когда он хотел кинуться к ней, сказать, что он отравился, и умолять спасти его. Но вдруг испугался, что она поднимет шум,

все узнают, будет скандал. А потом у него мелькнула мысль, что порошок старый, выдохшийся и, может быть, еще не подействует. Это можно будет сказать, когда он заметит какие-нибудь признаки отравления.

Поэтому он сказал:

— Мне стало что-то нехорошо... что-то с сердцем, и я... я хотел на всякий случай вымолить у вас прощение за ту нелепость, какая произошла не знаю как...

На ее лице, залившемся румянцем, вдруг появилась мягкая, грустная, всепрощающая улыбка и она взяла его руку своей теплой, вынутой из-под шарфа рукой.

— Я не верю тому, что это тогда сделали вы,— сказала Раиса Петровна.— Вы этого сделать не могли. Вы переживали что-то тяжелое, что вошло в вас тогда. То были не вы...

— Да, это был не я. Я только недавно стал тем, чем я должен был быть.

У него на глазах показались слезы и застелили очки туманной пеленой, сквозь которую радугой блеснул уютный свет лампы под мягким абажуром на столе.

Жуткий страх смерти отошел от него. Ослепительная радость блеснула у него в душе при мысли, что он останется жить, потому что, наверное, порошок старый и не подействует. Ведь он знал об этом и как будто все это проделал для того, чтобы у кого-то вызвать жалость к себе, кому-то показать значительность своей трагедии.

Как он мог безрассудно поддаться порыву большой правды. Эта большая правда осветила его жизнь своим светом и дала ему силу порыва на одно мгновение. Теперь этот порыв уже прошел.

И как он мог бы желать теперь смерти, когда около него — эта женщина.

Они сели на диван. Останкин безотчетно, чувствуя, что это можно, прижался лбом к руке Раисы Петровны и спрятал голову в ее коленях.

Ее рука теплая и нежная, тихо гладила его затылок, матерински-ласково шершавя волосы.

— Мне сейчас так хорошо, как никогда не было,— сказал Леонид Сергеевич, лежа головой на мягких коленях молодой женщины и глядя широко раскрытыми глазами вверх.— Мое воображение видит сейчас столько прекрасных и тонких вещей...

Но вдруг холодный пот выступил у него на лбу. Он вздрогнул.

У него судорогой свело палец. Он вскочил.

— Что с вами? — спросила тревожно Раиса Петровна.

— Нет, кажется, ничего,— сказал Леонид Сергеевич, успокоившись. И он принял опять прежнее положение.

— Я рада тому, что увидела в вас сейчас тот образ, который оставался во мне в нашу первую встречу,— сказала Раиса Петровна.

— Говорите, говорите,— сказал Леонид Сергеевич,— я так люблю ваш голос... Ведь ничего не случится? Правда? — сказал он, с надеждой всматриваясь в глаза Раисы Петровны.

— А что может случиться? — спросила она его в свою очередь.

— Нет, ничего, все хорошо... Я вспомнил голос своей няни, под который я засыпал в детстве. И ваш голос похож на него... Что может быть лучше этого голоса? Может быть, потому, что с ним связано н а ч а л о, наше вступление в этот мир, когда мы жили только п р а в д о й, когда мы были еще неотделившейся частью этого мира,— говорил Леонид Сергеевич, лежа с закрытыми глазами.

Раиса Петровна чуть наклонилась взад и вперед, точно тихонько укачивала его, как будто ей хотелось, чтобы он уснул на ее коленях. Леонид Сергеевич продолжал говорить, потом вдруг глаза его открылись и с усилием смотрели в потолок, в них мелькнул какой-то страх, как будто он на секунду сознал, что ему нужно вскочить и что-то сделать. Но через минуту отяжелевшие веки опять закрылись.

Голос прекратился. Раиса Петровна с минуту подождала, потом осторожно спустила ногу с дивана, положила его голову на подушку и несколько времени смотрела на него, как смотрит мать на уснувшего ребенка.

Леонид Сергеевич уснул.

Она опять села на диван, тихонько гладила его руку и лицо, ничего не подозревая, ни о чем не догадываясь, так как он был еще т е п л ы й.

КОШКА

В маленькой комнатке квартиры № 45 жила одна уже немолодая некрасивая женщина.

Никто из квартирантов не знал, откуда она появилась и кто она, в сущности, была. Не знали даже, была ли она замужем или нет, брошенная мужем или вдова и на что она жила. Последнее было особенно странно, так как обычно жильцы всегда хорошо осведомлены относи-

тельно подробностей частной жизни их соседа: на какие средства живет, много ли он получает, много ли тратит. И если в этой частной жизни кроется какая-нибудь тайна, вроде незарегистрированного брака, то к такому жильцу или жилице соседи относятся с особенным интересом.

Каждый шаг такого жильца точно отмечается, обсуждается, и мнение о нем составляется в первый же день. И чем больше в жизни такого жильца заключается незаконного или, с точки зрения квартирной морали, достойного осуждения, тем больше внимания ему уделяют.

Сосед всегда выглянет из своей двери, если услышит, что к обитателю или особенно обитательнице смежной комнаты кто-то пришел или послышится осторожное звяканье бутылок и незнакомый мужской голос в одинокой до того женской келье,— тогда он непременно выйдет в коридор, сделав при этом вид, что он что-то ищет, и с бьющимся от запретного интереса сердцем пройдет несколько раз мимо дверей соседки, если окажется, что дверь осталась неплотно прикрытой, в расчете, что ему удастся посмотреть кусочек, может быть, незаконной и достойной осуждения жизни.

Тогда он возвратится к своей строгой и благообразной жене и, чтобы она не учла как-нибудь по-своему его излишний интерес к соседней комнате, скажет с презрением спокойного и добродетельного человека: «Уж и соседку нам бог послал: настоящий веселый дом. Сейчас нарочно вышел посмотреть, что там делается».

На что супруга, покосившись на него, скажет с явным недоверием к его добродетели: «Ты на других-то поменьше смотри, а то каждый вечер мимо двери шныряешь».

Но за жилицей маленькой комнаты никто не мог ничего предосудительного заметить. Она никого не беспокоила шумом, у нее никто никогда не бывал. Она была худа, бледна, с плоской грудью, в вечной светленькой блузке и залатанных башмаках.

Почти на весь день она куда-то уходила с мягким свертком из черного коленкора под мышкой, похожим на те свертки, которые носят портные и портнихи, относя свои заказы. Видели ее только утром, когда она выходила из своей комнаты, чтобы вскипятить себе чаю в общей кухне. И даже это делала она тихо, неслышно и боязливо отодвигаясь в сторону, если кто-нибудь другой подходил к плите.

Не все даже знали, что ее зовут Марьей Семеновной, и может быть, никто и не замечал ее и не думал о ней, если бы не одно обстоятельство, благодаря которому некоторые жилицы даже завидовали ей: у нее была громадная кошка с белой длинной пушистой шерстью без единого пятнышка. В первый же день появления Марьи Семеновны эту кошку осмотрела вся квартира, даже переворачивали ее лапами вверх, выискивая, неужели в самом деле так-таки ни одного пятнышка не найдется.

Пятнышка не было. Ни одного.

Кошка была единственным существом, которое чувствовало любовь к этой бедной и неинтересной женщине. Она, вызывая у всех удивление своей преданностью, аккуратно каждый вечер ждала у двери черного хода возвращения Марьи Семеновны. И потом, мурлыча, ходила за ней по пятам. И в то же время она была и со всеми ласкова и общительна. Дети запрягали ее в колясочку, заставляли прыгать через руки или клали ее в передней на старый с продавленными пружинами диван лапами вверх, спеленывали и надевали на шею резиновую соску на ниточке. И кошка, мурлыча, лежала спокойно с соской и дремала, закрыв глаза. Только хвост ее из пеленок чуть пошевеливался. Звали ее Машей. Один раз она пропала на сутки, вся квартира сейчас же заметила, и все беспокоились, отыщется она или нет.

Каждый входивший первый раз в квартиру при виде Маши невольно вскрикивал:

— Какая прелесть! Чья она?

И если спрашивающему молча указывали на проходившую в это время по коридору Марью Семеновну, он взглядывал на нее молча, сразу охладевший, и, только когда обладательница кошки скрывалась за дверью, он вновь обретал свой восторженный тон.

Машку кормили все квартиранты, приносили ей молоко и мясо. И при виде этой жирной, откормленной Машки и бледного с серым оттенком изможденного лица ее хозяйки, вероятно, у многих возникал вопрос: чем же питается сама Марья Семеновна? Может быть, она с жадностью ела бы то, что давали ее кошке? Но Марья Семеновна была такая неинтересная, ничем не заметная, что если у кого и возникала подобная мысль, то он почти никогда не додумывал ее до конца. Раз эта Марья Семеновна ходит, двигается, кипятит

свой чайник и никого ни о чем не просит, следовательно, как-то существует. И даже то обстоятельство, что Марья Семеновна была исключительно кроткий и мягкий человек, заставляло квартирантов холоднее и безразличнее относиться к ней.

Если бы она была злой, ворчливой и неприятной женщиной, тогда у каждого было бы оправдание своего безучастного к ней отношения. Но так как она была безупречным и, вероятно, хорошей души человеком, то каждый чувствовал себя как бы несколько виноватым за свое безучастие и поэтому старался не замечать ее, не вступать с ней в разговор, как бы боясь, что он разговорится с ней по душам, придется спросить, как она живет. А если окажется, например, что она живет плохо и недоедает, тогда придется ей предлагать обедать или еще что-нибудь. А то по душам разговаривает, а как нужно, помочь, так — в кусты...

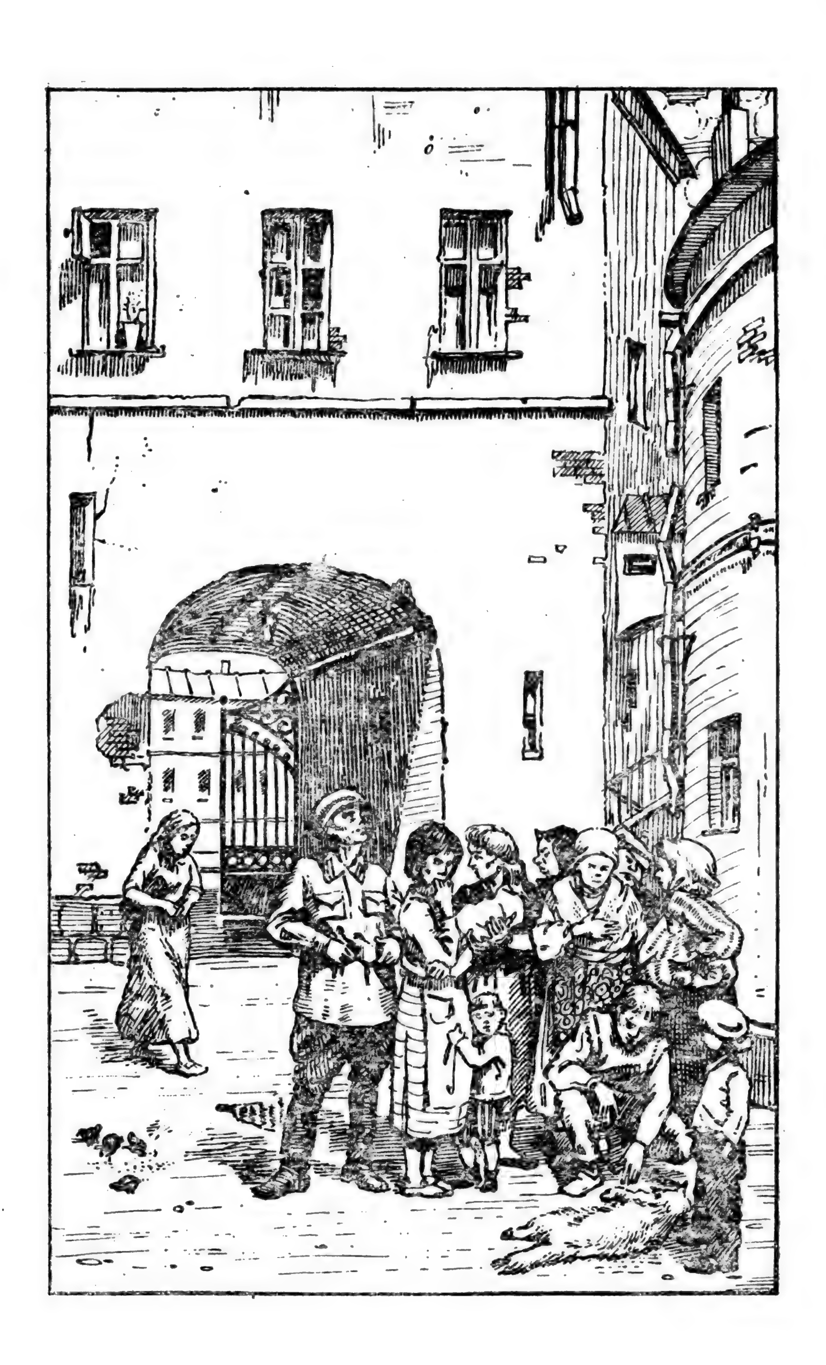
Даже к кошке старались не подходить, когда в кухне была сама Марья Семеновна.

В разговор с ней вступали только новые жильцы, всего один-два дня поселившиеся в квартире и еще не знающие всех внутренних обстоятельств и взаимоотношений между соседями, не сделавшие еще своей оценки каждому из жильцов. Эти обыкновенно говорили: «Вон золото-то у вас. Так за вами и ходит, так и ходит и в глаза смотрит. Как человек!»

И Марья Семеновна, которой, вероятно, ни один человек в глаза так никогда не смотрел, прижимала Машку к груди и нежно, как единственное свое прибежище, целовала.

И вот в один весенний день случилось несчастье, которое взволновало всю квартиру. Марья Семеновна ушла с утра, оставив Машку в комнате с раскрытым окном. Машка долго лежала на подоконнике с подвернутыми лапами и грелась на солнце.

Несколько воробьев пролетели с громким чириканием мимо окна и вдруг опустились на соседний подоконник. Машка совершенно забыла, что она живет на шестом этаже, и, на секунду припав с загоревшимися глазами к подоконнику, бросилась сильным прыжком на добычу. Но не удержалась на узком, обитом железным листом подоконнике, с секунду повисела на передних лапах, стараясь судорожно опереться обо что-нибудь задними, и полетела вниз на асфальтовый двор.



Дети первые увидели ее и подняли плач и крик. Потом прибежали взрослые, остановились вокруг умиравшей кошки и смотрели на ее горевшие зеленым предсмертным огнем широко раскрытые глаза и на судорожно вздрагивающие лапы.

Кто-то хотел ее поднять, но дюжина женских, захлебывавшихся от слез голосов крикнула, чтобы ее не трогали, так как, наверное, малейшее прикосновение причинило бы ей жестокую боль.

Все стояли и с негодованием говорили, что Марья Семеновна могла бы, кажется, догадаться закрыть окно, прежде чем уходить из комнаты. А как она ее любила, точно ребенок ходила за ней. Куда та, туда и она.

— Что за отвратительная женщина. Недаром никому не хочется с ней говорить. Из всей квартиры не найдется ни одного человека, который бы был хорош с ней.

— Бедная Маша, как она мучается,— говорили женщины из № 45.

— Нет, она уже отмучилась,— сказал кто-то.

Машку потрогали за лапу. Она была мертва.

Вдруг все обернулись. Через двор с улицы шла Марья Семеновна. Опустивши глаза в землю, со свертком под мышкой, вероятно, с каким-нибудь нищенским заказом, она шла своей поспешной, незаметной походкой. И вдруг, увидев перед собой людей, остановилась. Ее глаза почему-то с испугом поднялись кверху по направлению к ее окну.

Ее щеки стали совершенно серыми и глаза страшно большими. Она быстро подошла к расступившейся толпе, подняла руки ко рту, как бы желая задержать непроизвольный крик, несколько мгновений смотрела на распростертую кошку, крепко сжав тонкие губы, потом опустилась на колени, молча подняла труп кошки на руки и, не сказав ни слова, пошла в дом.

— Даже не сказала ничего,— заметил кто-то.— Ей-богу, собственными руками убила бы ее за кошку,— проговорила молодая рослая женщина из квартиры № 45.

— Я теперь ночи три не буду спать, все перед глазами будет стоять эта картина,— сказала другая женщина из бокового корпуса.— Она минут пять жила, ведь это какие страдания должна была испытывать.

— Еще бы, какая высота, ведь сажен десять есть.

Все посмотрели на окно, из которого свалилась Машка, и стали расходиться.

— И не кричала даже,— сказала, уходя и утирая фартуком глаза, одна пожилая женщина в платочке,— а только жалобно, жалобно на меня смотрела.

Жизнь в квартире пошла по-старому, но стало странно пусто. Не проходило дня, чтобы не вспоминали о Машке. В особенности в первый день, когда проходили мимо ее блюдца с молоком в углу у плиты. Его нарочно не убирали, как память о Машке. Всем казалось, что Машка,— великолепная, пушистая,— сейчас придет, стряхнет с лапок пролитое на пол молоко и начнет лакать из блюдца молоко своим розовым нежным язычком.

Прошло два месяца. Хозяйки так же собирались около плиты во время готовки и вели обычные разговоры.

Одна из них как-то сказала:

— Что это с Марьей Семеновной, ее что-то не видно.

— Хватились! Вы разве не знаете! — спросила молодая рослая женщина.

— Что?..

— Да она уж две недели тому назад отвезена в больницу, умирает от чахотки.

— Ах, матушки! А как же комната?!

— Управдом уж передал кому-то.

— Ах, мерзавец! Ведь я шесть месяцев тому назад подала заявление, чтобы мне переменили комнату. Ну, что за жулики. Пойди, дожидайся теперь такого случая! И как я не обратила внимания, что ее нет.

— Мы сами только через неделю заметили.

САМОЗАЩИТА

Стало ясно, что если так пойдет дело дальше, то все поплывет к богатым, а беднота как была драная, такой и останется.

И вот в одно из воскресений был получен приказ организовывать комитеты бедноты.

Но прошло еще пять воскресений, а комитета не организовывали. И когда кто-нибудь напоминал об этом, то лавочник и прасол кричали:

— Не надо нам бедноты! И так уж все охолостили. Коров помещичьих пропустили, сено тоже, хлеб тоже. Да еще начнет эта голь командовать. Не надо нам бедноты.

— Ага, не пондравилось! — говорили беднейшие.

— Еще бы им пондравится,— нахапали у всех, а теперь, глядишь, отчет давать придется.

Но время шло, а комитета не организовывали и только всем жаловались, что ихним богатеям, как черт наколдовал: все к ним переходит, и скотина и инвентарь помещичий.

Однажды рано утром приехали двое каких-то из губернии, и отдан был приказ всем явиться в волостной комитет.

Все пришли с испуганными лицами.

Коновал как вошел, так, не посмотревши даже на сидевших за столом президиума приезжих, сел на задней лавке спиной к ним и стал набивать трубку, ни на кого не глядя.

Старик Софрон стоял впереди, опершись грудью на палку, на которую он надел шапку, и неодобрительно посматривал из-под нависших седых бровей.

Только Андрюшка, растолкав всех, бойко прошел вперед к самому столу и, поигрывая снятым картузом, нетерпеливо оглядывал поверх голов собирающихся, как оглядывает в зале публику один из членов суда, прежде чем доложить председателю, что все готово и можно начинать.

Иван Никитич тоже протискивался поближе к столу, чтобы ничего не пропустить.

Вдруг все увидели лавочника и прасола, которые пришли оба в старых пиджаках с прорванными локтями.

— Ага, забеспокоились...— сказал кто-то.

Один из приехавших почесал в голове, как бы соображая что-то, и встал.

— Товарищи! — сказал он,— как у вас прошло распределение?

Никто ничего не понял.

— Как у вас обошлось с инвентарем, что от помещиков достался? — повторил приезжий более громко.

— Тем же концом повернулось...— проворчал кто-то сзади.

— Оно у бедных не держится...— сказал еще чей-то голос.

— Оно и не будет держаться, когда вы все действуете вразброд. Вам предлагали средство самозащиты. У вас комитет бедноты организован? Почему нет? Что же вы сами о себе не можете позаботиться? Предлагаю сейчас же приступить к организации.

Андрюшка, уже пробравшийся на возвышение и стоявший за спиной приезжего, смотрел на всех, перебегая

глазами с одного лица на другое, как смотрит доказчик на обвиняемых, уличивший их в обмане и приведший их на следствие.

Все молчали.

— Чего ж они молчат!? — Сами жаловались, а теперь и хвост прижали,— говорили вполголоса в толпе. И все оглядывались друг на друга.

— Пока не возьмете всего в свои руки, в руки бедноты, до тех пор ничего не будет,— сказал приезжий.

— Взяли уж...— проворчал коновал, который сам был не богат, но всегда держался установленных порядков и враждебно относился ко всяким новшествам.— Он взять-то возьмет, а сам ни уха ни рыла не понимает, все и идет кверху тормашками.

— Что?

— Ничего.

— Так я коротко предлагаю избрать комитет.

Все стояли в покорном молчании. К беднейшим принадлежали: Котиха, Захар Алексеич, Афоня, Длинный Сидор, Степанида.

Все они были здесь налицо. И все молчали, как будто то, о чем говорили, их касалось меньше всего.

— Коротко предлагаю — избрать комитет,— сказал приезжий.

Все озадаченно молчали, не зная, что они должны делать.

— Обдерут, сукины дети,— сказал торопливым шепотом Иван Никитич.

К нему испуганно все повернулись.

— Последние штаны снимут!

Все загудели, зашевелились, повертываясь спинами и затылками к столу и возбужденно разговаривая с соседями.

— Болотские выбрали, теперь они дерут с живого и с мертвого,— сказал негромко прасол.— Я ведь тебя не неволю корову мне продавать, а тогда насильно будут тащить.

— Не желаем! — крикнуло сразу десяток поспешных и испуганных голосов.

Андрюшка то взглядывал на приезжего, то на мужиков и делал какие-то неопределенные движения руками, как приехавший со становым на следствие урядник, видя нарушение порядка, только ждет знака начальника, чтобы схватить нарушителей порядка.

— Дозвольте я их успокою. Тише!! Черти неумытые!

— Товарищ, не выражайтесь.

— С ними иначе нельзя.

Приезжий вдруг решительно встал и сказал:

— Предупреждаю, что всякие проявления контрреволюционности будут караться беспощадно. А теперь я спрошу: вы свободный теперь народ, товарищи, или нет?

— Свободны...— сказало нерешительно несколько голосов,— а только не желаем, потому нас кто уж только не обувал...

— Молчите, когда с вами говорят, обалдуи сиволапые! — крикнул Андрюшка.

— Оставьте, товарищ, свои выражения.

— С ними иначе нельзя, товарищ,— ответил Андрюшка,— ежели этих остолопов не крыть, они никакой свободы не поймут.

— А раз свободный,— продолжал агитатор,— значит вы свободно можете организовать самозащиту против эксплоатации, а не дожидаться, когда к вам из губернии приедут и вас заставят ради вашей же пользы.

— Чудеса!.. то никогда об нашей пользе не заботились, а тут вдруг прихватило.

— Обдерут...— опять негромко сказал Иван Никитич.

— Ну что же молчите?

— Вот привязался-то, господи, батюшка,— сказал кто-то сзади.

— Хуже барщины. Как приедет какой стрикулист, так и гонят. И правда уж не хуже собак ученых: по звонку все бегаем.

— Известное дело хуже барщины: там хоть душу не тянули, а свою порцию по указанному месту получил и гуляй смело,— сказал кузнец,— а ведь это выматывает, выматывает,— сил никаких нет.

И он сделал движение выйти на двор, как бы желая освежиться.

— Выходить нельзя! — крикнул агитатор, посмотрев через головы на дверь.

— Тьфу, чтоб тебя! — сказал вернувшись кузнец.

— Да... уж дело до того доходит, что... не дают. Строго.

— Кто здесь беднейшие? — спросил агитатор, встав.

— Мы — беднейшие! — крикнул Андрюшка, схватив за рукав Котиху и Захара Алексеича, который споткнулся от неожиданности и уронил шапку.

Степанида тоже сунулась было наперед, но Иван Никитич, дернув ее сзади за полушубок, торопливым шопотом сказал:

— Куда тебя черти несут! Голову на плечах надоело носить?

Та испуганно оглянулась и, боясь, как бы не заметили от стола ее движения, быстро юркнула в толпу.

— Эти граждане заслуживают доверия? — спросил агитатор, указав на Андрюшку, Котиху и Захара Алексеича.

Андрюшка ястребом смотрел в глаза всем, быстро перебегая с одного на другого. Захар Алексеич, стоя с шапкой в руке и с соломой в волосах, наивно переводил взгляд с собрания на агитатора, как бы ожидая своей участи и не зная в точности, что с ним сделают.

— Заслуживают... Ну, прямо не знаешь, куда податься.

— Значит, против их кандидатуры ничего не имеете?

— А черт их дери. Бери хоть себе на шею.

— Я те поговорю! — крикнул Андрюшка,— дали хаму свободу, а он уж обрадовался.

— Оставьте же ваши выражения, товарищ! —крикнул нетерпеливо агитатор,— вы мне работу срываете.

— Я тебе зубы-то почищу...— сказал уже кому-то шопотом Андрюшка, показав из-под полы кулак кому-то в сторону печки.

— Что-то, ай выбирать хотят? — спросил длинный Сидор.

— А ты только проснулся?..

— Требуются три лица,— сказал агитатор,— председатель, товарищ председателя и секретарь. Это будет президиум.

— Вот эта сволочь, Андрюшка, теперь нос задерет — беда!

— Вчера коров гонял, а нынче в председатели попал.

Андрюшка, презрительно сощурив глаза, только посматривал.

— А вы все грамотные? — спросил агитатор.

Наступило молчание. Глаза всех жадно остановились на Андрюшке. Тот покраснел и молчал.

— Ай дверями обознался? — послышались насмешливые голоса.

И все вдруг почувствовали, что он сорвался.

Агитатор остановился в нерешительности.

— Безграмотных нельзя,—сказал он.

Тогда все увидели, что лавочник протискался к столу и сказал:

— Этот человек достоин, а в грамоте я могу заменить, помогнуть.

— А кто он? — спросил агитатор у Андрюшки, показав на лавочника.

— Чужого труда не эксплоатировал!..— быстро проговорил Андрюшка, почувствовав надежду на спасение.

— Тогда его можно секретарем,— сказал агитатор.

Человек десять хотели было крикнуть, что он кулак, и уж подняли кверху руки, но сейчас же опустили при мысли, что не к чему соваться, когда не спрашивают, а то тот же лавочник ведь все равно не туда, так сюда пролезет и начнет гнуть потом.

За лавочником вышел прасол.

— Глянь полезли! — сказал кто-то.

— А ты думал,— дремать будут? Не такие люди.

— Голосую,— сказал агитатор.

— Мать честная, сейчас пролезут, ей-богу пролезут! — говорили в толпе.

— Кто подает голос за Андрея Кирюхина?

Андрюшка, сжав кулак, ястребиным взглядом обежал всех, и всякий, с кем он встречался взглядом, поспешно поднимал руку.

— Единогласно.

— Иван Карпухин! — объявил агитатор.— Кто за него, прошу поднять руки.

— Попали! — сказал кто-то.

И все нехотя подняли руки.

Когда очередь дошла до кандидатуры Захара Алексеича, то он, поднимавший оба раза перед этим руку, поднял ее и теперь.

— Куда ж ты, черт, тянешь! — крикнул Андрюшка, подскочив к нему и ударив его по поднятой руке,— уж сам себя выбираешь?

— Избран единогласно.

— Он заместо эксперта пойдет,— сказал Сенька.

— Лавочник-то пролез, сволочь!

— Присылают нового человека, нешто он знает. Головы...

— Округ пальца обвели, сукины дети.

— Вот так комитет бедноты! Чем черт не шутит.

— Самозащиту, говорит, вам из губернии предоставим. Ну не сукины дети?!

ТЯЖЕЛЫЙ СЕДОК

Из подъезда пятиэтажного дома вышел какой-то очень полный человек в шубе с бобровым воротником.

Стоявшие на углу извозчики задергались и штуки три сразу подкатили к подъезду.

Первый был на маленькой мухортой лошаденке.

Толстый человек с сомнением посмотрел на лошадь и сказал:

— Что же это у тебя лошадь-то такая?

— А какой же ей еще быть?

— Такой... ведь это кошка, а не лошадь.

Извозчик утер нос рукавицей и сказал:

— Ничего... Она глядеть только, что кошка, а ежели ее разогнать, в самый раз будет.

И когда седок сел и они поехали, извозчик прибавил:

— Вот только дворники, дурацкие головы, все снег счищают. Чуть нападет снежку, как эта саранча налетит и опять все до мостовой сдерет. Вишь, вот, заскребло. Эй, Черт Степаныч,— крикнул он дворнику, который надсаживался, скалывая лед с мостовой,— что ж ты и дерешь до живого мяса?

— До какого это живого мяса?

— До такого... ездить-то по чем?

— А ты бы еще толще себе седоков-то выбирал. Вишь, черта какого отхватил. Нешто по этакой дороге можно таких возить! Ошалеть надо! Ведь это что, сукины дети, как лошадей мучают,— прибавил дворник, когда извозчик отъехал на некоторое расстояние,— мерин какой взвалился... Нет того, чтобы лошадь по себе выбрать... Сволочи!

— Извозчик, что вы не подадите заявление, чтобы снег до камней не счищали,— сказал толстый седок, обращаясь к извозчику.

Извозчик в своем большом, не по его росту, синем кафтане и старой меховой шапке, мех которой торчал сосульками в разные стороны, точно его иссосали котята, каждую секунду дергал локтями, приподнимался и чмокал губами. Он некоторое время молчал, потом сказал:

— Что ж подавать, все равно ни черта не выйдет.

— А вы пробовали?

— Что ж пробовать-то?.. Теперь и ездить-то всего один месяц осталось.

— И в один месяц лошадь задрать можно.

— Когда седоки легкие, не задерешь.

Проходившие два парня, увидев толстого, сказали:

— Мать честная, и на каких хлебах только эти черти пухнут? Жали-жали их, а они опять, как ни в чем не бывало: то людей мучали, а теперь на лошадей навалились.

Извозчик повернулся к седоку и сказал:

— Все насчет вас.

— Поезжай, поезжай. Этак на тебе в два часа не доедешь.

— Да вы и на другом не доедете... Покамест на колесах ездил, все одни худощавые попадались, а как зима пришла, так и навалились одни туши,— проворчал он про себя.

— Спасибо, все-таки хоть меньше таких стало,— сказал один из парней,— а что если бы перевороту не было, всех бы лошадей вдрызг порезали. Вишь, надрывается, бедная. Ведь по делу — она должна на нем ехать, а тут он на нее забрался.

— Деньги есть, вот и забрался. Он на кого хочешь заберется.

Лошаденка, надрываясь, скребла по камням и на горке в узком месте совсем остановилась. На рельсах стоял испортившийся вагон трамвая, и проехать можно было только в одну лошадь.

— Ну, чего же там стал? — закричали, наехав задние.

Извозчик, привстав, настегивал лошаденку кнутом, она дергалась во все стороны и не могла свезти саней.

— Ах, мать честная...— сказал извозчик, поправив шапку, и, повернувшись, посмотрел с сомнением на седока, потом покачал головой и сел.

— Что ж ты сел-то? Ну тебя, братец, я слезу лучше,— сказал толстый человек.

— Постой, постой, сейчас сил наберется и стронется. Ведь вот племя-то проклятое. И снегу никакого нету, а он скребет. Вишь, вылизал. Чтоб у него, окаянного, все печенки перевернулись!

— Что там стали-то? — кричали сзади, где уже набралась целая вереница саней.— Трамвай, что ли, дорогу загородил?

— Какой там трамвай, туша какая-то едет, лошадь прямо из сил выбивается, стронуть не может.

— Какая туша?

— Да седок очень тяжелый.

— Ах, сволочи!

— Эй, дядя, что ж ты угорел? — сказал, подойдя, милиционер.

— А что?

— «А что?» — сажаешь-то таких по этакой дороге.

— А что ж мне с голоду, что ли, подохнуть, когда на меня все такие наваливаются, уж другого нынче такого везу. Вот жизнь-то окаянная!..

— Окаянная... а ты по себе бы дерево рубил. Видишь, какая дорога, а наваливаешь сверх меры. Вот штрафовать вас, сукиных детей, за истязательство животных.

— Что ж мне весы, что ли, с собой возить? — сказал угрюмо извозчик.

— Весы... а на глаз-то прикинуть не можешь? Ведь из него три человека выйдет. Движение-то вот остановил все. Ну? Чего моргаешь-то?

— Я тут ни при чем, с седока спрашивайте.

— С седока... Пешком-то не могли оба пройти?

— А кто ж со мной поедет-то, если я буду всех пешком приглашать. Эй, мол, дядя, не хочешь за рублевку до Страстного рядом с санями пройтись? Выдумывать-то мастера. Вы б вот лучше не велели дворникам до мостовой скалывать.

— Они поступают на основании распоряжения, а ты должен сообразоваться, таких чертей не возить.

— Вот черт-то: сел посередке и запрудил все,— говорили сзади.

Около саней с толстым человеком собралась толпа. Все стояли в кружок и смотрели на него, как смотрят на вагон, сошедший с рельс.

— Где ж ему по камням ездить. Для него особую дорогу насыпать надо.

— Ты бы снежку-то под него подсыпал,— крикнул кто-то дворнику,— ведь все равно стоишь, ничего не делаешь.

— Тут подсыплешь, а дальше опять камни. Что ж, я за ним по всей Москве с лопаткой и буду бегать?

— Таких на вес бы принимать. Да норму определить: как против нее пуд лишнего, так вдвое драть. А то ежели их по головке гладить, они так расплодятся, что все движение в городе остановят. Вишь, вон, сколько народу ждет, а он сидит, как будто не его дело,— говорили кругом.— У, сволочь... Прямо все сердце переворачивается.

— Э, ну тебя к свиньям,— сказал толстый человек, вылез из саней и, сунув извозчику рублевку, пошел пешком.

Лошадь сразу тронулась. Движение возобновилось.

— Вот все дело и было в нем, а дворники тут ни при чем,— сказал милиционер.

— Что это тут было-то,— спрашивали задние, поравнявшись с толпой, которая все еще стояла и смотрела вслед толстому человеку.

— Что было... вон черт пошел! Как сел поперек дороги, так и запрудил все.

— По такой дороге всех людей на зиму взвешивать бы надо. Как больше, скажем, пяти пудов, так из Москвы к чертовой матери.

ЗАГАДКА

В пригородной слободе был праздник, и народ толпился на улице.

Вдруг кто-то закричал:

— Глядите, что делается-то!

Все бросились к крайнему сараю и увидели, что на лугу, около лесочка, с остервенением возятся два человека. Они то падали, то вскакивали на ноги и били друг друга, причем один кричал, а другой бил молча. Видимо, один нападал на другого.

— Что за притча? — сказал кто-то,— кто бы это мог быть?

— Один, кажись, наш, Андрон Евстигнеев как будто.

— Да, похоже. Он, он, так и есть. Его шапка. Вон сшиб и шапку,— крикнула молодка в розовой кофте.

— Подрались, знать, за что-то.

— Пойтить разнять, что ли?

— Сами справятся, что ж лезть-то, может, он его за дело учит.

— Ежели это Андрон, то должно за дело, он чтой-то вчерась свеклу продавал, да, кажись, гнилой навалил.

— Вот народ-то пошел,— сказала старушка в беленьком платочке, тоже смотревшая на дерущихся,— из-за свеклы грех на душу берет да еще по горбу попало, а там, глядишь, морду раскровянит.

— Морду-то ничего, а вот как двух ребер недосчитаешься, это дело хуже. Погляди, пожалуйста, как лу-

пит! — отозвался пожилой мужичок, присаживаясь на бревно и закуривая папироску.

— У нас в прошлом годе так-то подрались двое на кулачки, так у одного все передние зубы и вылетели, а у другого почки отбиты. Так до сих пор согнувшись и ходит. Семена Стрежнего сын.

— Знаем, рыженький такой.

А то иной раз без глаза остаются, тоже хорошего мало.

— Ребятишки уж полетели.

— Это им первое удовольствие.

— Ведь убьет мужика, посмотри, пожалуйста, к березе его прижал!

— А что ж, и убьет. Нешто долго до греха? Человек уж когда озвереет, так себя не помнит,— сказал пожилой мужик, сидевший на бревне,— в прошедшем году так-то у нас двое в Семеновке подрались; ну, их розняли, когда уж увидели, что у одного глаз выбит. Так он с выбитым глазом еще догонять бросился того, да в обиде потом на всех, что розняли их. Он бы, видишь ли, ему показал, как глаз выбивать. А сам же кричал, народ созывал, вот не хуже этого... Вишь орет... словно поросенка режут.

— Кажись, это Андрон. Ну, значит, за дело учит.

Побежавшие на место происшествия ребятишки пробежали уже половину расстояния; один из них споткнулся на кочку и растянулся во весь рост, потом вскочил и опять побежал.

— Вот кто любит на драку-то смотреть, морду в кровь себе разобьет, и уж добежит посмотреть!

— Сам, небось, сидишь, смотришь. А если б ноги были молодые, еще, глядишь, тоже побежал бы.

— Мне и отседова хорошо видно.

— Теперь чтой-то стало выводиться, а прежде, бывало, как масленица, так все идут на бой. Бывало, как заречснские с нашими сойдутся стенка на стенку, так сколько морд раскровянят — ужасти! Ноги ломали. Иной озвереет, кол из горожи выдернет и пойдет крошить.

— Любили.

— Зато судов этих не знали! Посчитают друг другу ребра — и ладно. А теперь как чуть что — суд, милиционер...

— Да, теперь выводиться стало.

— Народ стал очень образованный; вишь, как праздник, так молодые все в город уехали — мячики там гоняют.

— Матушки, матушки, погляди, что делается!..

Вдруг все замерли: один из дравшихся упал на траву, а другой — что-то пошарив по его одежде и оглянувшись на подбегавших ребятишек, бросился в лес.

— Кажись, камнем по голове хватил...

Мальчишки, через минуту добежавшие до упавшего, окружили его и стали что-то кричать и махать руками; часть глядевших на драку бросили грызть подсолнухи и со всех ног кинулись на место происшествия, остальные же — тревожно переглянувшись, тоже пошли поспешным шагом.

— Долго ли до греха... хорошо, если без памяти лежит, а как, если вовсе мертвый? — говорили разные голоса шедших торопливым шагом людей.

— Убили! Человека убили! — кричали ребятишки испуганными голосами.

Убитый лежал, раскинув широко руки, с проломленной головой.

Он оказался ограбленным, так как у него был выворочен карман и сорваны часы, от цепочки которых осталось в петле пиджака только колечко.

И кстати тут увидели, что это совсем не Андрон, а неизвестный мужчина, очевидно, шедший к перевозу на реку. Убийство было, несомненно, совершено с целью грабежа.

Около убитого уже толпился сбежавшийся со всех концов народ. От слободы бежали еще и еще, как бегут при звуке набата на пожар.

— Ясное дело, что бандит,— говорили в толпе,— подкараулил в лесу и наскочил.

— Когда ж он убил-то? — спрашивали вновь подбегавшие со стороны другой деревни.

— Да вот сейчас только, при нас,— сказала молодка в розовой кофте.— Мы вон там на горочке все сидели.

— И мужики были?

— А как же, и мужики все были. Долго справиться не мог, мужик-то здоровый, должно, был. Уж потом, знать, камнем пригадал ему голову разворотить.

— Что ж на помощь-то не побегли? — спросила старушка, запыхавшаяся от бега.

— Да ведь кто ж его знал-то... Мы думали, что драка какая, или за дело учит. Нешто угадаешь! А мы долго смотрели, мужик-то здоровый был, долго не сдавался.

— Ах, ты господи, ну, как тут жить, когда людей прямо на глазах убивают.

— Ни закона не боятся,— ничего.

— Небось, дети остались...

— А главное дело — не боялся, на глазах у всех бил,— сказала опять молодка в розовой кофте: — мы всей деревней почесть стояли, он и внимания не обратил.

— Да... это уж последнее дело,— сказал, покачав головой, мужичок в поддевке.— Ну я понимаю — ночью, уж если, скажем, такой отъявленный человек, что ему ничего не стоит душу загубить, а то ведь днем, на виду у всех не побоялся!

— Вон милиционер идет.

— Когда совершено убийство? — спросил милиционер, оглядывая собравшуюся вокруг трупа толпу.

— Да вот сейчас только,— сказало несколько голосов.

— А кто-нибудь видел?

— Да все видели,— отозвалось опять несколько голосов,— при нас же и дело было.

— А почему не воспрепятствовали?

— А кто ж его знал, что он убить хочет. Мы думали, он просто бьет его. Может, за дело учит.

— Мы думали это насчет свеклы,— сказал чей-то голос.

— А он просил помощи?

— Как же, кричал здорово.

— Ну, и что же вы?

— А какая драка без крику бывает?

Милиционер некоторое время о чем-то думал.

— А вы где же были-то? — спросил он наконец.

— Да вон на горочке все сидели,— сказала молодка в розовой кофте.

— Упокой, господи, душу его,— сказала старушка, перекрестившись.

Милиционер вынул книгу и карандаш, потом присел на корточки и стал писать протокол.

— Убийство с целью грабежа? — спросил он, не поднимая головы.

— С целью,— сказало несколько голосов.

— При свидетелях?

— При свидетелях.

— Кто именно? — спрашивал милиционер, глядя вниз и держа карандаш наготове.

— Почесть вся деревня была,— отозвалось несколько голосов.

— Убийца скрылся?

— Скрылся.
— Тоже на глазах у всех?
— На глазах. Вот сюда, в лесок побежал.
Милиционер перевел взгляд в сторону леса и опять стал писать.
— Да это уж каким головорезом надо быть, чтобы на глазах всей деревни человека зарезать,— сказал кто-то.
— Теперь не найдешь!
— Где ж теперь найтить. Лови ветра в чистом поле.
— Что же, он долго его бил? — спросил милиционер, кончив писать.
— Долго. С четверть часа возился. Мужик очень здоровый был.
— Ну, ладно, двое останутся при мертвом теле, а остальные расходитесь.
Все стали расходиться, оглядываясь на труп.
Шедшая сзади всех старушка покачала головой и сказала:
— Вот грех-то... Ну, ежели бы ночью или в безлюдном месте, а то прямо на глазах у всей деревни. Как же он не боялся-то?
— Вот то-то и загадка-то,— отозвался кто-то.

ГОЛУБОЕ ПЛАТЬЕ

I

Несчастье случилось на свадьбе недели за две до Покрова, когда хлеб был уже весь убран и в поле оставалась только запоздавшая картошка.
Спиридон накануне свадьбы дочери даже ходил на свой загон посмотреть, не пора ли выпахивать картошку. Постоял там, посмотрел из-под руки кругом и понурый пошел домой. Месяц тому назад дочь, Устюшка, пришла и сказала, что выходит замуж за сына кузнеца Парфена, комсомольца.
— А денег на свадьбу кто тебе приготовил? — спросил Спиридон, не взглянув на дочь.
— Каких денег? Приданого ему не нужно,— а венчаться будем не у попа, просто запишемся,— сказала как-то небрежно, почти мимоходом Устинья, вильнула своей косой и ушла.
Жена Алена ахнула, а Спиридон бросился было за дочерью с кулаками, но сейчас же остановился и, махнув рукой, только сказал:

— Вот чертова порода-то пошла!..

Больше всего его задело почему-то, что жениху приданого не нужно. «Значит, хозяйства не справит, раз копейку не ценит»,— подумал он.

Хотя он никогда ничем не выражал своей любви к жене, и если она уезжала одна в город и долго не возвращалась, то он выходил на улицу посмотреть, не едет ли, но всегда смотрел не в сторону околицы, а смотрел как будто по сторонам, чтобы люди не увидели, что он о ней беспокоится и ждет ее.

Говорили они с ней всегда только о хозяйстве, и ни о чем больше. Теперь Спиридон стал молчалив и раздражителен, и если выпивал и его чем-нибудь задирали, у него глаза загорались диким огнем, и он не помня себя лез драться.

Один раз даже и в трезвом виде он едва не убил Семку кровельщика, маленького, лохматого мужичонку, за то, что тот ехидно его поздравил «с хорошим женихом и партийной линией».

Когда же он бывал пьян и лез с кем-нибудь драться, Алена всегда повисала у него на руках и твердила:

— Спиридон, голубчик, будет... Спиридон, милый, не надо...

И уводила его домой, прикладывая землю к синякам, которые он себе насажал в пьяном виде.

Чем ближе подходил день свадьбы Устиньи, тем Спиридон становился угрюмее и сумрачнее. И возможно, что если бы не было этой свадьбы, то не случилось бы и несчастья, такого нелепого и ужасного.

II

В деревне начиналось веселое время свадеб. Но Спиридон ходил понурый, точно пришибленный. Ему казалось каким-то позором, что свадьба его дочери будет ненастоящая, без попа.

Свадебная пирушка была у жениха. Алена хотела было надеть свое лучшее голубое шерстяное платье, которое ей Спиридон однажды привез из города, но в самую последнюю минуту почему-то передумала и надела другое праздничное платье, попроще. «Как кто подтолкнул»,— рассказывала она потом, уже в больнице Спиридону.

Гости стали собираться еще задолго до темноты. Прежде бывало из церкви ехали на тройках с бумаж-

ными цветами, заплетенными в гривы и хвосты лошадей, а теперь приходили и приезжали без всяких цветов.

Спиридону и в этом показалось что-то позорное и обидное.

Казалось, что над ним и над его дочерью смеются, за настоящую свадьбу не считают. И он, надевши свою праздничную поддевку и намасливший волосы коровьим маслом, чувствовал себя глупо, как будто он совсем некстати вырядился. Другой бы на его месте вовсе не пошел сюда или бы нарочно все старое надел.

Народ набирался в избу, главным образом все молодые ребята в пиджаках и френчах и девчата, одетые тоже все по-городски — в белых платьях и туфлях с белыми чулками, как барышни. Они шумели, смеялись, как будто всем здесь командовали и заправляли они, а старики как-то неловко жались в сторонке.

В переднем углу стоял накрытый стол, устроенный из трех сдвинутых столов. На скатерти были положены вдоль по тарелкам вынутые из сундуков расшитые полотенца для утирания масляных ртов и рук. Стояли бутылки водки, вишневка и на блюдах заливные куры.

Спиридона никто не встретил, не оказал ему, как отцу, почета, точно он не имел здесь никакого значения. И он стоял в толпе других гостей, дожидаясь, когда позовут садиться за стол. И чем он больше так стоял, тем больше в нем разгоралась обида: двадцать лет работал, дочь вырастил, а теперь на ее свадьбе стоит, как неприкаянный, точно его из милости сюда пустили.

А тут попятился, не разглядел, что сзади, и попал сапогом в кошачье блюдце с молоком, стоявшее у стенки. Блюдце хрустнуло, разломилось, и из-под ног Спиридона потек ручей молока на середину пола. Некоторые из гостей фыркнули, а он покраснел до самого затылка.

Старики-хозяева, Парфен и его жена Анисья, тоже как-то нескладно толклись, видимо, не зная, что делать со скучающими гостями. А молодежь забралась вопреки всем обычаям в спальню, оттуда слышался говор, смех. Устинья в белом платье, с волосами, собранными к затылку в прическу с воткнутой в нее гребенкой, сидела с женихом на кровати, тоже смеялась и то оправляла ему галстук, то волосы, как будто он был для нее уже свой.

И от этого не было, как показалось Спиридону, ника-

кой серьезности, никакого благообразия. И даже отдавало каким-то бесстыдством.

У Спиридона настроение стало еще хуже, когда он увидел, что здесь присутствует рябой Семка, который один раз уже подковырнул его насчет этой свадьбы.

Кум Спиридона, Сергей Горбылев, пожилой мужик с серой курчавой бородой и волосками на носу, как будто понял, что чувствовал Спиридон. Он отодвинул ногой черепки и, нагнувшись к Спиридону, подмигнул и сказал тихонько:

— Себе тоже в г о с т и пришел?

— Вроде этого...— ответил угрюмо Спиридон.

Наконец оживились, зашумели. Молодые ребята, напирая друг на друга, толпой вытеснились из спальни, причем всех толкали.

Комсомолец Гараська Щеголев, друг жениха, вышел на середину избы и поднял вверх руку, как бы требуя тишины. Все затихли и смотрели на него и друг на друга с неловким чувством ожидания, что он сделает или скажет что-то такое, отчего всем будет стыдно и неловко за него и за себя. Гараська утер губы платком и, заложив палец за борт френча, сказал краткое приветствие молодым, заключавшееся в том, что он поздравлял новую пару, отказавшуюся от предрассудков и строящую новый быт.

Жених в коричневом френче и брюках, стоя рядом с невестой, то смотрел на оратора, то, улыбаясь, перешептывался с невестой, чтобы скрыть свою неловкость. А она тоже изредка шептала ему что-то, закрыв рот рукой.

И опять эта смелость и развязность дочери показалась Спиридону почти бесстыдством. Его старуха не то, что шептать и смеяться при всех с ним, когда он был женихом, она стояла, словно окаменела совсем, до того боялась.

Спиридон смотрел на оратора, на его сухой, свешивающийся наперед вихор, и ему лезли мысли о том, что на него, отца, наплевали да еще на смех подняли, когда в молоко попал, всем командует какой-то мальчишка, у которого на губах молоко не обсохло.

В особенности ему показалось, что над ним потешается Семка, который, сидя на подоконнике и свертывая папироску, поглядывал на жениха с невестой и все ухмылялся чего-то. Лицо у него было рябое от оспы и на носу было особенно много рябин, так что кончик его

был точно весь изъеден. И оттого лицо его казалось Спиридону особенно гнусно-ехидным.

За стол он сел в поддевке и ее широкие рукава, обшитые полоской кожи, мешали ему управлять ножом и вилкой. Стал резать курицу, упер вилку стоймя в тарелку, а она, неожиданно соскользнув, так взвизгнула, что все гости испуганно оглянулись. А соседа с левой стороны всего обдал куриным желе, и тот испуганно выбирал его из курчавой бороды, точно ему в бороду не куриное желе, а искры из кузнечного горна попали.

Спиридон опять весь покраснел и с досады чуть не пустил тарелкой об пол и не ушел. Но удержался и только отставил тарелку и стал только пить.

— Неподходящее, видно, дело? — сказал ему через стол Семка.

Спиридон посмотрел на него и ничего не ответил.

Языки развязывались все больше и больше. Ножи отложили в сторону и стали работать руками, разрывая сухожилия на куриных ногах и обгладывая их зубами с масляными губами. Молодежь, обступив молодых, заставляла невесту пить водку и целоваться с женихом.

И Спиридону казалось, что они нахальничают над его дочерью у него на глазах, а все смотрят на него и, наверное, смеются над ним, что он сделать ничего не может.

Семка рябой, то и дело наклоняясь вперед над столом пьяной головой, смотрел неслушающимися глазами на молодых, потом переводил их на Спиридона и вдруг закричал пьяным голосом:

— Вали, ребята, целуй ее все,— не венчанная!

Спиридон побелел.

Соседние с Семкой мужики начали унимать его, а он еще больше кричал и хохотал пьяным смехом в лицо Спиридону.

Все сразу затихли. Назревал скандал. Но все-таки все были далеки от мысли о том, что сейчас произойдет.

— Вали, ребята, не церемонься! — закричал опять было Семка.

Но в это время вдруг что-то случилось... Сидевшие рядом со Спиридоном два мужика полетели на пол, а Спиридон очутился около Семки и стал душить его за горло. Семка одной рукой отдирал руки Спиридона, а другой искал на столе нож. Заметив его движение, Спиридон не спеша отвязал одной рукой с пояса под поддевкой свой самодельный из косы нож. Отвязав, он на-

валился на Семку среди отшатнувшихся от них соседей по столу и только было взмахнул рукой над моргавшим под ножом мужичонкой, как у него на руке повисла Алена и закричала:

— Спиридон, голубчик, будет... Спиридон, голубчик, не надо...

Он с озверелым видом изо все силы отмахнулся от жены рукой, в которой у него был нож, и Алена, слабо испуганно и как бы удивленно вскрикнув, медленно осела на пол.

Платье на ней было разрезано от груди до самых ног, и на полу показалась лужа темной крови, стекавшей от нее узеньким ручейком в углубление, и на ней плавала и кружилась пыль от земляного пола.

III

Рана оказалась смертельной. Алену свезли в больницу, и она медленно умирала.

Все в деревне жалели Спиридона и говорили о том, какое несчастье опрокинулось на него: осталось хозяйство без бабы.

Соседи часто заходили к нему, когда он сидел один, опустив голову, и говорили ему о том, что одному ему трудно в хозяйстве будет, что нужно жениться, ведь он еще не старик... Можно посватать за Катерину Соболеву, она хорошая по душе и работящая баба, хотя, впрочем, у нее трое ребят. Тогда можно взять Степаниду, у нее один мальчишка, вырастет — помощником будет.

Но Спиридон ничего не хотел слушать.

На третий день его допустили к раненой.

Когда больничная сестра в белом халате провела Спиридона по высокому коридору и остановилась перед крайней дверью, Спиридон, шедший за ней неловко на цыпочках в своих больших сапогах и с шапкой в руках, тоже остановился и посмотрел на свою шапку, точно не зная, куда ее деть, и на свои сапоги, не наследил ли он ими.

Сестра вошла в палату. Спиридон в раскрывшуюся дверь увидел в дальнем углу пустой палаты койку и на ней чей-то незнакомый и чужой желтый лоб.

Сестра, заглянув на эту койку, повернулась и поманила Спиридона. Тот, еще больше приподнявшись на цыпочки, отчего его сапоги неловко вихлялись на скользском натертом полу, подошел.

Перед ним лежала Алена. Желтый, как у покойника, лоб оказался ее лбом. И странно было, что он так быстро стал таким. Вокруг глубоко запавших глаз залегли серые, землистые тени. Поверх серого больничного одеяла лежали выпростанные бледно-желтые, точно только что вымытые руки с выросшими желтыми ногтями.

Сестра вышла. Спиридон сел на кончик табуретки у постели.

Ему было стыдно и неловко, что он сам убил ее, а теперь пришел навещать.

— Ну, как?..— спросил Спиридон каким-то чужим, как ему показалось, голосом. Хотел откашляться, но побоялся.

Слабый взгляд умирающей остановился на нем, и по ее лицу вслед за промелькнувшей бледной, как бы ободряющей улыбкой пробежала тень заботы.

— Помру...— слабо, едва слышно выговорили ее бледные, бескровные губы. Она несколько времени лежала неподвижно, как бы отдыхая от сделанного усилия. Потом все с тем же выражением заботы, сказала:

— Вот беда-то свалилась... как ты теперь один будешь... не справишься с хозяйством-то.

Она вошла в свою обычную роль заботы о нем и говорила так, как будто не ее положение умирающей нуждалось в заботе и сочувствии, а положение Спиридона, который остается жить один, когда у него картошка не выпахана и за ним самим некому будет присмотреть и некому помочь.

И Спиридон как-то по привычке принимал это и даже невольно делал вид, как будто его положение действительно тяжелое. Он даже хотел было сказать жене, что соседи уже уговаривают его жениться, но что-то его удержало от этого. Он только махнул рукой, как бы не желая говорить о своем положении, и сказал:

— Да это что там, справлюсь как-нибудь. Вот тебя бы поправить...

Но больная на это только безнадежно покачала головой:

— Обо мне разговор уже кончен...

Потом посмотрела издали на свои руки, лежавшие на одеяле, приподняв их ногтями к себе, и, подумав, спросила:

— Что ж живут? — очевидно, подразумевая дочь.

— Живут покамест,— ответил Спиридон.

Алена опять покачала головой.

— Бесхозяйственный... от приданого отказался, значит, копейку не будет беречь... несчастная она с ним будет... любить ее не будет...

— Какая там любовь...— сказал ей таким же тоном Спиридон.

— Больше двух дней не выживу... отработалась...— сказала Алена потом, застонав от боли, лежала несколько времени неподвижно с закрытыми глазами.

У Спиридона зачесались глаза и защипало в носу от слез. Он подумал о том, что она сама умирает, а думает только о нем, а он помнит, что не раз все-таки подумывал о предложении соседей и так как привык больше всего беречь копейку, то ему было жалко денег, если придется нанимать человека, так как один после ее смерти он все равно не справится.

Алена, открыв глаза, повернула к Спиридону голову на плоской больничной подушке, посмотрела на него и как-то робко, нерешительно проговорила:

— Положи ты меня в голубом платье... это твоя память... так ни разу и не надела... только смотрела на него... видно, уж там вспоминать буду.

Спиридон подумал, потом сказал:

— Жалко... что ж оно в земле-то зря сопреет? Лучше Устюшка поносит.

— А, ну хорошо... в чем-нибудь, т а м не взыщут, что не приоделась...— проговорила Алена, и на ее губах промелькнула слабая тень улыбки.

— И ровно, надоумил кто...

Она остановилась, часто и слабо дыша. Спиридон подождал, и так как она молчала, он спросил:

— В чем надоумил?

— Платья-то этого не надела... и оно как бы пропало зря... располосовал бы все...

У Спиридона опять зачесались глаза, а в горле точно застрял какой-то комок.

— Да это что там... человек дороже платья,— сказал Спиридон, махнув рукой.

— Что ж дороже... человека-то уж нету почесть... А я было уж надела его, потом опять сняла... прямо бог спас.

Спиридон утер украдкой глаза, проведя по ним и по носу шапкой, и на носу остался зацепившийся в виде пушинки клочок ваты от подкладки, которого он не заметил.

Алена хотела было ему сказать, но, видимо, ей стоило это большого напряжения, и она не сказала, а только смотрела на эту ватку, которая развлекла ее внимание.

Спиридон смотрел на жену и видел, что ей уж не встать, и она сама знает это, а все-таки продолжает заботиться о нем. И опять горе и жалость к человеку, с которым прожил целую жизнь, сжала ему спазмой горло.

Алена заметила это, ей стало жаль мужа, и чтобы успокоить его и ободрить, она сказала:

— Не горюй... может, еще выживу... случаи бывают...

— Дай бог...— сказал Спиридон, а сам испуганно подумал, что ведь это беда тогда будет, если она в самом деле выживет, потому что все равно ни на какую работу не будет годна, ее только кормить да ходить за ней.

— К следователю уж вызывали, теперь затаскают, гляди, еще лошадь напоить некому будет.

Он сказал это затем, чтобы, во-первых, отогнать от себя эти лезшие в голову постыдные мысли, а, кроме того, ему как-то стыдно было сидеть перед умирающей от его руки жены здоровым, необремененным никакой заботой, никакими неприятностями, и ему хотелось как бы выставить себя в более несчастном положении, быть может, немногим лучше, чем положение Алены. Он даже старался говорить каким-то слабым, больным голосом.

— За что ж таскать-то...— сказала Алена, отвечая на его слова о следователе,— кабы ты нарочно... что ж с пьяного человека взыскивать, мало что бывает...

Она не договорила, закрыла глаза и закусила бледные губы.

— Больно тебе? — спросил Спиридон, чуть наклонившись с табурета.

Алена слабо кивнула головой, потом опять застонала и заметалась.

А Спиридон смотрел на нее и думал: «Неужели она все-таки выживет?»

Вошла сестра, оправила одеяло, взяла руку больной и, отвернувшись, стала пробовать пульс, потом мигнула Спиридону, чтобы он уходил. Но в это время Алена открыла глаза, и, найдя ими мужа, сказала слабым голосом:

— Ну, иди... может, не увидимся... найми копать картошку-то, не справишься один. А платье Устюшке отдай... пусть носит... меня все равно в каком...

Потом, отдышавшись, прибавила:

— Жениться бы тебе... что чужому человеку платить. Я уж думала о Катерине... хорошей души баба.

— Еще что выдумала!— сказал Спиридон,— может, бог даст, поправишься.

Спиридон постоял с шапкой в руках около койки и, не зная, как проститься, молча поклонился жене поясным поклоном, как кланяются покойнику, потом пошел опять неловко, на цыпочках, из палаты все еще с пушком ваты на носу.

Придя домой, в свою пустую избу, где еще так недавно жена хлопотала у печи, Спиридон сел на лавку и долго сидел, опустив голову. Потом отодвинул ящик стола, ища чего-нибудь поесть, но ничего не нашел, кроме хлеба и холодных, ослизлых картошек на загнетке в чугунке.

И от этой пустоты и тишины чего-то остановившегося, от потери навеки своего неизменного заботливого друга, от этих холодных картошек опять в горле начал набираться комок слез.

Ведь она как мать была для него всю жизнь, даже теперь, умирая от его руки, думает и заботится только о нем, вплоть даже до его женитьбы. А он не ценил и даже не замечал этого, и вот только теперь, когда ее нет с ним, когда холодная картошка в чугунке говорит о ее, быть может, вечном отсутствии, теперь он почувствовал.

И если не удастся спасти ее, то ради ее такой любви остаться ее памяти верным до могилы. И лучше есть эту холодную, ослизлую картошку, чем допустить, чтобы ее место заступил какой-то другой человек, хотя бы та же Катерина.

IV

А когда на другой день пошел в больницу, он подумал, как же теперь будет хозяйство: если она умрет, ему одному не справиться, нанимать — жалко денег.

Конечно, самое лучшее — жениться на Катерине. Но у Катерины, хоть и душа хорошая, а у нее трое ребят. Тогда лучше Степанида, у нее один малый.

А если Алена останется жива, то все равно она теперь калека и работать не может, и так как одному

с хозяйством не справиться, то все равно придется нанимать, потому что, пока она жива, жениться на другой нельзя, да еще за ней ходить надо человека нанять.

И когда он подходил к больнице, ему подумалось, что вдруг сестра выйдет и скажет:

— Слава богу, твоя старуха останется жива, только тебе придется взять ее домой и нанять какую-нибудь соседку, чтобы ходить за ней, бог послал крест, надо терпеть, она уж не работница.

Спиридон стал соображать, во сколько это обойдется, и никак не мог сосчитать.

Подавленный этими мыслями, он вошел в больничный коридор и робко, точно ожидая своего приговора, стал с шапкой у двери.

Сестра встала из-за белого, выкрашенного масляной краской столика, за которым она что-то писала и, увидев Спиридона, подошла к нему.

— Ну...—сказала она.

Спиридон заморгал, у него замерло сердце, и на лбу выступил холодный пот. Он даже утер его шапкой.

— Что ж делать, надо терпеть,— сказала сестра в то время, как у Спиридона при первых ее словах мелькнула мысль о хозяйстве,—в ночь скончалась,— договорила сестра.— Она там, ее вынесли в мертвецкую,—прибавила она.

У Спиридона как-то против воли вырвался вздох облегчения. Но при мысли о том, что хозяйство его осиротело, что он уже никогда не увидит свою старуху, и при слове, «вынесли» он почувствовал в горле опять знакомый ком и неожиданно для себя стал как-то нелепо, по-бабьи всхлипывать, так что самому стало стыдно,

БЕЛАЯ СВИНЬЯ

В деревню приехали сотрудники Союзмяса для контрактации свиней.

В соседнем селе услышали об этом и, решив, что свиней будут отбирать бесплатно, порезали в одну ночь всех.

Осталась только у кузнеца одна большая белая свинья с черной отметинкой на лбу.

Одна на всю деревню.

Он пожалел ее резать, решив положиться на судьбу.

А на другой день прошел слух, что с тех, кто порезал своих свиней, будет взыскан штраф и, сверх того, они будут привлекаться к судебной ответственности за злостное уничтожение скота.

— Что ж теперь делать-то? — спросил кто-то.

— Что делать — теперь попали все, окромя кузнеца: и деньги получит и под суд не отдадут.

— У нас тоже вдрызг всех порезали,— сказал мужик из ближней деревни, где был колхоз. После вас к нам приедут, что будем делать?

— С тебя, Пузырев, с первого начнут,— сказал шорник.— Кузнец пойдет самый последний, его изба на самом краю.

— Едут!..

Все стояли и в волнении ждали, когда подъедут контрактанты, как ждут приезда следственных властей на месте убийства.

Пузырев, которому предстояло отвечать первым, вдруг юркнул в избу, наткнулся в сенцах на жену, шепнул ей что-то и бросился по задворкам на конец деревни.

Мужики с недоумением посмотрели ему вслед.

— Неужто сбежать хочет?

— Сам сбежит, баба останется,— говорили в толпе.

Приезжие, два бритых человека в кепках, остановили лошадь у избы Пузырева.

Вдруг на дальнем конце села послышался пронзительный свиной визг.

Приезжие переглянулись друг с другом, на их посинелых от холода лицах показались довольные улыбки.

— Есть! Товарищ Холодков! — сказал один.

— Помолчи,— сказал другой и погрозил пальцем, как грозит опытный охотник увлекающемуся сподручному, слишком оживившемуся при первых признаках близкого присутствия зверя.

Хозяйка Пузырева вышла из избы и пригласила приезжих обогреться и закусить.

— А хозяин-то дома? — спросили приезжие, наливая замерзшими руками водку.

— Дома,— ответила хозяйка,— он скотине корму дает.

Наконец вошел запыхавшийся хозяин и, поздоровавшись с гостями, повесил шапку на гвоздь у двери.

— Ну как, хозяин, насчет свиней у вас? У тебя, хозяин, есть?

Набившиеся в избу мужики замерли.

— Как сказать...— ответил хозяин,— много не могим, а одну представить можно.

Мужики с недоумением переглянулись.

— Ну и ладно, сейчас по стаканчику выпьем, поглядим и законтрактуем.

Приезжие выпили еще по стаканчику, надели кепки и, закусывая на ходу редькой, пошли на скотный двор.

Мужики чуть не ахнули: в закуте на свежей соломе лежала большая белая свинья с черной отметинкой на лбу.

— Хороша! Во сколько оценим, товарищ Холодков?

— Двести можно дать и пятьдесят авансу.

— Ну, пиши. И наружность обозначь: белая свинья с черной отметинкой на лбу. Хорошо, что она с особой приметой. Уж эту с другими не спутаешь.

Мужик из соседней деревни, вместе с другими тоже зашедший на двор, вдруг бросился на улицу, сел на свою лошадь и во весь опор поскакал к своей деревне.

— Пойдем теперь в следующий двор.

В следующем дворе им предложили по стаканчику молочка деревенского. Когда они кончали молоко, в избу вошел хозяин, который где-то отстал, и сказал:

— Напрасно охлаждаете себя молочком-то, только что с холоду и в нутро пущать холод. Лучше по косушечке опрокинуть.

— А ведь и то... Дрожь какая-то начинается.

Хозяин налил контрактантам по стаканчику и, когда они выпили, сказал:

— Свинья дожидается. К приему готова.

— Дожидается, так идем.

Приезжие пошли во двор и в углу на чистой свежей соломе увидели большую белую свинью с черной отметинкой на лбу.

— Смотри, свинья в свинью!— воскликнул товарищ Белов.

— Они у нас родственники.

— Только эта как будто маленько побольше,— сказал товарищ Холодков и прибавил:— О мать честная, на голодный желудок, знать, здорово взяло.

— Эта на две недели будет постарше той,— сказал Кулажников.

— Сколько же за эту класть?— спросил Белов.

— Клади двести и семьдесят авансу. Пометь наружность, чтоб не спутать с другими и чтоб не подменили.

Что это, у вас водка, что ли, такая крепкая или оттого, что натощак?

— Известно, оттого, что натощак. Сейчас бы первое дело кусочком свежинки закусить,— сказал Кочергин, следующий по очереди. И когда контрактанты пошли к нему, он мигнул вышедшей жене, а сам бросился обратно к закуту. Через минуту послышался отчаянный свиной визг, какой бывает, когда свинью тащат волоком, подхватив ее под передние ноги.

Товарищ Белов посмотрел с ослабевшей улыбкой на Холодкова и сказал:

— Попали на золотоносную жилу. Все наши московские магазины мясом завалим.

Он хотел чокнуться с товарищем, но промахнулся и, махнув рукой, выпил так.

Минут через десять в избу вошел хозяин и сказал, что свинья дожидается.

Контрактанты, не сразу отыскав кепки, пошли.

А товарищ Белов, едва переступив порог, остановился чем-то пораженный:

— Э, да тут целых две.

— Нет, одна, это натощак так кажется,— сказал один из мужиков, а хозяин избы злобно оглянулся на него и показал ему из-под полы кулак.

— Но эта одна двух стоит! Ох, и здорова. Ставь триста рублев, товарищ Холодков, без всякого разговору. И особую отметину проставь, чтоб не спутать: белая с черной отметиной во лбу.

В следующем дворе были записаны две белых свиньи с черными отметинами. Причем товарищу Белову сначала показалось было четыре, но Холодков поправил его, для верности пощупав даже свиней руками, причем еще удивился, что щупает разных свиней, а руки у него все сталкиваются.

— Вот дело-то пошло! — в восторге восклицал товарищ Белов.

Вдруг по дороге из соседней деревни показался мужик на телеге, гнавший лошадь во весь дух. Все узнали в нем того, который был здесь в момент приезда контрактантов. Остановившись у последнего кузнецового двора, приезжий вбежал запыхавшись в избу и крикнул:

— Ради господа, свинью скорей давай!

— Еще не отделалась, она у соседа принимает.

Обойдя пятьдесят дворов, контрактанты уселись за

столом у кузнеца и, разложив перед собой ведомость, водили по ней неслушавшимися пальцами и говорили:

— Прямо голова лопается! После такой работы двое суток пить можно. Ведь это ежели всех этих свиней враз зарезать, целая гора мяса будет. Товарищ Холодков, пиши отношение.

Холодков взял карандаш, который все выкатывался у него из рук, и написал:

«Товарищ Никишин! Задыхаемся от свиней. Одних авансов выдали три с половиной тысячи. Свиньи все как на подбор, одно слово экспортные, сами черные, а на лбу белая отметинка. Стремительно едем дальше, ожидаем таких же успехов».

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ

Писатель, прославившийся своим юмором, принес редактору рассказ о том, как сотрудники Союзмяса контрактовали свиней в деревне. Мужики, порезавшие своих свиней, таскали со двора на двор единственную оставшуюся в деревне свинью. И контрактанты выдали под нее 3 500 рублей авансов.

Редактор оказался очень смешливым человеком. Он при каждой удачной подробности рассказа хохотал, откидываясь на спинку кресла, и кричал, махая руками:

— Ой, не могу, уморил! Подожди, дай отдышаться...

Когда писатель кончил, редактор все еще несколько времени смеялся неунимавшимся смехом, потом сказал:

— Убийственный рассказ. В самом деле, сукины дети, настряпали магазинов по всей Москве и кроме плакатов в них ничего нет. Какой же это союз-мясо, когда союз есть, а мяса нет? На несколько магазинов со всего Союза не могут собрать. А обратил внимание на эти плакаты? На первом стоят три жирных белых свиньи. Это в 30-м году.

На втором за этими свиньями виднеются многочисленные спины их потомков. Это уже в 31-м году.

На третьем — весь горизонт заполнен свиными спинами. А магазины в 31-м году стоят заколоченными, и эти плакаты все пожелтели и засижены мухами. Хоть бы догадались их снять.

— Значит, одобряешь рассказ? — спросил писатель.

— Что же я идиот, по-твоему, чтобы такого рассказа не одобрил?

— Когда печатать будешь?
— Что печатать?
— ...Рассказ.
— Какой рассказ?
— Да этот, конечно!
— Этот?.. Ну, что ты, милый... Неудобно.
— Почему?
— Антисоветский рассказ. Сочтут за насмешку над нашим животноводством и квалифицируют как вылазку классового врага. Ведь ты в нем искажаешь действительность. У нас, насколько тебе известно, есть и плохое и хорошее, даже грандиозное, а ты выбрал один уродливый факт и приклеиваешь его ко всему животноводству.
— Почему же ко всему животноводству. Все знают, что у меня природа сатирика и что к рассказу нужно относиться условно, как к сатирическому произведению. Потом об этих безобразиях и без того все знают.
— Мало что знают... Знают, да молчат. Вот что, в рассказе есть ценное зерно, и ты со своим талантом можешь его сделать великолепно. Переделай его или напиши снова, но так, чтобы в нем была диалектика, борьба положительного с отрицательным. И, конечно, с победой положительного, потому что мы идем вперед, а не назад.
— Но неужели нельзя просто отдохнуть и посмеяться над остроумным рассказом? Сейчас люди очень устали. А смех больше всяких развлечений дает отдых.
— Искусство для нас не развлечение,— сказал нахмурившись редактор и сейчас же другим тоном, тоном настойчивого педагога, исправляющего ленивца, прибавил: — Поработай, поработай над рассказом в другом плане и приноси. Только этот не рви.

Через две недели писатель принес заново написанный рассказ о том, как в совхозах и колхозах сначала остро стоял вопрос животноводства, крестьяне уничтожали скот, чтобы не отдавать его в колхозы. Союзмясо послал опытных агитаторов, которые организовали из деревенской бедноты бригады, и после тяжелой борьбы задания стали выполняться, и наконец Союзмясо смог доверху завалить свиным мясом свои магазины.

— Замечательный рассказ!—воскликнул редактор.— Знаешь, чрезвычайно убедительно. Только вот напрасно насчет магазинов, что их доверху завалили мясом. Это не соответствует действительности. В остальном же пре-

восходно. У тебя прекрасно разработана животноводческая проблема. Откуда ты все это почерпнул?

— Я прочел всю имеющуюся по этому вопросу литературу и на ее данных построил рассказ.

— Очень убедительно. Сейчас же сдаю в набор. Вот видишь, и сатирик при желании может написать рассказ, который по нынешнему времени всякий редактор у тебя с руками оторвет.

Потом, помолчав несколько времени, он засмеялся и покачал головой, видимо, что-то вспомнив.

— А для первого варианта ты никакой литературы не изучал?

— Какая же там литература, там — жизнь,— сказал писатель.

— Да... остро и смешно. Уморил.

Когда писатель уходил, редактор остановил его и сказал:

— Вот что. 15-го числа у меня соберется кое-какой народ, все большие знатоки и любители литературы, твои горячие поклонники, отдохнем, поговорим об искусстве. Приходи и прочти свой рассказ.

В назначенный вечер редактор всем приходившим гостям говорил:

— Ну, сегодня вас уморю, будете благодарить.

— В чем дело?

— Не скажу. Сами узнаете.

Когда пришел писатель, редактор, фыркнув и зажав рот рукой, спросил шепотом:

— Принес?

— Принес.

— О, черт возьми, ну и будет потеха!

Писатель поправил очки и, несколько удивленно посмотрев на хозяина, хотел было спросить, какая потеха ожидается на вечере, но уронил шапку и не спросил.

Появление писателя в связи с неясными намеками хозяина заставило гостей насторожиться. Любители посмеяться толкали друг друга, когда после ужина писатель доставал из портфеля рукопись.

— Какая тема? — спросил кто-то из гостей.

— Тема — животноводческая проблема,— почему-то очень поспешно сказал хозяин, засмеявшись при этом во все горло, чем смутил автора. Тот с недоумением по-

смотрел на хозяина, но подтвердил, что действительно тема рассказа — животноводческая проблема.

У дам при этом известии брови полезли наверх.

Но с первых же строк, трактовавших об отрешении крестьян от капиталистической психологии под влиянием агитации, все слушатели покатились со смеху, чем смутили и озадачили автора.

А хозяин так вздрогнул и передернулся, точно ему в открытый нерв зуба что-то попало.

Слушатели с улыбками переглядывались и перешептывались.

— Остроумная выходка — пародия на современную литературу.

— Да, да, обратите внимание, как он уловил язык, тон.

— Действительно остроумно, все написано по готовому рецепту, как пишут сейчас почти все. Очень удачно.

Так как чтение в том же тоне продолжалось, то все решили, что это, может быть, и остроумно, но перехвачено в смысле длительности. Но чтобы не обидеть не совсем удачных остряков — хозяина и автора,— все стали усаживаться поудобнее, как это делают на длинных, утомительных докладах, чтобы хватило терпения и сил высидеть до конца.

Когда автор от описания прорыва перешел к восстановлению животноводства, слушатели стали переглядываться. Автор чувствовал общее движение и хотя не видел через очки ясно лиц, но стал ощущать больше уверенности от сознания того, что, значит, рассказ производит впечатление. И голос его зазвучал ровнее и спокойнее.

Один из гостей наклонился к своему соседу и сказал:

— Уморит, подлец! Весь хмель из головы выскочил...

— Выскочит... Просто не знаешь, как реагировать. Как будто сделали из тебя дурачка, а тебе нечем даже защититься.

Когда чтение кончилось, водворилось общее молчание, какое бывает, когда после длинного доклада председатель спрашивает: «Может быть, у кого-нибудь есть вопросы?»

Но этой фразы сказано не было, и все гости, точно после окончания проповеди, целой толпой повалили в переднюю. Удержать их не было никакой возможности. У всех оказались больны жены, дети...

Когда они все ушли, хозяин повернулся к озадаченному писателю и сказал:

— Ты что, издевался, что ли, надо мной и над всеми?

— А что? Чем?..

— Как это «чем»?! Зачем ты читал эту чертовщину? Кому это нужно? Я взял его у тебя для печати, а вовсе не для того, чтобы читать его людям, понимающим толк в литературе. Я просил тебя прочесть первый рассказ, а не эту макулатуру. Нужно быть идиотом, чтобы не понимать таких простых вещей.

ХОРОШИЕ ЛЮДИ

Жильцы квартиры № 6 были на редкость приятные и дружные люди. В крайней комнате по коридору жил доктор с семьей, полный и представительный человек, с большой во всю голову лысиной, с толстым перстнем на мизинце, когда-то богатый, владелец большой лечебницы. Дальше Марья Петровна, старая дама, из тех, что носят оставшиеся от прежних счастливых времен шляпки-чепцы с лиловыми выгоревшими цветами и лентами. Эта старушка была добрейшее существо, хотя и с барскими традициями и замашками, но совершенно безобидными.

В середине коридора помещалась учительница музыки, Надежда Петровна, дававшая когда-то уроки в богатых домах, ходившая с длинной цепочкой, на которой у нее были маленькие часики за поясом.

И наконец в конце коридора — вдовый инженер Андрей Афанасьевич Обрезков с дочерью лет шести, Ириной, которую все звали Аринушкой.

Эта семья была любимицей всей квартиры. Отец был прекрасный человек, отзывчивый, мягкий. Про него говорили, что он вполне «свой человек», несмотря на то, что занимает хорошее место; в нем сохранились старые традиции.

Марья Петровна особенно благоговела перед Андреем Афанасьевичем и называла себя его сестрой, хотя в действительности их родство было очень дальнее.

Аринушка была удивительно ласковый и общительный ребенок, со светлыми, как лен, волосами с красным бантиком в них и коротком платьице, низко перехваченном поясом. Она никому не надоедала и была всем только

приятна. У нее была забавная и трогательная манера говорить языком взрослого человека. И поэтому жильцы всегда старались вызвать ее на разговор, в особенности если приходил кто-нибудь из посторонних.

Если Аринушке было что-нибудь нужно, она всегда говорила так:

— Милая тетя Маша (всех квартиранток она звала тетями), милая тетя Маша, если это вас не затруднит, будьте добры пришить моей старшей кукле пуговицу к лифчику. Она скоро доконает меня своей неряшливостью.

И старушка, стараясь удержать улыбку, говорила на это:

— Ты очень распускаешь их и приучаешь к безделью: я вчера вошла в комнату, а они все три сидят, как поповны, и ничего не делают.

— Я не знаю, что такое поповна... Но у меня не хватает характера,— отвечала малютка.

В ночь на первое февраля жильцы всех комнат были встревожены и перепуганы: раздался громкий продолжительный звонок. Вошли какие-то люди в военной форме в сопровождении коменданта. Один остался у двери, а остальные с комендантом вошли в комнату Обрезкова. Потом увели его куда-то. Аринушка спала в своей кроватке за ширмой, откинув одну руку и положив на нее раскрасневшуюся от сна щеку.

Обитатели квартиры, собравшись в комнате доктора, кто в чем, так как все уже легли было спать,— с бледными испуганными лицами обсуждали происшествие.

— В чем дело? За что могли взять Андрея Афанасьевича? — слышались тревожные вопросы.

— Может быть, донос... Господа, нет ли у кого-нибудь каких-нибудь записок Андрея Афанасьевича? Непременно уничтожьте, а то придут с обыском и скажут, что мы имели близкое отношение к нему.

— Да, да, это необходимо. Тщательно все проверьте у себя. Даже, если записана его фамилия, уничтожьте.

— Аринушку-то мы возьмем к себе. Придется ей сказать, что отец неожиданно уехал в командировку.

— Надо по возможности не оставлять ее одну,— сказал доктор,— я думаю, Марья Петровна возьмет на себя это в те часы, когда нас нет в квартире. Мы уж попросим и все будем благодарны ей за это.

Старушка, испуганная и растроганная до слез, только махнула рукой, как бы говоря, какой тут может быть еще разговор о благодарности, когда это ее святой долг по-

заботиться о ребенке, тем более что она не чужая же Андрею Афанасьевичу, а сестра его.

Аринушке сказали, что папа неожиданно уехал в командировку, и тетя Маша будет теперь заботиться о ней в те часы, когда других жильцов нет дома.

И когда Аринушка пришла с гулянья, она прямо отправилась в комнату тети Маши и, остановившись на пороге, сказала, разведя руками:

— Тетя Маша, вам придется взять меня к себе с целой семьей: вон поповны, как вы их называете, не хотят оставаться одни в пустой комнате. Вы разрешите передать им приглашения?

Старушка с растроганной улыбкой и со слезами прижала ее к своей груди.

— Зови, зови их, малютка, уж как-нибудь разместимся.

Вечером пришел комендант и сказал, что, по-видимому, дела Андрея Афанасьевича плохи: комнату велели запечатать, а девочку передать какому-нибудь лицу, имеющему близкое отношение к Обрезкову.

— Это уже сделано,— сказали жильцы, оглянувшись на Марью Петровну.

— А вы какое имеете к нему отношение? — спросил комендант.

Марья Петровна по-старушечьи покраснела шеей и растерянно сказала, что никакого отношения к гражданину Обрезкову не имеет, а просто заботится о ребенке, которого любит.

— А ведь вы, кажется, его сестра,— сказал комендант.

— Какая же я сестра? Никогда не думала быть его сестрой,— сказала растерянно Марья Петровна.

Комендант молча и, как показалось Марье Петровне, испытующе посмотрел на нее и, ничего не сказав, ушел.

По уходе коменданта жильцы, собравшись в комнате доктора, опять тревожно обсуждали положение.

— Вы заметили, как он странно с нами держался? — сказала учительница музыки Надежда Петровна.

— Да, с ним нужно быть осторожнее, а то он нас всех может припутать к этому делу.

С этого времени в квартире установилась какая-то напряженная тишина. Уже не собирались, как прежде, все в одной комнате, как будто с такой мыслью, что если кого-нибудь из жильцов арестуют, то чтобы не сказали потом, что они целые вечера проводили в трогательном

единении. Двери комнат, прежде всегда открытые в коридор, теперь все время были закрыты.

Однажды Аринушка вернулась с прогулки, Марьи Петровны не было дома, и дверь ее, против обыкновения, оказалась заперта.

Аринушка пошла к учительнице музыки.

— Тетя Надя, где же тетя Маша? Ее дверь заперта, и я оказалась без пристанища. Разрешите хоть у вас посидеть.

— Она, наверное, скоро придет,— сказала как-то странно растерявшаяся Надежда Петровна.— Покушай вот молочка, детка... только я сейчас ухожу, побудь, милая, в коридоре, пока не вернется тетя Маша. Я тебя сейчас устрою поуютнее.

И она сгоряча вытащила в коридор свое большое мягкое кресло, самую лучшую вещь в ее комнате. Дала Аринушке книжку и ушла, заперев на ключ дверь своей комнаты.

Когда вечером пришла Марья Петровна, она увидела, что ребенок сидит один в пустом коридоре в кресле и, свернувшись в комочек, спит. Книжка «Всегда будь готов» соскользнула с колен на пол. Кукла, раскинув свои тряпичные руки, лежала навзничь на коленях девочки.

Марья Петровна на цыпочках прошла мимо девочки в свою комнату и заперла за собой дверь на ключ.

На следующий день с утра в квартире никого не оказалось. Девочка, выпив молока, занялась своими игрушками, которые оказались возле нее в кресле. И так как она была тихий и кроткий ребенок, то сидела в уголку и неслышно копалась в своем хозяйстве.

Каждый из приходивших жильцов, увидев ее в конце коридора, сейчас же принимал почему-то деловой вид и торопливо проходил в свою комнату.

Один раз Аринушка встала и пошла навстречу вернувшемуся со службы доктору.

— Дядя Саша, скажи, пожалуйста, что это сделалось с людьми, я все одна и одна сижу,— сказала девочка со своей обычной забавной интонацией взрослого человека.

Доктор испуганно оглянулся по сторонам и испуганно сказал:

— Запомни раз навсегда, что я тебе не дядя...

И ушел в свою комнату, заперев за собой дверь.

Девочка долго стояла перед захлопнувшейся дверью, как будто силясь что-то понять, потом поковыряла паль-

чиком штукатурку и пошла в свой уголок. Долго сидела в кресле, сжавшись в комочек, совершенно неподвижно, потом заснула, свесив через ручку кресла голову и правую руку.

Часто в квартиру заходил комендант и, пройдя по коридору, уходил обратно, ничего не сказав.

— Что ему нужно? — спрашивали шепотом друг друга жильцы.

— Может быть, хочет проследить, кто имеет близкое отношение к Обрезкову?.

Жизнь в квартире от присутствия в ней девочки стала невозможна. Каждый из жильцов, когда встречался с молчаливым взглядом ребенка, как-то терялся, преувеличенно ласково заговаривал с ним, стараясь в то же время выдумать какой-нибудь предлог, чтобы поскорее отойти. Или делал вид, что не заметил одиноко сидящего в коридоре ребенка и поскорее проходил в свою комнату.

Девочку не умывали уже целую неделю, а сама она не могла достать до крана. И спала она, сидя в кресле, не раздеваясь. На шее у нее был темный круг грязи, а между пальчиками рук образовалась какая-то корка.

И каждому из жильцов приходилось делать вид, что он не замечает ни того, ни другого, потому что тогда придется для девочки делать все. Даже ставить ей пищу было мучительно. Она ни о чем не спрашивала, не допытывалась о причине изменившегося к ней отношения.

Она только молча смотрела своими большими детскими глазами на того, кто подходил к ней и ставил кружку молока на окно. Поэтому каждый из жильцов, чтобы не доставлять себе лишних мучений, или старался ставить молоко, когда девочка спала, или вовсе не ставил его, надеясь, что остальные квартиранты не бесчувственные же люди,— вспомнят о девочке.

В первое время жильцы возмущенно и тревожно обсуждали положение ребенка, говорили о бездушии государственной машины. И каждый особенно горячо говорил, как бы этим стараясь показать перед другими и перед своей собственной совестью, что он прикладывает к этому делу максимум энергии и забот.

Но чем дальше, тем меньше касались в разговоре девочки, по какому-то молчаливому соглашению обходя этот вопрос.

Каждый держался от ребенка дальше и был с ним холоднее, как бы боясь, что тот обрадуется ласке и будет ходить хвостом, так что со стороны можно будет поду-

мать, что он имеет близкое отношение к тому, за кем ходит.

Но была удача в том, что Аринушка оказалась на редкость чутким ребенком. Она как будто поняла, что с ней что-то случилось, о чем не следует расспрашивать. И когда заметила, что от нее сторонятся, сама уж не подходила ни к кому. Так что стало гораздо легче проходить мимо нее, делая вид, что не замечаешь ее. Нужно было только не смотреть в ее сторону, чтобы не встречаться с ней глазами.

Самое ужасное было взглянуть в ее большие с длинными ресницами, синие, как небеса, глаза.

Один раз кто-то из жильцов сказал, что голова девочки полна насекомых и нужно ее вымыть. И все горячо сказали, что вымыть необходимо.

А учительница музыки, улучив момент, когда девочка была в кухне и чего-то искала на пустых полках, взяла от нее кресло, тщательно осмотрела его, обчистила и поставила ей другое с прорвавшейся клеенкой и вылезшими пружинами. Потом бросила еще свой старый коврик с постели.

Аринушка, вернувшись, молча посмотрела на кресло, потом на дверь тети Нади. Но сейчас же развлеклась пружинами, которые долго дрожали и качались, если трогать их пальцами.

Так как в кресле было больно спать от пружин, то Аринушка спала эту ночь на полу, на коврике, положив рядом с собой младшую куклу, которая, на ее взгляд, сегодня выглядела совершенно больной. Она тщательно одевала ее своим, едва доходившим ей до колен пальтишком и долго старалась прикрыть свои ноги концом коврика.

Один раз Марья Петровна, вернувшись домой, хотела было пройти мимо поспешным шагом занятого человека, как все усвоили себе за это последнее время, но машинально взглянула в сторону кресла.

Девочка, очень похудевшая и побледневшая, сидела в уголке кресла и молча смотрела на старушку. И вдруг из глаз ее скатилась одна большая, крупная слеза.

Старушка вбежала в свою комнату, упала лицом на кровать, и все ее старческое тело задергалось от прорвавшихся рыданий.

Прошло очень много времени. Она все лежала вниз лицом. Но вдруг она вздрогнула и подняла настороженно голову. В дверь послышался слабый стук. Она открыла.

На пороге стояла Аринушка в своем грязном, жалком виде. Она робко посмотрела на старушку и сказала:

— Милая тетя Маша... если я вас не очень обижу, дайте мне хоть малюсенький кусочек хлебца... Я очень... очень хочу есть...

— Ребенок ты мой несчастный! — воскликнула с болью старушка,— возьми вот, кушай, вот тебе еще, вот...

Она всунула девочке в подставленные по-детски пригоршни ломтик хлеба, баранок и торопливо сказала:

— Только иди, детка, туда, иди к себе в креслице, и кушай там.

Она выпроводила за плечо девочку и опять захлопнула дверь.

* * *

На другой день жильцы, как громом, были поражены известием, что с Андреем Афанасьевичем, отцом Аринушки, произошло недоразумение. Его спутали с каким-то бандитом, однофамильцем, и он завтра возвратится. Первой опомнилась учительница музыки Надежда Петровна и бросилась к Аринушке.

— Детка, милая моя, папа завтра приезжает! Пойдем скорее мыться, чтобы встретить его по-праздничному.

Все женщины, взволнованные, обрадованные, обступили ребенка и наперерыв старались сказать ему ласковое слово, потом повели в ванную, а Марья Петровна, которой не хватило около девочки места, занялась приготовлением завтрака для нее.

Даже доктор, который совсем был здесь лишним, несколько раз подходил к двери ванной, где мыли девочку, и, поглаживая лысину, опять отходил.

ДОРОГАЯ ДОСКА

В деревне Храмовке после краткой информации заехавшего на минутку докладчика по постановлению общего собрания было решено перейти на сплошную коллективизацию.

Когда после собрания мужики вышли на выгон, то поднимавший вместе со всеми за колхоз руку Нил Самохвалов сказал:

— Устроили... Я скорей подохну, чем в колхоз в тот пойду.

— А чего ж руку поднимал?

— Чего подымал... Кабы кто еще не поднял, я бы тогда тоже не поднял, а то все, как черти оглашенные, свои оглобли высунули. Где же одному против всех итить.

— Так чего ж теперь-то шумишь?

— Того и шумлю, что на вас, чертей, положиться нельзя. Ну, да меня не возьмешь голыми руками. А что руку подымал, так, пожалуйста, хоть еще десять раз подыму, а все-таки не пойду. У меня одна лошадь пять тысяч стоит, дам я над ней мудровать? Потому это верный друг, а не лошадь.

После того разговора сельсовет объявил Нила Самохвалова кулаком и классовым врагом и постановил повесить над его воротами доску с надписью, что Нил Самохвалов — кулак и классовый враг.

— Какой же я кулак? У меня одна лошадь только. Ежели их было три или четыре, тогда другое дело.

— А сколько у тебя эта лошадь стоит?

— Сколько стоит... Пятьдесят рублей, ну от силы 75. Пусть только повесят эту доску, головы сыму! Да у меня и приятели есть, которые могут за меня постоять.

Но на другой день стало известно, что доску уж пишут. И пишет ее как раз один из приятелей Нила, который даже обвел ее черной рамочкой и по уголкам зачем-то нарисовал цветочки и голубков.

Когда пришли ее вешать, сбежалась вся деревня смотреть на эту церемонию.

Нил говорил, посмеиваясь:

— Вешайте, вешайте... Недолго ей висеть. Посмотрим, где завтра доска та очутится. Небось ведь часового к ней не поставят.

Но вдруг он перестал смеяться. Председатель, повесив доску, сказал:

— По постановлению сельсовета за всякое снятие доски будет взыскан штраф в размере 25 рублей и за каждый день, в какой доска не будет висеть,— особо десять рублей.

— Ой, мать честная! — сказал кто-то.— Доска-то выходит дорогая...

Наутро к Нилу прибежал сосед и сказал:

— Снял все-таки доску-то? А не боишься, что заставят платить?

— Как снял? — воскликнул, побледнев, Нил.— Я не сымал.

И бросился на улицу. Доски над калиткой не было.

— Ну да ладно,— сказал он сейчас же.— Мне-то чего беспокоиться. Кабы я был виноват. А то и позору бог избавил и закона не нарушил. Какой-то добрый человек постарался. Могу только выразить свою благодарность.

Прошел день. Нил ходил и посмеивался, что так удачно вышло.

Но на другой день его вызвали в совет и сказали, что с него причитается 35 рублей.

— ...Каких?..

— Вот этих самых... 25 за снятие доски, 10 за то, что день не висела.

— Да ведь сымал-то не я?!

— Ничего этого не знаем. Должен смотреть.

— Ах, сукин сын, подлец... Только бы найтить его, этого благодетеля, я б его разделал под орех... Что ж теперь опять будете вешать?

— Нет, уж теперь сам вешай. Если до 12 часов не повесишь, то как за полный день пойдет, еще десять.

— Да где ж я доску-то возьму?!

— Сам напишешь, только и всего, небось человек грамотный. И чтоб точь-в-точь такая же была.

Через десять минут Нил бегал по всей деревне, стучал в окна и таким тоном, как будто у него загорелась изба, кричал:

— Ради господа, краски какой-нибудь!

— Какой тебе краски? — спрашивали испуганные соседи.— Одурел малый?

— Краски... доску писать сейчас буду.

— Разведи сажи, вот тебе и краска.

— Красной еще нужно на голубей, пропади они пропадом!

Наконец, весь избегавшись, загоняв жену и ребятишек, Нил достал черной и красной краски и уселся, как богомаз, выполняющий срочный заказ, писать, а кругом стояли зрители и советовали:

— Буквы-то поуже ставь, а то не поместятся.

— Ты «кулак»-то наверху покрупней напиши, а «классового врага» помельче пусти в другую строчку, вот тебе и уместится все. Так красивее будет и просторнее. А то ты всю доску залепишь, на ней с дороги и не прочтешь ничего. К самой калитке, что ли, подходить да читать.

— Какая же это сволочь сняла, скажи, пожалуйста...

Нил слишком глубоко окунул кисть, которая была у него сделана из пакли, и на доску сползла жирная крупная капля.

— Икнула... — сказал кто-то из зрителей.

— Чтоб тебя черти взяли! — крикнул Нил, в отчаянии остановившись.

— Придется сызнова, а то даже некрасиво выходит.

— Да, вот буду вам еще красоту разводить. Ежели через полчаса повесить не успею, еще десятку платить. Да еще голубей этих писать,— говорил Нил.

— Да зачем голубей-то? — спросил кузнец.— Может, без них?

— А черт их знает, зачем... Не буду я голубей рисовать!

— Нет, надо уж в точности, а то еще заплатишь. Пиши уж лучше.

Нил, сжав зубы, принялся за голубей, но сейчас же голоса три сразу закричали:

— Что же ты ему хвост-то крючком делаешь? Что это тебе собака, что ли?

— Где крючком? — спросил Нил, отстранившись от доски, чтобы посмотреть на нее издали.

— Где... ты вон пойди посмотри, как святой дух в церкви нарисован, что ж у него крючком что ли, хвост-то. Рисовальщик тоже...

— Это он его сделал на излете,— заметил кузнец, глядя издали на работу прищуренным глазом.

Наконец в половине двенадцатого доска была готова.

— Досрочное выполнение плана,— сказал кто-то,— требуй премиальных.

Нил ничего не ответил и, отстранив от себя доску на длину вытянутой руки, любовался своей работой.

— Что как опять — кто-нибудь назло снимет,— сказал кузнец.

— Попробуй только теперь кто... все кости переломаю, если увижу.

Доску повесили, все постояли, похвалили работу, сомневаясь только насчет голубей.

— А что у них с лица воду, что ли, пить,— сказал кузнец,— сойдут и так.

— Пить не пить, а что ж хорошего, когда не разберешь, голубь это или собака.

Все разошлись, и только Нил стоял перед доской и, иногда прищурив глаз, отходил от нее то дальше, то несколько в сторону, как мастер, только что кончивший картину и после восторгов зрителей оставшийся с ней наедине.

— А ведь и то на излете,— сказал он сам себе.

— Все еще стоит смотрит,— сказал кто-то.

— Что значит — сам-то сделал. На ту доску взглянуть не хотел, а от этой никак глаз не отведет.

— Как же можно, своя работа всегда мила, вот только как бы не свистнули опять.

Подошел вечер. Все гадали, как Нил будет охранять доску.

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА

Художник в парусиновой блузе, испачканной красками, наскоро приводил в порядок свою мастерскую.

Он ждал посетителей из высоких партийных кругов, свидание с которыми ему устроили друзья. Эти друзья страдали за него, так как большой талант художника-пейзажиста, не могущего перестроиться в плане требований современной критики, гас от потери веры в себя и от наседающей на него нужды.

Он не мог написать ни одной картины, которая отвечала бы современным требованиям. В то время, как его товарищи, менее известные, менее талантливые безболезненно вышли на дорогу нового искусства и писали картины десятками, получая большие деньги.

В углу мастерской, заставленная другими картинами и мольбертами, стояла брошенная на половине, очевидно, одна из его прежних работ: угол балкона в деревенском доме, рама открытого в цветник окна и вдали над спелым полем ржи серо-лиловая грозная туча, идущая с юга.

Это было так живо изображено, что, казалось, чувствовался сумрак от тучи и свежий запах приближающегося летнего дождя.

А в центре мастерской на мольберте стояло полотно новой, только что оконченной картины. Художник, наконец пересилив себя, написал большое полотно, на котором был изображен чугунолитейный завод.

Гигантская красная кирпичная труба, затем железный каркас завода с кранами и вагонетками и на первом плане — богатырь рабочий с обнаженным торсом и вздувшимися мускулами.

Послышался гудок автомобиля. Художник нервно подбежал к окну и посмотрел на высаживающихся лю-

дей — одного в военной форме, другого в штатском — в пальто, кепке и сапогах, и взволнованно сказал:

— Они...

Через несколько минут у входной двери раздался звонок, тот продолжительный и властный звонок, с которым входят власть имущие люди.

Художник бросился открывать.

Пришедшие не стали раздеваться и прямо вошли в мастерскую. Военный был высокого роста с той спокойной неподвижностью лица, какая бывает у высокопоставленных людей, которые не чувствуют неловкости или необходимости быть стеснительно вежливыми с хозяевами.

Штатский, более скромный и тихий человек, очевидно, выдвинутый из рабочих на высокий пост начальника искусств, часто поглядывал на военного, как бы справляясь с его впечатлением.

— Ну, покажтте, покажтте,— сказал военный, обращаясь к художнику, но глядя не на него, а на картину, как знатный заказчик глядит на исполненный мастеровым заказ.

— Вот, извольте посмотреть,— проговорил художник с красными от волнения щеками. Он с излишней суетливостью, которую сам видел в себе, как бы со стороны, бросился к картине завода и стал ее подвигать, чтобы дать наиболее выгодное освещение.

Военный, отставив одну ногу и несколько откинув назад голову, с прищуренным глазом, молча смотрел на картину.

Штатский тоже смотрел, изредка взглядывая на военного.

— Я здесь дал всю картину выплавки чугуна,— говорил торопливо художник, как бы боясь, что высокий посетитель отойдет от картины раньше, чем он успеет рассказать ему ее смысл.— Причем, обратите внимание, все детали завода изображены совершенно точно. Я работал над ней два месяца на заводе. Даже части машины и те технически совершенно правильны. Вот, например, паровой молот... обратите внимание. Это совершенно точное воспроизведение.

А это школьная экскурсия — сближение учебы с производством,— руководитель объясняет им процессы работы. Вот здесь с флагом — группа колхозников — шефов над заводом. Они пришли приветствовать рабочих по поводу выполнения плана. А вот это группа единоличников. Они стоят совсем в стороне.

— Как они рты-то разинули! — сказал, засмеявшись, военный.

Штатский, взглянув на военного, тоже засмеялся.

— Сразу видно, что единоличники,— сказал он,— в лаптях и в рваных полушубках...

— Я хотел показать завод не в индустриальном, а в социально-революционном его значении,— сказал художник, как ученик, которому неожиданно поставили лучший балл, и он с красными от радостного волнения щеками сам уже разъясняет свои достижения.

— А там дальше — шахта, из которой добывается руда. Ее в действительности там не было, но я соединил это для большей наглядности.

Военный еще несколько времени постоял перед картиной и, подавая художнику дружески руку, сказал:

— Поздравляю вас с блестящей победой над собой. Вот вы и перестроились и стали давать искусство, нужное эпохе.

Штатский тоже подал руку художнику, покрасневшему от похвалы.

— Как у вас со снабжением? — спросил военный.

— Плохо. Я не приписан ни к одному распределителю.

— Это мы все устроим. Художники, идущие в ногу с эпохой, не должны нуждаться ни в чем. А это что?.. Старые грехи? — спросил военный, увидев в углу пейзаж с грозой.— Или, может быть, и теперь пишете?..

Художник испуганно оглянулся и, весь покраснев, видимо, от мысли, что его заподозрят в некрасивом поведении, уже по-другому торопливо сказал:

— Да это старые грехи... пейзаж... я даже не кончил его... бросил уже давно, потому что почувствовал его полную ненужность.

Военный, не слушая, подошел к неоконченной картине и долго молча стоял перед ней, потом почему-то потянул в себя воздух и сказал:

— Дождем-то как пахнет!.. Долго работали над ней?

— Три года...

— Три года! — воскликнул штатский, посмотрев на военного,— за это время сколько полезных картин можно было бы написать.

— Ну, еще раз поздравляю,— сказал военный, не ответив на слова и взгляд штатского.

Достав перчатки, он хотел было идти, но от двери еще раз оглянулся на пейзаж.

— Да, определенно пахнет дождем и дорожной пылью,— сказал он с веселым недоумением,— а ни пыли, ни дождя нет, есть только холст и краски. Как вы достигли этого?

— Я об этом сейчас совсем не думаю и не интересуюсь, я весь сейчас в этой картине,— сказал художник, показав на картину завода.— И знаете,— с порывом приподнятой искренности сказал художник,— когда я ее написал, я вдруг почувствовал, что у меня нет оторванности и замкнутости в одиночестве, что благодаря ей я нашел путь к слиянию с жизнью массы, иду с ней, дышу одним с ней воздухом.

— А, это великое дело,— сказал военный уже от двери, все еще продолжая смотреть с прищуренным глазом на картину грозы.— Но лучше поздно, чем никогда. Душевно рад за вас.

Он подал художнику руку и пошел. Штатский точно так же пожал руку хозяину. И они оба ушли.

Военный, садясь в автомобиль, сказал:

— Сколько я ни смотрю современных картин, просто оторопь и тоска берет. Какие-то наглядные пособия для школы первой ступени. А ведь среди них есть первоклассные мастера. В чем тут дело?.. Иногда даже приходит в голову нелепая мысль: «Уж не смеются ли они над нами?» Не может же в самом деле талантливый человек не видеть, какую бездарь он производит!

Он, видите ли, выписал самым точным образом все детали машин, на кой-то черта они нужны в искусстве, все тут соединил — и колхозников, и единоличников, и экскурсии. У нас в училище висели сытинские издания,— так точь-в-точь! И зачем мы только тратим на эти заказы такие деньги?.. Для наглядных пособий довольно бы работ учеников ремесленных школ. Бедность мысли и однообразие тем ужасающее: завод спереди, завод — сзади. Рабочий с молотом, рабочий без молота. И везде трубы, колеса, шестерни.

— Ну, как же Иван Семенович, у него все-таки строительство показано.

Военный замолчал, очевидно, не желая вступать в пререкания.

Художник вернулся в комнату, нервно шершавя волосы с тем взволнованным и возбужденным видом, какой бывает у всякого художника, только что проводившего похваливших его работу гостей.

Художник, как бы проверяя какое-то высказанное посетителями впечатление, остановился перед пейзажем с грозой.

— Да, действительно, живет! — сказал он, при этом, раздув ноздри, даже потянул воздух к себе, как это делают, когда после душного летнего полдня зайдет с юга грозовая туча, над землей пробежит сумрак и в свежем воздухе запахнет дождем и дорожной пылью.

Он еще некоторое время постоял перед картиной, потом, вздохнув, перевернул ее лицом к стене и задвинул в самый дальний угол, чтобы предотвратить возможность попасться на глаза неожиданным посетителям.

Потом подошел к картине завода с его красной трубой и колхозниками, постоял перед ней и вдруг, весь сморщившись и взявшись обеими руками за голову, сказал:

— Позорно!.. Омер-зи-тель-но!..



ПРИМЕЧАНИЯ

Творческое наследие П. С. Романова богато и разнообразно по тематике и жанрам. Первым опубликованным произведением его стал рассказ «Отец Федор» (1911), и до Октябрьской революции было напечатано лишь несколько произведений.

Первая книга (1 ч. эпопеи «Русь») вышла в 1923 г., первый сборник рассказов был опубликован в 1925 г., всего при жизни писателя вышло около 60 сборников и отдельных произведений. В 1925—1927 гг. издательство «Никитинские субботники» выпустило первое Собрание сочинений П. Романова в семи томах (причем первый том вышел двумя изданиями — в 1925 и 1926 гг.). В 1928 г. издательство «Недра» выпускает его Полное собрание сочинений в 12 томах (6, 8 и 9 тома издаются повторно в 1929 г.), а затем почти полностью повторяет это издание в 1929—1930 гг. (изменения коснулись лишь девятого тома — из него был исключен рассказ «Право на жизнь, или Проблема беспартийности»). Последним прижизненным изданием стали 4 и 5 части эпопеи «Русь», выпущенные в 1936 г.

В 1939 г. посмертно вышло «Избранное» П. Романова, после чего книги писателя почти полвека не издавались. Наконец, в 1984 г. в Туле был выпущен сборник произведений писателя «Детство» (составитель и автор предисловия и послесловия Э. Л. Афанасьев), переизданный в 1986 г. В 1988 г. издательство «Художественная литература» выпустило «Избранные произведения» П. Романова (составитель и автор вступительной статьи Ст. Никоненко). Несколько рассказов Романова впервые напечатаны в газетах и журналах в 1988 году.

Произведения, включенные в настоящий сборник, расположены в порядке их первой публикации (за редкими исключениями, обусловленными тесной смысловой связью некоторых рассказов).

Основным источником послужило прижизненное издание Полного собрания сочинений (М., 1929—1930).

Тексты даются в соответствии с современной орфографией и пунктуацией. Лишь в отдельных случаях сохранены особенности авторского написания.

Детство.— Впервые — Рол. Сб. 2, М.; сокращенный вариант; полностью — Собр. соч. М., 1926. Т. 4.

Повесть была начата в небольшом имении тети, в селе Яхонтове Одоевского уезда Тульской губернии, где мальчиком Романов часто гостил. Однако, как впоследствии вспоминал писатель, характер жизни там был другой (Романов П. С. Огоньки. Рига, 1929. С. 5),

и повесть вовсе не представляет собой автобиографии, хотя, разумеется, элементы автобиографического материала в ней несомненно содержатся.

Повесть посвящена балерине Антонине Михайловне Шаломытовой, ставшей в 1919 году женой писателя.

Неначатая страница.— Впервые — Русская мысль, 1911, № 7: первоначальный вариант под названием «Отец Федор».

Печатается по: Рассказы. М., 1935.

Журнал с рассказом писатель отправил А. М. Горькому в Италию и получил доброжелательный ответ. В то же время Горький указывал на серьезные недостатки в языке: «Мне очень хотелось, Пантелеймон Сергеевич, побеседовать с вами о рассказе вашем; весьма значительный содержанием, во многом — новый, он показался мне испорченным неуместной, а порою некрасивой игривостью языка, тяжелыми оборотами фразы и несколько семинарским пристрастием к физиологии» (Литературное наследство. Т. 70. Горький и советские писатели. Неизданная переписка. М., 1962. С. 248). Впоследствии Горький внимательно следил за творчеством Романова и неоднократно высказывался о его творчестве и в печати, и в переписке с писателями.

Русская душа. Этюд.— Впервые — Русские записки (Русское богатство), 1916, № 12 (под названием «В родном краю»).

Печатается по: Полное собрание сочинений. М., 1930. Т. IX.

Летом 1916 г. Романов отправил свой этюд «В родном краю» на отзыв В. Г. Короленко, к которому молодой писатель обращался не впервые. В 1909 г. он посылал Короленко этюд «Суд» и «Картины детства», а в 1913—1914 гг. повесть «Писатель». Романов высоко ценил Короленко как писателя-реалиста и замечательного редактора и, как правило, учитывал его замечания.

26 сентября 1916 г. Короленко ответил Романову: «Ваш рассказ «В родном краю» я прочел и посылаю (одновременно с этим письмом к Вам) — в редакцию «Русских записок»... Рассказ написан вполне литературно, местами дает черты, очень характерные и изображенные с некоторым юмором. Несколько мешает цельному впечатлению то обстоятельство, что легкая юмористическая нотка, взятая в начале рассказа и относительно профессора,— в дальнейшем автору изменяет и получается впечатление, что жизнь «на родине» оценивается с высшей точки зрения этого профессора. Но все-таки я лично считаю очерк приемлемым...» В заключение Короленко добавил: «Да.— впечатление все-таки несколько сужено тем, что я указал выше. Критерий слишком односторонне гигиенический и кулинарный. Было бы много лучше, если бы и ужасу перед этими «всеядными» троглодитами со стороны столичного старого холостяка, для которого даже сливки — яд, тоже было придано немного юмора» (Книга. Исследования и материалы. Сб. XIV. М., 1967. С. 96).

Внимание советской критики рассказ привлек после выпущенного издательством «Московский рабочий» сборника «Рассказы» (1925 г.), подготовленного автором. В рецензии на этот сборник Виктор Якерин писал: «Рассказ «Русская душа» несколько выбивается из общей манеры письма Романова. Здесь уже намек на разрешение большого и больного вопроса о русской косности, здесь целеустремленность сюжета, небольшой по размерам мазок, но сильный по краскам, оставляет хорошее впечатление» (Красная новь, 1926, март. С. 258).

На определенную идейную направленность рассказа указывает В. Л. Львов-Рогачевский в своем предисловии к сборнику произведений Романова «Русская душа» (1926). Критик приводит слова героя рассказа профессора Андрея Христофоровича, обращенные к родным: «Когда оглянешься кругом и видишь, как вы тут от животов катаетесь, а мужики сплошь неграмотны, дики и тоже, наверное, еще хуже вашего катаются, каждый год горят и живут в грязи, когда посмотришь на все это, то чувствуешь, что каждый уголок нашей бесконечной земли кричит об одном — о коренной ломке, о свете, о дисциплине, о культуре». Эти слова профессора,— пишет Львов-Рогачевский,— смертный приговор, который выносит сам автор своим усадебным героям дореволюционного периода» (с. 13).

Рассказ являлся этюдом для первых частей эпопеи «Русь», над которыми Романов работал в 10—20-х годах.

Алешка.— Впервые — Русские записки (Русское богатство), 1917, № 11—12.

Печатается по: Полн. собр. соч. 1930. Т. V.

В темноте.— Впервые — Всемирная иллюстрация, 1923, № 9.

Печатается по: Полн. собр. соч. 1929. Т. II.

Спекулянты.— Впервые — Всемирная иллюстрация, 1923, № 12.

Печатается по: Полн. собр. соч. 1929. Т. II.

Рыболовы.— Впервые — в кн. Современники. Альманах художественной прозы. 2. М., 1924.

Печатается по: Полн. собр. соч. 1929. Т. II.

Известный в те годы критик В. Ф. Переверзев, говоря об альманахе «Современники», где были опубликованы рассказы Романова, писал: «...очень любопытны и должны быть особо отмечены миниатюрные, в чеховском стиле, новеллы Романова. Их три: «Родной язык», «Несмелый малый» и «Рыболовы». Все три исполнены живого комизма и острой наблюдательности, Романов копается не в развалинах старого быта, где даже смешное печально, а в беспорядочной сутолоке нового, где немало наивных ситуаций невпопад, немало курьезных сцен и положений, но за ними нет мучительной гримасы гибели, от которой тускнеет смех, обращаясь в юмор. Комизм роста — здоровый комизм, рождающий непринужденный, ясный смех. Именно так смеется Романов. У молодого автора есть несомненный талант, во всяком случае среди молодежи он один из наиболее обещающих» (Печать и революция, 1924, № 5. С. 138).

Домовой.— Впервые — Новый мир, 1925, № 1.

Печатается по: Полн. собр. соч. 1929. Т. IV.

Святая женщина.— Впервые — Красная новь, 1925, № 1.

Печатается по: Полн. собр. соч. 1929. Т. II.

А. М. Горький в письме к А. А. Демидову из Сорренто 15 мая 1925 года отмечал: «Рассказы в «Красной нови» лучше сделаны, чем «Русь» (Горький и советские писатели. Неизданная переписка. Литературное наследство. М., 1962. Т. 70. С. 152). Горький имел в виду рассказы Романова именно из этого номера журнала, где были напечатаны также рассказы «Три кита», «Рябая корова», «Восемь пудов», «Глас народа».

Глас народа.—Впервые — Красная новь, 1925, № 1.

Печатается по: Полн. собр. соч. 1929. Т. II.

«Три кита» и другие рассказы, опубликованные в этом журнале, вошли в сборник под названием «Три кита», получивший в целом положительную оценку в прессе.

Известный критик и литературовед С. Динамов в обзоре «Крестьянская беллетристика» (Книгоноша, 1925, № 33—34, с. г.) писал: «О художественных достоинствах произведений Пант. Романова вряд ли стоит много говорить. Крепкая лепка типов советской деревни, колоритная крестьянская речь и всегда интересно развитый сюжет характеризуют сборник «Три кита». Три типа доминируют в этом сборнике, посвященном быту одной деревни в непосредственно послеоктябрьский период. Один — увлекающийся фантазер, Николай, рвущийся на части из желания сделать что-нибудь полезное, но никогда ничего не доводящий до конца. Вся энергия Николая, члена комитета, уходит на выдумывание планов, а для дела ее уже не остается. Другой комитетчик — крестьянин Степан делает хорошо только для кулаков, оказавшись их орудием. Революция властно толкает деревню к классовому расслоению, а Степан пытается встать ей на пути своими беспочвенными идеями о равенстве...»

«Новые люди, сбитые на фронтах и на заводах, пришли на смену трем «китам». Этому процессу борьбы двух начал посвящен рассказ «Глас народа»...

Большую ценность представляют меткие наблюдения П. Романова, раскрывающего их в сборнике четкой выразительностью и образностью».

Критик О. Гитель в обзоре «Русская художественная литература в 1925 г.» (Народный учитель, 1926, № 1. С. 180) рассматривает несколько произведений Романова. «Его рассказы,— пишет автор обзора,— несложный, ясный диалог, в котором вырисовываются перед нами черты современного человека массы «народа». Часто вызывая в нас смех, рассказывает Романов о новой жизни в деревне, о том, как восприняла она новые порядки: «Три кита» — дележ помещичьего скота, «Восемь пудов» — мужицкая жадность и положение бедноты, «Глас народа» — выборы сельсовета,— вот круг его деревенских тем».

К сожалению, критика 20-х годов далеко не всегда давала анализ и оценку рассказов Романова, ограничиваясь поверхностным изложением содержания.

Восемь пудов.— Впервые — Красная новь, 1925, № 1.

Печатается по: Полн. собр. соч. 1929. Т. II.

Значок.— Впервые — сборник «Крепкий народ». М., Правда (Библиотека «Прожектор», № 3), 1925; то же: Собр. соч. М., «Никитинские субботники», 1925. Т. 1.

Печатается по: Полн. собр. соч., 1929. Т. II.

А. Лежнев в рецензии на сборник рассказов Романова «Крепкий народ», куда вошел рассказ «Значок», отмечал, что «рассказы Пантелеймона Романова показывают у автора мастерское владение бытовой речью, умение дать типичное и характерное в маленькой сценке. Его средства остры, но несколько однообразны. Обломовски-деревенская Россия, не умеющая хозяйствовать и пассивная — годы гражданской войны, «транспортные» сцены, очереди, домкомы и все это тоже окрашено в цвета неумелости, нераспорядительности, пассивности, вот что почти исключительно рисует Романов в своих вещах. Взятый порознь каждый рассказ превосходен...» (Правда, 1925, 16 октября).

Нераспорядительный народ.— Впервые—Всемирная иллюстрация. 1923, № 10.

Печатается по: Полн. собр. соч. 1929. Т. II.

Козявки.— Впервые — Прожектор, 1925, № 14.

Печатается по: Полн. собр. соч. 1929. Т. IV.

Вредная штука.— Впервые — Красная новь, 1925, № 4.

Печатается по: Полн. собр. соч. 1929. Т. IV.

Любовь.— Впервые — альманах «Прибой». I. М., 1925. Печатается по: Полн. собр. соч., 1930. Т. V.

«Рассказы о любви», опубликованные в альманахе «Прибой» (в цикл входил и рассказ «Любовь»), были встречены разноречивыми оценками в прессе, в основном резко критическими.

Критик А. Зорич в газете «Правда» с большим пониманием оценил эту группу рассказов: «Сделаны они... хорошо, в простой и сильной, так свойственной Романову, композиции, с глубоким проникновением в психику представляемых пошлых, мелких и глуповатых людей...» (Правда, 1925, 16 октября).

Не понял направленности этой темы у Романова и один из самых известных критиков того времени А. Лежнев. Он писал: «Эти рассказы заставляют опасаться за писателя...

П. Романов зарекомендовал себя рядом хороших бытовых рассказов с сатирической окраской и великолепным диалогом. Сатира его держится на грани между собственно сатирой и юмором... ...убедительность изображения обывательщины, обломовщины, остроумие, простота языка и построения сделали за короткое время Романова одним из наиболее читаемых авторов. Вещи, вроде «Рассказов о любви», способны только дискредитировать Романова, свести его, как серьезного писателя, на нет. В них — ни одного свежего слова, ни одного незатасканного положения. Это — смесь Арцыбашева с Куприным, к которой прибавили искаженного обыталенного Мопассана. Еще первый рассказ «Любовь», пожалуй, приемлем, если не по языку, так по замыслу и построению». Критик не заметил, что в рассказах о любви отразилась позиция человека, который не принимает «свободных отношений», понимаемых молодежью как духовная свобода, как отказ от нравственных норм старого мира.

В. Друзин также выделил рассказ «Любовь» из всего цикла: «Рассказы о любви» Пант. Романова обладают неодинаковой ценностью. Если первый рассказ: «Любовь»,— основываясь на различном понимании двух действующих лиц понятия «чистота любви» — дает интересную психологическую коллизию, то остальные два рассказа, претендующие на большую психологическую тонкость, к сожалению, роднят Романова с Арцыбашевым» (Звезда, 1925, № 5. С. 279). И вместе с тем критик приходит к выводу: «Слов нет — бесспорно П. Романов писатель не из мелких» (там же, с. 280).

Высокую оценку рассказам Романова «О любви» дал литературовед Н. Н. Фатов.

Дом № 3.— Впервые — Собр. соч. М., 1925, т. I. Первоначальное название — «Дом № 3-а».

Печатается по: Полн. собр. соч. 1929. Т. II.

Дружный народ.— Впервые — Собрание сочинений. М., 1925. Т. I. Печатается по: Полн. собр. соч. 1929. Т. II.

Нахлебники.— Впервые — Собрание сочинений. М., 1925. Т. I.
Печатается по: Полн. собр. соч. 1929. Т. II.

Пробки.— Впервые— Собрание сочинений. М., 1925. Т. 1.
Печатается по: Полн. собр. соч. 1929, Т. III.

Терпеливый народ.— Впервые — Красная новь, 1925, № 2.
Печатается по: Полн. собр. соч. 1929. Т. II.

Кулаки.— Впервые — Рассказы. М.-Л., 1926.
Печатается по: Полн. собр. соч. 1929. Т. IV.

Непонятное явление.— Впервые — Красная новь, 1926, № 5.
Печатается по: Полн. собр. соч. 1929. Т. IV.

Без черемухи.— Впервые — Молодая гвардия, 1926, № 6.
Печатается по: Полн. собр. соч. 1930. Т. VI.

Именно этот рассказ принес Романову всеобщую, тогда почти скандальную известность. Автора ругали, с ним спорили, его обвиняли, его благодарили.

В печати по поводу рассказа выступали не только профессиональные критики, но и читатели, преимущественно из среды студенчества. Во многих учебных заведениях состоялись диспуты. Большинство студентов расценивало рассказ Романова как поклеп на молодежь, искажение, очернение действительности. Но были среди них и защитники рассказа.

Такой же разнобой наблюдался и среди критиков.

В обзоре «По журналам» (Учительская газета, 1926, 28 августа) А. Цинговатов резко критикует рассказ «Без черемухи»: «Рассказ написан плоско, художественно неубедительно, подход к теме мещански-убогий, вульгарный». Отрицательно отозвался о рассказе Д. Горбов. Он писал: «Книга 6-я «Молодой гвардии» огорчает рассказом Пант. Романова «Без черемухи»... Как и в неудачных «Рассказах о любви», П. Романов ставит в новом рассказе проблему пола. В нем фигурируют учащиеся вузов. Автор ставит себе серьезную задачу: осудить нигилистический подход к женщине, характерный для известной части нашего студенчества. Фигура рядящегося в жалкую тогу пошлости студента удалась Романову. Но девушка вышла фальшивой, как обычно у этого писателя, совершенно ошибочно полагающего, что все тайники женской психологии досконально ему известны. Студентка, по замыслу автора, должна быть чуткой девушкой, неожиданно наталкивающейся на грубость и почти намеренное непонимание со стороны мужчины. Но в действительности она ведет себя просто глупо, и в глазах читателя вся ответственность за ее поругание падает на нее же. Рассказ, таким образом, далек от того, чтобы достичь цели, поставленной себе автором» (Красная новь, 1926, № 10. С. 236).

С. И. Гусев в статье «Пределы критики» (Известия, 1927, 5 мая) полагал, что критическая сила романовского рассказа слабовата: «Произведения Малашкина, Романова и Гумилевского чересчур слабо критикуют уродливости в области половых отношений у нашей молодежи. Слабость их критики объясняется тем, что они недостаточно или совсем не подчеркивают противоречия между этими уродливостями и нашим социалистическим идеалом. У них недостаточно выявлено стремление своей критикой устранить эти уродливости,

чтобы расчистить дорогу социализму. Они изображают их либо «объективно» (Романов), либо «панически» (Малашкин)».

В этих соображениях опять сквозит непонимание метода П. Романова: как бы устраняясь от оценки фактов, самим «отбором» их и их композицией, он выражает неприятие того или иного явления.

Но даже при всей осторожности оценок Гусев все же видит объективную социальную значимость рассказа Романова.

Отмечая, что критика наших недостатков встречает энергичный отпор, он пишет, что «в настоящей конкретной обстановке польза от произведений Малашкина, Романова, Гумилевского, несмотря на несомненную односторонность, значительно превышает вред. Эти произведения значительно больше помогают в настоящий момент нашему социалистическому строительству, чем вредят ему».

Рассказ «Без черемухи» оставался одним из наиболее популярных произведений на протяжении нескольких лет. И страсти вокруг него не утихали. Особенный резонанс имел диспут в Академии Коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской. О нем писали многие газеты и журналы (наиболее полный отчет о диспуте см. в журнале «Молодая гвардия», 1926, № 12. С. 169—173).

Весьма показательна заметка «Что читает рабочая молодежь», напечатанная в «Комсомольской правде» 1 сентября 1929 г., три года спустя после публикации рассказа. «Наиболее читаемыми авторами (по количеству выдач) оказываются: Новиков-Прибой, П. Романов, Шишков, Сейфуллина, Неверов, Серафимович, Лавренев, Есенин, Алтаев, Фурманов, Караваева, Гумилевский, Гладков и др. Любопытно, что наиболее читаемым произведением П. Романова является «Без черемухи».

Большая семья.— Впервые — Новый мир, 1927, № 7.
Печатается по: Полн. собр. соч. 1930. Т. VI.

Хорошая наука.— Впервые — Собрание сочинений. М., 1927, Т. 2.
Печатается по этой публикации.

Буфер.— Впервые — Собрание сочинений. М., 1927. Т. 3.
Печатается по этой публикации.

Наследство.— Впервые — Собрание сочинений. М., 1927. Т. 3.
Печатается по: Полн. собр. соч., 1929. Т. III.

Суд над пионером.— Впервые — Молодая гвардия, 1927, № 1.
Рассказ написан в сентябре 1926 г. Печатается по первой и единственной прижизненной публикации.

Рассказ был встречен резкими критическими отзывами. Рецензии, появившиеся в центральных газетах и журналах («Труд», 1927, 27 февраля; «Комсомольская правда», 1927, 1 марта; «Красная газета», 1927, 2 апр., «На литературном посту», 1927, № 4, и др.), почти единогласно осудили рассказ как искажающий действительность.

В связи с рассказом прошли многочисленные диспуты и обсуждения. Журнал «Молодая гвардия», где был напечатан рассказ, получил много разноречивых откликов. С. И. Гусев, ответственный редактор журнала, выступил с большой статьей «Суд пионеров над П. Романовым», где проанализировал почту и подвел итоги диспутам.

Гусев защищал писателя, отмечал, что Романову удалось выразить в рассказе «один из важных законов классовой борьбы в революционные эпохи, когда борющиеся классы приходят к пол-

ному сознанию непримиримости их интересов, когда вражда между ними крайне обостряется. Это — закон противоположности враждующих классов в области идеологии, искусства, морали» (Молодая гвардия, 1927, № 7. С. 145). Вместе с тем Гусев, подобно другим критикам, сосредоточил свое внимание главным образом на конкретной ситуации, описанной в рассказе, на проблеме полового воспитания.

Все критики, в том числе и Гусев, будто забыли, что они говорят о художественном произведении, о рассказе, что перед ними многозначный художественный образ, а не мертвый, бездушный слепок с факта. Смысл произведения Романова значительно шире и глубже той темы, которой он, по мнению критиков, был посвящен: недостатки в половом воспитании молодежи.

Рассказ Романова в гротесковой, гиперболизированной форме дал модель вульгарно понятой классовой борьбы, распространенной на быт, мораль, идеологию. Больше того, писатель показал, как какая-то общественная группа, сконцентрировавшая в своих руках власть и узурпировавшая право решения всех проблем и вынесения единственно справедливого приговора, может творить произвол и извращать существо любых человеческих поступков и любых явлений действительности. «Суд над пионером» — это яркое обвинение извращений в классовой, идеологической борьбе, отклонений от пути демократизации общественной жизни при социализме.

Романов показал, как якобы во имя новых социальных идеалов, под флагом борьбы против буржуазной морали создается атмосфера слежки и доносительства, каким образом в этой атмосфере далеко не лучшие человеческие качества — нетерпимость, предательство, стадность (не коллективизм!) — могут быть представлены нравственными добродетелями.

Но рассказ вовсе не пессимистичен. Андрей Чугунов, Мария, десяток пионеров, покинувших позорное судилище,— это живые, свежие силы, которые есть и дают отпор демагогам, схоластам, приспособленцам, всему, что тормозит развитие живой жизни.

В рассказе «Суд над пионером» Романов еще раз продемонстрировал свое виртуозное мастерство художника. Рассказав о почти анекдотическом случае, он вскрыл проблемы глубокие, актуальные, наиважнейшие.

Право на жизнь, или Проблема беспартийности.— Впервые.— Молодая гвардия, 1927, № 4.

Написано в октябре—ноябре 1926 г.

Печатается по: Полн. собр. соч., 1929. Т. IX.

В дневнике писателя есть запись от 25 октября: «Давно не записывал. За это время ездил читать в Киев и перестал работать над «Русью» (написано 57 глав IV т.).

За это время в 5 дней написал «Право на жизнь», в два часа — «Суд над пионером» и в два дня «Человеческая душа» (ЦГАЛИ, ф. 1281, оп. 1, ед. хр. 93, л. 28).

Однако Романов не считал рассказ полностью готовым к печати, и 9 ноября отмечает в дневнике: «Право на жизнь» (обработка)» (там же, л. 30). Путь к публикации рассказа был не гладким. Большая заслуга в том, что он был напечатан, принадлежит Сергею Ивановичу Гусеву (1874—1933), видному деятелю Коммунистической партии, который во второй половине 20-х годов заведовал отделом печати ЦК ВКП(б) и одновременно являлся одним из редакторов журнала «Молодая гвардия».

Первоначально, очевидно, рассказ предлагался журналу «Новый мир» и был отвергнут. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из письма И. И. Скворцова-Степанова главному редактору «Нового мира» в то время В. П. Полонскому (17 марта 1927 г.). И. И. Скворцов-Степанов писал:

«Кстати: вчера я упрекнул С. И. Гусева — как же это такое, «Молодая гвардия» в свое время взяла Малашкина, которого мы не одобрили, а теперь берет П. Романова, к которому мы отнеслись с прохладцей» (Новый мир, 1964, № 5. С. 215).

Критики, еще не успокоившиеся после «Без черемухи», были ошеломлены. С удвоенной энергией они принялись громить Романова.

В разухабистой статье Мих. Левидова «Право на пошлость» (Вечерняя Москва, 1927, 22 апреля) говорилось: «Писательский облик его — это облик не то Зощенки, скромного юмориста-бытовика, не то советского Савонаролы — грозного бойца и обличителя. Против Романова-юмориста — ничего не возразишь. Умеет видеть, умеет слышать, умеет смешно писать о несмешном». Однако в праве на постановку серьезных проблем автор статьи отказывал Романову, яростен его бездоказательный пафос, направленный против рассказа «Право на жизнь, или Проблема беспартийности».

Более верное понимание рассказа, хотя и несколько одностороннее, содержалось в предисловии М. Б. Вульфсона к сборнику рассказов под тем же названием, вышедшему в 1927 г. Критик писал:

«Автор смог показать — и это составляет сильную сторону рассказа,— что все страхи Останкина не имели абсолютно никакой почвы в окружающей его советской действительности» (с. 6).

«Автор смог ясно показать,— продолжал Вульфсон,— что причины этого бессмысленного страха, этой социальной и психологической никчемности, этой тусклой безличности лежат в самом Останкине или скорее в той среде, психопатологическим выражением которой является, доведенная до абсурдного завершения, психология Останкиных» (с. 8).

К сожалению, это была чуть ли не единственная положительная оценка рассказа.

С. 362. *...отец Останкина был инспектором народных училищ.*— Инспекция народных училищ была учреждена царским правительством в 1869 г. для наблюдения и контроля за деятельностью народных школ и благонадежностью учителей С 1874 г. в каждой губернии была введена должность директора народных училищ и установлены три должности инспекторов. Директора и инспектора народных училищ, как правило, играли роль полицейских в просвещении. С победой Октябрьской революции инспекция была ликвидирована.

С. 364. *Чека* — сокращенное от ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия, государственный орган, созданный в 1918 г. для борьбы с бандитизмом и контрреволюцией, возглавлялся Ф. Э. Дзержинским, в 1922 г. был преобразован в ГПУ.

С. 374. *...увидел какого-то военного с малиновыми петличками...*— К числу знаков различия родов войск в Красной Армии относились петлицы, ромбовидные нашивки на воротничке; тем или иным цветом обозначалась принадлежность к соответствующим войскам. В 20-х гг. малиновые петлицы были у стрелковых частей и у сотрудников Наркомата внутренних дел.

С. 378. *...он служил в ГПУ.*— ГПУ — Государственное политическое управление при НКВД РСФСР, орган по охране государствен-

ной безопасности, создан на основе ВЧК. Существовало в 1922—1923 гг., затем преобразовано в ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление при СНК СССР (1923—1934 гг.).

Самозащита.
Печатается по: Полн. собр. соч., 1929. Т. II.

Тяжелый седок.— Впервые — в сб. «Непонятное явление». М., 1927.
Печатается по: Полн. собр. соч., 1929. Т. IV.

Загадка.— Впервые — Тридцать дней, 1928, № 12.
Печатается по этой публикации.

Голубое платье.— Впервые — Красная новь, 1928, № 4.
Печатается по: Рассказы. М., 1935.

Белая свинья.— Впервые — Советская Россия, 1988, 8 января.
Печатается по: Избранные произведения. М., 1988.
Рассказ предположительно написан в начале 30-х годов.
Писатель А. И. Вьюрков в своих воспоминаниях сообщает, что познакомился с Романовым в 1931 г. «Спустя несколько лет,— пишет Вьюрков,— он как-то пригласил меня к себе. Жил он тогда в Старо-Пименовском переулке. Помню, за столом тогда сидели — я с женой, художник В. Яковлев с женой и еще кто-то. Радушнее и гостеприимнее редко кого встретишь. Как-то оживала вся обстановка в его присутствии. В этот вечер, кажется, он прочитал нам свой только что написанный рассказ «Белая свинья» (ЦГАЛИ, ф. 1281, оп. 1, ед. хр. 111, л. 4).

Замечательный рассказ.— Впервые — Вопросы литературы, 1989, № 2.
Печатается по этой публикации.

Хорошие люди.— Впервые — Семья, 1988, № 28.
Печатается по этой публикации.

Дорогая доска.— Впервые — Сельская молодежь, 1988, № 9.
Печатается по этой публикации.

Блестящая победа.— Впервые — Избранные произведения. М., 1988.
Печатается по этой публикации.
Рассказ предположительно написан в 1931 г. В воспоминаниях о Романове писателя А. И. Вьюркова есть фрагмент, который, по-видимому, относится к обстоятельствам написания этого рассказа: «Рассказал он мне, как появился у него роман «Собственность».— Сначала я написал маленький рассказик,— говорил мне П. С.,— а потом думал над ним, получился роман. А тема зародилась на даче, куда я поехал с одной знакомой. И пока я ждал ее на скамеечке и глядел на собственную дачку, у меня зародился рассказ» (ЦГАЛИ, ф. 1281, оп. 1, ед. хр. 111, л. 7).

СОДЕРЖАНИЕ



Романов П. С.

Р 69 Без черемухи / Сост., предисл. и прим. С. С. Никоненко; Ил. Н. В. Смирнова.— М.: Правда, 1990.— 464 с., ил.

ISBN 5—253—00001—1

Пантелеймон Романов (1884—1938) — мастер психологической прозы, наследник русской классической традиции. Его произведения широко издавались в 20—30-е годы в нашей стране.

В сборник вошла повесть «Детство», тонко и с большой любовью раскрывающая душевный мир ребенка. Рассказы, составившие второй раздел книги, характеризуются пристальным вниманием писателя к новому социалистическому быту, становлению новых отношений между людьми в послереволюционные годы.

Р $\frac{\textbf{4702010200—2127}}{\textbf{030(02)—90}}$ **2127—90** **84 Р 7**

Литературно-художественное издание

РОМАНОВ Пантелеймон Сергеевич

БЕЗ ЧЕРЕМУХИ

Составитель
Никоненко Станислав Степанович

Редактор
Т. В. Лодяная

Оформление художника
А. И. Неровного

Художественный редактор
Г. О. Барбашинова

Технический редактор
Т. Б. Слизун

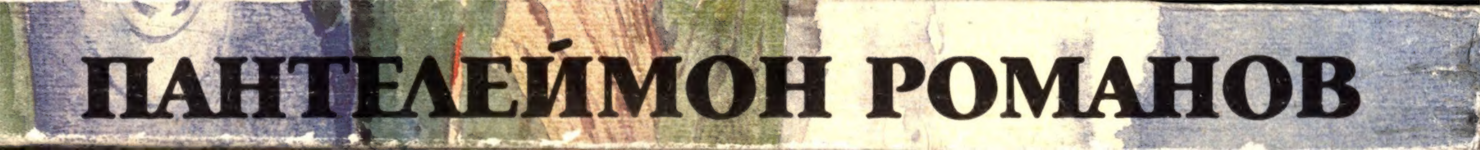
ИБ 2127

Сдано в набор 18.09.89. Подписано к печати 09.07.90.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,78. Уч.-изд. л. 26,50.
Тираж 300000 экз. (2-й завод: 150001—300000 экз.).
Заказ № 00118. Цена 2 р. 10 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва,
А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства
Удмуртского обкома КПСС,
426000, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 10-й км.


2 р. 10 к.


ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ